14

90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 2 1990

Виктор НЕКРАСОВ. Из наследия

Юрий КОЗЛОВ. Ошибка в расчете. Рассказ

Джон СТЕЙНБЕК. Русский дневник. Окончание

Публицистика

Член-корреспондент АН СССР **А. А. КОКОШИН** и генерал армии **В. Н. ЛОБОВ.** О трудах генерала Свечина

Людмила МЕДВЕДЕВА. Женщина в армии

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Б. ПАСТЕРНАК. Письма

Жозефина ПАСТЕРНАК. О брате

Федор АБРАМОВ. Выступление в ЛГУ в 1955 году

ISSN 0130-1616. Знамя. 1990. № 1. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Январь

...а идей в со-

201

«По сообщению главного производственного управления Минлеспрома СССР, решением контролирующих органов из-за сложившейся тяжелой экологической обстановки в г. Пензе с 1 января 1990 года бумажной фабрике «Маяк революции», являющейся единственным отечественным изготовителем цветной обложечной бумаги, работать с красителями запрещено. Поэтому фабрика принимает от издательства заказ на 1990 год на поставку обложечной бумаги только белого цвета.

Исходя из вышеизложенного просим Вас рассмотреть вопрос об изменении оформления обложки журнала и сообщить Ваше решение».

От редакции

Вот такую просьбу-распоряжение в числе других журналов получили мы из издательства «Правда», и все наши усилия изменить что-либо не дали результатов. Таким образом, избавившись от единомыслия, переходим к единообразию.

Не одно десятилетие обложка журнала «Знамя» была цвета шинельного сукна с красной окантовкой, отныне она становится белой. Можно представить себе, как будет выглядеть библиотечный экземпляр, побывав в руках хотя бы нескольких читателей.

Мы искренне сочувствуем жителям города Пензы, одного из многих городов нашей страны, где сложилась тяжелая экологическая обстановка. Однако если и дальше идти таким путем, который предложен журналам, то скоро все женщины нашей страны будут носить платья стандартного белого цвета, а всем нам, по-видимому, придется сидеть при лучине, поскольку нет таких электростанций, которые в той или иной степени не ухудшали бы экологическую обстановку.

Да, экология — одна из наших главных забот, если мы хотим выжить. Но не слишком ли простой и бесперспективный путь выбран?



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

1

ЯНВАРЬ 1990

Содержание

Москва
Издательство «Правда»

Александр Кушнер

НОВЫЙ ОРФЕЙ

●

Сегодня — мглистое, сегодня — никакое.
Как бы не выспалось, во сне забыло цвет.
Не приставай, махни рукою...
Я тоже пасмурен... Меня как будто нет...

Что называется, я с левой встал сегодня
Ноги... Когда б оно сверкало, тяжелей
Мне было б; сонное, оно еще дремотней
Из-за уснувших кораблей,

Как бы на привязи улегшихся в унынье,
В тоску, в беспамятство, в отказ от новых встреч:
Как будто маленькие клинья
Забиты в зыбкий грунт, и в мысль мою, и в речь.

Не знаю... Кажется... Наверное... Не буду...
Сейчас не хочется, но, может быть, потом...
Как будто отняли отраду и причуду
С вогнутовыпуклым хребтом,

О берег бившую, под самым сердцем лежа.
Полцарства рухнуло, полдня
Пропало; мнится, мир покрыт гусиной кожей.
Читай... похаживай... не замечай меня.

●

Дикий берег пологий и два корабля,
Два военных, дежурящих рядом,
Потому что кавказская снова земля
Ненадежна — и ей под приглядом
Полагается быть,— отнимает у них
Солнце яркое цвет сероватый;
На овчарок похожие сторожевых,
Забавляют тебя, соглядатай.

Отпускник, не желающий вникнуть в конфликт
Двух народов, пропахший шашлычным
Кисловатым дымком, но томит тебя лик
Этой влаги, с ее безразличным
Выраженьем, какой-то зализанный сон,
Воплощенье бессилья и лени,
Где лишенные цвета скользят под уклон
Патрули, превращенные в тени.

Что ж, купайся, не думай, что ты виноват,
Разводи этот полог руками,
Раздвигай этот влажный, тяжелый наряд.
Враждовали народы веками
И мирились, и снова враждуют,— держать
Неужели их лучше на мушке?
Чтоб могли они спорить, дружить, торговать,
Уставать, засыпать на подушке.

●

Ах, ка́к это... не вспомнить, как на зло...
Стихов забытых сумрачные тени
Едва хранят заветное тепло.
— Что вас из Виттенберга принесло?
— Милейший принц, расположенье к лени.

Нет, никогда б не вышел из меня
Хороший принц, но, может быть, Гораций?
Чужую тайну, как свою, храня,
За принцем шел бы я средь бела дня
И ночью, вдоль громоздких декораций.

Цитировал бы, чтоб развлечь его,
Бердяева...— Взгляните, ваша милость,
На мир со стороны...— Еще чего! —
Сказал бы принц,— немало есть того,
Что вашей философии не снилось.

Не снилось, нет. Но снилась мне страна
В морозной мгле, под лампой — ночь без сна,
Издалека привезенная книга,
Что на два дня тайком тебе дана,
Век — черновик, история — заика.

●

О, да, она могла б внушить Орфею
В тревоге не оглядываться... С ней,
Германию любившей и Вандею,
Не страшен был бы путь в стране теней.

Писавшая в Москву об этой силе
Своей и твердом шаге,— не лгала.
Как в юности стихи ее любили
Мы, как потом любовь изнемогла

Под тяжестью взросленья, пониманья,
Отталкиванья от таких страстей
Избыточных... Сильней очарованья
В поэзии нас ждали, и нежней,

Таинственней и вкрадчивей... Мужчины
Извилистее в речи стиховой,
Морские им доступнее пучины,
Их слух тесней братается с листвой.

Душа; — хотел сказать я и запнулся,—
Их женственна, не ведая о том.
Поэтому Орфей и оглянулся
При всем своем уме, забыв о нем.

Новый Орфей

Я в аду, прекраснейшем на свете,
Побывал, новейший Вавилон
Видел я, с монеткой в турникете
Застревал, казалось: снится сон
Перевернутый, инопланетный,
Небоскребозубый, золотой,
На осот похожий сложноцветный,
Очередный, остронадрезной.

Выемчато-перисто-зубчатый,
Стреловиднокрылый, как сорняк,
Всех цветов роскошней, виноватый
В чем? Не знаю. Каменный бодяк,
Нет, репейник, пламенный колючник,
В голубых огнях чертополох,
Укрыватель, зритель и разлучник,
Соблазнитель, прячущий подвох.

Это в нем, Орфея вспоминая,
Я с тенями виделся друзей:
Проступала бледность неземная,
Чуть смущались зоркости моей,
Не хотелось выглядеть им жалко
В синем «форде», в желтом «шевроле»...
Вырицкая разве нам гадалка
Обещала встречу на земле?

Ничего она не обещала,
Предсказать, грязнуля, не могла...
Взять за плечи, все начать сначала!
Дорогие, милые тела!
Кто там, Цербер мечется у входа
Иль ветла на темном рубеже?
Мы-то знаем, как растет свобода,
Вызревает медленно в душе.

Здесь она чужая... Дайте руку.
Просто тихо следуйте за мной.
Но, поверив в вечную разлуку,
Трудно голос слышать из былой
Жизни... В рай, печальнейший на свете,
Заметенный снегом, хода нет,
И с английским призвуком их дети
Говорят по-русски в десять лет.

●

Иосифу Бродскому

Мы свиделись. И мы, смутясь, поговорили.
Пятнадцать лет кипел, с поземкой на волнах,
Меж нами океан, с клоками белой пыли.
Но лучший разговор не в жизни, а в стихах.

Разочарован? Нет. Чуть-чуть. — А ты? — Не слишком.
Пятнадцать лет я жил к тебе вниз головой...
Чиновный Вашингтон с приглаженным умишком
Сухим, припав к окну, в нем видит нас с тобой.

Не сон ли? Ущипни. Какая-то церквуха,
Под готику, в окне, как рыцарь на часах.
При чем тут Вашингтон? В глазах светло и сухо.
Но лучший разговор не здесь, а в небесах.

Поэт поэту — столп лучей невыносимый,
В безжизненных песках синеющий мираж.
Как жажду утолить? Живой, невозмутимой
Дай мне воды со дна. Где ручка, карандаш?

Сверкай, сверкай, денек, — зимы американской,
Бесснежной, ноша мне все кажется легка.
Я кротостью смущен, ее бесстрастной лаской.
Что ж взгляд печален твой, улыбочка горька?

Твой жест, твой детский, — так царапается кошка.
Как будто коготки точа о мой рукав.
Жизнь-жмотина, смотри, расщедрилась немножко.
Ты к ней несправедлив. А я, прильнув, неправ.

●

Я, как помытчик при тишайшем
Царе, курить не буду, пить,
А буду сокола все дальше,
Все выше в небо заводить:
О, как он бел и как он страшен!
Привязан, скажешь? Где же нить?

Смотри, смотри, мой царь, мой кроткий,
Да не заметят гнев и страсть,
Как сокол, крик издав короткий,
На каплю в небе рад упасть.
Пускай глядят, задрав бородки,
Дай насладиться боем всласть.

Ты видишь мысль мою в работе.
Она находит свой предмет,
Как сокол белый на охоте:
Он тоже ритмом разогрет.
Мой друг, на этой верхней ноте
Прощай! Кто скажет: счастья нет?

●

Молчи. Пусть сволочь густопсовая
Развылась, помни: этот вой —
Не речь. Беда многоголовая
Глядит в глаза из тьмы ночной,
Она склубилась туча тучею,
Она страшна, но ложь — страшней.
С ним, с ним, молчать умевшим Тютчевым
Ты в этом мраке, а не с ней.

Как выговориться хочется,
Всё объяснить, смягчить сердца!
Но знает мудрость-полуночница,
Что не построено дворца
Для разума, что тьма стозевная
Не ищет правды и добра —
Как магма зыблется подземная,
Не ты певец ее нутра.

●

Музыковед Собакевич и пишущий прозу Ноздрев...
О, фантастический перечень божьих несметных даров,
Вложенных в неподходящие, чуждые дару тела!
Глупости солнце палящее, грубости вечная мгла.

Я не поверил бы этому, если бы не был знаком
С кем? — да хотя бы с поэтами, нравами их, языком:
Видимо, бог, свое царствие распространяя на нас,
Любит преграды, препятствия, мутную жизнь без прикрас.

Или проступит, проявится в сделанном ими изъян?
Кто так известен и славится, может быть, вводит в обман?
Есть же счастливые случаи, сходятся дар и душа
Нежно, друг друга не мучая, сходством своим дорожа!

●

«Угомонись. Кому сказали? Ну!
Кто так смеется много, будет плакать».
Ах, с детства смех вменяют нам в вину.
Жизнь — косточка, а мальчик думал: мякоть.

И девочка так думала, кружась
По комнате, как бабочка, покуда
На стол не налетела. Страх — и связь
Веселья с ним, злопамятным, — оттуда.

Показываешь метку на губе.
С тех пор всегда подмочено веселье...
Цветущий куст на вьющейся тропе —
И каменное, дикое ущелье!

Не нравится мне этот опыт, весь
В шипах и ранах, господи, должна быть
Другая жизнь, припрячь и занавесь
Ее от нас, но радовать и капать,

Сиять и пахнуть этой повелел
И веселить наш дух не для того ли,
Чтоб иногда дерзали за предел
Земной оглядки вырваться и боли?

Анатолий Курчаткин

ЗАПИСКИ ЭКСТРЕМИСТА

(СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО В НАШЕМ ГОРОДЕ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Мне было тогда немного за двадцать, я только что отслужил в армии.

Кто знает это чувство свободы, что пьянит и кружит голову после казарменного затворничества, тот поймет меня. Человеку, обуянному этим чувством, под силу своротить горы и повернуть реки, было бы лишь кому поставить перед ним подобную цель.

— Слышал? — сказал отец, бросая мне обмявшуюся в его руках, всю в заломах и перегибах «Вечерку», нашу вечернюю городскую газету,— из всех газет в ту пору я заглядывал в нее одну: там печатали всякие затейливые статеечки «На тему морали», рекламу фильмов на предстоящую неделю с пересказом их содержания и заметки «Из зала суда».— Метро у нас строить будут.

— Ну да?! — довольно экспрессивно, должно быть, воскликнул я, с горячностью гончей зарываясь взглядом в мешанину теснящих друг друга заголовков.— Где напечатано?

— Да вон, «Метро в нашем городе», на третьей странице,— сказал отец.

Я увидел. «Метро в нашем городе» стояло жирно над небольшой заметочкой, и там сообщалось, что город наш давно уже задыхается без современного вида транспорта, что терпеть подобное положение дальше нельзя, и принято, наконец, решение о начале изыскательских работ, о подготовке проекта, и возможно, лет через пять-шесть можно будет приступить и к строительству.

— Ну-у, через пять-шесть,— разочарованно протянул я, отбрасывая газету.

— А что же ты думал. Проект сделать, в рабочих чертежах исполнить, да ассигнования получить... да если через шесть лет — так это хорошо,— сказал отец.

— А что, и больше может пройти?

— Спокойно,— сказал отец.— Не знаю я наши сроки, что ли. Десять лет — хочешь? А то и пятнадцать.

Десять? Пятнадцать? Замогильным холодом, зияющим космическим мраком пахнуло на меня от этих цифр. Мне было двадцать с небольшим, и «пятнадцать» — это равнялось едва не всей моей жизни, а она была такой большой, долгой, так далеко отстояли в ней «я», начавший удерживать себя в памяти, и «я» нынешний... Ждать метро еще почти столько же, сколько я уже прожил. И не самого метро, а только начала строительства!

Нет, я не мог ждать.

Может быть, я и не принял бы так близко к сердцу газетное известие, если б не один случай.

По утрам, в час «пик» на остановках трамваев, троллейбусов, автобусов в нашем городе творилось светопреставление. Там натекали

обычно целые людские озера; трамваи, троллейбусы, автобусы подходили один за другим, целыми косяками и вычерпать эти озера никак не могли. Двери у них не закрывались, несмотря на громыхающую ругань водителей в динамиках — потому что на каждой из подножек висело по целой людской грозди; и по целой грозди висело на горбатом троллейбусном загривке с лестницей на крышу, и на трамвайной «колбасе»; и даже на гладком автобусном задке, где вроде совершенно не за что уцепиться, даже там ухитрялись повиснуть два-три пэтэушника.

На трамвайной «колбасе» и троллейбусном загривке ездил неоднократно при нужде и я сам. Ездил себе и ездил, эко дело — на «колбасе», подумаешь, и я думать не думал о транспортных бедах нашего города. И так вот я ехал однажды на «колбасе» — удобно утвердясь на ней обеими ногами,— а рядом со мной, с краю, ехал пожилой мужчина. Двум его ногам места на «колбасе» не было, и он стоял на ней лишь одной, а другую пристроил на каком-то еле заметном выступе трамвайного тела. Мы еще с ним говорили о чем-то, коротая путь, он отнял руку от железного прута, за который держался, чтобы почесать нос, и тут трамвай, как это с ними бывает на поворотах, резко и сильно болтануло. Нога мужчины сорвалась с еле заметного выступа, пальцы второй руки, не очень, видно, крепко сжимавшие прут, разжало, и его, развернув в воздухе, сбросило на соседнюю колею, и страшно заверещавший тормозами встречный трамвай подмял его под себя. А моя рука запомнила судорожное гребущее движение, каким инстинктивно, помимо моей воли, хотела ухватить мужчину, не дать ему упасть, но в горсть ей попал только голый воздух.

— Чего это тебе десять, пятнадцать лет — долго? — спросил отец.— Доживешь, чего тебе это долго. Еще и не старым будешь. Это вот мы с матерью... мы едва ли дотянем.

Отец у меня был человеком весьма несентиментальным, скорее грубоватым даже, что шло, должно быть, от его профессии хирурга, а в его обращении со мной всегда сквозило словно бы некое пренебрежение сильного к слабому.

— При чем здесь это — доживу, не доживу? Разве только в том дело, чтобы самому прокатиться? — сказал я.

— Да? А в чем еще? — спросил отец.

Я не стал отвечать ему. Меня покоробила его интонация. Будто он делал, делал какую-то операцию и вдруг обнаружил что-нибудь вроде второй селезенки или третьей почки: «А это откуда?!»

Но в голове у меня в тот момент уже возник план. Вернее, не возник, а просто я услышал внутри себя словно бы некий хлопок, словно бы несильный, но явственный взрыв,— и сквозь волнующееся дымное облачко его просквозили туманно очертания этого самого плана. Минул день, другой, облачко мало-помалу рассеивалось, и детали того, что оно окутывало, проступили отчетливо и резко.

Я тогда учился в университете, на философском, восстановившись в студентах после своего армейского отсутствия. Но, видимо, каждому овощу свое время, вот и мне приспела пора учить диалектику не только по Гегелю. А если б не так, разве бы отдалась во мне эта новость о метро таким яростным желанием действия, разве бы это желание отлилось в такую конкретную, твердую форму?

Через неделю, уйдя с лекций после второй пары, чтобы был самый разгар дня, полуденная пора, я стоял у парадного подъезда массивного серого здания, за высокими дубовыми дверями которого с подножием из широкой гранитной лестницы скрывалось святилище городской власти. На груди и спине у меня, скрепленные переброшен-

ными через плечи веревками, висело по транспаранту. На одном из них я написал: «Хватит трамвайных жертв!» «Метро нужно городу немедленно!» — было написано на другом.

Вместе со мной на демонстрацию к Дому власти вышло еще пять человек. Оказывается, не одного меня это сообщение о метро тряхануло, как током, оказывается, у многих уже горело, и найти единомышленников не составило большого труда. Двое из этих пятерых были моими товарищами по курсу, так же, кстати, как я, отслужившими недавно срочную в армии; они умудрились раздобыть где-то красной материи, раскроили ее, укрепили на древках и стояли сейчас на нижней ступени лестницы, высоко подняв над головой полотнище: «Оттягивать строительство метро — преступление!»

У стража порядка, вынырнувшего из двери и сбежавшего к нам по лестнице, был совершенно обескураженный вид.

— Чиканулись, ребята? — спросил он.— Я сейчас сообщу, вас заметут, жизни вам больше не будет! Уносите отсюда ноги, пока добром говорю.

Никто из нас не отозвался на его слова. Мы заранее решили поступить именно так. Что попусту тратить силы? Разговаривать мы собирались только с представителями властей.

— Ребята,— сказал страж,— второй и последний раз говорю: смывайтесь добром! Не будет жизни!

Он не особо повысил голос, так, не очень громко сказал, но в толпе, что уже собралась в отдалении на тротуаре, услышали.

— А что ты их стращаешь! — закричали оттуда.— Они что, окна бьют? Стоят себе и стоят! А без метро и так никакой жизни нет, что, не так, что ли?!

— Я предупредил,— сказал страж и пошел быстрым шагом по лестнице вверх.

Он скрылся за высокой тяжелой дверью, и из толпы нам стали советовать:

— Сматывайтесь, ребята! Постояли, и хватит! Вам что, ребята, не жаль себя, что ли?!

Жаль, жаль себя было — ужас как. Страшно было — не описать, потому что будто в пропасть ступил, знал, что в пропасть,— и ступил, и вот завис на мгновение в воздухе — и сейчас грянешь вниз... а и восторг был в этом диком страхе: и гряну!

Из шестерых нас все же осталось четверо. Двое не одолели своего страха, будто переминаясь с ноги на ногу, пряча друг от друга глаза, они отдалились от нас на шаг, другой, третий... и смешались с толпой.

А нас четверых через некоторое время отвезли в отделение, составили протокол о нарушении общественного порядка, и ночь мы провели в камере.

Глухое, смертельное отчаяние навалилось на нас, когда мы оказались в ее каменном мешке. Все наши силы ушли на то, чтобы отстоять свое у Дома власти, перемочь свой страх, не броситься в толпу следом за теми двумя, и на борьбу с отчаянием ничего не осталось, никаких сил. Отсюда, из замкнутого тесного пространства с узким отверстием в мир, забранным решеткой, с пронзительной, вынимающей душу ясностью увиделось то, о чем до нынешнего момента никто из нас не догадывался: жизнь разломилась для нас на ту, что была до, и ту, что настанет отныне. И эта новая жизнь, которой отныне нам предстояло жить, была сплошным мраком, черной неизвестностью, бездонным провалом в кромешную темь...

2

Утром нас выпустили, взяв подписку о невыезде.

Отец, когда я вошел в дом, сидел на табуретке в прихожей. Было похоже, он просидел здесь, ожидая меня, все это время — с той самой поры, как нас привели в отделение и, проверяя сообщенные мною сведения о себе, позвонили по телефону домой. Видимо, он не пошел и в больницу нынче,— хотел дождаться меня. Правая его рука, большая, белая, ухоженная рука хирурга, свисала с колена с каким-то таким видом, будто собиралась сейчас же вкатить мне оплеуху.

Наверное, он и хотел вкатить мне оплеуху. Но удержался.

А вот от крика не удержался. Нет.

— Свистун! — кричал он мне.— Тарахтелка пустая! Да мало ли где кого как задавит! Ко мне привозят: на линолеуме в квартире у себя поскользнулся — и перелом основания черепа! Против производства линолеума теперь выступишь?! А еще один в патрон палец сунул, контакт отжимал, его током трахнуло, еле отходили,— против электричества станешь бороться?!

— Не путай хрен с редькой,— сказал я.

— А их и путать нечего! — немедленно ответил он мне.— Одно другого не слаще! Дело свое нужно делать! Дело! Свое! Ясно? И станет каждый делать свое дело, вот и будет все толком. И метро вовремя, и люди живы! А вот такие, как ты, лезут не в свое дело — и выходит бардак! Бардак, запомни, заруби себе на носу!..

Я ушел из дома. Не знаю, как бы поступил на моем месте другой. Я ушел. После такого я не мог оставаться.

Из университета я не уходил. Оттуда меня вышибли. Как и двух моих товарищей-сокурсников. А четвертый, приятель одного из моих сокурсников, работавший где-то инженером, угодил под срочно разразившееся сокращение штатов.

Урок нам был преподан что надо. Никому я не пожелаю такого урока.

Но произошло необыкновенное.

На что никто из нас не рассчитывал.

О чем мы и думать не думали, потому что, выходя на ту демонстрацию, даже не смели заглядывать вперед: а что будет после? Дальше самой демонстрации мы не загадывали.

Но она, оказывается, явилась тем самым крошечным, малым кристалликом, что, попав в перенасыщенный раствор, вызывает бурную и уже неостановимую реакцию.

Спустя неделю после нашей демонстрации у Дома власти состоялась новая. Ее пресекли точно так же, как и нашу. Но тогда, спустя еще недолгое время, по всему городу появились листовки. Их находили на подоконниках в подъездах домов, на садовых скамейках, в укромных уголках магазинных прилавков. В листовках повторялись все наши лозунги и предлагалось, как там было написано, всем честным гражданам города в ближайшее воскресенье выйти на улицы й прошествовать к Дому власти на митинг, чтобы там потребовать от властей ускорения строительства метро. И еще поползли, переходя из уст в уста, слухи, будто бы все изыскательские работы давным-давно проведены и давно существует даже рабочий проект метро, однако по непонятной причине он положен под сукно и лежит там уже который год, а недавнее сообщение в газете — абсолютно ложное сообщение, и цель его скорее всего — дезориентировать тех, кто о том проекте знал, кто, судя по всему, и вышел на ту, первую демонстрацию...

Слухи эти нас четверых немало повеселили. «Не совсем еще дезориентировался? Понимаешь, что к чему, откуда дети берутся?» —

так примерно шутили мы теперь друг с другом. Мы теперь, все четверо, были постоянно вместе, сняв для житья пустующий дом в пригороде; случившееся спаяло нас, как вольтовой дугой.

«Вольтово братство» — так мы себя и называли. Вообще после той ночи в камере у нас как-то сразу пошли в ход прозвища, и я стал Философом, мои товарищи по курсу, милостиво уступившие мне право зваться им, как мог бы каждый из них, сделались Магистром и Деканом, а четвертый, как единственный среди нас с техническим образованием, он, разумеется, получил прозвище Инженера.

В воскресенье, еще задолго до означенного в листовках времени, мы отправились к Дому власти. И только тут, оказавшись на улицах, прилегающих к площади, на которой стоял массивный серый дом с широкой гранитной лестницей парадного подъезда, мы поняли, какую реакцию запустили. Улицы были полны народа. И все шли только в одну сторону, к площади.

А сама площадь была уже вся запружена толпой, и свободное пространство осталось лишь около массивного серого дома,— потому что вокруг него, на расстоянии метров пятнадцати, стояла цепь солдат. Солдаты были молодые ребята, как сам я год-два назад, и на лицах у них горело выражение опасливого, затаенного любопытства.

Найти бы их, кто это все организовал, переговаривались мы друг с другом. Вместе бы с ними...

Те, кто это организовал, обнаружились полчаса спустя.

Вдруг в одном из концов площади над колышущейся толпой возвысилась человеческая фигура, рассекла воздух митинговым жестом руки, выкрикнула что-то — и вся площадь разом подалась туда, в короткий миг уплотнившись в жаркий, тугой человеческий ком.

Кто не знает этого восхитительного, великолепного единения с тысячной толпой, полного, до последнего атома твоего тела слияния с многоруким, многоглавым ее телом, когда ты сам по себе, как отдельная личность, становишься ничем, перестаешь существовать, сделавшись собственно толпой, ее силой, ее желаниями, ее волей... кому не довелось изведать этого чувства, мне очень жаль того.

Коротко стриженные, гладко выбритые молодые люди с военной выправкой, одетые в гражданское, рвались через толпу к человеку, поднявшемуся на какое-то возвышение, но толпа не пропускала их. Они завязли в толпе, как в топком болоте; били локтями и пинали ногами, но тумаки посыпались и на них — и они увязли.

И тогда кто-то из них выстрелил. Раз. И другой.

Должно быть, он выстрелил в воздух, но когда стреляют так рядом, так близко, то кажется, будто стреляли в тебя. И если не попали сейчас, то следующим выстрелом попадут наверняка.

Дикий, страшный вопль разодрал воздух над площадью. Все разом зашевелились, заворочались, толпа пришла в движение и стала разваливаться, а еще через мгновение все вокруг бежали. И только те, коротко стриженные и одетые в гражданское, бежали к центру толпы, а не от нее, стремясь, должно быть, взять того, стоявшего на возвышении.

Велика сила толпы: захваченный ее инстинктом, бежал и я, растеряв по дороге своих товарищей.

Потом я шел в одиночестве по улице, и меня мял, скручивал мне душу жгутом нестерпимый стыд. Не с площади я должен был бежать, а туда же, куда и эти коротко стриженные, быть вместе с теми, к кому они рвались, присоединиться к ним, разделить их долю...

Кто-то тронул меня сзади за плечо и назвал по имени.

Вздрогнув, я повернулся.

Передо мной стоял крепкий рослый парень, мой сверстник, и я подумал, что если это один из тех, одетых в гражданское, мне с ним не справиться и не убежать от него.

Однако я отозвался на свое имя. Кем бы он ни был, чего уж тут было таиться, раз он знал, кто я.

— У вас взгляд характерный,— сказал он.— С таким прищуром... Я вас по взгляду узнал. Мы вас ищем все это время, никак найти не можем.

Я выжидающе смотрел на него, не отвечая. На этих коротко стриженных он не был похож. Но кто «мы», почему искали, и как он мог узнать меня по взгляду, если мы с ним не знакомы и я вижу его впервые?

— Сегодняшнее — это наша работа,— сказал он, усмехаясь и кивая в сторону площади.— А вы студент, в первой демонстрации участвовали, мы ваши фотографии даже достали, а вас самих — нигде, ни дома, ни на учебе.

— А кто еще был со мной? — недоверчиво спросил я.

Он назвал мне имена всех остальных.

— Это откуда ж у вас такие сведения?

Теперь он засмеялся.

— Думаете, это сложно? Нужно только заняться!..

3

Грузноголового пожилого человека с яркими серыми глазами в зарослях его буйной, вольно растущей седой бороды все называли Волхвом. И для меня он тоже на всю жизнь остался Волхвом, хотя, конечно, никогда я к нему так не обращался.

Вот говорят: поколение романтиков, поколение циников, поколение прагматиков,— я в это не верю. Поколение не бывает монолитно-единым. Просто из-за условий времени на виду бывает какой-то один человеческий тип, а изменится время, и глядишь, поколение делается другим. И никакого тут чуда. Это всплыл на поверхность совсем иной тип. И только. Мой отец и Волхв были людьми одного поколения, но ничего общего между ними не было. Ничего!

Крохотная его бедная комнатушка вмещала в свой коробок диван, несколько стульев, старый овальный стол, служивший ему и для еды и для работы, подпотолочные стеллажи с книгами вдоль одной из стен — и это все.

Будто всего лишь вчера случилась, вижу я ту, первую встречу с ним нашего Вольтова братства.

Он многое тогда объяснил нам. Мы были настоящими слепыми щенками до его рассказа.

Оказывается, наше метро, еще не начавши строиться, уже имело целую историю!

— Сообщение об изыскательских работах — вот,— положил Волхв на стол перед нами изжелтившуюся, ломкую газетную вырезку.— Единственное сообщение в строительной многотиражке. Какой у нее тираж? Неудивительно, что никто не знает. А вот и свидетельство об имеющемся проекте.— Подал он нам лист фотобумаги, и это оказалось фотокопией титульного листа документа, который имел название: «Смета на строительно-монтажные работы по сооружению метрополитена в городе...», и в числе прочих — ясно и четко выведенную подпись нынешнего главы города.— Не было бы проекта, не было бы, разумеется, и сметы,— сказал Волхв.— Но есть и другие свидетельства. Вот такое, между прочим,— он достал из папки захрустевший под его руками лист белейшей лощеной бумаги, развернул его — это был ответ городского отделения Стройбанка на обращение граж-

данина такого-то, то есть самого Волхва,— в котором Стройбанк сообщал, что финансирование работ по строительству метрополитена прекращено в связи со специальным постановлением городских властей.

Он имел их целую кипу, таких вот официальных бумаг. И в большинстве их сообщалось одно и то же: да, метро городу безусловно необходимо, но вопрос о нем находится пока на стадии обсуждения,— и так уже чуть ли не десять лет все минувшие годы. Они были похожи друг на друга, как дождевые капли, все эти ответы. Отправленные из разных мест, истинное свое рождение они все получали в каком-то одном месте.

И наверное, если бы не сумасшедшее упорство, с которым Волхв продолжал стучаться во все ответственные двери, напоминая о давнем сообщении неведомой никому многотиражной газеты, так бы вся эта история со строительством метро и легла на дно леты каменным грузом, исчезла навсегда под ее темными водами, будто ее и не было. Но, видимо, его сумасшедшее упорство и впрямь показалось кому-то маниакальным, и после очередной его беседы в высоком кабинете было решено покончить с ним наконец раз и навсегда, опубликовав ту самую десятилетней давности информацию о метро из многотиражки в газете большой. Должно быть, человеку из высокого кабинета помнилось это очень удачным и полным иронии ходом: жаждете широкой информации? Вот она! А то, что она лишь повторяет ту, прежнюю,— что ж такого! Вы хотели — и получили! Чем владеем, то и даем!

Но это-то Волхву и было нужно. Эффект, которого он ждал от публикации подобного сообщения, оказался именно таким, на какой он и надеялся. Единственно, чего он не знал, какова она будет, реальная форма действий. И уж тем более не знал, что за люди предпримут их.

— Но почему все-таки,— спросил я,— было принято постановление о прекращении работ?

В ярких серых глазах Волхва загорелся черный огонь.

— Я очень долго задавался этим вопросом, молодой человек. Пытался понять: может быть, какие-нибудь ошибки в проекте, нехватка средств... Но об этом никто никогда, ни в одном ответе даже не помянул. Хотя, казалось бы, чего проще: вот причина, и вали на нее. А потом, наконец, до меня дошло: оно им просто не нужно, метро. Вот он, ответ: просто не нужно! Они ведь не ездят трамваем. Ни трамваем, ни троллейбусом, ни автобусом. Они персоналками ездят. На мягких сиденьях. Так зачем им метро? Такое строительство, такие заботы, такой хомут на шею... Зачем?!

— Логично,— сказал Магистр.— И убедительно. Я лично другого объяснения тоже не вижу.

Черный огонь в ярких глазах Волхва обжигал почти физическим жаром.

— Мы должны взять ситуацию в свои руки,— медленно, внушающе, по очереди оглядев нас всех, проговорил он.— Если мы не сделаем этого, не видеть городу никакого метро. Ни через пять лет, ни через пятьдесят. Наша задача сейчас — раскачать народ. А люди к тому готовы. Каждый приходит в этот мир, чтобы совершить в нем что-то. Кому выпадает маленькое дело, кому большое. Нам выпало большое. Возможно, оно потребует от нас всей нашей жизни. И что ж?! Если это действительно Дело, оно стоит того, чтобы положить на него жизнь.

Такими они были, интонации его голоса, что когда он произнес «Дело», не возникло никакой необходимости добавить сакраментальное: «С большой буквы». Он сказал: «Если это действительно Дело»,— и слово это так и возвысилось над другими.

— Сейчас самое важное, чтоб они признали: существует проект! — с яростью выкрикнул Рослый — тот самый парень, что опознал меня на улице в день митинга. Крепкий и рослый, отметило тогда мое сознание, лихорадочно решая, как быть, как вести себя, если он из тех, коротко стриженных, и второе из этих двух слов, которыми я подумал о будущем своем самом ближайшем друге, срослось с ним навсегда.— Сумеем вынудить их признаться — заставим их в конце концов и начать строительство.

— Ничего подобного,— сказал Волхв.— Раз они не хотят строить, они будут кормить нас одними обещаниями... и ничего, кроме обещаний! Вынудить их признаться — что да, есть проект,— это сейчас, конечно, важнее всего. Но потом... получить его — и начать строить самим, без всякого их благословения. Разжечь в народе энтузиазм, увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками... кем там еще? Люди пойдут за нами, уверен!

Увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками... Как он умел говорить! Какой силой, какой мощью веяло от его слов!

— Но как это сделать, чтобы они признались в существовании проекта? — возбужденно спросил Декан. Его лежащие на столе руки, казалось, дрожали от еле сдерживаемого желания действия.

— Заставить! — сжав кулак, выбросил его перед собой Волхв. И снова по очереди оглядел нас всех.— Другого способа нет. Только заставить!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Утро занималось туманное, сизое — холодное, мозглое утро осеннего дня,— но ударило солнце, и туман засквозил охрой, и отжившая свой срок, умершая листва деревьев радостно засветилась желтым, влажно заиграла трепещущей своей ячеей, уже основательно прореженной ночными ветрами.

Я стоял на краю котлована, распахнутое земное нутро щерилось вблизи рыжими прутьями арматуры, лохматыми досками опалубки, уже отлитыми бетонными ребрами стенок и перемычек, а за пределами пятнадцати — двадцати метров все утопало в этом огненно-сизом тумане, будто котлован был беспределен, уходил в бесконечность; и не было видно его дна. Там, в глубине, куда не доставали солнечные лучи, клубилась одна сырая холодная хмарь, и казалось, что земное нутро и в самом деле вспорото до самого чрева.

Метро строилось! Несмотря ни на что. Метро выгрызало себе в земле необходимые ему пространства, оно уже ушло внутрь ее со дна котлована наклонной узкой шахтой до половины проектной глубины! Три полных года отделяли нас от той поры, когда началась битва за него. Глядя со стороны, может быть, мы сделали совсем немного. Но на самом-то деле фантастически много было сделано. Оно строилось! Строилось! Несмотря на то, что власти по-прежнему не хотели того, а уж как они не хотели тогда! Но когда вулкан разбужен, сколько ни заливай ему жерло глиной, лаву не удержишь...

Меня окликнули.

Это был Декан.

— Вот ты где,— сказал он, подходя.— Проверяешь с утра пораньше, на месте ли котлован?

Это у нас была такая подначивающая манера разговора. С той еще поры, когда мы волею обстоятельств слепились в наше Вольтово братство.

— Любуюсь, сэр,— отозвался я в тон ему.— Красавец какой — гляжу не нагляжусь.

— Сходил бы ты лучше, брат, на охоту, подстрелил пожевать чего-нибудь,—потянулся, зевнул Декан. Вчера, как и обычно, легли мы поздно, ему наших обычных шести часов для сна не хватало, и с утра он ходил вялый.— Батя там к тебе приехал. На машине на своей, на дороге там у крайнего вагончика ждет.

— А ты чаечек поставь, если еще не поставлен,— обрадованно хлопнул я его по плечу.— Горяченький сейчас с домашней печенушкой попьем!

Отец ходил по обочине дороги около машины туда-сюда и, увидев меня, кинулся было ко мне в расчавканную грязь, но он был в ботинках и, дернувшись, остановился.

— Привет! — замахал он мне рукой.

Он очень изменился в своем поведении со мной. Первые признаки этого изменения появились тогда, когда наши имена стали известны всему городу, каждому человеку, разве что исключая младенцев, а уж потом, когда мы принудили власти считаться с нами, он сделался со мной вообще другим. Разговаривая со мной, он теперь постоянно жестикулировал, и движения его рук при этом были как-то неприятно суетливы и дерганны. Будто он чувствовал себя со мной неловко и старался скрыть свою неловкость от самого себя этой жестикуляцией.

Как и предполагал Декан, отец привез мне домашней стряпни. Мать испекла пирог с мясом, пирог с луком, пирог с яблоками и еще всякие сладкие булочки и печенье.

— Что-то совсем уже давно не появлялся,— сказал он, впрочем, не особо укоряющим тоном.— В самом деле, что ли, так некогда?

— Отец, спать времени нет,— сказал я, вспоминая зевающего Декана.

Мы все — и Волхв, и Рослый, и наше Вольтово братство, и остальные два десятка человек, что составили в свою пору ядро дружины, бившейся за метро,— мы все жили прямо здесь, на строительной площадке, не покидая ее практически уже несколько месяцев. Никто от нас не требовал этого, но это было делом принципа. Власти лишь дали согласие на строительство, но не более. Ни куба бетона не выделялось для стройки, ни грамма металла, ни единого метра леса. Все существовало на голом энтузиазме. Школьники собирали металлолом, металлурги ухитрялись дать лишнюю плавку, ремонтники в сверхурочную смену ремонтировали разливочные ковши — никто, естественно, не получая за свой труд ни копейки,— и так у нас появлялся металл для арматуры и тюбингов, чтобы крепить туннельные своды. И так у нас появлялся бетон, и так появлялся лес для опалубки; и катушки с кабелем, что ждали своего часа на краю котлована, появились здесь таким же образом. Нанимать рабочих у стройки не было права, да и нечем было бы платить им, и копать котлован, пробивать штольню, бетонировать, плотничать, таскать носилки, катать тачки с землей люди приходили в счет своих выходных, в счет отгулов, отпусков... А жертвуя сами, они должны были видеть, что кто-то жертвует больше них. И кто, как не мы, обязаны были сделать это. Для нас не могло остаться в жизни за пределами стройки ничего. Ничего абсолютно. Все в стройке, вся жизнь. Метро придется строить долго, многие годы, энтузиазму, чтобы не выдохнуться, необходимо топливо, необходим постоянный пример еще большего энтузиазма,— и тогда люди все сдюжат, все вынесут на своих плечах.

— В городе только и разговоров что о вашем метро,— сказал отец.

— Ну, это понятно.

— За границей о вас пишут. Мне вот один наш врач, зная, что ты мой сын, газету тут на днях передал. Хочешь глянуть?

Он достал из кармана газету и развернул ее на нужной странице. В заголовке, крупно набранном чужими буквами, я сумел прочитать только одно слово: «метрополитен».

— Переведи,— попросил я.

Сам я так и не знал никакого языка, кроме родного. Некогда было выучить. Не успел.

Отец перевел мне заметку, и я спрятал газету за пазуху, под ватник. Товарищам моим будет приятно подержать ее в руках, найти свои фамилии в тексте. А Волхв, кстати, и переведет для них заметку заново.

— Ну, давай, сын,— потянулся обняться со мной на прощание отец. Обнял и, похлопывая по спине, сказал: — Вы молодцы, молодцы... Нужное дело делаете, вам это зачтется.

Чайник, когда я пришел в наш вагончик, уже вскипел, и у стола было полно. На пироги прибежали все до одного, кто жил тут на стройке. И от того, что я принес, в мгновение ока не осталось и крошки. Все имевшиеся у нас деньги давно кончились, закупать продукты нам было не на что, мы перебивались тем, что приносили с собой для общего котла, приходя на стройку, все прочие люди, и оттого были в общем-то постоянно полуголодны.

Потом Волхв перевел вслух заметку из принесенной мною газеты, мы немного пообсуждали ее, и подошло время идти в котлован. Туман начал рассеиваться, воздух опрозрачнел, и из окна вагончика было видно, что на площадке на краю котлована уже толпилось человек сорок, прибывших сегодня на работу из города.

2

Днем, незадолго перед обеденной порой, когда я был в шахте, ставил, отбивая руки кувалдой, крепь в только что отвоеванном у земли куске туннеля, меня вызвали наверх.

На том же самом месте, где утром стояла подбористая машина отца, чернели сейчас три большие осадистые зверюги, в каких ездили руководители города. Около вагончиков, зорко простреливая глазами свободное пространство вокруг них, бродило несколько молодых людей с военной выправкой.

Воды ни в одном из рукомойников не было. Ее всю израсходовали утром, а новую еще не подвезли, и мне с Магистром и Рослым, тоже работавшими под землей, побренчав сосками, пришлось пойти на встречу в том виде, в каком мы поднялись,— с грязными руками и перемазанными лицами.

Делегацию Дома власти возглавлял сам глава города. Вместе с ним приехало еще четверо.

Ответно, с нашей стороны, Волхв выставил тоже пятерых.

— Что? Все? — недовольно спросил глава города, когда мы трое вошли в вагончик.

Остальные руководители потянулись к нам было здороваться, но

подать наши грязные руки мы им не могли и ответили лишь демонстрацией своих лапищ.

Мы сели к столу, и глава города, пристукнув крупными толстыми пальцами, сказал все тем же недовольным голосом:

— Давайте сразу к сути. У нас еще важных дел полно. Доложи,— кивнул он одному из приехавших с ним.

Руководители города прибыли к нам с ультиматумом. Отныне, заявили они, пятьдесят процентов того, что производится из сэкономленного, выгаданного, сверхурочного, будет у нас изыматься. Металл, цемент, лес...

— Это будет по справедливости,— не давая никому из нас возразить, сказал глава города, едва тот, что предъявлял нам ультиматум, умолк.— Оказывается, у нашей промышленности громадные резервы. Вы их вскрыли. За это вам спасибо. Но откуда у вас сырье, за исключением металлолома? На чьем оборудовании тот же цемент производится? То-то и оно! Пятьдесят процентов — это еще по-божески.

Рослый не выдержал и ворвался в речь главы города, перекрыв его голос своим:

— Даете вы, а! Да совесть у вас есть? Мало того, что палец о палец для метро не ударили, на чужой хребтине едете, так вы тут еще и урвать хотите! Не сеяли, не жали, а ложку приготовили!

— Ну, это вы позвольте! Это вы позвольте! — все повторял, пока Рослый говорил, пытаясь остановить его, один из приехавших с главой города. И когда Рослый умолк, прокричал: — Это как это пальцем о палец не ударили? Это вы позвольте! А откуда вы электроэнергию берете? Из атмосферы? Ничего подобного, из городской сети!

Магистр, невозмутимо-спокойный обычно, словно бы даже замкнуто-высокомерный, сидел с иронической, веселой усмешкой на губах.

— То, что вы собираетесь сделать,— сказал он своим внятным, ясным голосом,— называется на вашем же кабинетном языке «перекрыть кислород». Попросту удушить. Забава, достойная палача. Не мытьем, решили, так катаньем?

— Слушайте! — обращаясь к главе города, преданно ища глазами его глаза, возмущенно воскликнул тот, что предъявлял ультиматум.— Слушайте, ведь они нас оскорбляют! Забава палача, видите ли!

Глава города дал ему заглянуть себе в глаза и перевел взгляд на Магистра.

— А хоть и катаньем! — сказал он.— Именно катаньем, очень верно. Потому что никакое метро нашему городу не нужно. Во всяком случае, сейчас и в обозримом будущем. Хотите строить — ну, стройте! А уж каким образом будете строить — полностью ваше дело. Наше — наше, а ваше — ваше. Пятьдесят процентов — это по-божески.

— Если вы так считаете, что метро не нужно, зачем же давали тогда сообщение в газете? — спросил я.

— Вот и плохо, что дали,— бесстрастно отозвался глава города.

— Но почему-то же дали? — снова спросил я.

— Почему-то дали,— бесстрастным эхом откликнулся глава города.

— Так почему?

— Давайте без ненужных дискуссий,— больше не удостаивая меня ответом, сказал глава города.— Вскрылись громадные производственные резервы, и мы не можем, чтобы они пропадали впустую. Решение наше окончательное и обсуждению не подлежит.

Волхв, сидевший всю эту пору молча, рассмеялся.

— Ай-я-яй! — сказал он.— Эк вы блефуете: на руках шестерка, а пытаетесь сдать за туза. Никакое ваше решение не окончательное, вы вынуждены считаться с нами, оттого и приехали. Оттого и таким вот обширным составом,— повел он руками вдоль их ряда напротив нас.— Тактика запугивания? Странно. Вы же знаете, что вам это не удастся. Впрочем, еще и прискорбно. Не хочется вам строить метро! Никак не хочется! Ладно, устранились. Нашлись люди, которые взвалили на себя это дело. Так отойдите в сторону, палки-то в колеса зачем же вставлять?

Волхв умолк, и глава города, не помешавший его речи ни единым словом, ни единым движением, сказал, морщась, будто от кислого:

— Дебаты все снова навязываете. Не будет вам никаких дебатов. Не согласитесь на отчисления, мы найдем способы вас заставить.

— Ту же электроэнергию — возьмем и отключим,— вставился один из приехавших с ним, до этого момента не произнесший ни звука.

— Да, ту же электроэнергию,— подтвердил глава города.— Много способов, о чем говорить.

Рослый изо всей силы ударил кулаком по столу:

— Монстры! Вы ж монстры! Сосете кровь, и все вам мало: вот бы еще одну жилку перекусить!

— Ну, это вы позвольте! — закричал тот, что уже говорил эту фразу.— Это вы позвольте!

— Да ведь они же нас оскорбляют! — воскликнул и тот, что уже восклицал так, и снова с преданностью ища глаза главы города.

— Они будут думать,— поднимаясь, проговорил глава города.— Такие дела с бухты-барахты не делаются. Подумайте,— поглядел он на Волхва.— Хорошенько подумайте.

Они ушли, профырчали моторами, бешено прокрутились колесами, трогаясь с места, и их черные лакированные зверюги укатили, а мы вернулись от оконец вагончика к столу, обменялись мнениями и решили безоговорочно: нет, никаких уступок, этого только не хватало! И еще решили: об ультиматуме должны узнать все. Прямо сейчас. Чтобы разъярились. Пусть тогда попробуют свои способы... перед яростью все бессильно, пусть попробуют!

3

Вечером я не пошел на наше ежедневное заполночное бдение над инженерной документацией,— я гулял с Веточкой.

— Я соскучилась по вас,— сказала она, вызвав меня из вагончика, глядя мне в глаза с лукавым своим жадным сиянием.

Мы виделись с нею два дня назад, когда она, пропуская занятия в институте, работала на стройке; снова прийти работать собиралась только через неделю, и через неделю мы должны были свидеться.

— Я соскучилась,— повторила она с требовательной лукавой покорностью, и попробовал бы кто отказать ей в ее желании, а мне и не нужно было отказывать, я сходил с ума уже от одного лишь сознания того, что увижу ее только через неделю.

Я сходил с ума от ее глаз, от ее радостной открытой улыбки, от того, какая она тоненькая, хрупенькая — впрямь веточка,— но с характером при этом — ого: решительным и твердым, как сталь.

— Ну? Рассказывайте,— сказала она, искоса снизу заглядывая мне в лицо.— Что сделали за это время? Какие новости?

Она обращалась ко мне на «вы». Мне уже было двадцать пять, а она лишь недавно окончила школу, ей только подходило к восемнадцати, и я казался ей ужасно взрослым.

— Ага. Так вот прямо взять и рассказывать. Все равно как с трибуны.

— Ой, мне хочется послушать вас. Мне так нравится, когда вы говорите,— сказала она.

Боже, кто б устоял перед нею! А может, и устоял бы? И дело было просто в том, что нашим душам изначально было уготовано потянуться друг к другу при встрече, ей — открыться мне с этой вот безоглядной светящейся прямотой, а мне — не устоять?..

Я рассказывал ей о сегодняшнем приезде городских властей, об их ультиматуме и нашем решении, рассказывал, как мы боролись сегодня с водяной линзой, на которую наткнулись при проходке шахты, она слушала, время от времени заглядывая мне в лицо обжигающим своим сиянием, мы шли по тускло освещенным ночным улицам неизвестно куда, сворачивали, возвращались обратно, снова поворачивали, и порой я замечал, как она, переступив ногами, приноравливает свой шаг к моему.

Мелкий, крапчатый осенний дождичек высеялся из ночного небесного мрака. Покалывало водяной взвесью лицо, попадало на руки, за шиворот.

Зонта у нас не было, и мы зашли в подъезд какого-то дома. Желто светили лестничные лампочки, стены были исписаны и искорябаны всякими надписями, около бачка для пищевых отходов между маршами громоздилась целая куча мусора.

— Ой, ну почему это у нас везде так,— с улыбкой неловкости, будто это был ее дом, кивнула Веточка на ходу в сторону кучи. Мы хотели остановиться тут, на этой площадке, но из-за мусора пошли дальше, наверх.— И у нас в подъезде то же самое. Словно бы людям все равно, как они живут.

— Построим метро — и все везде станет иначе,— сказал я.

— Да? — удивилась она.— Какая же тут связь?

— Такая же, как между этим мусором и нынешним кошмаром в автобусах и трамваях.

— Да-а? — снова непонимающе протянула она.

Мы поднялись на следующую площадку между маршами, здесь только что-то хрустело под ногами, вроде осыпавшейся штукатурки, но в остальном было чисто, и мы здесь остановились.

— Это общая атмосфера,— сказал я.— Ее действие. Понимаешь? Если скверно там, будет скверно и тут. Человек не может быть безнравствен в одном месте и нравствен в другом. Если он лезет по головам в трамвае, спеша на работу, дома у себя он будет валить мусор, куда угодно. Это закон. И когда мы построим метро, где будет чисто, светло, красиво, никакой давки и тесноты, тепло зимою и летом, а поезда будут ходить как часы, будет царствовать порядок, скорость и комфорт — это тотчас отзовется на всей жизни. Человек не может быть одним здесь и другим там.

И еще и еще говорил я ей о том, как изменится жизнь с появлением метро, насколько она станет чище, светлее, нравственнее,— я мог говорить об этом сколько угодно. Впрочем, заговорив об этом, я уже не мог остановиться...

Мы простояли в подъезде часа два. Дождь кончился, я проводил ее до дому и побежал к себе в вагончик на стройку. «Побежал, убегаю»,— говорят иногда про себя, имея в виду, что торопятся, спешат, но я именно бежал. Я не мог просто идти, пусть и быстро, меня распирала жажда движения, я чувствовал себя сильным, здоровым, счастливым, просто идти — этого было мне мало.

Ночь стояла вокруг, черны были окна домов, пустынны улицы, и я бежал, мерно работая ногами и руками, ногами и руками, они ходили у меня взад-вперед, взад-вперед, как шатуны, я бежал и думал о том, что мы построим метро, построим, чего бы нам это ни стоило! Я женюсь на Веточке, и мы построим его, построим! Как бы власти ни мешали нам. Мы построим чудесное, красивое метро, и Веточка родит мне детей, мальчика и девочку, а может быть, троих, четверых! Ни в одном городе мира не будет такого метро, как у нас, такого светлого, великолепного, праздничного! Да, нам нужно метро не просто как транспорт, а как дворец, как храм, чтобы он стал символом высоты нашего духа, его величия, его мощи, неукротимости! И мы будем приходить с Веточкой и нашими подрастающими детьми в подземные прекрасные залы, и будем любоваться ими, и будем рассказывать детям, как все начиналось и как трудно было, но мы все одолели, все пересилили — и вот вы теперь имеете это!

Как жаль мне тех, кто не испытал в молодости подобных чувств. Как жаль!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Молодых людей с одинаково настороженными, нервно-внимательными глазами и военной выправкой мы заметили около стройки дня через три, как был окончательно отвергнут ультиматум властей. Уже стояла зима, земля была укрыта снегом, и их черные праздношатающиеся фигуры на белом снежном фоне так и бросались в глаза. Ни с кем из нас они не заговаривали, стояли на своих обусловленных местах или фланировали по намеченному маршруту и, если приходилось столкнуться нос к носу, только молчаливо и бегло улыбались, откровенно, в упор разглядывая тебя, будто ты был насекомым, чья участь — сидеть на булавке — предрешена, и дело лишь за временем.

— Какого дьявола! — кипел Рослый.— Что они шляются! Мы тут работаем, а они — как надзиратели. Начистить им морды и пустить отсюда затылком вперед!

— Зачем? — Магистр со спокойной улыбкой пожимал плечами.— Трутся около нас и пусть трутся, пока не мешают.

Волхв кивал согласно.

— Именно, именно. Пусть трутся. Очень может быть, на то они и рассчитывают — спровоцировать нас. Очень может быть. Не обращать на них никакого внимания — лучше всего.

Что-то готовилось — это мы понимали, но что?

На стройке между тем все шло своим чередом; прибывали машины с металлом, машины с лесом, машины с бетоном, привезли в разобранном виде еще один проходческий щит, завершалось строительство надземного здания метро, наклонный ствол был пробит, и проходчики начали выбирать первые кубометры породы, чтобы вести горизонтальный туннель. Подступал Новый год, заворачивали морозы, снег лежал вокруг пушистыми метровыми сугробами.

Тут-то, под Новый год, и началось.

Людей, приходивших на стройку, одного за другим, одного за другим, день ото дня все больше, стали увольнять с работы. Того по причине пенсионного возраста, другого по сокращению штатов, третьего — вкатив ему за несколько дней чуть не десяток выговоров по разным поводам... Да когда нужно уволить, всегда найдется для того способ.

Их увольняли — и не брали нигде в другом месте. И это при том,

что повсюду на досках висели отпечатанные в типографиях объявления: «Требуются... требуются... требуются...»

Было яснее ясного, что подобное скоро произойдет и у студентов. Никто из них просто не сдаст подступающую сессию, и все будут отчислены. А на работу никуда не устроятся...

Ловко было придумано все это. Умно и ловко. Не мытьем, так катаньем — в самом деле.

Зачем отключать электроэнергию, чинить всякие другие мелкие помехи? Лишить людей куска хлеба — и сыграть на этом, вот ход! Энтузиазм энтузиазмом, а есть нужно каждый день, и что останется от твоего энтузиазма, когда тебе нечего станет есть? Ко всему тому голод замутняет разум, и, поманив запахом пищи, голодного можно подтолкнуть на что угодно. Идя на запах пищи, голодный на своем пути будет готов сокрушить все, даже то, что собственными руками строил вчера.

И если допустить даже, что все эти многие сотни людей присоединятся к нам, живущим здесь, на стройплощадке, и сделают метро, как и мы, тем единственным делом, которым они отныне будут жить, сделают метро своей жизнью,— как нам всем прокормиться? Что говорить, так, как кормились мы до сих пор, прокормиться двум с половиной десяткам человек,— это возможно. Но прокормиться таким же образом двум с половиной тысячам — нереально.

Нужно было что-то предпринимать...

2

Наш ответный удар был нанесен три дня спустя.

Моей группе было выделено три легковые машины, одну из них я добыл сам, взяв у отца.

Мы прибыли к булочной минут за пять до закрытия. По разработанному заранее плану в магазины нужно было войти перед самым концом их работы, дождаться, когда уйдут все покупатели, и после этого уже приступить к операции. В эту пору все подсобки с товарами еще открыты и еще не включена сигнализация, а деньги, как правило сданы инкассаторам, и никто с улицы не должен нам помешать.

— А вы там что ковыряетесь, эй! — крикнула кассирша, выбираясь из деревянного загончика кассы на волю.— Время уже, все, уйду сейчас — не оплатите!

Уборщица в синем халате, лязгнув щеколдой, выпустила в дверь последнего покупателя.

— Начали! — дал я команду.

Трое из группы тотчас рванулись к двери — оттеснить от нее уборщицу и встать там на страже, а я и другие трое бросились в подсобное помещение — перекрыть рабочий вход и собрать всех магазинных работников в одном месте.

Не очень весело все это было, хотя, конечно, со стороны выглядело довольно комично. Кассирша решила, что ее собираются грабить, и, забыв о том, что денег у нее в кассе три с половиной копейки, рвалась обратно в свой дощатый загон, чтобы нажать сигнальную кнопку, ее не пускали туда, подхватив вдвоем под руки, а она все рвалась. Уборщица, наоборот, попыталась выскочить на улицу, и пришлось втаскивать ее обратно, она раскорячилась в открытых дверях, вцепилась в косяк и все приговаривала с ужасом: «Я ж старая!.. Старая!.. Старая я ведь!..»

Мы перекидали хлеб с лотков в привезенные с собой чистые мешки, взяли десяток деревянных поддонов с кульками сахарного песка, набили пару мешков сухарями вперемешку с конфетами, и когда все

это было загружено в машины, я написал директорше бумагу, короткий текст которой мы во главе с Волхвом отработали накануне до последнего слова: «Реквизировано силой в пользу строителей метро, лишенных властями средств к существованию...» Дальше шел полный перечень реквизированных продуктов, моя подпись — «От имени Инициативной группы» — и дата.

— Что мне с ней делать, с этой бумажкой? — закричала директорша, когда я отдал ей лист.— Вы, что ли, материально ответственное лицо? Пропади оно пропадом, ваше метро!

Я не стал ничего отвечать ей. На улице уже пофуркивали моторами готовые уезжать машины, и мне нужно было спешить.

В тот вечер мы «взяли» четыре магазина. Кроме булочной,— два продуктовых и один промтоварный. Для продуктовых, чтобы погрузить все эти мясные туши, коробки с маслом, ящики с крупами, понадобились грузовые машины, и пришлось угнать два пустых грузовика, неосторожно оставленных какими-то водителями на улице без присмотра. В промтоварном нам нужны были самые обиходные вещи — мыло, одеколон, полотенца, материя для тряпок, некоторая хозяйственная утварь,— и там мы обошлись, как и в булочной, лишь легковыми автомобилями.

...Мы еще не успели перетаскать с улицы в надземное здание метро добытые продукты и вещи,— на дороге за вагончиками проревели, подкатывая, засветили фарами, выедая тьму, мощные тягачи, смолкли, и из их кузовов посыпались на землю одна за другой, взметывая длинные полы шинелей, темные фигуры. В правой руке на отлете каждая из них держала тонконосый, длиннотелый предмет и както не сразу, не вдруг до нас до всех дошло, что предмет этот — автомат.

Не более чем через пять минут вся территория стройки была взята в оцепление. Мы ждали, бросив свою работу, что будет дальше, но дальше ничего не последовало.

Однако некоторое время спустя, когда все наконец было перетаскано под крышу и те, кто принимал участие в нынешней операции, но не жил на стройке, попытались выйти наружу, чтобы ехать домой, солдаты их не выпустили. «Стой, не подходи! Стрелять буду!» — звучали то тут, то там команды, и в чистом, морозном ночном воздухе сухо и страшно клацали передергиваемые затворы.

3

Утром солдаты не пропустили за свою цепь ни одного человека, приехавшего на стройку. Многие из тех, что лишились работы, перестали ходить к нам, но большинство все же ходило, и снаружи, за линией оцепления, собралась целая толпа.

Мы со своей стороны решили жить так, словно ничего не произошло, и после завтрака все, кто находился внутри оцепления, пообычному спустились в шахту. Наверху осталось только несколько человек. Остался наверху и я. Хотя мы и решили жить, не обращая внимания на цепь солдат, события каким-то образом должны были развиваться...

Они не замедлили с развитием.

Подкатили две черные машины, прохлопали дверцами, и по снежной укатанной дороге, беспрепятственно миновав оцепление, пошли к вагончикам трое мужчин, с неспешной солидной грузноватостью, в добротных, толстого дорогого материала пальто с широкими, серебристо играющими на солнце воротниками из редкого меха.

Все трое приезжали к нам в прошлый раз, сопровождая главу города.

— Бандитизмом занялись? — не дожидаясь, когда мы рассядемся за столом напротив, с властно-суровым выражением лица, в упор глядя на Волхва, сказал тот, что зачитывал в прошлый раз ультиматум. Видимо, он был нынче старшим.

Волхв выдержал паузу, так же в упор глядя ему в глаза, потом сказал:

— Всякое действие вызывает противодействие. С какой силой вы будете давить на нас, с такой же силой мы и ответим вам.

— Не позволим! — Ухмылка, вдруг прозмеившаяся по губам этого старшего, была какой-то сардонически-плотоядной. Словно б мы все, незнаемо для нас, были со всеми своими потрохами у него в руках, нет, не в руках даже, а в зубах, как мышь у кошки, и это только нам представлялось, что мы можем в любой момент, чуть лишь зубы приразомкнутся, убежать, но он-то, державший нас в зубах, прекрасно знал, что никакой возможности убежать у нас нет.

— А мы и не будем спрашивать вашего позволения,— спокойно, не обратив ни малейшего внимания на сардоническую ухмылку представителя властей, сказал Волхв.— Вы решили оставить людей без куска хлеба — мы решили дать им его. Только и всего.

— А мы,— сделав ударение на «мы», вновь каменея лицом, ответил тот,— не позволим вам дать его. Никто к вам сюда не пройдет. Для чего, вы думаете, оцепление? Вас охранять? Еще не хватало! Никого к вам не пропустить, вот для чего. Сидите здесь со своими запасами. Ешьте вволю. Надолго хватит!

— Ах, суки! — ругнулся Рослый.

Он только выговорил вслух то, что каждый из нас тем или другим словом проговорил про себя.

— Ну,— вновь выдержав паузу, произнес Волхв,— и что дальше? Мы, в свою очередь, тоже что-нибудь придумаем ответное. Так, значит, и будем заниматься перетягиванием каната?

— Ничего подобного,— сказал все тот же, что был старшим.— Никто вам такой возможности не предоставит. Соглашаетесь на прежнее наше условие — и конфликт исчерпан. Все будут восстановлены на работе, а о вашем бандитизме забыто. Если не соглашаетесь... Во-первых, значит, никого к вам не пропускаем, а во-вторых, не пропускаем транспорт с грузами. Ни сейчас, ни потом. Вообще не пропускаем. Чем хотите, тем и крепите. Чем хотите, тем и бетонируйте.

— Ах, суки! — снова выговорил Рослый.

И снова это было сказано за всех нас.

— Вот вам для первого размышления,— как и в прошлый раз, будто не заметив оскорбления, поднимаясь, сказал представитель властей.— Подумайте, крепко подумайте.

Провожать их никто из нас не пошел. Никто из нас даже не поднялся из-за стола. И когда дверь вагончика захлопнулась, все так и остались сидеть, и все молчали,— что-то невыясненное словно бы висело в воздухе, недоумение какое-то, какой-то вопрос...

Магистр первый сумел нащупать его.

— Странно...— произнес он.

— Что странно? — тут же отозвался Волхв.

— То, что все их санкции не затрагивают нас. Никоим образом. Ведь, казалось бы, можно прижучить и нас каким-то образом, но нет...

— Подвоз материалов они нам блокируют,— сказал Декан,— это что, не против нас санкции?

Магистр отрицательно покачал головой.

— Это все средства давления. Я о другом: чего бы, казалось, им не проучить нас как следует? Чтобы мы на своей шкуре почувствовали: с вами не шутки шутят! Скажем, арестовать нас. Ну, не всех, но пятерых, шестерых, десятерых, наконец... нет, не прибегают к такому! Только давят на нас и все, гнут, но не ломают.

— Ты прав, прав,— проговорил Инженер.— Жмут, но всегда словно с таким расчетом, чтобы не пережать.

«Но не ломают»,— сказал Магистр,— и будто рвануло туманную завесу у меня перед глазами, она поползла, полезла клочьями, разваливаясь. «Чтобы не пережать»,— сказал Магистр,— и туман истаял вконец, исчез, и будто в бездну я глянул.

Вся история нашей борьбы за метро развернулась передо мной — от первой той давней демонстрации перед Домом власти до нынешнего визита этих трех его обитателей,— и я увидел ее изнанку.

Ведь мы же все были в ней марионетками, вот что! Все, включая и Волхва! Да нами же искусно и ловко манипулировали, а мы и не догадывались о том. Мы думали, что мы сами по себе, мы полагали, что мы в дичайшей борьбе и судорожном напряжении сил заставили власти отступить, поддаться нашему напору, а это все заранее было спланировано, рассчитано, заброшен крючок — и мы на него попались, проглотили его и не заметили того. Все, начиная с той газетной публикации о метро, было сделано не случайно, все нарочно было сделано, для затравки. Волхв ошибся, посчитав, что властям не нужно метро и оттого они положили его проект под сукно. Ничего подобного! Оно было им нужно. Но они решили построить его задарма. Без затрат. Мы с самого начала были только марионетками, кукловоды дергали нас за ту ниточку, за какую им нужно было, а мы послушно отзывались необходимым действием...

— Не-ет...— сказал Волхв, когда, сбиваясь, перескакивая с одного на другое, чувствуя, как бешено стучит сердце, сам страшась того, что говорю, раскрылся я в своем озарении.— Не-ет, это чепуха...

Но в голосе его, отчаянно утаиваемая, билась, как жилка на виске, неуверенность, и был его голос странно жалобен — Волхв будто просил пощады, просил меня взять мои слова обратно, перечеркнуть их, покаяться в содеянном, как в грехе.

— Нет, не чепуха. Так это все и есть,— сказал я безжалостно. Почему я должен был жалеть его? Что, мне было легче, чем ему, от страшной сути открывшегося? — Мы вроде наживки на крючке. Сами попались и других ловим.

— Не-ет,— снова повторил Волхв, весь перекривясь лицом, как от мучившей его тайной боли.— Нет же, не-ет...

— Да чего там говорить «нет», если «да»,— взвинченно, едва не на крике сказал Декан.— Конечно, «да». Яснее ясного... Теперь,— добавил он через паузу.

— Нет,— опустив руки на стол и подняв голову, с яростью проревел Волхв.— Нет, этого не может быть! Я их просто разворошил, как поганый муравейник, им просто ничего не оставалось другого, как напечатать то сообщение, а потом... потом отступить перед нами, так мы навалились на них!..

— Брось,— сказал Магистр. Обычное его хладнокровие не изменило ему, и в отличие от нас всех он был спокоен.— Брось, чего там дурить себе голову. Попались, как последние дурачки... надо признать. И думать, что дальше. Как дальше. Может, послать все к черту, катись оно, пусть сами строят?

Глаза у Волхва полыхнули ярким бешеным, сумасшедшим огнем.

— Да-а?! — выкрикнул он.— Сами? А ради чего тогда мы... Отдать им?! Не-ет! Исключено! Стать независимыми от них — вот что нужно! Чтобы ни металла у них, ни бетона, ни рук рабочих...

И почему-то тут все глянули на Инженера. Словно бы какой-то ток вдруг заструился от него, и все этот ток уловили.

— Я уже думал о независимости,— сказал Инженер.— Но нормальных способов обрести ее нет. Есть только один. Совершенно ненормальный. Спуститься под землю. И прервать с землей всякую связь. Технически это возможно.

— Возможно?! — воскликнул Рослый. До этого он молчал все время. Ни слова не вымолвил.— А куда выбранную породу девать? Есть ее, что ли?

Инженер посмотрел на него и махнул рукой.

— Это — самое простое. В километре отсюда—карстовая пещера, пробить туда штольню — и вся проблема с породой. Электричество нужно, металл, лес, бетон, жратва, наконец,— вот проблемы!

— Все! — сказал Волхв, поднимаясь и обдавая всех по очереди сумасшедшим огнем своих полыхающих глаз.— Никаких обсуждений больше. Расходимся до вечера. Идея имеется: под землю! Абсолютно ненормальная идея и потому, может быть, вполне реальная. Обмозговываем ее. Вечером собираемся и делимся мыслями по этому поводу. Все!

Я сходил по ступенькам вагончика, и меня буквально качало. Положим, это возможно технически — спуститься под землю и прервать с землей всякие отношения. И сколько же это сидеть так — год, два, три? Не видеть неба, не ходить по траве, не подставить, зажмурясь, лицо под первый жар мартовского солнца, ощущая, как налетевший порыв свежего ветерка с легкостью гасит этот жар и кожу овевает прохладой. Нет, это невозможно, нет! Невозможно лишиться земли, ее света, ее запахов, ее простора! Это бред, идиотизм, какая-то конвульсия фантазии! Мы попались, как рыба на крючок,— да; мы должны наконец обрести, несмотря ни на что, независимость — тоже да; но не такой же ценой, не ценой отречения от своего человеческого естества! Это кротам свойственно жить в земляном нутре...

Толпа за линией оцепления была все так же густа и плотна, как и утром.

Солдаты в оцеплении, с автоматами, взятыми в руки, стояли попарно: один — оборотясь лицом к толпе, другой — в нашу сторону.

— Что, плетью обуха не перешибешь?— сердобольно крикнул из толпы чей-то голос, как бы облегчая нам предстоящее покаяние в принятом капитулянтском решении.

Волхв, визжа снегом, быстро пошел к толпе. Солдат, обращенный лицом к нам, остановил его шагах в пяти от себя. Волхв поднял руку, требуя внимания, выждал мгновение и закричал, произнося раздельно каждое слово, чтобы каждое было понято:

— Все будет нормально! Будьте уверены! Своим не поступимся! Дайте нам три дня на решение! Сейчас расходитесь, не мерзните! Через три дня — приходите, все будет нормально, будьте уверены!

4

Спустя два дня на встрече все с теми же тремя представителями властей мы приняли предъявленный нам ультиматум. Теперь половина всего того, что производилось для нас — из сэкономленного, выгаданного сверхурочной работой,— у нас отбиралась.

Снова проревели на дороге за вагончиками тяжелые тягачи, и солдаты, с автоматами, переброшенными через плечо дулом вниз, торопясь и толкаясь, полезли через борт в кузова.

Утром следующего дня все работы на строительстве были возобновлены в полном объеме. Многие из приехавших радостно сообщали, что им уже позвонили с их прежней работы и пригласили вернуться.

Со стороны, должно быть, казалось, что все возвратилось на круги своя.

Но это было вовсе не так.

Теперь параллельно со строительными работами мы вели еще и другие. В карстовую пещеру, о которой говорил Инженер, была снаряжена экспедиция, пещера была исследована до самого последнего закоулка, обмерена и обнюхана, и выяснилось, что ее многозальные объемы, лабиринты ее ходов и переходов могут вместить выбранной породы раз в десять больше, чем мы ее выберем. И была в ходе обследования открыта там настоящая подземная река, бурная, с прекрасной, чистой водой. Правда, расстояние до пещеры оказалось не километр, а почти два, но первую штольню к ней мы решили пробивать небольшую, работы велись круглосуточно, не замирая ни на минуту, и к весне штольня была пробита.

Круг посвященных в затеянное делался той порой все шире, и когда штольня была пробита, к нам отовсюду хлынуло необходимое: разобранное на части оборудование для гидроэлектростанции, оборудование для производства цемента, оборудование для выплавки металла, холодильные установки, станки и всякие другие машины в разъятом виде... При проходе штольни было обнаружено несколько угольных жил, в самой пещере в одном из залов магнитная стрелка плясала, как бешеная,— где-то там, в глубине, значит, было рудное тело... Мы запасались продовольствием, медикаментами и впрок, на всякий случай, решили создать под землей свое, автономное сельскохозяйственное производство: спустили туда десяток высокоудойных коров, пару свиноматок с боровом, построили теплицы для гидропонного земледелия...

Подготовка к уходу под землю заняла у нас год с лишним. Нужно было не только технически подготовиться, но и набрать достаточное число людей, готовых расстаться с землей. Это, пожалуй, была проблема почище всяких технических.

И все же энтузиазм — великая вещь! По нашим прикидкам, нам нужно было под землей человек шестьсот — семьсот, а набралось в итоге две тысячи.

Новой весной, в холодную ветреную мартовскую ночь, мы с Веточкой в последний раз обходили улицы нашего города. Хрустел под ногами ледок замерзших лужиц, прорывалась в разрыве облаков своим спокойным маслянисто-зеленоватым светом громадная, только-только пошедшая на убыль луна, и иногда то тут, то там в этих разрывах проступали звезды, холодно и колюче обжигали глаз и снова исчезали за мутною пеленой.

Мы гуляли с Веточкой, расставаясь не друг с другом, а с землей. Она уходила вниз вместе со мной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Сон мой, как обычно, был мучителен и тяжел, и телефонный звонок, вспоровший его, сначала вошел в его кошмар дико верезжащей дисковой пилой, распиливающей меня пополам. И ладно, если бы она сделала свое дело зараз, разъяла меня — и конец, но она вдруг пре-

рывала свое верезжащее вращение, стояла какое-то мгновение неподвижно, будто передыхая, и так же вдруг, взяв без всякого разгона прежнюю скорость, вновь вгрызалась в меня.

— О господи! — простонал я, осознавая, что пила — это всего лишь кошмар сновидения, а на самом деле то трезвонит в кромешной тьме телефон. Я пошарил на полу около постели, где всегда оставлял аппарат на ночь, наткнулся на него и снял трубку.— Аллё! — произнес я в микрофон приглушенно и хрипло.

Звонил Рослый.

— Декан умирает,— сказал он.

— Иду,— сказал я и положил трубку. Больше ни ему, ни мне не нужно было ничего говорить, все было сказано.

Веточка, конечно, тоже проснулась.

— Что? — спросила она встревоженно.

Ночные звонки были не такой уж редкостью, отчего я и держал телефон у постели, но каждый из них был связан с чем-нибудь чрезвычайным, и она за все прошедшие годы так и не привыкла к ним.

Кто к ним привык, так это наши дети. Мальчики спали в другом конце комнаты, звонок разбудил и их, но они только поворочались, сонно вздыхая, и все, не издали больше ни звука.

— Ничего, милая,— сказал я, находя в этой кромешной тьме лицо Веточки и гладя ее по щеке.— Ничего не случилось, спи. Это Рослый, он сегодня в диспетчерской дежурит, и что-то ему сбрендило потолковать со мной. Знаешь же его. Спи.

Я не хотел говорить ей правду сейчас, среди ночи. Уйду, а она будет ворочаться тут одна до подъема... Конечно, она не поверила мне, и тревога в ней осталась, но все же так лучше, чем если бы я сообщил ей.

Шурша в темноте одеждой, я оделся, отыскал на своем обычном месте фонарь и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Здесь, в коридоре штольни, потягивало, веяло ветерком из вентиляционных стволов, но темь была точно такая же, как и в комнате, не горело ни единой лампочки. Мы экономили электричество и на ночную пору отключали все освещение. Электричество нужно нам было во время работы, нам было нужно очень много электричества, приходилось исхитряться, и ночью мы заряжали аккумуляторы.

Я включил фонарь, лучик его был совсем слаб — видимо, младший сын, в обязанности которого входило следить за фонарем, опять забыл воткнуть его на день в электророзетку,— но за четырнадцать лет подземной жизни я так хорошо изучил все сужения, все повороты, все пересечения штолен, что мог бы бежать и в темноте, не включая фонаря.

Каменная крошка громко хрупала у меня под ногами, уходить звукам было некуда, не успевал раствориться в воздухе звук предыдущего шага, как его настигал новый, и штольня была вся наполнена этим хрупаньем.

Штольня, по которой я бежал, оборвалась, пересеченная под острым углом другой, и я увидел справа от себя еще один огонек фонаря. Он не прыгал из стороны в сторону, как было бы при беге, а слегка раскачивался, и я определил, что это Волхв. Магистр, пожалуй, как и я, бежал бы.

Так оно и оказалось — это был Волхв. Мы осветили друг друга фонарями, и он, тяжело, одышливо дыша, сказал:

— А не жди ты меня, давай вперед. Пока я дошаркаю...

Я снова побежал.

В больничную штольню электроэнергия подавалась, но в палате, где лежал Декан, горела только слабая синяя лампа под дверью.

Я даже не сразу разглядел Рослого, поднявшегося мне навстречу, Декан на кровати хрипел и булькал, но дыхание его было до невозможного редким — один, наверное, вдох за минуту, не больше.

— Врач сказал, агония, и сделать он ничего уже не в состоянии,— подойдя ко мне, тихо проговорил Рослый.— Я вас вызвал — может, Декан перед смертью придет в себя.

Я обнял Рослого, он ответно обнял меня, и какое-то время мы стояли так. Нам нужно было это объятие.

Потом он вернулся на свое место на краю кровати, а я сел на табурет рядом. Магистра еще не было. Спустя какое-то время появился Волхв. Он молча прошел к кровати и, потеснив Рослого, опустился перед нею на колени. Седая его длинная борода встопорщенно легла рядом с худой, откинутой в сторону рукой Декана.

Декан, с долгим клокочущим хрипом выдыхая воздух, мученически искривил рот, ноги его медленно согнулись в коленях, встопорщив одеяло, и упали, неподвижно лежавшая до того рука дернулась перед лицом Волхва в конвульсии.

Волхв непроизвольно отпрянул.

— А-ай ты...— сказал он немного погодя и сел перед кроватью.— Ай-ай же ты!..— снова протяжно проговорил он, глядя на изломанное агонией, странно стекшее вбок, уже чужое, нездешнее, неузнаваемое лицо Декана.— Прости нас... прости, что вот так вот...

Не знаю, что он имел в виду. Я же, следом за ним произнося про себя слова покаяния, винился перед Деканом в своем здоровье. Насколько ему пришлось тяжелее, чем мне. Чем многим из нас. Чем большинству. Там, наверху, это не очень сказывалось — физическая его хилость, а может быть, просто ему удавалось перемогать себя. Здесь, под землей, ему сразу стало тяжело, ни дня за все прошедшие годы не видел я его вполне здоровым. Всегда охрипший, всегда с насморком, всегда бухающий тяжелым кашлем... Эти постоянно веющие в штольнях, выдувающие метан сквозняки были для него настоящей Голгофой. Как он и протянул столько лет! Сколько раз болел он воспалением легких до нынешней пневмонии? И вот все, кончились силы, исчерпались. Уже наверняка, уже точно никогда не увидеть ему выносящийся из темного туннельного жерла на залитую светом станцию, грохочущий, визжащий колодками тормозов поезд, никогда не вознестись из давящей потолочными сводами подземной глуби к зеленому, голубому, распахнутому ввысь до беспредельности земному простору...

Магистр почему-то все не появлялся. Я даже спросил Рослого — позвонил ли он ему; оказывается, позвонил. «Самому первому»,— сказал Рослый.

Наконец Магистр возник в дверях. Он открыл их как-то очень медленно, будто двери были неимоверно тяжелы, и так же медленно, словно преодолевая некое сопротивление, прошел к кровати, но задержался возле нее лишь на короткое мгновение — как приостановился — и отошел в угол.

— Ты чего так долго? — спросил Рослый.

— Долго разве? — через паузу, словно смысл сказанного не сразу дошел до него, переспросил Магистр. Помолчал и сказал: — Ноги не шли.—Помолчал еще и проговорил с ожесточением, что так не свойственно было для него прежнего даже еще, пожалуй, и год-два назад: — Не могу смириться: Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там... а нам еще так долго идти, столько еще впереди... ну прямо как горизонт, отодвигается и отодвигается... не могу!

— А ты пореже вперед заглядывай,— оборотясь к нему с кровати, как кулаком вбивая в него эти слова, сказал Рослый.— Ты назад

почаще оглядывайся — сколько уже сделано. Оглядываться почаще назад — легче будет смотреть вперед.

Он, довольно неожиданно для нас всех, понемногу-понемногу, но год от году все более явно выдвигался в наши вожди, оттесняя Волхва на задний план; странно, но именно в нем, нетерпеливом, не очень уравновешенном, взрывчатом, склонном под влиянием эмоций ко всяким крайностям, именно в нем обнаружилось со временем больше, чем в каждом из нас, твердости, цельности, настойчивости, а самое главное — и способности объединять людей, поддерживать в них огонь веры прежней силы и яркости.

— Да-а,— ни к кому не обращаясь, сказал Волхв.— Сделано много, очень много...— И умолк, будто оборвав себя, будто недоговорив, и по интонации его было ясно, что хотел он сказать о том, что работы впереди — еще больше.

Туннели метро, по которым должны были, в свою очередь, помчаться со звонким грохотом поезда, делались все длиннее, красные линии, которыми мы обозначали их на схеме города, змеясь, разветвляясь, все дальше уползали от той точки, что отмечала место закладки метро,— дело двигалось.

Но двигалось медленно, куда медленнее, чем того бы хотелось. Собственно, проходкой туннелей и обустройством их занималось совсем немного людей, основная масса была отвлечена на производства, что обеспечивало возможность работы этих немногих.

Мы были настоящим натуральным хозяйством. И хозяйство это все расширялось и усложнялось.

Вдруг в один прекрасный момент разбарахлился, посыпался к чертовой матери весь наш машинно-станочный парк, собранный перед спуском под землю с миру по нитке, и пришлось создавать что-то вроде машинно-реставрационной службы — со своим конструкторским бюро, каким-то подобием лаборатории... Мощности электростанции и всегда-то не хватало, но тут мы стали просто захлебываться от этой нехватки и оказались вынуждены строить в дополнение к ней еще одну, но где было взять для нее оборудование? — все пришлось изготовлять самим, а для того чтобы изготовить, организовали сначала еще одно новое производство. Росла, и год от году все быстрее, потребность в металле. Руда, из которой мы выплавляли чугун и сталь, была не очень богатой, но и не очень бедной, а вот медная оказалась совсем тощей, как и глиноземы, ради меди и алюминия приходилось переворачивать горы породы, пробивать километры и километры штолен, их нужно было крепить, а кроме металла иного крепежного материала у нас не имелось, и получалось, что мы пробивали штольни ради металла и выплавляли металл ради того, чтобы пробивать штольни. Это был замкнутый круг, и было в нем еще одно звено, что оттягивало на себя с каждым годом все большее число рабочих рук: утилизация переработанной породы. Объемов пещеры для устройства отвалов уже не хватало, мы пробивали одну штольню и засыпали выбранной из нее породой другую, пробитую раньше, беспрестанно двигали, перевозили тысячи тонн внутри нашего подземного города туда-сюда.

Продовольствие, которым мы запасались, уходя под землю, давным-давно кончилось. Мы уже порядочное время были на полном самообеспечении, и чем дальше, тем больше сил и людских ресурсов оттягивало на себя наше продовольственное производство. Коровы, которых мы спустили с собой под землю, дали вполне здоровое потомство, и это потомство дало свое потомство, но удои год от году делались все меньше, все меньше — никакая вентиляция не могла заменить свежего земного воздуха, никакое электричество — солнечного света, пришлось увеличивать поголовье, а увеличив его, пришлось увеличивать производство кормов, а увеличить производство кормов,— это значило увеличить число теплиц, в которых на гидропонике мы выращивали все, от пшеницы и вики до огурцов с редисом, но, увеличив число теплиц, нам пришлось расширять и наше химическое производство, которое различными перегонками, выпарками и прочими способами готовило для гидропоники питательные растворы. Получился еще один замкнутый круг, и чем шире он становился, тем уже оказывался на деле, тесня нам дыхание, будто железный ошейник на горле.

Продуктов год от году нам вообще требовалось все больше и больше. Нас теперь было не две тысячи, как вначале, а почти три. Людей в возрасте спустилось под землю не очень много, в основном такие, как мы с Веточкой, и, как ни велика оказалась детская смертность, население нашего подземного города все же неуклонно росло.

И если б они были просто лишними ртами! Но ведь их нужно было р а с т и т ь. Нянчить, ухаживать за ними, пока маленькие, присматривать, когда подрастут, и учить, развивать физически — заводить то есть детские сады и школы, оборудовать гимнастические залы, строить бассейны... Никто из нас там, на земле, и не догадывался, что это такое — растить детей, какой это труд, какие это в л о ж е н и я, какой р а с х о д. Даже и Волхв. С чего ему было догадаться, если он никогда не имел детей. А между тем одних только школьных учителей приходилось нам содержать десятков пять. Ведь не могли же мы допустить, чтобы наши дети, когда строительство будет закончено, выйдя наверх, на землю, оказались недоумками и невеждами. Нет, они должны были войти в земное общество как равные и чувствовать себя абсолютно полноценными его членами!..

В палату вошел врач. Окинул нас всех быстрым взглядом, попросил жестом Волхва и Рослого освободить место около кровати, завернул угол одеяла, открыв Декану грудь, послушал его стетоскопом, подсовывая мембрану под спину, и вытащил пластмассовые оконечности трубок из ушей бессильно-раздраженным рывком.

— Я ничего не могу сделать! — сказал он.— И даже попробовать не могу. Глубочайший отек, конечно... но ведь у меня вообще... какое у меня здесь оборудование... я так, вместо мебели здесь!

— Прекратите! — резко сказал Рослый.— Не можете — и не надо! Вас никто ни в чем не винит, в этом можете быть уверены!

Полчаса спустя, как и было обещано врачом, Декан пришел в сознание. Он все вздрагивал, дергал в конвульсии руками и ногами, а тут на него вдруг сошло успокоение, лицо разгладилось, прояснилось, дыхание стало чаще, ровнее, и еще немного погодя веки затрепетали и медленно, с трудом отрываясь друг от друга, раскрылись. Мы, сгрудясь, стояли над кроватью. Какое-то мгновение Декан смотрел на нас неподвижным тяжелым взглядом, так что не понять было — осмыслен ли этот его взгляд, действительно ли он пришел в себя, потом голова его на подушке повернулась влево, вправо, и вслед этому движению дрогнули в орбитах глаза, губы его приоткрылись, и он произнес сильно и трубно несколько звуков.

Что он произнес? «Ам-гам-гам-а»,— услышал я. И никто не понял его, и по боли, что рябью прошла по его неподвижным зрачкам, ясно стало, что он догадался об этом. «Ам-гам-гам-а»,— снова произнес он, пытаясь обвести нас всех взглядом, и снова никто не понял его.

— Вот, милый, все хорошо, тебе уже лучше,— сказал Волхв.

— Ага, ага, уже лучше! — согласно подхватил Рослый.

Декан вновь приоткрыл рот в мучительной попытке выговорить, сообщить нам что-то, но сил ему уже не хватило, губы сомкнулись, и мгновение спустя сомкнулись веки.

Минуты полторы был он в сознании, не больше. И только когда последняя, предсмертная судорога побежала по его телу, расслабляя суставы и распуская мышцы, отрывая живую душу от плоти, только тут до меня дошло, что он хотел сказать. «Умираю»,— вот что он нам говорил, вот то, чем хотел поделиться с нами, тщился сделать это, дабы мы знали, были с ним вместе, а мы не смогли облегчить его отлетающую душу своим пониманием. «Ам-гам-гам-а» — «У-ми-ра-ю» — те же четыре слога...

По часам, что давали нам отсчет времени в нашей подземной тьме, было раннее утро, когда он умер; вечером, после окончания рабочей смены, мы его хоронили.

За прошедшие годы у нас уже выработался свой ритуал похорон. Прощание мы устраивали обычно в Главном, самом большом зале пещеры, который мог вместить все наше подземное население и где вообще проходили все наши общие сходки. Жилые штольни были пробиты поблизости от него, а кладбище находилось в одном из дальних залов пещеры, идти туда приходилось по узким, извилистым переходам, и на кладбище после прощания отправлялись, как правило, только самые близкие люди.

На митинге в Главном зале я не выступал. Волхв просил меня сказать хоть что-нибудь, но будто кол стоял у меня в горле — и я ничего не мог говорить. И всю долгую дорогу до кладбища, то неся носилки с завернутым в покрывало телом Декана, то освещая фонарем путь впереди, то следуя за носилками в отдыхающей паре, так я и шел с пережатым горлом. «Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там... а нам еще так долго идти, столько еще впереди...» — все звучали в ушах, никак не могли уйти из меня слова Магистра, сказанные над умирающим Деканом, и оказывается, во мне самом тоже было это ожесточение, ожесточение и отчаяние, я захлебывался в них, они душили меня, отнимали у меня силы...

А ведь уходя под землю, никто из нас и думать не думал, что придется устраивать в нашем подземном городе кладбище. Почему-то никому, ни единому человеку не пришла в голову подобная мысль! Но на веки вечные лег там и Инженер, сначала погребенный под тоннами обрушившейся на него породы при проходке той самой штольни, где сейчас размещался медблок, откопанный и вот так же на носилках одолевший этот извилистый путь, и дочурка моя любимая, доченька моя маленькая, девчушечка славная, так и не успевшая сказать ни слова, тоже там... Может быть, потому не пришла никому в голову мысль о кладбище — тогда, на земле,— что никто и помыслить не мог, что наше подземное заключение продлится не два-три, ну, четыре от силы года, а перевалит на второе десятилетие, и все ему так и не будет видно ни конца, ни краю?..

Ход, по которому мы шли, расширился, луч фонаря повис в пустоте,— мы были в пещере. Сегодня я пришел сюда уже второй раз. Первый раз я был здесь утром — долбил могилу для Декана. Долбил, садился передохнуть, отдавая инструмент напарнику, снова долбил, и все время стояла в голове одна и та же мысль: а может быть, где-нибудь здесь по соседству суждено лежать и тебе?

Рослый с Магистром, несшие носилки, поставили их около могилы, и Рослый, наклонясь, отвернул покрывало с лица Декана.

Все, путь был закончен, теперь лишь — проститься со своим другом. Отныне от бывшего Вольтова братства, что в туманной дали уже семнадцатилетней давности ринулось, очертя голову, в борьбу за мет-

ро, ведать не ведая, во что она выльется, отныне от этого Вольтова братства оставались лишь я да Магистр...

Мы зажгли все фонари, которые были у нас, и направили их свет на лицо Декана. Так мы стояли, глядя на мертвое, обтекшее, с запавшими черными глазницами лицо Декана, минуту, две, три, и, наконец, Волхв опустился на колено, оперся рукой о пол и поцеловал Декана в лоб. «Ну, прощай,— сказал он.— Пусть земля тебе будет пухом». И все остальные тоже стали опускаться перед носилками на колено, целовать Декана — кто в лоб, кто в переносье,— и говорить ему свое последнее, прощальное слово, едва ли слышимое им, но нужное нам, остающимся жить. Прощание закончилось. Рослый снова закрыл Декану лицо покрывалом, мы сняли закостеневшее тело с носилок и осторожно, ногами вперед, вложили его в нору могилы.

Это мы первые могилы рыли в полу пещеры. Потом мы поняли, что так пространства пещеры не хватит, и стали выдалбливать могилы в стенах. И если сначала хоронили в гробах, то сейчас, давно уже, просто в саванах. Дороже всего было здесь у нас дерево, что там какое-то золото в сравнении с ним...

Снова в очередь, как кочегары в топку паровоза уголь, мы закидали могилу раздробленной породой, замесили в принесенном с собой ведре густой цементный раствор и заделали отверстие.

Теперь нужно было немного подождать, чтобы в слегка схватившемся растворе оттиснуть приготовленной доской имя Декана и годы его жизни на веки вечные.

И тут, пока мы стояли снова в молчании, но по въевшейся в кровь привычке экономить свет, оставив гореть лишь один фонарь, на меня навалились прежние ожесточение и отчаяние, и я закричал немым криком, отталкивая их от себя, собирая в кулак всю свою волю: «Нет! Черта с два!.. Сколько бы еще ни было впереди! Сколько бы ни было! Довести до конца, до последней точки! А иначе нечего было и затевать все! До последней точки, до конца! Чего бы нам это ни стоило!..

И после, когда уже шли обратно, я все повторял про себя, как клятву: «До последней точки, до конца! Чего бы это ни стоило! До последней точки, до конца! Чего бы это ни стоило!..» Каменная крошка с грохотом шебуршала под ногами, опустевшие носилки, раскачиваясь на ходу из стороны в сторону, то и дело бились о выступы стен, побрякивал в пустом ведре мастерок, и я все повторял: «Чего бы это ни стоило! Чего бы ни стоило!..»

2

Ритуала поминок мы уже давно не соблюдали и, дойдя до жилых штолен, распрощались. Каждый пошел к себе.

Веточка ждала меня у дверей нашей комнаты — еще издали, только свернув в свою штольню, я увидел маячущую в мерклом желтом свете редких ламп ее родную фигурку.

— Как вы долго там,— сказала она, вглядываясь мне в лицо напряженным, тревожным взглядом.

Мне был понятен ее взгляд. Эта напряженная тревога всегда появлялась в нем в такие вот дни, как нынешний, когда у меня что-нибудь происходило. Безотчетно, сама не замечая того, она как бы говорила мне: я тебя люблю, ты знай, и что бы ни случилось — я с тобой, всегда, во всем, до конца.

Я благодарно обнял ее и повлек в комнату.

— Зачем ты на сквозняке тут...

— Но вы так долго,— подняв ко мне лицо и продолжая глядеть на меня тем же взглядом, проговорила она.

— Ну, какое долго,— открывая дверь, сказал я.— Пока дошли, пока там... сама же знаешь.

Впрочем, ей вовсе не нужно было мое объяснение. Она действительно знала, что совсем недолго, и просто пыталась так объяснить свое бессмысленное стояние в штольне.

Мальчики уже спали, и их угол комнаты тонул в темени. В нашем углу горела настольная лампа, освещая на столе принесенный Веточкой из столовой мой ужин: миску с творогом, кусок пресной лепешки, кружку с остывшим, заваренным мятой чаем.

— Все без происшествий? — спросила Веточка.

Сердце ее говорило ей много больше, чем мои слова.

Но я не стал признаваться ей в том, что происходило со мной весь нынешний день. Не имел я права взваливать на нее свою муку. Этого только не хватало. Я должен был беречь ее. Не многим так повезло, как мне с нею.

— Никаких происшествий. Какие там происшествия...— отозвался я.

Я сел за стол, она села напротив меня, и электричество отключилось. И в самом деле, поздний уже был час.

Веточка посветила мне фонарем, я поужинал, и мы стали укладываться.

И только мы легли, в дверь постучали.

— Кто это может быть? — с той мгновенно вернувшейся к ней прежней тревогой спросила Веточка.

Я вскочил и, светя перед собой фонарем, открыл дверь.

Из черноты штольни в лицо мне ударил такой же сноп света, и я ничего не увидел.

— Лег уже, что ли? — спросил меня из темноты голос Рослого.

Я опустил фонарь лучом вниз, он сделал то же самое, и я увидел его, а он, должно быть, увидел меня.

— Пойдем погуляем,— сказал Рослый.

— Нет, я лег уже,— отказался я.

— Пойдем пройдемся,— снова позвал Рослый.— Надо.— И я понял, что это не блажь с его стороны, действительно надо.

— Все-таки что-то случилось, да? — спросила меня Веточка, когда я одевался.

Но ответить ей ничего вразумительного я не мог.

Рослый ждал меня чуть поодаль от нашей комнаты, и в ожидании, светя фонарем, рассматривал болтовое соединение в металлическом креплении штольни.

— Как думаешь, сколько лет еще выдержит? — сказал он, тыча фонарем в соединение, когда я подошел.

— Да пока, полагаю, беспокоиться нечего,— сказал я.

— Ну, лет двадцать, а? — сказал он, по-прежнему держа соединение в пучке света.

— Да, пожалуй,— сказал я.

— Пожалуй, пожалуй...— повторил Рослый и пошел по штольне к главному коридору, и пошел за ним следом я.

С минуту мы двигались молча — я ждал, а Рослый все не заговаривал,— и наконец он сказал:

— Волхв к тебе еще не подкатывался?

Я не понял.

— Что ты имеешь в виду?

Рослый снова молчал какое-то время.

— Значит, еще нет,— сказал он затем.— Или хитришь?

Я разозлился. Последнюю пору он постоянно позволял себе разговаривать вот таким образом — будто высший судья, будто уличая тебя в чем-то,— и эта его манера выводила меня из себя.

— Давай-ка ты сам не ходи вокруг да около,— сказал я.— Давай попрямее.

Я посветил ему фонарем в лицо, и Рослый, недовольно сморщившись, отвернул лицо в сторону.

— Ладно,— сказал он, когда я отвел фонарь,— мне понятно. Не подкатывался к тебе. Ясно. Почему-то стесняется тебя. Меня — нет, Магистра — нет, а тебя стесняется. Странно. Ты не обратил на него внимания сегодня? Совсем к черту раскваснлся.

— Ну, положим,— пробормотал я. У меня было ощущение, что Рослый сказал это про меня самого.— Сегодня-то... что ж удивительного?

Рослый резко остановился, поймал меня за рукав и, развернув к себе, заставил тоже остановиться. Лицо его оказалось у моего лица, и меня обдало его дыханием.

— Волхв хочет наверх, ясно? Просится, ясно? Чуть не плачет, просится. Хочу, говорит, умереть на земле. Главное, говорит, сделано, дело крутится, а я уже старый, толку, говорит, от меня все меньше и меньше, только буду тут у вас хлеб есть!

Меня окатило холодом. Я вспомнил не Волхва — каким он был нынче,— я вспомнил себя. Не очень-то я далеко ушел от него; разве что он просился наверх, а я изо всех сил отпихивал от себя вопль об этом.

— Это что... сегодня?

— Сегодня, ясное дело,— грубо сказал Рослый.— Все сегодня. Понимаешь, надеюсь, значение события?

Конечно же, я понимал.

Мало того, что это был Волхв, старейшина, патриарх нашего движения, человек, на биографии, на судьбе которого учились наши дети,— что было ужасно само по себе; но это ведь был именно Волхв, старейшина, патриарх, и как мы могли ему отказать? Однако не отказать ему — создать прецедент, и чем тогда все закончится?

— А что Магистр? — спросил я.

Рослый выругался.

— А тоже раскваснлся, глядеть тошно. Он за то, чтобы отпустить.

— В самом деле? — Я удивился. Неужели обычная ироничная трезвость до того изменила Магистру, что он способен закрыть глаза на те неимоверные осложнения, которые неизбежно возникнут у нас, позволь мы Волхву выйти наверх.

— А ты нет? — вопросом на вопрос ответил мне Рослый.

— Я не знаю,— честно сказал я.— Для меня это полная неожиданность. А что ты?

— Пойдем,— тронул меня за плечо Рослый. Мы пошли, светя себе под ноги, и он сказал: — А пусть уходит, черт с ним, что делать!

— В самом деле? — снова непроизвольно спросил я.

— А что делать?! — вмахнув руками, едва не закричал Рослый.— Ты можешь ему сказать — нет?! И Магистр не может. А почему, считаете, я могу, если вы не можете? Он так просится, такой жалкий, смотреть на него...

Он недоговорил.

— А почему ты считаешь, что я «не могу»? — спросил я.— Я тебе не говорил такого.

— Не говорил, а понятно,— сказал Рослый.— Что я, не знаю тебя. «Полная неожиданность»...— передразнил он меня.

Я снес его щелчок молча. Наверное, он был прав.

— Ну, и как же он собирается выходить? — спросил я.

— А не догадываешься? — теперь в голосе Рослого я уловил усмешку.— Через канал, конечно, как еще.

— А-а,— протянул я.

Но я действительно даже не подумал, что через канал. Вовсе он у нас не был приспособлен для того, никогда, ни один человек не выходил через канал на землю и не спускался оттуда к нам.

Да, подземное наше хозяйство было натуральным. Но если быть точным до конца, вполне автономными мы все же не были. Правда, то, что мы получали через канал, было во всем нашем хозяйстве не более чем каплей в море, и однако же обойтись без этой капли мы не могли, и не могли произвести ее здесь, под землей.

Нам не из чего было получать бумагу — раз, мы оказались не в состоянии вырабатывать многие лекарства — два, и не удалось отыскать никакого, пусть бы самого тощего, месторождения соли — три Мы обеспечивали себя даже одеждой, изготовляя материю из синтетических волокон и немного — для детей — из хлопка, семена которого также были взяты нами сюда, а вот солевой, лекарственный и бумажный узел никак нам развязать не удавалось. Ради бумаги, лекарств и соли и существовало у нас маленькое, подобное игольному ушку, отверстие на землю, которое с чьей-то легкой руки мы называли каналом.

Он действовал раз в год, в заранее условленное число, ночью. В одной из дальних вентиляционных шахт останавливалось и разбиралось все оборудование, и в освобожденный узкий зев спускались к нам на канате одна за другой подготовленные земные посылки. Знали о канале все в нашем подземном городе, но право на приказ о демонтаже имели только несколько человек: когда-то и Инженер с Деканом, а нынче вот — Рослый, Магистр, Волхв, я... Последние же годы каналом занимался обычно Рослый.

— Я хочу поговорить с Волхвом,— сказал я.— Может быть, мне удастся уговорить его отказаться от своей мысли.

— Поговори, даже обязательно,— мгновенно отозвался Рослый.— Только, уверен, ни черта у тебя не выйдет. У него одна песня: «хочу умереть на земле»,— другой не знает. Так что особо и не трудись, не нажимай особо. Обдумай лучше, как будем его уход объяснять. Вот задача тебе. Задача так задача. Над ней давай поломай голову.

Веточка, когда я вернулся, конечно же, не спала.

Я передал ей наш разговор с Рослым, и она, помолчав, сказала с уверенностью:

— Он хочет, чтобы Волхв ушел от нас. Почему-то ему на руку его уход. Он хочет, хочет, только, конечно же, скрывает это.

— Ты слишком категорична.— Что-то в поведении Рослого заставляло меня тоже подозревать его в подобном желании, но зачем ему хотеть этого? — и, подозревая, я не верил своему подозрению.— Просто он внутренне уже согласился на его уход.

— Согласился, конечно,— упрямо сказал в кромешной тьме над моим ухом голос Веточки.— Еще и потому, что рад его просьбе.

— Ну ладно, ладно,— проговорил я примирительно,— вот я еще сам потолкую с Волхвом, и будет видно.

Но с Волхвом назавтра никакого разговора не получилось.

И в самом деле, он был словно бы не в себе, он не слышал ничего, что я говорил ему, и на любые мои слова отвечал, как заведенный, одно и то же:

— Но ребята не против! Ребята не против! Даже Рослый! Рослый

меня понимает. Почему ты не понимаешь? Только ты, один ты! Почему?!

В голосе его была истерическая беспомощная горячность, казалось, сейчас, в следующее мгновение он разрыдается, и такой конечной, последней усталостью были налиты его блеклые, потерявшие цвет глаза, что не знай я его прежде, никогда бы не смог представить, как они могут быть ярки, как жарко, как зажигающе могут гореть.

— Бог тебе судья,— только в конце концов и оставалось мне сказать ему.

Никаких проводов Волхву перед его ночным уходом через канал мы не устраивали. Я лично попрощался с ним еще утром, столкнувшись в диспетчерской по пути в забой. «Всего тебе»,— сказал я, подавая руку. Он было подался ко мне обняться, я отстранился. «Напрасно ты так»,— сказал он. Но я ему не стал даже отвечать. И прожил весь день до ночи как обычно — работая на своем участке в забое, и по-обычному провел вечер — занимаясь в школьном гимнастическом зале с прикрепленной ко мне группой мальчиков. Канал был не моей заботой, хлопоты, связанные с подготовкой его к работе, меня не касались. Канал был заботой Рослого.

3

То, что ждало меня наутро, не могло мне присниться ни в каком самом кошмарном сне.

Оказывается, Рослый чувствовал себя вчера нездоровым, попросил Магистра заменить его на приеме посылок, в том числе и проводить наверх Волхва, и Магистр, воспользовавшись этим, пытался уйти вместе с Волхвом.

— Не может быть,— не поверил я Рослому, когда он, не в силах сдержаться, матерясь через слово, рассказал мне о Магистре.

— Не может только мужик родить, ясно?! — закричал в ответ Рослый.— А он едва не ушел! Случайность только и помешала! Он уже наверх поднялся, ему только из корзины на землю ступить осталось! Парнишка, помощник, что внизу был, раззява попался. Тормоза не зажал, а противовес уже снимать стал. Скинул два блока — корзина и ухни вниз. Так наш друг и полетел: одной ногой внутри, другой наружу, всю пятку, пока летел, о стенки размолотило!

— Да что ты?! —непроизвольно воскликнул я.— Но жив он?

— Жив, слава богу.

Как-то странно произнес Рослый это свое «слава богу», как-то плотоядно вышло у него это, и я внимательно вгляделся в его лицо.

— Ты что, крови жаждешь?

— Жажду я! — Рослый сплюнул.— Лихо ты выражаешься. Вампиром меня назови еще! Он нашему Делу изменил. Он изменник! А изменника, ты считаешь, нужно прощать?

— Но Волхв ведь тогда тоже изменник?

— Волхва мы отпустили! Он с согласия! И он старый, ему помирать, а Магистр в самом соку, ему пахать да пахать! Вот разница, ясно?!

Я был ошеломлен этой новостью о Магистре, раздавлен напором Рослого, и голова у меня ничего не соображала.

— И чего же ты хочешь? — тупо спросил я.

— Пусть отвечает за то, что сделал. Перед всем народом пусть отвечает. Пусть народ выскажется, что он думает по этому поводу. Пусть назначит наказание.

— Где он сейчас?

— Кто? Магистр? — переспросил Рослый.— В медблоке, конечно, где еще.

— Увидеться я могу с ним?

— Ну нет! — Тон Рослого сделался жесток и враждебен.— Кто-кто, а ты с ним не встретишься до самого суда. Вы—«Вольтовы братья», у вас свои, давние отношения, ты не можешь быть объективен. На суде толкуй с ним сколько угодно, а до суда — нет!

Я взъярился. Я уже не впервые отмечал для себя, что Рослый стал в последнюю пору непонятно подозрителен, недоверчив, но в данном-то случае с какой стати он в чем-то подозревает меня, почему вообще чувствует право на это?!

— А ты не находишь, что ты меня оскорбляешь? — слыша, до чего накален мой голос, едва управляя собой, сказал я.— Не находишь, что я могу встретиться с Магистром и без твоего соизволения? Если ты так, то ведь и я могу эдак. Начхать на твое мнение — и пройти к нему.

Рослый отрицательно качнул головой.

— Начхать можешь, а пройти не пройдешь. Тебя не пропустят.

— Не пропустят? — Я изумился.

— Да. Я выставил охрану.

— Охрану? — Я все больше изумлялся.

— Охрану,— подтвердил Рослый.— И подчиняется она только мне. А твое слово для нее — пшик, и не больше.

От моей ярости ничего не осталось. Изумление вытеснило ее напрочь. Он что, захватывал власть, что ли?

— Да чего ты хочешь все-таки? — спросил я.

— Того же, надеюсь, чего и ты. Довести наше Дело до конца.— Рослый не просто выделил «Дело» голосом, не просто подчеркнул его, оно прозвучало у него так, словно бы он покачал его голосом, словно бы он баюкал младенца.

— Так при чем здесь суд над Магистром?

— При том! При том, что мы на краю катастрофы. Люди устали. У людей энтузиазм кончился! Ясно? Три попытки побега за последние полгода — это не знак? Душеспасительные беседы с ними провели, в медблоке на психотерапии подержали, и думаешь, все нормально? Ничего не нормально. А завтра они не поодиночке рванут, а сразу сто человек. А потом еще сто, да еще двести! Высокий у нас моральный дух воцарится? А как все побегут, тогда что? А побегут, побегут, к тому дело идет. Вы же слюнтяи все, с Волхвом вместе, вы палец о палец не ударили, чтобы правде в глаза взглянуть, я один решился. У меня целый штат осведомителей работает, ясно? Я знаю, к чему дело идет! И контрмеры мною уже продуманы.

Рослый не прокричал мне все это, как можно было бы ожидать от него, он словно бы объяснял мне ситуацию, просто втолковывал очевидное и, обругав меня — «вы же слюнтяи все!» — тут же как бы и простил, отступился извинительно: ну уж ладно, впрочем, какой взесть.

А я ощущал себя будто парализованным, изумление, охватившее меня, уже нельзя даже было бы назвать изумлением, это был какой-то столбняк, оцепенение какое-то, полная душевная разбитость.

Но все же я нашел в себе силы повторить свой вопрос:

— Так, и при чем здесь суд над Магистром?

Во взгляде Рослого, каким он смотрел на меня, блестела пустая, металлическая жесткость. Но враждебности в этой жесткости теперь не было.

— Да при том, чтоб видели, что спуску отныне не будет никому. Даже ветеранам движения, ясно? Одному позволили, а другого — к позорному столбу! Мы должны опустить шлагбаум. Закрыть занавес — и чтоб ни щелки. Все, больше никаких «каналов». Абсолютно никаких сношений с землей. Иного выхода у нас нет. Чтобы все знали: поднимемся, только когда закончим. Ясно? Я все продумал. Без бумаги обойдемся. Жили шумеры с глиняными табличками? Сможем и мы. Для школы понаделаем грифельных досок. И без соли обойдемся. Я получил надежную консультацию. Оказывается, мы расходуем ее в десять — пятнадцать раз больше, чем требуется нашему организму! Для вкуса расходуем! Такое расточительство, что нет слов! Вот и будем потреблять ее в пятнадцать раз меньше. Сколько нужно. А вкусовые пристрастия — дело искоренимое. Привыкнем. Запаса, что есть, хватит нам лет на тридцать. С чем сложнее, это с лекарствами. Их ничем не заменишь, для вкуса их не пьют. Но будем обходиться и без них, теми, что делаем сами. Смертность, разумеется, подскочит, особенно детская, но придется пойти на подобную жертву. Ради Дела.

Он снова произнес это слово так, будто баюкал младенца. И я в этот миг подумал почему-то о том, что он, как и в годы молодости, по-прежнему одинок; как одиноки были Волхв и покойный Декан. Но ни Декана, ни Волхва уже нет...

— Может быть, ты прав,— сказал я.— Мне надо обдумать твои предложения. Очень может быть. Но не надо устраивать над Магистром никакого суда. В этом я уверен.

— А я уверен, что надо! Мы не имеем права ничего утаивать от народа. И как народ решит поступить с ним, так и будет. Ясно? Народная воля — высший судья, ты согласен?

Вопрос был довольно риторический, и я пробормотал:

— Пожалуй.

— Ну вот,— удовлетворенно сказал Рослый.— И надеюсь, ты будешь вместе со всем народом. Я вообще надеюсь на тебя. Надеюсь, что ты будешь со мной. Во всем и до конца.

А, вот он почему был так откровенен со мной, вот почему так подробно все объяснял. Он хотел, чтобы я был его союзником. И ухода Волхва — правильно почуяла Веточка — он тоже хотел, оно ему было на руку, это Волхвово желание, весьма на руку. Магистра же сейчас он хотел скомпрометировать как своего возможного противника и тем самым просто-напросто вывести его из игры. А мне, значит, была уготована роль союзника...

— Я ни с кем, я с нашим Делом,— сказал я.

— Ну и прекрасно,— отозвался Рослый. Вскинул над головой руку и помахал.

И только тут я заметил. Разговор наш происходил в диспетчерской, довольно большом, ярко освещенном сильными лампами искусственном зале, всегда в эту пору людном — как было нынче,— и вдруг вокруг нас никого не стало. Было полно народу, когда мы начали разговор, и никого не стало, все отдалились от нас, оставив нас для разговора один на один. И лишь сейчас, по знаку Рослого, двинулись, зашумев, на свои прежние места, как, видимо, по какому-то другому, не замеченному мной знаку, оставили нас одних.

Выходит, Рослый действительно осуществлял захват власти. Для того, чтобы узурпировать власть, нужен м о м е н т, стечение обстоятельств, а к этому моменту — группа надежных, беспрекословно подчиняющихся тебе людей, и, судя по всему, такая группа была им создана, а момент настал. Декан умер, Волхв покинул нас, Магистр совершил поступок, лишавший его права стоять во главе нашего Дела, а я один в счет не шел.

— И когда же суд? — спросил я Рослого.

— Когда, по вашим расчетам, он оправится? — найдя глазами в окружавшей нас толпе врача, спросил Рослый.

— Через недельку, я полагаю,— просунувшись вперед, с подобострастием проговорил врач.

Это был тот самый врач, что устроил истерику у постели умирающего Декана. А делать ему здесь, в диспетчерской, в этот час, отметил я про себя, было абсолютно нечего.

— Ну вот, через недельку,— вновь поворачиваясь ко мне, ответил Рослый.

4

Есть выражение: «как во сне».

Я прожил эту неделю до суда впрямь будто во сне. Меня мучили наяву такие кошмары, какие никогда и не снились. Мне чудилось, что это будут судить меня, а не Магистра, мне уже казалось, что это я, а не Магистр, пытался убежать на землю, оставляя здесь, под землей, свою семью... о, ведь я сам, сам был рядом с этим желанием, на волос от него! Мне вспоминалось, как, хороня Декана, я захлебывался — невидимо для всех! — в постыдном, щенячьем чувстве усталости и ожесточения, и я был не в состоянии осуждать Магистра, я не ощущал в себе ненависти к нему или презрения, не ощущал его изменником, во мне не было к нему ничего, кроме жалости...

И вот он настал, день суда. Посланец от Рослого известил меня накануне, что суд состоится не в Главном зале, как предполагалось вначале, а прямо на производствах.

— Как это? На всех сразу? — недоуменно спросил я посланца.

— Как это на всех сразу? — усмешливо ответил мне он. «Дурной вы, что ли!» — услышал я в его голосе.— Начнем на одном, продолжим на другом, переберемся на третье... Чтобы суд к людям пришел, а не они в суд. Ясно?

Должно быть, он не заметил, но он ответил мне совершенно в манере Рослого — повторил буквально все его интонации и даже добавил в конце «ясно».

Первое заседание началось в сталеплавильном цехе. С шумом работали вентиляторные установки, вытягивая из помещения дымный смрад, утробно гудела электродуга конвертора, адски играющего красными отсветами расплавленной стали на колпаке вытяжки, а столпившийся напротив судейского стола, на некотором расстоянии от него, народ то и дело поглядывал в сторону этого гигантского футерованного котла — скоро должна была начаться разливка стали, и все ждали сигнала занять свои рабочие места.

Когда ввели Магистра, я не заметил. Я только увидел, что он, поддерживаемый под руки двумя людьми, выставив вперед загипсованную ногу, с черным, измятым, осунувшимся лицом усаживается на стул сбоку судейского стола, и я бросился к нему из глубины зрительской толпы, растолкав ее в один миг.

— Спокойно! — выступил откуда-то со стороны человек, загораживая мне путь.— Вступать в контакт с подсудимым запрещено. Только с разрешения суда.

Магистр тоже рванулся было ко мне, вскочив со стула, но загипсованная нога мешала ему, да он и не сделал ни шага — под руки его тут же подхватили его сопровождающие, и дорогу ему, точно так же, как мне, заступил вынырнувший неизвестно откуда еще один человек.

Мы обменялись с Магистром взглядами — глаза у него были потухшие, покорные, измученные,— и я вернулся в толпу, а он сел обратно на свое место.

Рослого нигде видно не было. Может быть, откуда-нибудь издалека он и наблюдал за судом, но ни за самим судейским столом, ни в зрительской толпе он не присутствовал.

Магистр признался во всем сразу, мгновенно, едва лишь начался суд. Да, хотел сбежать, ответил он. Специально попросился нынче осуществлять канал, чтобы сбежать. Если бы удалось сбежать, то никогда бы уже, естественно, не вернулся...

Из-за шума в цехе слышно было плохо, и всем — и судьям, и Магистру,— чтобы слова их были слышны, приходилось кричать. И еще было невыносимо жарко, все обливались потом, и у кого не нашлось платков, давно уже почитавшихся у нас здесь великой роскошью, вытирали лица подолами рубах и рукавами.

Я поднял руку.

— У меня вопрос.

— Вообще-то не положено,— ответил председательствующий,— но вам можно. Задавайте.

— Насколько мне известно,— прокричал я, обращаясь к Магистру,— тебя попросили подменить кое-кого заболевшего. Не ты сам захотел того, а тебя попросили.

— Нет, это я сам захотел,— бесцветным голосом, с механической заведенностью громко ответил Магистр.

— Если сам, то мне интересно, чем ты мотивировал свою просьбу? Ведь обычно связь осуществляет...

— Вам отвечено! — резко прервал меня председательствующий.— Несущественные вопросы судом не принимаются.— И обратился к Магистру: — Как бы вы сами квалифицировали свой поступок?

— Измена,— тут же, без всякой паузы отозвался Магистр.

— Та-ак! — произнес председательствующий, собираясь, судя по всему, подводить какой-то итог, и вдруг спохватился: — Да! Давайте выслушаем свидетеля. У подсудимого во время производившихся работ был помощник, и это благодаря ему не удался побег!

Парнишке-свидетелю было лет тринадцать, чуть-чуть побольше, чем моему старшему. Видимо, один из наших первенцев, рожденных здесь, зачатый, незнаемо для своих родителей, еще на земле. Но с какой это стати он оказался в помощниках у Магистра? Детей его возраста мы уже использовали на различных работах, но только на легких, в коллективной форме, и конечно, не ночью!

Четко и внятно — как в армии согласно уставу, вспомнилось мне из земной жизни, полагалось отвечать командиру, понят ли отданный приказ,— парнишка ответил на все заданные вопросы, рассказав о том, о чем я уже знал: как корзина с Волхвом и Магистром ушла вверх и он, не дождавшись почему-то сверху сигнала о спуске, начал скидывать с лебедки бетонные блоки противовесов и только скинул два, корзина полетела вниз...

— У меня вопрос — снова поднял я руку, когда допрос парнишки был завершен.

— Ну, задавайте! — снова разрешил председательствующий.

— У меня вопрос к свидетелю. Меня интересует, как он оказался на индивидуальной работе да еще в ночное время?

— Ответьте, свидетель,— сказал председательствующий.

— Я являюсь членом Детского комитета добровольной помощи Делу,— все так же четко и внятно ответил парнишка, чего нельзя было сказать о сути его ответа.

— Есть такой комитет? — удивился я.— И что из того, что вы состоите его членом?

— Вам отвечено! — не давая парнишке открыть рта, прокричал председательствующий.— Несущественные вопросы судом не прини-

маются. Идите, свидетель,— отпустил он парнишку. И обратился к зрительской толпе: — Случай, который мы сегодня рассматриваем, особый случай. Подсудимый являлся до самого последнего времени одним из наших руководителей. Мы долго не придавали попыткам и случаям побега должного значения. И зря не придавали! Вы слышали, подсудимый сам назвал себя изменником. Его поступки и вправду есть измена! А чего заслуживает изменник? Во все века заслуживал?!

— Черт! — проговорил рядом со мной голос. Я глянул — это был сменный начальник конвертора, я знал его.— Уже время сталь выпускать!

— Ну, еще погодим немного,— ответил ему его сосед.

— Так чего заслуживает изменник? — повторно прокричал председательствующий.— Нас ваше мнение, мнение трудового народа интересует!

И из толпы, до сих пор безучастной к происходящему, совершенно неожиданно для всех ему выкрикнули:

— Смертной казни!

И тотчас же все всколыхнулись:

— Да уж так-то зачем!

— Других прощали!

— Других лечили!

— А он что, сорваться не мог, если руководитель?

Председательствующий поднял руку и держал ее так.

— Нет! — сказал он жестко и решительно.— Этого мы больше терпеть не можем. Не будем терпеть! Кто это там простить хочет?!

Теперь ему ответили полным молчанием. Словно бы какая-то тяжелая железная волна прокатилась в воздухе от его слов и вбила всем языки в рот.

И в этой человеческой тишине, перекрывая шум работающих цеховых механизмов, тот же голос, что прежде, крикнул:

— К смертной казни его, изменника!

И теперь толпа не отреагировала на этот выклик ни единым словом.

Только спустя мгновение начальник конвертора рядом со мной закричал:

— У меня разливка начинается! Мы долго еще будем, нет?

— Все, все! — тотчас вскинулся председательствующий.— Мнение вашего производства ясно. Все свободны!

Двое других членов суда не вымолвили с самого начала судебного заседания до самого конца ни звука. Они просидели здесь кем-то вроде одушевленных манекенов, в необходимый миг поворачивающих голову в сторону говорящего, делающих строгий, неподкупный вид, что-то там у себя записывающих...

Всех трех я прекрасно знал. Председательствующий был спортсменом в прошлом и вел у нас в школе уроки физкультуры, эти двое, как и я, были недоучившимися студентами, только горняками, и работали на проходке штолен. И все трое за всю пору, что мы находились здесь, никогда ничем не выделялись: ни особой какой-то энергией, ни поступками — были, в общем, как все.

— Вы, если желаете, можете пойти с нами,— подозвав меня, разрешил мне бывший спортсмен.— Мы сейча на старую электростанцию.

Я, разумеется, пошел.

На электростанции судебное заседание проходило в пультовой, было тихо, спокойно, и даже хватило на всех стульев и табуретов, никому не пришлось стоять, но в остальном все повторилось, как в сталеплавильном цехе. Магистр признал свою вину, рассказал в подробностях, как происходило дело, назвал себя изменником; я снова попробовал было задать какие-то вопросы, и снова председательствующий обошелся со мной прежним манером; парнишка-свидетель поведал, как получилось, что он не дал совершить подсудимому побег, только на этот раз бывший спортсмен не забыл о нем и дал ему слово в более подобающем месте. И еще было одно отличие от процесса у сталеплавильщиков: «Металлурги предложили смертную казнь,— объявил бывший спортсмен, окидывая взглядом собравшихся людей.— А как считаете вы?» И все, в остальном не было никаких отличий.

А потом то же самое повторилось в теплицах, на химическом производстве, в конструкторском бюро у машиностроителей...

Это был какой-то бред, какой-то шутовской, дурацкий спектакль. Казалось, все ответы Магистра были заранее заготовлены, как и вопросы, что задавались ему, и он только механически, заученно долбил то, что полагалось. Во всем происходящем было что-то картонно-бутафорское, невзаправдашнее, но оттого лишь еще более страшное и жуткое в своей несомненной реальности.

5

В очередное место я с судом не пошел, я бросился разыскивать Рослого. «Что это? Что происходит?! — хотелось мне заорать Рослому в лицо, схватив его за грудки.— Какой смертный приговор? С ума они сошли?! Ну, если и пытался бежать, при чем здесь смертная казнь?!»

Рослого, однако, нигде не было. Я обшарил все мыслимые и немыслимые места, где бы он мог находиться, но его нигде не было. Я обзвонил едва ли не все номера нашей телефонной станции — его не оказалось ни по одному телефону.

Я пробегал по штольням из помещения в помещение часа четырре — все безуспешно; Рослый нашел в конце концов меня сам. Умаявшись и обессилев, я притащился в столовую, чтобы съесть свой обед, порция мне была оставлена, я съел ее, собрался уходить, и тут меня позвали к телефону. Рослый поинтересовался, был ли я на суде, и не успел я раскрыть рта, чтобы сказать, что думаю об этом суде, попросил меня прийти к нему сейчас в его жилую комнату.

Мимо его комнаты, рыская по штольням, я пробегал раз десять — дверь в нее была незаперта, приоткрыта, и комната стояла пустая.

Рослый дал мне обрушить на него все мое возмущение, весь мой гнев, он терпеливо и молча выслушал все, что я кричал ему, и когда я выкричался, подошел ко мне, обнял, постоял мгновение недвижно, отстранился и посмотрел мне в глаза долгим тяжелым взглядом. Так мы обнимались, встретившись над постелью умирающего Декана. Только тогда, войдя в смертную комнату, обнял Рослого я.

— Понимаю тебя,— сказал он.— Как еще понимаю...— В нем не было ничего от обычного Рослого — взрывчатого, шумного, несдержанного,— и голос его был тих, печален и в самом деле будто светился пониманием.— Но что делать, что делать. Народ осатанел. Люди устали, я же говорил. Все закономерно. На меньшее, чем смертный приговор, они не согласятся. И требование их, видно, придется удовлетворить. Что делать.

— Что?! Удовлетворить? Ты с ума сошел! — закричал я. Кожу на голове мне продрало морозом.— Да это же подсадные, кто требовал!

— Подсадные? — неверяще посмотрел на меня Рослый.— Да что

ты, какие подсадные? Откуда они могли взяться? Кто это их мог подсадить?

«Ты!» — хотел крикнуть я. И не решился. Не было во мне полной, окончательной уверенности. Всегда, всю жизнь нужно мне было прямое свидетельство для уверенности и крепости в действиях, прямое доказательство. А такового у меня не имелось.

— Да нет, какие подсадные,— повторил Рослый. И снова посмотрел мне в глаза — долгим, тяжелым, полным печали взглядом.— Мы перед крутым поворотом, понимаешь это? На таком повороте легко опрокинуться. Занесет — и вверх колесами. Ясно? Мы не имеем права допустить подобного. Народ требует смерти — мы должны подчиниться ему. Народ хочет жертвы. Ясно? Крови хочет. Ему разрядиться нужно. Что поделаешь, раз уж Магистр подвернулся с этим своим побегом...

Я молчал. На меня снова нашло то оцепенение, что уже схватывало меня столбняком в прошлый раз, когда Рослый, сообщив о суде над Магистром, говорил о необходимости «опустить шлагбаум». Я понимал: все предрешено, и у меня, главное, нет способа изменить что-либо, нет сил!

И все же я одолел свой столбняк.

— Это ты хочешь крови,— сказал я, с трудом ворочая языком.— Это тебе нужна жертва. Тебе!

Рослый закричал — будто оборвал в себе разом некую привязь, что держала его в состоянии тяжелой, раздавливающей печали.

— Не мне! — закричал он.— Не мне! Ясно?! Всем нужна! И тебе тоже! — Изо рта у него белыми клочьями полетела слюна.— Большое дело только на крови крепко стоит! Кровь — как известь в кладке! Кровь виной связывает! А пуще вины нет ничего, такими нас господь создал: без вины все из хомута норовим, а с виной и тройной воз — пушинка! Ясно? Это вы, слюнтяи, ничего знать не хотели, видеть не желали, что происходит! Все на меня сейчас свалить хочешь? Не выйдет, не приму! Так вот выпало Магистру — нечего было драпать. А мог и ты подвернуться! Любой мог подвернуться! Любому могло выпасть!

Он умолк так же внезапно, как и сорвался в крик. Вытер ладонью слюну с подбородка и губ и затем обтер ладонь об одежду.

— Я тебя вот зачем видеть хотел,— сказал он наконец, снова тем же тихим, тяжелым и словно бы печальным голосом.— Кто-то ведь должен будет приговор в исполнение привести. И со стороны тут никого не позовешь. При чем тут со стороны кто-то... кто-то близкий должен быть. Ну, не жена, конечно. Но очень близкий.

Чего-чего, но подобного я не ожидал никак. Он предлагал взять на себя эту страшную обязанность мне!

И сразу все, о чем он говорил прежде и чему я ужасался, померкло перед этим его предложением, заслонилось им, не оставив в мире ничего другого.

— Ты сошел с ума...— слыша, как дрожит у меня голос, и не в силах придать ему твердость, не сказал, а как-то прорычал я.— У тебя, видно, не все дома... Требуешь крови... и хочешь, чтобы убийцей стал я? А почему тогда чужими руками... почему не своими?

Рослый, казалось, ждал этих слов.

— Я на себя и без того взвалил столько,— тут же, едва дав мне умолкнуть, заговорил он,— сколько из вас никто не унес бы. Почему это я и дальше все на себя должен взваливать? Вы слюнтяйничали, я пахал, теперь давай впрягайся и ты, настала пора. Ясно? Я же сказал, все на себя одного принимать не буду. А кроме тебя, ближе ему нет никого. Вы же — Вольтово братство! От руки, так сказать,

брата... в этом свой смысл, весьма символический... да суть в общем-то вот в чем: ты и никто другой — выбора тут нет.

— Я отказываюсь,— стараясь придать голосу твердость и слыша, что он все так же дрожит, сказал я.— Отказываюсь, понял?

— Да понял, понял,— сказал Рослый.— Нелегко согласиться, конечно. За то я тебя и люблю — за верность твою, за надежность. Но сейчас ты смешиваешь две верности. Верность личным привязанностям и верность Делу. Высшую и низшую. Ясно? А ведь ты философ, вспомни, должен уметь разделять понятия. Если верность Делу для тебя высшая, ты обязан низшею поступиться. Если наоборот...

Он приостановился, я ждал, глядя на него, и он продолжил:

— Если наоборот, придется отдать под суд и тебя. Не в наказание, нет. Просто не вижу иного выхода. Или ты с нашим Делом, а значит, со мной. Или против меня, а значит, против Дела. А кто против Дела — тот враг. Ты на грани того, чтобы стать врагом Дела. Ясно?

Я слушал его и с ужасом ощущал, что в этой дикой его софистике — все правда: власть была им захвачена, узурпирована, и пойди я против него — я оказывался врагом Дела; оказывался вне Дела, вытолкнут из него, и зачем она была мне нужна, такая Жизнь?

— Обдумай, как следует, все, что я тебе тут говорил,— сказал Рослый.— Обдумай, обдумай. Времени у тебя — до завтрашнего дня. Воля народа уже ясна. Объявим ее нынче вечером по трансляции, а завтра в Главном зале приведем в исполнение. Ты не пугайся, никаких секир. Все очень просто, как в Америке. Вполне гуманно. Электрический стул. Высокое напряжение. Только замкнуть сеть рубильником.

Искушение ударить его было так велико, что от сдерживаемого желания у меня заломило в висках. Ну, ударил бы я его, и что бы от того изменилось? Власть была им захвачена, узурпирована, и у меня оставался только один путь: служить нашему Делу и дальше...

В дверь комнаты постучали, и она приоткрылась. На пороге стоял один из тех малоизвестных мне людей, что сегодня во время суда, будто из воздуха возникая и в нем же исчезая, бдительно следили за поддержанием некоего, им лишь одного известного порядка.

— Что такое? — недовольно спросил Рослый.

Однако он подошел к человеку, перемолвился с ним несколькими словами, и человек исчез. Рослый плотно закрыл за ним дверь и подпер ее спиной.

— Мне, к сожалению,— сказал он,— пора уходить. Но я думаю, тебе в принципе все понятно. И надеюсь, что Дело для тебя превыше всего. Ведь я знаю, что превыше всего. Вот за это я тебя, собственно, и люблю. Для меня самого — ничего в жизни, кроме нашего Дела. Через что б ни пройти, но довести его до конца!

Он много раз за нынешний наш разговор произнес это слово — «Дело», и всякий раз оно звучало у него так, словно он баюкал у себя на руках младенца.

— До утра. Утром свяжусь! — распахнул Рослый передо мной дверь и, выпуская, приобнял на ходу.

6

Я шел по освещенной дневной штольне к себе в комнату, громко хрустя гравием, и у меня было одно желание: удавиться. Прийти к себе, запереться и удавиться.

Велик, однако, инстинкт жизни. Пойди-ка сломи его, как ни велико твое желание уйти из нее. Найдя веревку и связав петлю, я на-

кинул ее себе на шею, потянул вверх... но, как только дыхание перехватило, тут же судорожным движением распустил петлю...

Ночью, в постели, в кромешной, глухой тьме я рассказал Веточке обо всем. Не потому, что не мог сдержаться. Пожалуй бы, смог. Но дело касалось ее судьбы в такой же степени, как и моей. Повседневные заботы нашей совместной жизни были у нас разные, а судьба — одна. И что бы ни произошло со мной, тут же это с тою же силой непреложно должно было отозваться на ней.

Она плакала,— какая женщина не даст слезам воли при подобных известиях? Она понуждала меня вновь и вновь, всю бессонную ночь, обладать ею,— был ли то инстинкт жалости и сострадания, или же только самосохранения? Впрочем, разумеется, это неважно. Я лег с нею в постель студенистой амебой с растекшейся волей, не годным ни на что, кроме как желать себе смерти, а поднялся крепким, уверенным в своих силах, собранным в кулак, готовым вынести все, что должно.

Дожидаться звонка Рослого я не стал, позвонил сам. Он еще спал, пробурчал сонным голосом, что я понадоблюсь ему позже, и собрался положить трубку, но я заставил его говорить со мной. «Это еще зачем?!» — вмиг проснувшись, спросил он, когда я сказал, что должен встретиться с Магистром. И однако ему пришлось уступить мне и дать разрешение на встречу; причем не через час, не через два, а сейчас, немедленно, как того хотел я.

Магистра содержали все так же в медблоке, и в камеру его была превращена та самая палата, в которой умер Декан. Он не лежал на кровати, не сидел на табурете — единственной мебели, оставшейся от всей обстановки палаты,— он стоял на четвереньках в углу, уткнувшись головой в сретенье стен и пола, и на звук открывшейся двери, что впустила меня, не шелохнулся.

Я сел на табурет, стоявший посередине комнаты, посидел какое-то время, Магистр все продолжал стоять без движения, не обращая внимания на то, что там у него за спиной, и я позвал:

— Э-эй!..

Будто рябь прошла по его телу. Дернулись ноги — и толстая белая кукла загипсованной ноги даже пристукнула о пол,— дернулся торчащий зад, дернулись плечи, руки, голова, и он медленно, переступив коленями, повернулся ко мне лицом, и боже, что случилось с этим тусклым, мертвым, тоже словно бы загипсованным лицом,— оно так и полыхнуло светом и счастьем!

— Фило-ософ! — протяжно сказал он.— Это ты!

Магистр заперехватывал руками по стене, чтобы подняться, закукленная нога мешала, и я вскочил, помог ему подняться, и, поднявшись, он крепко обхватил меня руками, прижался головой к моему плечу и затрясся в рыданиях.

— Фил-о-ософ! — говорил он скачущим голосом сквозь рыдания.— Фил-о-соф!.. Фил-о-соф!..

Я молчал и только поддерживал его, чтобы ему было не слишком тяжело стоять на одной ноге.

Потом, длинно вздохнув, Магистр поднял голову, отстранился и, приступив на белую гипсовую ногу, шагнул к кровати и бухнулся на нее.

— Слушай, Философ,— сказал он, вытирая ладонями мокрое лицо и обшоркивая ладони об одежду,— это все правда, да? Меня казнят?

Я кивнул.

Его снова затрясло. Но теперь рыдания продолжались не очень долго.

— Бред,— сказал он, вновь вытерев лицо.— Бред. Неужели так нужно? Рослый говорит, что так нужно. Ты тоже считаешь, что так нужно?

Я снова кивнул.

— Но почему это должен быть я? Почему я?

Ничего в нем не осталось от прежнего Магистра, холодно-ироничного, скупого на слова и жесты. Сейчас это был какой-то горячечный, трясущийся комок плоти.

— Так тебе выпало,— сказал наконец и я.

— Что, что выпало? — закричал он.— Почему мне?

— Зачем ты хотел бежать? — вопросом ответил ему я.

— Бежать? Я? — Магистр хохотнул быстрым, диковатым смешком.— Никуда я не хотел бежать. Я провожал Волхва.

— Но ведь зачем-то ты стал вылезать из корзины?

— А так мне было велено. Выйти и обнять его на прощание. Не удалось вот выйти.

— Но почему ты признался на суде в попытке побега?

— Но ведь так нужно?

В голосе Магистра были издевка, неверие и надежда — все вместе, все в едином, трепещущем сгустке.

Я опять кивнул. Ответить ему на этот вопрос утвердительно было все же сверх моих сил.

— Э-э...— дикое, утробное не звуком, а каким-то хрипом вываливалось из Магистра.— У-уу...

— А я тебя казню,— сказал я.

Он, видимо, или не услышал меня, или не понял. Сидел, ухватившись обеими руками за спинку кровати, и из него лез этот урчащий, пузырящийся хрип. «У-у-уу...»

— А казнить тебя буду я,— повторил я громче и внятнее, наклонясь к нему.

Магистр услышал. И понял. Хрип прекратился, он смотрел, скособочась, на меня, и вдруг стал вставать, потянулся ко мне руками, и мне показалось, он хочет схватить меня за шею,— я отпрянул.

— Фило-ософ!..— с прежней протяженностью произнес Магистр, и из глаз у него снова брызнуло, но это были не рыдания, это были какие-то просветленные, чуть ли не счастливые слезы.— Фи-ло-ософ!.. Как хорошо, что это будешь ты... как хорошо! Я боялся, что какой-нибудь... а от тебя — это хорошо, это мне легче... Я буду думать: вот-вот, вот сейчас... и буду знать, что это ты, мне это будет приятно...

Я вышел от него с чувством какого-то мистического страха. Я должен был увидеться с ним и сообщить, что именно я буду приводить приговор в исполнение,— для того, чтобы быть честным перед собой, чтобы не прятать трусливо и гадко голову в песок; и, конечно же, я ожидал от нашего разговора всего, чего угодно ожидал, но вот того, что он станет благодарить меня за взятую на себя страшную обязанность,— этого я не мог себе и вообразить...

И однако же я сделал свое дело, как положено. За ночь в Главном зале был сооружен для казни специальный помост, на помосте, чтобы скрыть от взглядов тысячной толпы предсмертные конвульсии Магистра, установили небольшую кабинку с лежаком внутри, и его, живого, провели туда, укрыли от взглядов, а я со своим смертельным рубильником, укрепленным на торчащей над помостом стойке, стоял, согласно замысла Рослого, у всех на виду; стоял и ждал знака. И когда мне дали его, я, ни мгновения не медля, рванул ручку рубильника вниз и вжал заискрившие железные пластины в тесные щели контактов до упора.

7

С этого дня началась новая эра нашей жизни.

Отныне каждый знал, что ему жить здесь, под землей, еще годы и годы — долгие годы, и скорее всего, здесь и умереть, так и не увидев земного света. Отныне каждый знал, что его жизнь больше не принадлежит ему. Что она безвозмездно взята у него для Дела и будет отдана ему лишь тогда, когда заблистают станции мрамором отделки, погонят по туннелям воздушную волну перед собой скорые грохочущие поезда и вытянутся наклонно, чуть-чуть лишь не дойдя до земной поверхности, бегучие ступени эскалаторов.

Большого терпения и великого смирения требует такая жизнь. Не всякому человеку дано обуздать свою душу,— как и предвидел Рослый, то тут, то там стали возникать очаги возможных бунтов. Но мы были готовы к тому, везде, на каждом производстве работали осведомители, и в результате не вспыхнуло ни одного бунта, все очаги их были своевременно затоптаны. Вполне возможно, помогло нам тут в немалой степени и то обстоятельство, что мера наказания была у нас только одна. Роскошь содержать тюрьму мы себе не могли позволить.

Впрочем, угроза бунта оказалась не самым страшным, что ждало нас впереди. Год от году, все быстрее, все стремительнее, падала у нас продуктивность труда, его качество, и к какой системе поощрений мы ни прибегали, ничего не помогало. То, что в первые годы делалось за неделю, теперь растягивалось на месяц, там, где мы надеялись на свежие идеи и решения, мы получали лишь бесчисленные вариации уже знакомого. Все это отодвигало сроки завершения строительства еще дальше, еще в большую неизвестность, но в конце концов мы были вынуждены принять происходящее как неизбежность.

Несколько раз, особенно в первые годы после того, как мы отрезали себя от земли окончательно, оттуда предпринимались попытки пробиться к нам. Но мы активно пресекали их, со временем эти попытки становились все реже и потом прекратились совсем.

У поколения, рожденного здесь, под землей, к которому принадлежали и мои сыновья, рождались и подрастали теперь свои дети. Они были уже далеки от истоков нашего Дела, идеалы, что подвигли нас много лет назад к уходу под землю, уже не ощущались ими с той остротой и силой, с какой это было дано ощущать нашим детям, и пришлось продумать специальную пропагандистскую программу, создать для ее практического воплощения целый пропагандистский аппарат,— дабы донести до их душ наши идеи, пропитать ими, выжечь скепсис, дабы в свой час эти нынешние ребятишки влились в наше общее Дело со всей истовостью, с какой служили мы.

Как бывшему студенту-философу руководить всей этой пропагандистской работой выпало мне. Я был счастлив, что на склоне дней мне выпало заниматься чем-то вроде истории нашего движения и его осмыслением. Я находил в этом занятии какое-то неведомое мне никогда прежде неизъяснимое наслаждение. Когда мы завершим строительство и выйдем на землю, говорил я, беседуя с молодежью, нас встретят как героев. Люди будут восхищаться вами, ваши сверстники будут завидовать вам. Вас ждет слава, радость поклонения, вы будете как боги!

Я говорил так и, право же, я не лукавил. Ведь так оно и должно было случиться. Не в человеческой природе ценить бескорыстие, но если оно облекается в совершенно материальный результат — как в случае с нами,— люди способны испытывать благодарность.

Впрочем, лично я сам не очень-то много думал о земле. Я забыл ее. Во мне почти не осталось воспоминаний о земной жизни, она высочилась из моей памяти — капля за каплей исчезла из нее,— будто я никогда и не жил ею, будто я здесь, под землей, как мои дети с внуками, и родился, и вырос... и никогда больше не посещало меня то страшное, гнетущее отчаяние, что в давние времена, в день похорон Декана, трясло меня, будто током. Я уже и сомневался порой: да было ли оно, то отчаяние, вправду ли все происходило так, как мне помнится? А может быть, я просто-напросто выдумал все это, а выдумав, помнил выдумку?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Выходить наверх мы решили в том же самом месте, где в свою пору спускались под землю. Место было не из лучших, предпочтительнее было бы другое — на площади перед Домом власти, где по проекту также должна была находиться станция, и если даже власть перебралась оттуда в какой-нибудь другой дом, все равно это оставался самый центр города. Но при проходке наклонного эскалаторного туннеля, когда подошли к подповерхностному слою площади, мы наткнулись на сваи каких-то фундаментов и оказались вынуждены остановиться, доведя эскалаторную лестницу лишь до свайной отметки. Или же мы ошиблись и вывели туннель не туда, куда следовало, или же там, наверху, на нужном нам месте поставили какое-то здание. Подобные фундаментальные сваи встретились нам при завершении и многих других эскалаторных туннелей, что было в общем-то несколько странно. План будущего метро у властей имелся, где будут выходы станций на поверхность, они прекрасно знали и не должны были застраивать эти участки. Или же там, наверху, построили здания таким образом, чтобы вход в метро осуществлялся через них? Но снизу, не видя самих зданий, вести туннели дальше было невозможно.

В месте же нашего давнего спуска стояла станция, построенная еще нами самими, тут ничего другого наверняка не могли поставить, и мы могли выйти, не причинив городу никакого вреда.

Метро было готово к эксплуатации до последнего винтика. Мы спроектировали и сделали поезда на электрической тяге, и в последнюю пору, пока велись всякие доводочные работы, уже не ходили к местам работ пешком и не ездили на дрезинах, как бывало, а с желанным грохотом и шумом неслись в светлых просторных вагонах — аж захватывало дух. Станции были отделаны мрамором и гранитом, украшены чеканкой и расписаны фресками. Каждую выполнили в своем стиле, ни одна не была похожа на другую,— о чем мы вовсе и не мечтали раньше; но мало ли о чем не мечтали, жизнь скорректировала.

Чтобы выйти наверх, нам нужно было разрушить бетонную пробку, которой когда-то мы намертво отгородились от земли. Под ее литой мощной плитой мы натянули синтетическую пленку особой прочности, с отверстием посередине, и вдоль эскалатора пустили вниз отводной закрытый рукав.

Загрохотал разом десяток отбойных молотков, подпрыгивая, поскакали к отверстию в пластиковой воронке первые куски отколотого бетона и побежали с шорохом по рукаву вниз. Работать отбойщи-

кам приходилось со специальных люлек, лежа, и чтобы работа шла быстро, без задержек, каждые десять минут они сменялись. У меня тоже горело внести свою лепту в раскупорку нашего подземелья, отбить свой, личный кусок бетонной пробки, и, несмотря на возраст, я тоже подержал в руках молоток, налегая на его колотящееся железное тело изо всех сил, и, как ни устал, выдержал все десять минут своей смены.

— А что, старичок, ты у меня еще вполне! — хлопнул меня по плечу, обнял, прижал к себе сын, когда я, покачиваясь, выбрался изнутри пластиковой воронки на лестницу эскалатора.

— А ты думал! — тяжело дыша, со счастливой хвастливостью, ответно обнимая его, сказал я.

Последние годы, после смерти Рослого, он стал во главе нашего Дела.

Это был мой младший сын. Старший умер от воспаления легких уже много лет назад, только-только успев родить нам с Веточкой внучку. Впрочем, ни Веточки, ни внучки тоже не было в живых, единственный, кто у меня остался,— вот этот мой сын. Странно, но как у Рослого не было семьи, так не обзавелся семьей и мой младший. Жалко, страшно жалко. Получалось, род мой на нем закончится...

Бежали с шебуршением внутри отводного рукава куски бетона, потянуло запахом жженого металла,— это там, внутри воронки, добрались до арматуры и стали кромсать ее прутья газорезкой.

— Давай, батя, иди туда,— подтолкнул меня сын по лестнице вниз.— Приложился — и хватит, не мешай. Иди собирайся. Скоро двинем.

Я послушно пошел по ступеням. Сын сыном, но он глава Дела, и его приказам должно подчиняться.

Внизу, у подножия эскалаторов, стояли, вытянувшись цепочкой, несколько вагонеток. Две из них уже наполнились, как раз подошел поезд к платформе, и вагонетки покатили к нему — загрузить в вагон, чтобы после отвезти в отвал. Нам хотелось выйти на землю, оставив за собой блистающий чистотой, готовый в любое мгновение начать служить людям подземный мир, а не кучу мусора.

Платформа была полна народа,— судя по всему, на ней собралось уже все наше подземное население. Все были азартно, жарко возбуждены, то тут, то там вспыхивали и почти тотчас гасли взрывы громкого смеха.

Наконец, куски раздробленного бетона стали вылетать из отводного рукава все реже, реже, зазвенел, ударившись о борт вагонетки, обрезок арматурного прута, пауза, наступившая вслед за этим, все длилась, длилась, уже переставая быть паузой, и вот сверху загудели по эскалатору шаги бегущего человека.

— Шапки вверх!— не добежав нескольких шагов до подножки, закричал посыльный, разметывая в стороны руки, будто раздернул на ходу некий занавес.— Дорога открыта!

Еще час ушел на то, чтобы привести за собой все в порядок, и исход начался.

Право идти первыми было дано «патриархам», тем, кто в свою пору, спустившись в пещерную темную полость, начинал строительство. Тридцать четыре осталось нас таких.

А всего на поверхность поднимались четыреста восемьдесят девять. Это и включая детей. Впрочем, детей у нас было теперь совсем мало. Почти не было.

Плоское полотно эскалатора превратилось в ступени, поскрипывали мягко, почти беззвучно где-то внутри вращающиеся колеса, по которым оно текло вверх, сухо пошоркивала, черно струясь вверх вслед за ним, резиновая лента под рукой, уплывал назад тюбинговый полукруг свода над головой,— и у меня сжало сердце, оно затрепыхало в груди, вот уж верно говорят, будто птица в клетке, готовое, кажется, остановиться, и в голове загудело, будто у меня там бухнули разом пудовые колокола. Сейчас, сейчас... еще минута, полминуты, двадцать секунд, десять... и я ступлю туда, где не был чертову уйму лет, чуть ли не всю свою жизнь... я стоял там в последний раз еще совсем молодым, почти мальчишкой, а теперь я старик, лысый, высохший до кости, почти беззубый...

Ноги у меня подгибались, не шли, и, сходя с эскалатора, я чуть не упал.

Внутри, в здании станции, все осталось так, как было тогда, много лет назад, когда мы уходили отсюда под землю. Я это схватил мгновенно — едва обвел вокруг взглядом. Будто где-то в сознании у меня хранился точный слепок той давней картины и все эти годы лишь ждал своего часа, чтобы тут же проявиться.

Но было видно, что никто сюда уже много лет — долгие годы — не входил. Толстый слой окаменевшей пыли лежал на полу,— нога не оставляла на ней даже слабого отпечатка. Оконные проемы были наглухо заложены кирпичом — чего мы не делали, а высокие многорядные двери зашиты досками, и наискось через них бежали рядками остренькие жала ржавых гвоздей — изнаночные следы прибитых снаружи поперечин.

А народ снизу все прибывал, прибывал, сделалось тесно, так что стояли, прижавшись друг к другу, и, наконец, поднялись последние.

И, как капитан, оставляющий судно, самым последним поднялся мой сын.

— Приступайте! — дал он команду, шагнув с эскалатора.

Те, кому она была предназначена, знали, что они обязаны делать.

Взвыли, звонко заверещали электропилы и тотчас, одна за другой, помягчели голосами, войдя своими острыми грызущими цепями в доски дверных заплотов. Запахло опилками, жженым деревом,— и меня как ударило под дых. Голова закружилась, ноги повело, и я бы упал, если б не теснота: это были запахи земли, давно забытые, утраченные обонянием, напрочь ушедшие из памяти,— и внезапное оживление их было, как воскрешение Лазаря, как истинное чудо, как если б ты заново родился...

А пилы между тем, время от времени взвизгивая от натуги, вели свою басовитую, зудяще-железную партию, пилили и пилили, все пильщики уже стояли на стремянках, делая пропилы в верхней части заплотов, я вновь физически ощущал, как растет, разбухает, готовое затопить нас всех с головой, людское напряжение вокруг,— и это случилось. «А-а-аа!..» — закричал хрипло, животно, перекрывая вой пил, женский голос, и все тотчас всполошенно заволновались, задвигались, подались единой массой на звук голоса и этой же единой массой качнулись неожиданно в сторону дверей. Загремела, упав, стремянка, взвыла, вылетев из рук пильщика, пила, грохнулась на пол, задев кого-то, и к истерическому женскому крику добавился вопль боли, но толпа сзади надавливала, притиснув передних к заплоту, и они тоже закричали. «Прекратить! Остановитесь! Все на свои места!» — услышал я, как из другого мира донесшийся, усиленный мегафоном голос сына,— и подпиленные доски заплота затрещали, не выдержав давления, и заплот рухнул наружу, увлекши за собой тех, что были прижаты к нему. Но толпа, глухо ахнув, как единое живое существо, тотчас отшатнулась назад, и вылетевшие нару-

жу, торопливо вскочив на ноги, бросились через дверной проем обратно.

«Стоять на местах! Всем стоять на местах!» — надрывался сын, заглушая мегафонным криком другие, продолжающие работать пилы, но теперь и без того все стояли замерев, и снова наступила тишина; только и осталось: его крик да пение пил.

А в открывшийся дверной проем черно глядело ночное небо, и в его живой белесоватой тьме мерцали, подрагивали в токе земного воздуха ярко-колючие и слабенько-точечные звезды. Белые, желтые, голубые, красноватые...

2

Я обнаружил себя лежащим на койке в белой больничной палате. Что это еще могло быть, как не больница. Только в больницах так бело красят стены, только в больницах есть эти стойки с градуированными прозрачными баллонами, из которых по прозрачной трубке катетера, воткнутого в твою вену, катится слезка физиологического раствора.

Я повернул голову и увидел окно. За окном был день, видимо, очень ветреный — быстро неслись облака по голубому небу, гнулись, раскачивались, играли обильной летней листвой деревья.

Когда же это мы вышли на землю? Нынче ночью? Или с момента выхода прошло какое-то время? И что со мной, почему я в больнице? Что было после того, как в открывшийся дверной проем я увидел звездное небо?

В палате не было никого, кроме меня. Стояла рядом еще одна кровать, но она пустовала.

Я глянул на руку с вогнанной в вену иглой катетера. Вся внутренняя сторона руки около сгиба локтя была сплошным черно-лиловым кровоподтеком, и бинт, которым был закреплен катетер, казался на этом черно-лиловом фоне ослепительно белым. Нет, я тут обретался уже давно...

Свободной рукой я ощупал себе голову, лицо, согнул, приподнял ноги, оглядел, скинув простыню, всего себя,— ничего у меня не болело, не было на теле никаких ран, только страшная слабость, что, должно быть, естественно, если я отлежал тут уже не один день, и полный провал в памяти после картины звездного неба в дверном проеме...

— Э-ээй! — крикнул я, глядя на плотно закрытую, стеклянную в верхней части дверь палаты.— Ээ-эээй, кто-нибудь!

Сначала в дверном окне возникло юное девичье лицо, потом, через мгновение, как оно исчезло, возникло другое, тоже женское, а еще через несколько мгновений лиц там стало много, затем они все отпрянули от двери, и она распахнулась.

...— Вы в самом деле ничего не помните? — спросил меня доктор,— явно с солидным, основательным опытом, немолодой уже, скорее даже пожилой человек, и все же, пожалуй, не старше моего покойного старшего сына.— Абсолютно ничего, ни смутно, ни фрагментарно?

Мы сидели у него в ординаторской, в креслах напротив друг друга, он заварил чай в стаканах, но пил один,— я пить не смог. Меня, когда я поднес стакан в губам, чуть не вырвало от одного лишь запаха чая.

Оказывается, я пролежал здесь, не в состоянии двигаться, говорить, есть, ровным счетом десять дней. И это был не обморок, потому что глаза у меня во время бодрствования оставались открыты, я спал и просыпался, но ни двигаться, ни говорить, ни есть — ничего этого я не мог.

— Психический шок, да? — спросил я, в свою очередь, доктора.

— По всей вероятности,— отозвался он.— Но организм у вас крепкий: сейчас вы прямо как огурчик.

Мне была приятна его похвала. В моем возрасте вовсе не грех гордиться своим здоровьем как особым достоинством.

— Но что же все-таки было после, когда мы вышли? — снова, но уже с большей настойчивостью спросил я.

— А вы твердо уверены, что вам это нужно знать?

— О боже! — Я взмахнул руками, задел свой стакан с чаем, он не упал, но подпрыгнул, и из него выплеснулось на стол.— Извините... А вы бы на моем месте разве не хотели этого знать?

Захрустев оберткой, доктор достал из пакетика марлевую салфетку, другую, третью и стал промакивать ими желтоватую лужицу на столе.

— Вам будет тяжело,— сказал он, глядя на свои руки, перекладывающие намокшие салфетки с места на место.— Хотя, наверно, я все равно должен помочь вам вернуть память. Лучше, наверно, чтоб это произошло сейчас, чем потом, когда вы отсюда выйдете...

— А можно вернуть? — уже едва не крича, спросил я.

— Нужно попробовать,— сказал он, оставляя салфетки в покое и устремляя свой твердый, глубокий взгляд на меня.— Скорее всего можно.

— Это что, гипнозом?

— Ну, конечно.

— Давайте,— сказал я, ощущая, как дрожат пальцы от возбуждения.

— Прямо сейчас?

— А почему нет?

— Ну что ж...

Он привел меня обратно в палату, велел лечь в постель и помог укрыться одеялом.

— Представьте себе, что вы прилегли отдохнуть. Расслабьте все мышцы, вам очень нужно отдохнуть. Вы испытываете блаженство, по вашему телу начинает растекаться приятное тепло...

Нет, никакого тепла по моему телу не растекалось и никакого блаженства я не испытывал. Неоткуда было взяться ни теплу, ни блаженству. Но я с послушной старательностью слушал голос этого симпатичного мне доктора, что был годами, наверное, почти ровня моему покойному старшему сыну, я держался за его голос, как за Ариаднину нить, что должна была вывести меня из кошмарного, темного лабиринта беспамятства, я держался за него обеими руками, боясь ненароком отпустить, держался изо всех сил... и вдруг потерял его, и полетел куда-то, как в пропасть, и замычал от пронзившего меня дикого ужаса, что не сумел удержать голос, и теперь мне не выбраться из лабиринта... однако никуда я не упал, это, оказывается, выходя под звездное ночное небо, я всего лишь споткнулся о край рухнувшего заплота, споткнулся — и сумел устоять на ногах.

Веял свежий ночной ветерок, нес в себе тысячи земных запахов — травы, купающейся в росе, увлажнившейся листвы деревьев,— а я стоял, чуть отойдя от здания станции, чтобы не мешать выходить другим, слушал шорох шагов вокруг, шуршание одежды, дробное постукивание покатившегося по асфальту камешка, задетого ногой, и мне кружило голову от непривычного, забытого вкуса чистого вольного воздуха и растягивало блаженно в невольной улыбке счастья губы: дожил, дожил, дожил!

Город спал, погруженный в тишину и темь, лишь кое-где горели в домах одинокие окна да там-сям бросали на землю с высоты тусклые конусы света уличные фонари. Похоже, все здесь осталось так, как было в пору моей молодости. Словно бы с того дня, как мы спустились под землю, и не минуло несколько десятилетий...

Внезапно я почувствовал рядом с собой сына. И услышал, что у него лязгают, как от озноба, зубы.

— Ты что? — спросил я.

— Черт знает,— ответил он мне прыгающим шепотом.— Я ведь тут никогда не был. Ничего не представляю.— Он помолчал, стоя рядом, и, нагнув голову, снял с шеи ремень мегафона.— На,— протянул он мне мегафон.— Будешь командовать парадом. Я не способен. Ну, бери, бери! — торопя меня принять мегафон, все так же шепотом закричал он и всунул тяжелый металлический раструб мне в руки.— Что ли не понимаешь ничего?!

Нет, я понял. Я все понял. Что ж, в этом была даже своя логика: кто увел от мира, тот должен и привести в него.

Я повесил мегафон себе на шею и обнял сына за плечи.

— Не волнуйся. Обещаю тебе: все будет нормально.

— Ты знаешь... помнишь, какие слова нужно говорить?

— Помню, помню,— сказал я.— Не волнуйся.

Мегафон, что сын передал мне, был предназначен вовсе не для того, чтобы обуздывать потерявшую самообладание толпу. Через мегафон, когда настанет пора, должно было оповестить город о свершившемся. «Друзья! Сограждане! Это мы — те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустился под землю! Сегодня мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь!» Вы увидите подземный дворец, который готов принять вас и служить вам!..» — мог ли я не помнить эти слова, с которыми надлежало обратиться к собравшимся горожанам. Ведь я сам, а не кто другой, придумывал, писал и многажды раз переписывал текст обращения.

— Не волнуйся,— снова сказал я сыну.— Отдохни. Ты слишком устал за последнее время. Иди, побудь один. Расслабься. Не думай больше ни о чем. Теперь я...

Да, да, теперь я. Кто увел из мира, тот должен и привести в него. В этом была не только своя логика, но даже и символичность.

Я огляделся в окружающей нас ночной тьме, пытаясь определить, не разбрелась ли наша ветеранская группа, держится ли места, назначенного нам для сбора, в полном составе, и, пересчитав, удостоверился, что все тут. Невольное чувство гордости ненужно наполнило мне теплом грудь. Ветераны — они и есть ветераны!

Только на них сейчас и можно было положиться в полной мере. Хотя с той поры и минули десятки лет, но все-таки они, нынешние ветераны, жили на земле, ходили по ней, и в них не дребезжало сейчас того страха перед ней, что так неожиданно обнаружился в моем железном сыне и, видимо, тряс всех остальных.

Сына рядом со мной уже не было.

Придерживая мегафон рукой, я протолкался в центр нашей патриаршей группы. Ветераны сомкнулись вокруг меня тесным кружком. Я набрал полную грудь воздуха, раскрыл было рот, чтобы сообщить им о выпавшем нам последнем долге,— и голос оставил меня.

Словно коридор люминесцентного, фосфоресцирующего света возник в небе. Таким, наверное, бывает северное сияние. Но северное сияние играет сполохами, висит высоко над головой гирляндами, а это был именно коридор, люминесцентный туннель в темноте, и находился он не высоко в небе, а где-то буквально над крышами до-

мов — затронутые им, они смутно обозначились остроугольными горбами коньков.

И по этому фосфоресцирующему световому туннелю, ведя его с собой, двигалось бесшумно что-то темное, длинное, округлое, похожее на гигантский пенал.

— Помните! Помните! Вы все помните, до самых мельчайших подробностей! — услышал я над собой размеренный, внушающий голос и понял, что все происходящее сейчас — только мое воспоминание о нем, на самом же деле я лежу на больничной кровати, и звучащий надо мной голос — голос доктора.— Вы помните прекрасно и то, что было после,— внушал голос, и я снова судорожно ухватился за него и, ощущая в ладонях его надежную натянутую бечевую крепость, снова спустился по нему в т о т день.

— Что это было? Что это такое было? — спрашивали все лихорарадочно друг у друга и требовали ответить прежде всего нас, ветеранов, но мы и сами спрашивали о том друг друга, и никто никому не мог ничего ответить.

— А при вас это было? Может быть, было, но вы забыли? Ведь какое-то объяснение этому есть? — продолжали и продолжали спрашивать нас — и ни о чем другом уже не говорилось, все с большим и большим возбуждением, с какой-то уже даже горячечностью...

Это страх земли колотил людей. Видимо, психика требовала разрядки, сброса напряжения, и сброс этот мог произойти прямо сейчас. И, произойди он, в какие формы он бы облекся, во что вылился? Возможной ли становилась тогда наша встреча с городом, как мы ее замышляли?

Необходимо было отвлечь людей. Нужно было чем-то занять их. Но чем?

Я включил мегафон и поднес ко рту. Раздумывать было некогда.

— Старшим двадцаток проверить наличие людей,— прогремел усиленный динамиком мой голос.— Всем находиться на обусловленных местах. Ответственным подготовить транспаранты. Проводим репетицию встречи.

Это было довольно глупо — греметь из мегафона среди ночи. Мы привлекали к себе внимание раньше времени. Но ничего другого не в состоянии был придумать мой мозг. Я знал одно наверняка: нужен простой и жесткий приказ. Лишь он способен погасить возбуждение людей, а это сейчас важнее всего.

И верно: едва раздалось громыхание мегафона, тотчас все разговоры оборвались, будто их отрезало, и снова, как в самом начале, когда мы только вышли наружу, остались вокруг лишь шорох шагов, шуршание одежды, шум дыхания. Все четыреста восемьдесят девять человек торопились занять свои заранее обусловленные места, и ничего, кроме желания выполнить этот приказ наилучшим образом, в них не осталось.

Однако я даже не успел порадоваться про себя достигнутому эффекту. Минули считанные секунды, как я отдал приказ,— и вдруг все пространство около здания станции, со всех ее четырех сторон, залило бешено ярким, пронзительным светом. Я непроизвольно, как, наверно, и все другие, закрыл глаза, и открыть их удалось далеко не сразу. Но глаза еще ничего не видели — меня осенило: прожекторы. И когда наконец удалось чуть разомкнуть веки, стало окончательно ясно: прожекторы, да.

Их был добрый десяток. Они стояли по периметру станционного здания на расстоянии метров тридцати—сорока, мощные их лучи выжигали ночь в своем световом котле до тла, и было видно, что прожекторы установлены на специальных металлических вышках, а пе-

ред вышками тянется глухой бетонный забор с обращенным внутрь навесом из колючей проволоки.

Нас тут ждали. Мы там жили, отрезав себя от них, не подавая вестей о себе долгие годы, а они нас тут ждали.

Только не с очень-то открытым сердцем они ждали нас, если соорудили подобное заграждение. Зачем оно было им нужно, чего они боялись? Или они полагали, что мы там за эти годы потеряли человеческий облик, переродились в каких-то чудовищ?

Впрочем, что ж, может быть, на их месте мы поступили бы так же.

Я снова поднес мегафон в губам.

— Выключите прожекторы,— сказал я.— Мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением. Свяжитесь с городскими властями и скажите, что мы ждем их представителей. Мы никуда не тронемся с наших мест, будем ждать представителей здесь. У вас нет причин для беспокойства. Выключите прожекторы, это оскорбительно для нас.

Я опустил мегафон и некоторое время стоял, ожидая ответа. Никто мне не ответил. Молчали, замерев, люди вокруг меня, молчала темнота за прожекторным котлом,— а может быть, там и не было ни единого человека и свет включила какая-нибудь автоматика, среагировав на звук моего голоса?

«Выключите прожекторы, мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением...» — еще раз повторил я; и мне опять не ответили.

— Все нормально, друзья! — обращаясь к замершим в недоумении и страхе людям вокруг, сказал я в мегафон— голосом, исполненным воодушевления и бодрости. Они были стадом моим, я их пастырем, и мне выпало завершить наш исход достойно. Главное, нужно было дотянуть до рассвета, не допустить психоза, а с рассветом... с рассветом как-нибудь все уладится, не может не уладиться; раз прожекторы включились, даже если их и включила мертвая автоматика, должен же кто-то вступить с нами в контакт, и уж этот первый контакт замкнет дальше всю цепь.— Все, как и должно быть, все в пределах ожидаемого, дорогие мои! — зажигательно прогрохотал я, поворачиваясь с мегафоном во все стороны.— Продолжим репетицию встречи! Все находятся в своих двадцатках?

Может быть, кто-нибудь и наблюдал за нами с этих прожекторных вышек, лично ли, скрытый слепящим светом, отраженным от мощных зеркал, при помощи ли телекамер, точно так же невидимых для нас,— мы, ни на что не обращая внимания, выстраивались колоннами, разворачивали транспаранты — «Метро действует! Метро готово принять своих первых пассажиров!»,— опускались по команде, в знак нашей негордыни, смирения и готовности к подчинению, на колено — проделывали все, что было намечено, и я лишь не произносил своей речи.

3

Мы повторили всю церемонию встречи раз десять, и наконец свет прожекторов начал блекнуть, небо высветилось, и стало ясно, что близок уже и восход.

Никто с нами за все это время вступить в контакт не пытался.

Отгороженные забором, мы были лишены самой мало-мальской свободы в своих действиях. Забор навязывал нам тактику ожидания. Но ожидать дальше было невозможно. Сколько люди могли еще выдержать пытку бездействием? Ведь нельзя же было считать действием бессмысленное, пустопорожнее повторение одних и тех же механических движений, которыми я принудил их заниматься. Ну, еще десять, еще пятнадцать минут... а потом?

Следовало искать контакт самим.

«Отдых!» — дал я команду.

И пошел к литым, бессворчатым железным воротам в заборе.

Я не дошел до них метров десять, когда откуда-то сверху на меня обрушился многократно усиленный динамиком, властный, тяжелый голос:

— К воротам не приближаться!

С мощностью этого динамика мой мегафон не шел ни в какое сравнение.

Я остановился. Если я и не ждал именно такого окрика, то все же к чему-то подобному был готов. И у меня уже была подготовлена первая фраза.

— Метростроители приветствуют вас! — сказал я в мегафон.— Мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением...

Больше я не успел произнести ничего,— голос из динамика прогремел вновь:

— Отойдите от ворот!

Я остался стоять на месте.

— Мы поднялись к вам...— начал я, но динамик снова перебил меня:

— Отойти от ворот, и никому не приближаться к забору! В случае нарушения запрета будут приняты экстренные меры!

Я растерялся. Я попятился невольно назад и так, пятясь, дошел до своих. Если б еще я видел отдающего команды, к нему можно было бы обратиться с подготовленным заявлением, но невозможно же обращаться к голосу из динамика!

И однако нужно было что-то делать. Я не видел, но чувствовал, что все сейчас смотрят на меня.

— Стремянку! — глянул я назад, и слово побежало по губам, от человека к человеку, и спустя мгновение мне уже несли ее.

Стремянка была раздвижная, высокая, верхняя ее площадка находилась на высоте чуть ли не трех метров, и ни в какую другую пору никто б не заставил меня влезть на нее. С моей-то старческой ловкостью! Но тут я вскарабкался по ней, будто обезьяна, и только когда стал выпрямляться на верхней площадке, у меня задрожали ноги.

— Сойти с лестницы! — загремел голос в динамике, и в тот же миг я увидел, кто говорил.

Воздух уже сделался совсем прозрачен, режущий свет прожекторов почти втянулся в их стеклянные круглые зрачки и больше не мешал смотреть в их сторону.

За бетонным забором было, оказывается, уже целое столпотворение. Стояли шеренги солдат в полной выправке, с автоматами на животах; бегали суетливо какие-то люди в штатском; бронетранспортеры, пожарные машины, машины «скорой помощи» и еще всякие другие выстроились рядами поодаль; держась на уважительном расстоянии от всей этой техники, теснились там-сям уже достаточно многочисленные группки любопытствующего народа, и виднелись головы в распахнутых окнах двух близлежащих домов. А голос, отдававший приказания, принадлежал человеку в корзине телескопической «ноги» одной из пожарных машин, осторожно поднятой на не слишком большую высоту — он держал микрофон у рта, и на крыше кабины были установлены динамики.

— Немедленно сойти с лестницы! — повторно прогремели динамики, но я уже знал: ничего подобного! Может быть, лучшего момен-

та для нашего заявления уже не будет, и я должен сделать его сейчас. Именно сейчас, стоя на этой стремянке.

— Друзья! Сограждане! — произнес я в мегафон. Ноги у меня дрожали, меня так и болтало, и я боялся, что не смогу удержаться, упаду и смажу эффект от нашего обращения. Но все же я повторил, привлекая к себе внимание: — Друзья! Сограждане! Это мы! Это мы — те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустился под землю!

Еще я боялся, что меня будут прерывать, не давать мне говорить, заглушая динамиками, но меня не прерывали. Человек в корзине молчал и даже опустил руку с мегафоном, стоял и слушал.

— Сегодня мы говорим вам,— решился я замедлить темп своей речи,— мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь! Спуститесь под землю — и вы увидите подземный дворец...

Помеха пришла не из-за стены, она, будто столб огня, выросла тут, у меня под ногами — единым, заглушившим мои слова, потрясенным воплем.

— ...дворец, который готов принять вас и служить вам!» — докончил я с отчаянием, глянул вниз и обнаружил что все, с одинаково тупым, оглушенным выражением лиц, смотрят куда-то на небо, в одну точку. «Солнце?» — подумалось мне. Но солнце это никак не могло быть, рано ему еще было. Я перевел взгляд, куда смотрели все, и увидел...

Коридор фосфоресцирующего, люминесцентного света плыл в небе, а внутри него, вместе с ним плыло темное, округлое, длинное, похожее на гигантский пенал. Только сейчас, при светлом небе, этот люминесцентный свет был много слабее, чем тогда, ночью, но зато пенал виден отчетливо и ясно. Что-то вроде окон поблескивало у этого пенала.

— Смотри! Вон-вон! Еще один! Еще один! Вон там! — раздался новый истошный вопль, и все без малого пятьсот человек в одно мгновение устремили взгляд в другую сторону неба.

Наперерез тому, первому люминесцентному коридору плыл, появившись из-за крыш домов, точно такой же второй. Они плыли совершенно бесшумно, невесомо, фантомно легко, как и полагалось бы свету, если б он вдруг обрел свойства корпускулироваться и замедлять свою бешено-сумасшедшую скорость распространения в пространстве, но что за темное, явно материально-земное ядро они несли в себе? И коль оно было таким тривиально земным, то как могло оно двигаться с этой невесомой легкостью?

Люминесцентные коридоры наплыли один на другой, мазнули друг друга своими чуть бахромчатыми закраинами и разошлись каждый в свою сторону.

— Что это?! Что это такое? — Стремянку трясли, и, чтоб не упасть, я инстинктивно выпустил мегафон из рук, замахал ими, удерживая равновесие, и затем, так же инстинктивно, присел на корточки, а голос, что спрашивал, был до того искорежен яростью, что я не сразу узнал голос сына.

— Прекрати! — крикнул я ему, но он не понял, о чем я, и с лицом, обращенным ко мне, снова потряс стремянку:

— Ты знаешь? Отвечай!

— Не сходи с ума! — закричал я, нащупывая ступеньку и укрепляя на ней ногу.— Не тряси!

— Дебилы! У, дебилы! — тряханул меня сын, прежде чем отпустить стремянку, еще раз поискал глазами вокруг, увидел кого-то из нашей ветеранской группы и бросился к нему.

— Что это? Почему вы не знаете? Что это может быть? — схватил он его за грудки и, кажется, даже приподнял в воздухе.

Не знаю, кто сейчас мог погасить его бешенство, кроме меня. Я должен был спуститься на землю.

Но я спустился лишь на две-три ступени.

Разминувшиеся люминесцентные коридоры еще не успели исчезнуть из поля зрения, а из-за крыш появился еще один, и был он совсем близко и двигался прямо на нас, на здание станции.

Однако он не доплыл до нас. Он вдруг остановился в небе, завис и так же бесшумно, так же фантомно невесомо, как двигался до того, стал опускаться. Все ниже, все ниже — на не занятую ни машинами, ни людьми, не замеченную мной прежде обширную площадку между четырьмя мачтами, словно бы выстланную металлическим листом — так она блестела, и, когда коснулся ее, разом исчез, оставив от себя лишь темное, округлое, длинное, похожее на пенал, в котором действительно были окна. И еще двери, несколько дверей, пять или шесть. Они распахнулись — и из них стали выходить люди...

Что же, сын снова мог спрашивать меня, что это такое. Теперь я знал.

— Вы помните, помните! — опять ворвался в мое сознание голос врача, но нет, я не хотел больше оказываться в том ужасе, хватит с меня, довольно, достаточно... и однако противиться этому голосу я не мог, я был бессилен перед ним, и вновь скользнул по нему туда... вот только там не было уже ничего, там был один голый мрак, глухая темь — полная беспамятность, из которой нечего было доставать.

И только словно бы в яркой мгновенной вспышке я увидел себя стоящим на четвереньках у бетонного забора с навесом из колючей проволоки, в сретенье его стен, как стоял тогда в утро перед казнью Магистр в палате медблока, превращенной в камеру: я толкаю себе в рот какую-то выдранную с корнями траву, давлюсь — и толкаю, и жую, у меня обильно течет слюна, сок у травы горький, на зубах хрустит земля, меня тошнит, но я запихиваю жвачку обратно в рот, снова жую и утробно, животно, дико мычу...

— Вы чувствуете облегчение и удовлетворение. Вас больше не мучает, что вы ничего не помните, вы испытываете глубокое и сильное удовлетворение...— услышал я голос доктора и вынырнул в явь, открыл глаза и увидел небо с быстро бегущими облаками, так же мотало верхушки деревьев под ветром, но только теперь память моя доверху, под завязку была полна знанием; подсознание отдало ей все, что хранило.

О, лучше б оно не хранило в себе ничего! Лучше б все стерлось навечно,— чтобы мне никогда не знать того, что произошло. Я чувствовал себя раздавленным, расплющенным, будто каток проехал по мне... зачем я остался жив, такой расплющенный,— уж если проехал, так раздавил бы насмерть...

— Конечно, вам тяжело от ваших воспоминаний, иначе и быть не могло. Но вы испытываете вместе с тем настоящее облегчение, что теперь вы не беспамятны,— и это в вас сильнее всего. Это в вас сильнее всего! — внушая, наклонился надо мной, заглядывая мне в глаза, с улыбкой доброты и одобрения, доктор.

— А как они летают? — еле разлепив губы, спросил я то, что мучило меня и там, в этом гипнотическом сне, но что, находясь в нем, узнать я никак не мог.

Лицо доктора уплыло от меня вверх.

— Я точно не знаю,— сказал он.— Я не очень-то в технике... Явление сверхпроводимости при обычных температурах. Что-то там

с магнитным полем, как-то оно вытесняется куда-то наружу из тела. Ну, и возникает возможность преодолеть гравитацию. Что-то вроде этого.

— И давно они летают?

— Лет тридцать, как первые начали. К вам, помню, пробовали пробиться, но вы такое сопротивление оказали... Помню, в газетах еще писали об этом. Я тогда совсем молодой был.

А, лет тридцать!.. Как раз, значит, вскоре после того, как мы «опустили шлагбаум». Пытались пробиться, было дело. Вон почему, оказывается!

— А отчего нас так встретили? Прожекторы там... войска стояли, кричали, чтоб мы не двигались?

— Да, по-моему, они просто не знали, что делать. Ну, власти, я имею в виду. Власти, по-моему, никогда ни к чему не бывают готовы. А, как вы думаете?

Мне, однако, было вовсе не до того, чтобы обсуждать способности властей.

— А что с моими товарищами? — спросил я.— Со всеми остальными? Где они сейчас?

Доктор молчал какое-то время. По лицу его я видел — он мучительно обдумывает, как мне ответить.

— Понимаете ли...— будто в вату, проговорил он наконец.

— Да вы без околичностей,— сказал я.— Хуже мне уже не будет.

— Да-да,— быстро, успокаивающе улыбаясь, сказал доктор.— Организм у вас крепкий, поправились — прямо как огурчик сейчас.

— Ну? — поторопил я его.

— Кто где,— сказал он.— Часть здесь, у нас, в соседних палатах, в соседних отделениях... будем лечить. Есть и безнадежные. К сожалению... Часть в других больницах — на обследовании, реабилитации... очень значительные структурные изменения в организмах у большинства... у подавляющего большинства, так вернее. А часть... человек сто... еще прямо тогда, в то же утро... спустились обратно, замуровались... массовое самоубийство, каким-то газом...

Теперь я долго не задавал новых вопросов. Лежал, повернув голову на подушке к окну, глядел на живую, плещущую зелень деревьев под ветром и не мог решиться. Хотя мне нужно было лишь подтверждение того, в чем я уже был уверен. Впрочем, доктор мог, кстати, и не знать ничего.

— Поименно известно, кто эти сто? — спросил я в конце концов — так вот обиняком.

— Да,— тут же ответил доктор.— Выяснены личности всех.— Помолчал, я ничего больше не спрашивал, и он добавил: — Ваш сын среди них.

Конечно, среди них. Я в этом и не сомневался. Полководец, проигравший решающее сражение, должен уйти из жизни. Мой сын был истинным полководцем. Он был, был им, и, если не смог остаться им до конца — здесь, поднявшись на землю,— так это невозможно поставить ему в вину. Боже, зачем меня хватил этот проклятый ступор, зачем со мной случилось это беспамятство! Мне бы быть с ним, моим сыном, быть с ними, этими ста, разделить их судьбу... Теперь, одному, едва ли уже суметь. Имеется опыт...

— А как,— спросил я,— у меня со структурными... и всякими прочими изменениями?

— Да вы как огурчик, я же говорю,— сказал доктор.— Мы вам тут, пока вы лежали, столько анализов сделали... у вас все в порядке.

— И значит, мне еще жить и жить?

— Жить и жить! — радостно подхватил доктор, кладя мне на плечо теплую покойную руку.

Я потянулся, накрыл ее своей и, глядя ему в глаза, попросил:

— А вы бы не могли мне закатить чего-нибудь... ну, такого, чтобы я... я не говорю, умер, а чтобы меня не стало?

Он сидел, пригнувшись ко мне, молчал, смотрел мне ответно в глаза, и в них я читал приговор себе: нет, конечно!

— Да убейте же меня, убейте! — скидывая его руку со своего плеча, закричал я и засучил ногами, забил по постели руками.— Убейте же меня, убейте, окажите мне милость, боже ты мой!

Доктор встал, быстро прошел к двери палаты и, распахнув ее, крикнул в коридор:

— Сестра! Пять кубиков успокаивающего! Поживее, будьте добры! И кликните санитаров!

— Какое успокаивающее! На хрен мне успокаивающее! — дергался я и бил по постели руками.— Яду мне пять кубиков, яду!

Несколько пар сильных рук взялись за мое тело, перевернули его животом вниз, притиснули к кровати, и я ощутил укол в ягодицу.

Боже мой, значит жить, подумалось мне, когда шприц выдернули и по ягодице, щекоча кожу, потекла из-под ватки холодная струйка спирта.

4

Жизнь моя тянется чередой однообразных дней. Жизнь моя прожита, и это я не живу, а доживаю, и какими же еще могут быть мои дни... Я ем, сплю, справляю другие свои естественные надобности, мою пол в своей конуре, стираю себе белье, хожу в магазин за продуктами да через день — на ночное дежурство в детсад, чем зарабатываю на это существование. По-моему, хорошее занятие для недоучившегося философа — ночной сторож. Сижу там на табуретке под входной дверью, курю, сыпля пеплом на пол, замечаю, что намусорил, и тащусь с тряпкой в туалет, замываю пол и снова сижу, и снова сыплю пеплом — и так до утра. Черт знает, зачем я там нужен ночью. Но за это платят, и я хожу. Ведь у меня нет никакой пенсии. А идти с протянутой рукой на улицу, как делают, я видел, некоторые из наших,— это не по мне, это не для меня.

Почти уже десять лет я отжил здесь, на земле. И ни разу не болел за прошедшее время, не чихнул, не кашлянул. Я и без того чувствую себя настоящим Мафусаилом, сколько же это еще таскать мне свое иссохшее, потерявшее мышцы, с хрустящей сморщенной кожей тело?

Ни с кем из наших, кто остался тогда на земле и сумел выйти потом из больниц, я не вижусь. Встречи с ними не доставляют мне никакой радости, только заставляют кипеть желчь.

Я хожу, примерно в неделю раз, а то и чаще, на кладбище, на могилу отца с матерью. Это все равно, как если б я навещал Веточку с нашими детьми. Ведь они тоже все лежат в земле, только очень глубоко, а туда, на их могилы в Склепном зале, нельзя — все входы в метро замурованы, и даже тот, вскрытый нами, снова залит бетоном.

На кладбище я провожу, случается, несколько часов. Это единственное место, где мне есть с кем поговорить, а за неделю молчания я так изголодаюсь по разговору, что говорю и говорю и никак не могу остановиться.

Чаще всего я разговариваю с отцом. Мы сейчас сравнялись с ним возрастом, и он не смеет ни кричать на меня, ни обрывать, ни просто

раздражаться, он просто иногда замолкает надолго, я тереблю его — ну, ты чего? — и он отзывается с горечью: да ты уже сам с усам, чего теперь... Ну, а ты б как хотел, говорю я, ведь я жизнь прожил. То-то и оно, отвечает он.

На кладбище я беру с собой обычно его предсмертное письмо, которое передали мне, когда я еще лежал в больнице,— вскоре после того, как очнулся. «Сынок!» — обращается он ко мне, и мне всякий раз странно читать такое обращение к себе,— какой уж я сынок! «Мама так тосковала по тебе перед смертью»,— пишет он, но в груди у меня ничего не откликается на эти слова, и я даже не пытаюсь уже вспомнить лицо матери,— я совершенно не помню его. «Так жаль, я даже не знаю, получишь ли ты мое письмо. А вдруг тебя уже нет и я пережил тебя»,— пишет он, и меня опять не трогает это: я сам пережил своих детей, да и отец существует для меня уже не во плоти, а только этим вот письмом, наши прошлые и нынешние разговоры с ним — лишь некая духовная субстанция.

Но жить без этого его письма я не могу. Оно писано на обычных, непрочных листах бумаги, вытерлось на сгибах, обтрепалось по краям, и я наклеил все три его листа на плотный картон, сшил куски картона наподобие книжицы, ее-то и таскаю с собой.

Иногда во время моих кладбищенских бесед мне становится очень плохо. Это случается обычно тогда, когда я разговариваю не с отцом, а с Веточкой. Я вспоминаю, как молоды мы были, как мы гуляли по хрусткому ледку осенних лужиц перед спуском под землю, мечтая о том, как выйдем оттуда через несколько лет победителями, и мне делается так горько, что нет спасу. Я вспоминаю, что на мне прервется мой род, умру — и не останется на земле никого моей крови; я вспоминаю, что и от нашего с Веточкой дела ничего не останется, все было бессмысленно — все лишения, тяготы, весь ужас бессолнечного подземного житья,— наше метро никому не нужно, наглухо закупорено, и стоят там без толку наши электростанции и заводы, ржавеют поезда в пустынных депо...

Вот тут-то, в такие моменты, я и достаю из-за пазухи складень отцовского письма. Читаю из середины, конца, начала, читаю и перечитываю — и ощущаю, как горечь и душевная немочь оставляют меня, я наливаюсь силой, крепостью и уверенностью в себе. Отец всегда подвигает меня на спор с ним, а спор бодрит меня, ярит кровь и рождает чувство правоты.

А зато каким азартом была наполнена наша жизнь, говорю я отцу, а вместе с ним и всему этому земному миру, что стоит для меня сейчас за его спиной. Каким счастьем наполнена! Проживи-ка такую жизнь кто другой!.. Счастливыми нас делают высокие намерения, а не осуществленные цели. Да-да, именно так! Мне просто не повезло умереть вовремя, как другим. Как Инженеру, Декану, Рослому, да и тому же Волхву, и, кстати, Магистру в том числе... Да, просто не повезло! И ни перед кем и ни перед чем нет ни моей вины, ни чьейлибо еще из наших. Уж если кто виноват, так это власти. Да, они виноваты, действительно виноваты! Если они уже знали о работах со сверхпроводимостью и оттого не хотели строить метро, почему держали все в тайне? Зачем им нужна была эта тупая секретность? Отчего они ни единым намеком не развеяли туман, который сами же напустили? Пальцем для того не пошевельнули! А уж силу-то свою показали, вволюшку поиграли ею, до услады! Их вина, что метро никому не нужно, только их!..

Собираются тучи, начинает накрапывать дождь, и вот он уже льет вовсю — целое небесное извержение. Я поплотнее запахиваю пиджак на груди, где у меня, завернутое в пленку, спрятано письмо, и поднимаюсь со скамьи. Ни зонта, ни плаща — ничего у меня нет. Ну, вымокну — наплевать. Может быть, хоть простужусь и заболею. Мне себя не жалко. Мне жалко лишь письма. С ним ничего не должно случиться, и надежный полиэтиленовый пакет всегда со мной.

На земле уже натекли лужи, я иду, не обращая на них никакого внимания, прямо по ним. Тут, у кладбища,— посадочная площадка этих самых «пеналов». Но я обхожу ее стороной и иду под дождем дальше. Я никогда не пользуюсь этими летающими штуковинами. Только наземным транспортом. Только им.

Время от времени меня в моей конуре посещают всякие молодые люди. Среди них бывают студенты, случаются рабочие, попадаются школьники, но почему-то чаще всего — это парни, недавно отслужившие свой срок в армии. Как они меня разыскивают, откуда у них мой адрес — бог знает. Они просят рассказать о нашем Движении, о том, как все начиналось, жалуются на бесцельность и пустоту жизни.

Я не разговариваю с ними. Какие такие истины я им открою, какой такой мудростью поделюсь? А вспоминать мне не хочется.

— Идите, ребятки, идите! — отправляю я их.— Никто вам в рот ничего не вложит, ищите сами.

Но когда я остаюсь один, я ощущаю в себе дикое, страшное бешенство. Почему приходят только эти молодые, зеленые ребята! Почему не придет, почему не возникнет в один прекрасный день в моей конуре человек, который хотел бы побеседовать со мной не ради себя, а ради меня, ради всех других, отдавших свои жизни строительству метро,— такому я бы многое рассказал, о многом бы вспомнил в беседах с ним. Я верю, наше метро еще будет размуровано, по туннелям его еще побегут, рассекая со свистом воздух, в облаке веселого грохота скорые поезда, и толпы народа будут тесниться на платформах, ожидая посадки. Это бред, этого не может быть, это противоречит всем законам физики, чтобы можно было свести на нет гравитацию, эти «пеналы» не могут летать, это какой-то великий обман, общее умопомешательство, что всем кажется, будто они летают! Они упадут в один прекрасный день, упадут, непременно упадут! И тогда понадобится наше метро. Тогда в нем возникнет нужда, тогда вспомнят о нем!

А возникнет нужда в метро — возникнет и нужда в знании о тех, кто строил его. Такой героический, славный путь пройден от первого наклонного туннеля до пуска поездов. Такие героические, мужественные люди проделали этот путь. Они заслужили памятники, они достойны книг, о них должны складываться легенды. На их примере есть чему поучиться!

Потом мало-помалу бешенство и ярость оставляют меня, и я прозреваю, до чего же смешон и жалок я был в своем толькошнем бурлении. Как это «пеналы» не могут летать, когда летают! И никто от них, конечно же, не откажется — что за резон! А метро если когда-нибудь и размуруют, то только для каких-нибудь глупых экскурсий. И девушка-экскурсовод будет говорить с легкомысленным видом, словно бы о глиняных черепках давно умерших, далеких от нас цивилизаций: «А вот здесь они выплавляли сталь. А вот здесь они ткали свое синтетическое полотно...»

Да, так, наверно, и будет.

Но все же хочется утешения, сознания ненапрасности прожитой жизни, сознания *оставляемого* после тебя, и оттого я вновь и вновь думаю с сумасшедшей надеждой: а может быть, жизнь и в самом деле преподнесет мне все-таки такой подарок. Ведь для чего-то же бог продлил мои дни на земле!

Или он сделал это только в насмешку надо мной?

Ирина Полянская

ЧИСТАЯ ЗОНА

РАССКАЗ

Не успела нянечка в приемном покое унести на плечиках в глубь коридора мою одежду, как со мной произошла странная перемена, метаморфоза, возможная только во сне, когда одна реальность легко переливается в другую и между ними не возникает никакого зазора: я впервые за долгие годы почувствовала свободу и безопасность, смиренное торжество над жизнью, оставшейся поджидать меня у входа в больничное здание. И я пошла за другой нянечкой, не оглядываясь, сложив с себя наконец все обязательства и ответственность, сосредоточившись на себе, на своем существе, свободном, как во времена младенчества, понимая, что тут никто не достанет меня, что я надежно ограждена своею болезнью и что я оказалась как бы на горной вершине. Давно пора было уйти сюда, ибо на так называемой воле тяжесть все накапливалась и накапливалась, и некуда было ее спихнуть, понедельник застревал в пятнице, октябрь в сентябре, ни одно дело не удавалось довести до конца, и все мое существование прочно оплела растущая, как снежный ком, неправда, в которой невозможно было отдать себе отчет, когда человек, чтобы выжить, подделывается под одного, другого, третьего, под всю систему существующих отношений, теснящих его существо, и мается бесплодным желанием куда-нибудь нырнуть, свернуть, нащупать боковое ответвление жизни, чтобы, метнувшись туда, пропустить мимо себя толпу других бегунов на длинную дистанцию, а самому пойти совсем в другую сторону, в неизвестном направлении, в полном одиночестве, неприкосновенной независимости, на одном лишь обеспечении личного времени, собственной судьбы, не слыша больше ни топота ног, ни ликующих криков победы, ни зубовного скрежета раздоров и ненависти.

Действительно, что делать, когда ложь разлита в воздухе и не знаешь, где кончается общественная и начинается собственная, которая, впрочем, и не ложь даже, выраженная напрямую такими-то и такими-то словами, — слова только огибают основную мысль, чтобы она могла существовать, невинно внедряться в сознание собеседника, пусть самого случайного, ибо и от него, случайного, существует томительная зависимость. Только в детстве всякое чувство окроплено искренностью, этой росой жизни, но чем дальше живешь, тем властнее вбирает в себя хитрый вымысел, лукавая игра, в которой страшно сделать неверный ход, поскольку кто-нибудь этим да воспользуется. И вот я нырнула в свою болезнь, которая чем не раковина, — она даст возможность окрепнуть и собраться с душевными силами.

Усталость и страх измучили меня. С одной стороны, это страх постоянного ожидания, что меня вот-вот разоблачат, выведут на чистую воду, догадаются, что я все время боюсь кому-то наступить на ногу, толкнуть локтем, с другой стороны, страшно, что меня толкнут, мне отдавят ногу, и я все это проглочу, как, впрочем, глотаю каждую минуту своего существования, будь то поход к сапожнику или разговор с соседкой по квартире. Из ее комнаты доносятся бодрые звуки радио. И я выскальзываю, приняв меры предосторожности, в коридор, и она вырастает передо мною, как колдунья в дурацкой сказке: выросла и впилась в меня всеми своими присосками, холодно поблескивая очками. Оказывается, и причина у нее серьезная — горе, сын женится. Взял не из нашего — вы меня понимаете? — круга, нищета, теснота, безотцовщина, где он ее только выискал. Что делать, я согласилась, пусть немного подженится, если мальчику надо. С природой не поспоришь. Во всем есть свои плюсы, а эта хотя бы прописку имеет. Ну, потрачу на них тыщу — все лучше, чем с проститутками. Так говорила она мне, сверкая стеклами очков, погружая меня по горло в мое же помойное ведро, которое тяжелило руку, и чтобы освободиться от этого чувства, надо было немедленно надеть ей ведро на голову. Но я стояла по стойке «смирно» и слушала завывание заносящей метели вьюги, скорбя в душе, пугаясь гладкого, серьезного, плоского лица, до тех пор, пока она величественно меня не отпустила, и я с полным ведром в руке метнулась в свою нору. А ведь я от этой женщины ни в чем не зависела: ее сыну со мной не надо, но укоренившийся во мне страх не спрашивает, страх, как цвет глаз, от него так просто не избавишься.

В палате, как по заказу, оказалась свободной кровать у окна: поздоровавшись с соседками, я уложила вещи в тумбочку, потом подошла к окну и обратилась лицом к природе, состоящей из соснового леса, подернутого пеленой снега вдали, и группы темных, высоких елей.

Когда-то в этом городе жили мои родители. Собственно, города тогда еще не было, был поселок, куда отца, полуживого, привезли на санях; чуть позже ему разрешили выписать к себе маму, с которой они не виделись почти семь лет. Как они здесь жили, не знаю, знаю только, что отец, дорвавшись до своей любимой работы, ожил, ушел в нее с головой, закрывшись ото всего другого, что в молодости составляло его жизнь, и в непрестанных трудах провел многие годы, а когда очнулся от работы, получив передышку в виде тяжелой болезни, то увидел, что жена его состарилась, а дети выросли.

Моя сестра вернулась в этот город по распределению — она и уложила меня в больницу, где работала сама.

За спиной прялся тихий разговор тихих, как и я, свернувших свое существование, женщин. Когда я обернулась, перед моей кроватью стоял врач, как посланец снегов, из них и явившийся, он задал мне несколько вопросов, на которые я ответила с радостным чувством человека, наконец-то говорящего правду. «Вот тут болит, — утвердительно сказал он, — не бойтесь, я держу...» Я и не боялась, я рада была отдать в его руки давно надоевший груз. С первого взгляда мне стало ясно, что врач мой, Алексей Алексеевич, человек совсем другой породы, чем я. Глаза его смотрели спокойно и ясно, молодое его лицо казалось одновременно доброжелательным и безучастным; видимо, он умел держать дистанцию в отличие от меня. Только на больничной территории мы с ним могли существовать несуетно и на равных, так как собирались делать одно общее важное дело, на свободе я бы обходила его стороной, инстинктивно опасаясь уверенных в себе, доброжелательных людей. «Ну что ж, в понедельник прооперируем», — легко сказал он и, накрыв меня до подбородка одеялом, ушел.

«О, вам будут делать операцию», — почтительно проговорила одна из женщин, и тут я поняла, что здорово могу проехаться на этой своей будущей операции. Она дает мне право рассеянно смотреть в окно, не участвуя в общих разговорах, читать себе книгу, и при этом никто не упрекнет меня, что я ставлю себя выше других.

И я радушно распаковала в палате гостинцы, которые дала мне с собой сестра, это была моя плата за счастливую возможность одиночества. Мол, я всей душой и своими пирогами с вами, но мысли моей да будет позволено блуждать в сосредоточенности и покое.

Одну женщину звали Галя, другую Мария. Мария с недоумением подержала в руках книгу, которую я с любовью выбрала для себя. А я уже извинялась за эту незнакомую ей книгу, объясняя ее наличие в своей сумке крайней спешкой, в которой проходили сборы в больницу, а я уже печалилась, ибо и сейчас, даже сейчас не использовала открывшихся возможностей поступать так, как хочется, и читать то, что хочется.

На другой день мы уже подружились и многое узнали друг о друге. Мария оказалась веселая, разбитная, но с мечтой в душе, как героини многочисленных кинолент, которые тоже были разведены, имели случайные связи, пока не набредали на настоящего человека, в конце концов не замедлившего явиться. Мария говорила, что такой финал — большая неправда. Галя сказала, что у нее было как в кино. Она совсем недавно вы-

шла замуж за человека, с которым много лет трудилась в одном коллективе. Все, что Галя ни говорила, она начинала с праздничных слов, к которым ее губы никак не могли привыкнуть, и основная информативная нагрузка ложилась именно на них, а не на последующее сообщение. «Мой муж» с утра до вечера жужжало в палате, «мой муж» впивалось в незамужнее Машино ухо, и Маша, которая могла похвастаться всего-навсего «одним человеком», исправно навещавшим ее в больнице, делала вежливое лицо и подмигивала мне. Узнав, что я замужем, Галя всем сердцем переметнулась от Маши ко мне, как к человеку, с которым можно говорить на равных, обсуждая семейные проблемы. В любой ерунде она искала повод произнести заветные слова — пел ли Серов свою «Мадонну» — оказывалось, что муж Петрович этого певца уважает, давали ли на обед гречиху — выяснялось, что ее Петровича хлебом не корми, дай только гречневую кашу, заросло ли стекло морозными лилиями — надо продышать глазок, а то не увидим, как идет по тропинке Петрович. Пел Серов, пел Алибек Днишев, пела Ротару, и мне хотелось вытащить из радиотрещотки все ее внутренности, намотать на поганый веник, как паутину, все эти невозможные, скребущие слух песнопения, которые благоговейно слушали мои соседки, и разом вытряхнуть их в форточку. И где, скажите, скрываются изобретатели этих песен, где берут, из какой действительности черпают все эти завалинки, старые мельницы и малиновые звоны, — причем даже сама музыка охотно идет у них на поводу, — эти чистые криницы!

И мне, раздраженной, озлобленной, хотелось сказать соседкам: женщины, ложь разлита в воздухе, в музыке витает, в облаке плывет. Вот один обольститель с невинной, должно быть, физиономией, выводит: «Я сажусь в машину, еду за тобо-ой!», а другой ему вторит: «Вслед за мной на водных лыжах ты летишь!», а третий, четвертый, пятый приглашают вас на карнавал, которого сроду никто не видывал. Какое, скажите, все это имеет к вам отношение? Не ваш печальный силуэт отпечатывается на расшитых морозными королевскими лилиями окнах, не ваш, сутулый, с сумкой на колесиках, которую вы, пыхтя, вталкиваете в автобус. Разве можно сочинить песню про нашу великую радость, когда ухватишь десять пачек «Лотоса», а в руки дают только пять, но мы лихорадочно умоляющими голосами кричим кассирше: у меня там ребенок стоит, — и машем рукой в сторону действительно стоящего, уже измученного стоянием ребенка. Создайте гимн про радость починки зубов, которая все откладывалась за недосугом, пока есть стало нечем. Отдельно — про битком набитый троллейбус с припевом: ездий на такси раз такой умны-ый. Много таких тем можно подбросить умникам, описывающим снегирей на снегу, зябликов на ветке и прочее великолепие. Но лучше заткнуть уши воском, дабы не слышать голосов этих сирен. Ан нет — музыка конвоирует наш слух, барабаня в перепонки, сохраняя внутри себя все это бесстыдство, пропитываясь им.

По утрам женщины готовили себя для врача. Пристроив в кроватях на коленях зеркальца, клали тени на утомленные веки, красили ресницы и снимали свои верные бигуди, рассыпающиеся по склону одеяла, как стадо овечек. Чирикала радиоточка. Кто-нибудь высовывал голову в коридор: посмотреть, в какой палате сейчас Алексей Алексеевич. И дальше — все разговоры о нем: какой внимательный, молодой, но настоящий; и жена, наверное, хорошая, вон рубашечки накрахмаленные. Как о любимом повелителе — верные служанки: чисто, любовно, с заботой. Единственный для нас теперь мужчина: Петровичи наши и «одни человеки» там, на воле. К тому же мы знаем, чувство наше не безответно: Алексей Алексеевич влюблен в свою работу, в наши болячки, следовательно, и в нас. И любовь эта лишена корысти, не то что на воле. А реснички-то у него длинные, как у девушки! Голос строгий, но добрый. Кофейку бы ему сварить на дежурство. Галя, скажи Петровичу, чтоб пирожка принес. Человек всю ноченьку глаз не смыкает. Знаете что, на радио надо о нем написать, чтоб передали песню «Люди в белых халатах». И в газету тоже. Говорят, им это зачитывается, хорошее отношение больных, глядишь, какую пятерку к зарплате прибавят. День и ночь, не жалея сил, сидит в больнице, душой за нас болеет, умничка!

Я слушала их разговор, принужденно улыбалась, думая, где найти мне такую обитель, куда закатиться, чтобы ни в чем не принимать участия, дать отдохнуть лицу, горлу и душе, куда уйти, в какие снега?..

Но и это, и то, что я чувствовала в те первые больничные дни, все это оказалось выдумкой, обманом внутреннего зрения, принятым мною за некую открывшуюся истину. Больница, поменяв мое городское платье на халат, предлагала дальнейшее разоблачение, ибо на операцию человека везут голым, голым, укрытым по подбородок чужой хрустящей простыней, и вот к этому я еще не была готова, и вот в день операции на смену житейскому отвращению к мелочам жизни пришел чистый, я бы сказала, бескорыстный страх.

С наступлением страха ушла в тумбочку моя книга, рассыпалась на ненужные страницы, растеклась по буквам, и слова, умные, тонкие мысли и слова в ней уже не могли быть опорой моему смятенному сознанию; окно затянуло морозным рисунком, спрятавшим ненужный теперь пейзаж, и вошли люди — первые, точно увиденные после долгого пребывания на необитаемом острове люди, последние люди, которые проводят меня до лифта, передадут из рук в руки стерильным ангелам; ангелы вознесут меня на лифте до стеклянных врат, на которых будет написано: «Чистая зона», — и передадут меня в руки самого бога, чтобы я вкусила наконец непредставимого, стерильного сна от черной резиновой маски. И что будет потом, я не хотела знать, не хотела опускать глаза на то место, которое сделает мое тело еще более голым, где раскроют его и раскупорят. Всем своим существом я приникла к этим первым и последним моим людям, соседкам, охотно поддерживала разговор, который вчера еще казался мне невыносимо скучным, вынуждала Галю лишний раз произнести «мой муж» и выпытывала у Маши подробности про ее «одного человека». Тогда же я вспомнила свою соседку, вспомнила о ней с ощущением раскаяния, точно она, не я, завтра поднимется в чистую-чистую, озонную зону, и я дала себе слово, что, вернувшись из своей головокружительной высоты, распахну перед ней свою дверь и уступлю ей право любить своего сына так, как она его любит, потому что в конечном итоге всех нас ждет еще более чистая, чем моя завтрашняя, зона, и уж она-то наверняка очистит нас ото всех заблуждений жизни, потушит наши громкие, режущие ухо голоса, развеет тщеславие и обман, и наступит всеобщая братская искренность.

...Сегодня, как всегда, был обход. Налетела стая белых халатов, повитала над соседними кроватями и спланировала возле меня. Наш Алексей Алексеевич стоял впереди, как вожак, представляя меня остальным, но я уже смотрела не на него, я с надеждой вглядывалась в добродушное, бородатое лицо завотделением, который и будет меня оперировать, косилась на его коротковатые, поросшие темными волосками, спокойные руки, и ближе его для меня сейчас человека не было. Он выступил вперед, я приподнялась на подушках, и он положил мне руку на плечо: «Как чувствуете себя?» — «Хорошо». — «Ваши родители работали в Центре?» — «Можно сказать и так». — «Попадали под облучение?» — «Отец, кажется, в 51-м. Произошла какая-то авария, несколько человек хватили рентген». — «Значит, сестра родилась до того, как отец попал в аварию?» — «Да, нам с братом повезло меньше». — «Про брата я знаю. Очень вам сочувствую... Ну что, готовы?» — улыбаясь, легко спросил он, как будто речь шла о небольшом путешествии.

И тут прежняя жизнь, въевшаяся в кровь бравада отозвались на знакомый сигнал. «Всегда готова», — произнесла я, занеся над головой руку. «И славно», — как бы не замечая моих потуг, серьезно сказал он. Тепло, исходившее от его руки, было так убедительно и проникновенно, что хотелось потереться о нее щекой. Завтра несколько часов подряд он будет безраздельно принадлежать мне, а я ему, а потом мы расстанемся навсегда, и это достойно удивления. Он снял с моего плеча свою спокойную руку и, отвернувшись, сразу забыл обо мне, заговорил в дверях с Алексеем Алексеевичем о каком-то шведском препарате, и то, что он уже забыл обо мне, прибавило мне веры в его могущество.

В этот день женщины говорили приглушенными голосами.

— Александр Иванович — замечательный хирург, — сказала Галя, — мой Петрович слышал о нем много хорошего. Лучше его никто здесь не оперирует. И человек прекрасный. Непонятно, почему от него жена ушла.

— Думай, что говоришь,— покосившись на меня, упрекнула Маша.

— А что? От этого его умения не убыло...

— Зачем ей это? Она,— кивок в мою сторону,— должна знать только хорошее.

— Я и говорю: хирург отличный, а жена дура. Я тебе ее после покажу,— пообещала она, и ее уверенность, что будет после, порадовала меня.— Она в гинекологии работает. Красивая!

Вечером пришла моя сестра. «Я смотрела твои анализы, все нормально»,— сказала она. «Ясно, что нормально, иначе бы не оперировали завтра. Ты утром не приходи, ладно? Я не хочу».— «Ладно». Она смотрела на меня умоляющими глазами, и я дождаться не могла, когда она уйдет. Моя сестра была теперь от меня дальше, чем Галя и Маша, и она ничем не могла мне помочь. К Маше уже пришел «один человек», а к Гале— Петрович, эти двое тут же свили в углу кровати гнездо, тихо переговариваясь о домашних делах. Сестра наконец ушла, а я выпила таблетку снотворного и все смотрела на Галю и Петровича, пока не очутилась в самой сердцевине их теплого гнезда—и незаметно уснула.

Утром меня разбудила медсестра. Я открыла глаза, и она еще раз тронула меня за плечо, сметая обрывки сна, еще цеплявшиеся за ресницы, и тогда я тревожно посмотрела на нее. У медсестры было отстраненно служебное лицо, как бы говорившее, что волноваться особенно незачем. Но доверительным движением, как священник, явившийся дать причастие приговоренному, она вложила мне в руку ключ от ванной комнаты и проговорила: «Можете не торопиться, вы—вторая на очереди». Я залезла под душ, размышляя над ее словами—вторая, это значит, у хирургов есть объект посерьезнее. Или наоборот, они хотят как следует разогреть руки передо мною. Когда я вернулась в палату, женщины уже встали. Радио предупредительно молчало. Соседки встретили меня подбадривающими улыбками, я тоже улыбнулась им замерзшими губами. Пришел Алексей Алексеевич, стал долго разговаривать с Машей, ощупывая ее опухоль. Я впилась взглядом в его аккуратно выстриженный затылок, гадая, что он мне скажет. Он приостановился у моей кровати и проговорил: «Кажется, мы спокойны...» — и мне ничего не оставалось, как подтвердить его наблюдение. Снова вошла та же медсестра, сделала мне несколько уколов и сказала: «Девочки-милые, продукты с подоконника уберите, санэпидстанция ходит».— И я стала помогать убирать продукты.

Прошло полчаса. Я лежала, а снег за окном шел и шел и опускал меня все глубже и глубже, так что, когда медсестра привезла каталку, я почти спокойно перекочевала из одного сугроба в другой. Теперь я смотрела на лампу дневного света на потолке, чувствуя, как меня со всех сторон подтыкают простыней, ощущая себя кем-то вроде артиста, изображающего короля—самому ничего играть не надо, только важно присутствовать на сцене. Мы выехали из палаты. В коридоре у лифта стояла Маша и разговаривала по телефону. Прижав щекой трубку, она осторожно пожала мне плечо. И дальше пошли одни стерильные впечатления.

Два белых ангела в кабине лифта перепоручили мое тело двум другим белым. Мы поднялись на восьмой этаж и подъехали к стеклянной двери, на которой была табличка: «Чистая зона». Они переменили простыню, надели мне на ноги бахилы и повезли в операционную. Потолок плыл, как снег.

В операционной никого не было. Я перекатилась на узкий операционный стол и стала смотреть на круг с лампами над головой, пока его не заслонила чья-то большая белая голова. Это был анестезиолог. Он по-домашнему произнес: «Здравствуйте». И я сказала: «Здравствуйте». Пока сестра устраивала капельницу и искала вену, мы с анестезиологом вели непринужденную беседу. «Вы похожи на актрису М.».— «Да, мне уже говорили».— «Вот видите, а я смотрю и думаю: на кого это она похожа? Сейчас примерим масочку,—сказал он, окуная мое лицо в резинку.— Особенно брови, глаза—точно как у М.»—«Ну и ладно,—подумала я,—теперь все, больше от меня ничего не зависит: покой». И отвернув от него голову, ушла в уют операционного стола.

Когда все закончилось и меня привезли в палату, после пробуждения от наркоза со мной случилось третье за эти дни превращение: теперь мне не нужны были никакие люди, ни первые, ни последние, ни родные,—не нужны совсем. Душа была далеко, как снег, бредущий за окном, на кровати лежало пустое тело, чувствующее лишь его, тела, заботу, боль внутри него, а на поверхности боли не было, потому что когда сестричка вколола в руку несколько уколов, я их не почувствовала. Я лежала, окутанная смягчающейся болью, а потом дурманом, сквозь который слышала голос моей сестры, спрашивающей, не смочить ли мне губы, но голос ее уже гулко отдавался в коридорах сна.

В палате бубнила радиоточка: «...развитие хлорных производств привело к накоплению полихлорированных полициклических соединений, которые и в мизерных концентрациях подавляют иммунную систему организмов, а в более высоких поражают центральную и периферийную нервную систему, печень, пищевой тракт и другие органы...»

— Выключи, ради бога, лучше ничего не знать.

— В прошлом годе пошли кислотные дожди, и всю картошку пришлось выкопать. По радио объявили, чтоб выкопали. И капуста пропала. А на рынке дорого и одни нитраты.

— Ты по осам смотри: я беру всегда те фрукты, где осы вьются, над нитратами они не станут виться.

— Скоро и ос не станет.

— А как прошли эти кислотные дожди, у нас перед крыльцом ни с того ни с сего вымахали во-от такие грибы. Петрович мой говорит, ядовитые.

...Ядовитые. Перед крыльцом нашего мира, в стране Восходящего Солнца тоже вырос гриб. Мама рассказывала—после сообщения народ высыпал на улицы, было всеобщее ликование... Так ты для этого, отец, ночей не спал, света белого не видел, отдыха не знал, о самом себе позабыл и родных позабросил? Горло, как инеем, обложено наркозом. То, что сделал ты, можно было сделать только под наркозом, в скорбном доме, где санитары двухметрового роста бьют по головам и вяжут в смирительные рубашки.

— Смотри, проснулась. Ты проснулась? Проснулась?

На следующий день Галю выписали, а на ее место положили старушку Марию Андреевну. Маша подсела ко мне и сказала шепотом: «Только этого нам не хватало», но не увидев сочувствия в моем лице, встала и занялась приборкой палаты к обходу. Старушка, в своей слабости и беспомощности, на сегодняшнее утро была мне ближе, чем Маша. Ее появление точно укрепляло мое право на бесконечное лежание, на онемевшее радио, завтраки в палату. Вошел Алексей Алексеевич—красивый, медлительный, спокойный, склонился над старушкой и погрузил руки в ее широкий, плашмя лежащий живот. Я видела, как ходят ходуном под халатом его лопатки, точно он месит тесто, и видела бабушкин профиль, уставленный в потолок грезящий взгляд. Мария Андреевна ни разу не скосила на него глаза, точно тело было и не ее вовсе—и оно действительно ей почти уже не принадлежало. Его нечего было стесняться: оно до последней капли отдало все, что положено телу, и даже боль от пролежней была отдаленной и едва различимой. Осталась одна оболочка, в которую добросовестно и подробно вникал Алексей Алексеевич.

На другое утро я села на кровати, спустив ноги, лицом к старухе. Я смотрела на нее не отрываясь, но не могла поймать ее плавающий, как у младенца, взгляд. Прибывало чувство вины, и это было признаком выздоровления. Я представляла, как трудно родственникам общаться с этой бабушкой, ведь что ни слово—то ложь, даже если чувствуешь в душе несокрушимую вину. Она была уже далека от земных притязаний. Болезнь освободила ее от забот о собственном теле. Это только в природе пораженное молнией дерево существует на равных с молодой порослью. В человеческом обществе на глубоких стариков часто смотрят с недоумением и снисходительной усмешкой—нам, дескать, до такого не доскрипеть.

Пришли ее родственники—с юристом. Двое мужчин крепко встали по обе стороны кровати, женщина-юрист, с ко всему привычным лицом,

села, вынула из сумочки бумаги и разложила их на столе, третья родственница примостилась в ногах у старухи и, чтобы как-то избавить себя от чувства жгучей вины, стала подрезать бабушке ногти. Мужчины то прибирали на тумбочке, то поправляли бабушке подушки. Им-то еще было жить да жить, тащить груз жизни и ее неистребимой лжи в гору, им еще надо было делать приличную мину при скверной игре, как того требовали условия игры, и они тащили свои цепи и вериги, насупившись, расставив ноги, выгнув тяжелые шеи, как волы. Бабушка, сделав над собой усилие, ответила на вопросы юриста. Юрист шуршала шариковой ручкой, обращаясь к бабушке ласковым и громким, а к родственникам — громким и официальным, пропитанным осуждением голосом.

Через день я уже ходила по палате, а к вечеру, услышав голос моей сестры, вышла в коридор. Моя сестра стояла, в своем белоснежном халате, с хирургом Александром Ивановичем. Он, как бы в удивлении, развел руками: «Ну, уже ходите вовсю! Хорошо». Теперь я смотрела на него с таким чувством, как смотрят на бывшего возлюбленного, с которым давно все уже кончилось, и не знаешь, как себя вести. Спохватившись, я сказала, глядя в его удаляющуюся спину: «Славный человек, дай ему бог здоровья. Непонятно, почему от такого ушла жена». Сестра, нахмурившись, произнесла: «Прошу тебя, не собирай больничные сплетни». И добавила уже мягче: «Я принесла хурмы и яблочного сока: ешь и пей больше». Я проводила ее до лифта, а когда вернулась, в палате, осмелев, уже говорило радио. Наглядно демонстрирует. Убедительно доказывает. Постоянно наращивать. Всемерно укреплять...

Маша кормила с ложечки Марию Андреевну, а она, все так же грезя, смотрела в потолок, послушно, как ребенок, открывая рот. Маша говорила: «Ну еще одну,.. вот умничка», а радио пело: «Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу?..» «У каждого свои проблемы», — заметила Маша и подмигнула мне, а я — ей.

Мы стали негромко, стараясь не беспокоить старуху, разгадывать кроссворд. И вдруг, когда с очередным словом вышла заминка, бабушка отчетливым голосом сказала: «Резерфорд». Мы с Машей переглянулись. Бабушка снова нетерпеливо повторила: «Резерфорд», — и Маша для верности прочитала еще раз: «Английский ученый-физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома» и, посчитав буквы, сказала: «Правильно», — и мы с ней снова переглянулись со смущенным видом, будто с нами в контакт вступил марсианин. Жизнь не переставала уличать меня в самонадеянности. Маша ушла на процедуры, а я, желая загладить свою вину, попыталась заговорить со старухой, но она сначала упорно молчала, а потом на мой вопрос: «Вы, наверное, местная?», пошамкав ртом, заметила, что в этой больнице кормят исключительно одной пшенкой.

И я опять сказала себе, отвернувшись к окну: думай, думай, проснись, проснись, ведь ты только что вернулась из чистой, где тебя как бы не существовало, зоны, не у всех есть такая возможность взглянуть на жизнь со стороны, в е р н у в ш и с ь, неужели и после этого все пойдет как было, неужели и дальше пойдет эта же жизнь с пробуждением в короткий ночной сон, перемежающийся бормотанием спящего ребенка, жизнь со впаданием в спячку, озаренную звоном будильника, с теми же страхами в душе, словно отовсюду горят, как фары, волчьи глаза опасности. И какая же может поджидать опасность, если уравнение со многими неизвестными заранее решено, решение есть, а что за сон там, в скобках, какая, в сущности, разница. Конечно, с точки зрения чистой зоны легко говорить, а вот когда живешь в скобках так подробно, не замечая знаков препинания, живешь, точно торопишься проговорить скороговорку и не поперхнуться ею, — тогда другое дело. Жизнь несется, как снежный ком с горы, набирая тяжести в теле, а снег за окном все идет и идет — и все это мне что-то напоминало... Вся эта картина за окном была мне знакома, узнаваема, но не так, как вообще бывает знаком пейзаж среднерусской полосы, а иначе, тревожней и ближе, как только что приснившийся сон. Пришла моя сестра, и я сказала ей об этом. Я сказала, что у меня такое чувство, точно за теми елями стоит теремок. Сестра странно молчала, и когда я взглянула на нее, то увидела на ее лице удивление, превосходящее мои ожидания, и спросила: «А что?» Сестра, коротко вздохнув, сказала: «Нет, ты

этого не можешь помнить, этого не помню даже я, хотя знаю, что на этом самом месте, где сейчас больница, стоял коттедж, в котором мы тогда жили. А за елями домик Курчатова, он и правда похож на теремок — теперь там какой-то кооператив. Но ты не можешь помнить все это, тебя тогда на свете не было». «За домиком река?» — спросила я наугад. «Пруд», — ответила сестра радостно. «А дальше железка». — «Дальше мы не ходили, дальше была проволока».

Осень, спеша, обогнала календарь, раздела прежде времени деревья, высушила траву, снег длился и длился, заметая горизонт, отсекая клубы дымящих вдали труб. Только лес смутно рябил перед глазами, как мелкий, ксерокопированный текст одной прекрасной, недавно прочитанной книги, в которой рассказывалось и об этом самом поселке, заносимом снегом сорокалетней давности. Снег покрывал прошлое ее героев, непридуманных, действительно живших на белом свете, мягко отсекал от этих людей их родных и близких, еще существующих в их мыслях, просеивал насквозь всего человека, чтобы в нем остались лишь силы идти вперед, под градом понуканий и угроз, преодолевая глубокие снега. Человек мечтал о своем теле: как внутри него еще тепло — и если б можно было засунуть окоченевшие руки внутрь живота, как в муфту. И как это странно: жизнь мерцает в теле, дрожит в позвоночном столбе, со всех сторон сдавленная, как столбик ртути в градуснике, и что ей ни делают, все еще колеблется меж делений позвонков, но если скатится с этого склона, ее тут же занесет снег бессрочной зимы. А когда снег уйдет с земли, накатит весна, изумрудной волной перельется в лето, потом осень сметет накопленные с помощью солнца сокровища, и новая зима погребет их под собою, но это все ничему нас не учит, нет, хотя такое происходит всякий год, начиная от сотворения мира. Сегодня сугроб вырос до подоконника физиокабинета на первом этаже, где мы с Машей по утрам принимаем озокерит. Сидим и переговариваемся через перегородку. Она говорит: Куда это подевались дворники? Наверное, их занесло снегом. Что они себе думают в жэке, неужели трудно проложить тропинки. Должно быть, и жэк занесло. Раньше работать умели, говорит Маша, а сейчас разленились со страшной силой. И в самом деле, кто проложит извилистые, как наши мысли, тропинки? Мы одновременно перевернули на полочке у изголовья песочные часы, каждая свои, и посыпалась еще одна порция нашего времени, а снега уже по пояс. В декабрьских дебрях, заснеженных, сонных, сугробы по самые плечи. Перевернули часы еще раз — и остались под снегом вместе со стекляшкой, наполненной умершим временем. Маша сказала: у меня уже остыло. И у меня остывает. Сестричка, вы про нас забыли, снимите озокерит. Не забыла, сейчас.

Здесь длилось то же нескончаемое небо, что уже третий месяц висело над Москвой. Третий месяц над столицей висела хмара, в которой дни и ночи были похожи на смутные сумерки. К оконному стеклу лепился тусклый, медный, как отблеск похоронного оркестра, свет, и ни солнечный луч, ни звездный не могли сквозь него прорваться. Человек чувствовал себя сплюснутым и полусонным между тяжким бурым небом и сырыми снегами, может, поэтому мне и казалось, что один день пробуксовывает в другом, и было душно в застоявшемся воздухе.

Но сейчас хорошо было смотреть на спокойное серое небо и легче было выздоравливать под ним. Хорошо было смотреть на снег. Я представляла себе, как в глубоких снегах в пятом часу утра с фонариком в руке мой отец прокладывает тропинку, направляясь в свою лабораторию...

Скоро будет год, как он просыпается с ощущением непочатой радости и физического здоровья в теле. Он выходит из дома на час раньше, чтобы надышаться свободным, морозным воздухом, то и дело останавливается, гасит фонарик, окуная взгляд близоруких глаз в темное небо с улыбчивым месяцем, в светящийся снег, отбрасывающий, словно тени, темные деревья, стоящие по обе стороны тропинки. Он не видит ни автоматчиков на вышках, ни колючки, разделившей людей от людей, деревья от деревьев, не слышит лая собак и радиоголоса громкоговорителя, потому что здесь, в зоне, он наконец-то обрел свободу, о которой мечтал целое десятилетие, начиная с первого дня войны и заканчивая последним днем

пребывания на Колыме, когда его и коллегу Москалева, тоже доходягу, положили в сани и повезли на станцию. Чтобы чувствовать свободу, ему не надо, как Москалеву, выписывать из опечатанной квартиры в Москве библиотеку и пианино, ему вполне хватает этой едва отапливаемой лаборатории, размещенной в двухэтажном бараке, возможности читать научную периодику и возобновления переписки с норвежским ученым, разрабатывающим ту же проблему.

Он открывает лабораторию, снимает полушубок, надевает халат, запачканный реактивами. Он слышит, как по крылечку, ведущему в барак, медленно поднимается генетик Тисын, беззубый, с проваленными щеками, ему и щедрая шарашкина кормежка не впрок. Жены все еще нет с ним, хотя, говорят, Завенягин обшарил все лагеря — но Тисына как сквозь землю провалилась. Скорее всего, сквозь землю, под колымские или воркутинские снега. Ученому осторожно советуют присмотреть себе вольнонаемную, но отец, поддерживающий с Тисыным дружеские отношения, понимает, что этот человек одновалентен как *Na* или *K*. Отец светит фонариком на циферблат часов: без пятнадцати пять, свет дадут через полчаса, в его распоряжении есть время для отдыха и размышлений. В дверном проеме появляется Тисын, на ходу сметая с валенок снег. Резкое пятно прыгает ему в лицо. Тисын, заслонившись рукавицей, говорит:

— Ну, вы, однако, прямо как мой следователь. Здравствуйте, Александр Николаевич.

— Доброе утро, Анатолий Викентьевич. Извините меня.

Тисын присаживается на скамью, аккуратно складывает рукавицы, словно ладони для молитвы, и привычным движением сует их поглубже за пазуху.

— Знаете, мой следователь был совсем не любопытный тип, физиономия простая, я бы сказал — внушающая доверие, крестьянская. Иногда, листая мое дело, забывался и слюнявил палец, переворачивая страницу. Однако фамилия была знаменитая: Башмачкин. Когда он мне представился, я даже вздрогнул: бог мой, это великая русская проза, о которой я и думать забыл в те дни, поприветствовала меня в моем мрачном подземелье. Что-то, думаю, в этом есть неслучайное. Сижу на допросе, жмурюсь от света и предаюсь одиноким размышлениям. Эх, думаю, Николай Васильевич, свет очей моих, посмотрел бы ты сейчас на своего маленького человека. Вот он сидит предо мною в лучах своей славы, светит мне в лицо настольной лампой, и ему, как и его однофамильцу Акакию Акакиевичу, не нужно никакой такой сатанинской власти над миром, а нужна всего-навсего теплая шинелишка, и он добросовестно шьет мне дело, чтобы сшить себе шинель, которую у него рано или поздно сопрут ночные воры.

Будто время перевернули, как песочные часы, и весь наш департамент оказался внизу, директор, столоначальники, советники угодили за решетку, а мой Башмачкин оказался наверху, сменил свой рыжевато-мучного цвета вицмундир на гимнастерку и стал работать сочинителем. Когда мы с ним прощались, он подошел ко мне вплотную и говорит шепотом: „Вы не беспокойтесь, хозяйку вашу не взяли''. Смотрю ему в лицо своими воспаленными глазами и вижу: следователь-то мой, оказывается, рыжий, глаза голубые и физиономия в веснушках. Поверил я тогда этим веснушкам, от души отлегло, что не взяли жену. Не может ведь такой, с веснушками, соврать... Оказалось, может, еще как. И этот савраска уже натянул, как шинель, шакалью шкуру. Такое и Николаю Васильевичу присниться не могло в его страшных снах... А вашей супруге, говорят, разрешили рожать в Москве? Очень милостиво с их стороны.

— Бросьте. Просто мы с вами им понадобились, вот и вся милость.

— Что ж. Приятно было побеседовать. Всего наилучшего, Александр Николаевич.

— Будьте здоровы, Анатолий Викентьевич.

Еще с минуту отец слышит шаги над головой, потом и они стихают: Тисын сел на свое рабочее место и углубился в изучение своих страшных уродцев: подвергшихся радиоактивному облучению кроликов, облезших, с проплешинами на боках, но невероятно живучих, мышей и крыс, разбегающихся, точно нечистые мысли, по вольеру, собак, морских свинок. Отцу неведомо, что именно изучает Тисын, это его не интересует, хотя

если бы он имел возможность заглянуть на десятилетия вперед, он бы очень заинтересовался этой проблемой, которая в будущем будет иметь самое прямое к нему отношение. А пока Тисын сидит себе на втором этаже, утомленный, старый, как парка, и прядет нить будущего, а отец снова светит на циферблат: год 1947, февраль месяц, 22 число, время 5 часов 12 минут утра — он еще не знает, что ровно через полсуток появится на свет его первая дочь. Самое любимое его время, затерянность в снегах, в работе. Он накидывает на плечи овчинный полушубок, садится в вертящееся трофейное кресло и несколько минут греет пальцы над спиртовкой. Он сидит, ссутулившись над крохотным огоньком, с бессмысленной счастливой улыбкой пещерного человека, впервые добывшего огонь трением одной деревяшки о другую. Он греет свои большие руки, с которых уже сошли мозоли, чтобы поскорее сбылись пророческие сказки человечества об огненных реках, кисельных берегах, воспламенившихся озерах, потопленных градах Китежах, подземных царствах. Отец сидит, кутаясь в звериную шкуру, как великан над маленьким костерком, в котором уже столько сгорело и еще сгорит: бедный домишко в Пензенской губернии, где он появился на свет, высокие волжские кручи, где прошло его детство и юность, сосны, стоящие по берегам, как свечи, полноводные, полнорыбные реки, чистые криницы, зяблики на ветке, снегири на снегу, деревенские завалинки, старые мельницы, малиновый звон на заре.

Он не знает сомнений: его собственные научные цели так удачно совпали с целями государства,— но все дело в том, что сомнение заложено в самой природе человеческой, а из природы ничего не исчезает и не пропадает бесследно: от реакции отца с его жестоким временем сомнение выпало в осадок, который еще отложится в костях его детей, в сердце внуков. Он мирно сидит и мирно дует на свои холодные пальцы, с нетерпением предвкушая, как вот-вот зажжется свет и лаборатория оживет, наполнится людьми, и дыхание его трудов разнесется по всему миру. Согрев руки, он принимается за работу.

Проходит с полчаса, следы его успевает замести снег, а еще через полчаса, шурша по снегу, понурившись, проходит колонна людей. И дальше по протоптанной тропинке идут и идут люди — колоннами или поодиночке,— и снова тропинку заносит снегом. Ни звука, ни человека, тишина, деревья и снег, безопасность, чистая зона.

Ирина Ратушинская

Я ДОЖИВУ

Круто сыплются звезды, и холод в небесных селеньях.
Этот месяц на взмахе—держись, не ослабя руки!
Закрываешь глаза—и за гранью усталого зренья
Конькобежец, как циркуль, размеренно чертит круги.
В черно-белой гравюре зимы исчезают оттенки,
Громыхает глаголом суровое нищенство фраз.
Пять шагов до окна и четыре от стенки до стенки,
Да нелепо моргает в железо оправленный глаз.
Монотонная хитрость допроса волочится мимо,
Молодой конвоир по-солдатски бесхитростно груб...
О, какое спокойствие—молча брести через зиму,
Даже «нет» не спуская с обметанных треснувших губ!
Снежный маятник стерся: какая по счету неделя?
Лишь темнее глаза над строкою да лоб горячей.
Через жар и озноб—я дойду, я дойду до апреля!
Я уже на дороге. И Божья рука на плече.

Октябрь 1982

●

Государь-император играет в солдатики—браво!
У коней по-драконьи колышется пар из ноздрей...
Как мне в сердце вскипела твоя оловянная слава,
Окаянная родина вечных моих декабрей!
Господа офицеры в каре индевеют—отменно!
А под следствием будут рыдать и валяться в ногах,
Назовут имена... Ты простишь им двойную измену,
Но замучишь их женщин в своих негашеных снегах.
Господа нигилисты свергают святыню... недурно!
Им не нужны златые кумиры—возьмут серебром.
Ты им дашь в феврале поиграть с избирательной урной
И за это научишь слова вырубать топором.
И сегодня, и завтра—все то же, меняя обличья,—
Лишь бы к горлу поближе!—и медленно пить голоса,
А потом отвалиться в своем вурдалачьем величье
Да иудино дерево молча растить по лесам.

Декабрь 1982

●

Чтобы первого января—
Ни одной иголки не вымести!
И ворчит соседка с утра,

Раздраженье стараясь выместить.
А потом внезапно ревет.
Я не лезу: чем тут поможешь?
— На прогулку!
Красный ковер.
Конвоиров хмельные рожи.
Поскорей пройти коридор
(Хлоркой, снедью, мочой, мастикой)
И на воздух! В бетонный двор!
Шестьдесят минут уже тикают.
Лязг ключей. И беззлобный смех:
— Хорошо погулять, девчата!
А соседка:
— О, чтоб вас всех!—
Дальше, детки, не для печати.
Пять шагов—от стены к стене.
Сверху сетка—не улетите!
А соседке к утру во сне
Иоанн явился Креститель.
Будто в камеру привели.
Как с этапа—такой усталый.
Весь оброс, и ноги в пыли.
И уж так его жалко стало!
И она полотенца край отодрала,
Чтоб ноги вымыл.
Взял. И ей говорит:
— Живыми
Трудно быть, но тебе пора.
И собрался лететь. Сиянье
Тут пошло, а она кричит:
— Пусть мне с дочкой дадут свиданье!
Ты, мол, можешь, похлопочи!
Только он ей не подал знака
Ни рукой, ни крылом. Смолчал.
Даже—ей показалось—плакал.
Это значит: будет печаль.
Или, может, несчастный случай?
Исполняется сон к утру...
А уж ей—такой невезучей!—
Хоть бы раз приснился к добру!
— Да кончай ты свою зарядку!
(Это мне.) Ведь на целый срок
Не наскачешься! И в тетрадку
Плюнь писать—отсыпайся впрок!
Ты того, как я погляжу...
Чего пялишься? Люба—злая?
Просто я третий год сижу.
А тебе я добра желаю...
Я киваю. И снова—в бег.
Сколько месяцев—бег на месте!
Сколько снов я бегу к тебе,
Увязая, как в липком тесте,
В хлорном запахе, в простыне,
Рваных тряпках и грязных стенах...
Разве можно любить сильней,
Чем отсюда? Не на кресте—но
В тошной муке дверных глазков,
В утонченном хамстве допросов,
В маяте соседкиных снов,
В синеве ее папиросы,
В лютой жалости к ней—больной,
Доведенной до полусмерти,
Истеричной, доброй и злой,
И клянущей того, кто вертит
Этот шарик,—в белиберде

Дней без солнца и слез без грима —
Напряженней, святей — нигде
Невозможно любить, любимый!
Чтобы первого января —
О твою щеку не кольнуться,
Но осанку не потерять
И конвойному улыбнуться:
Не жалей меня, дурачок!
Громыхай, громыхай ключом!

Январь 1983

●

Мне в лицо перегаром дышит моя страна.
Так пришли мне книгу, где нет ничего про нас,
Чтобы мне гулять по векам завитых ночей,
Оловянных коньков на крышах и витражей,
Чтоб листать поединки, пирушки да веера,
Чтоб еще не пора — в костер, еще не пора...
И часовни еще звонят на семи ветрах,
И бессмертны души, и смеха достоин страх.
Короли еще молоды, графы еще верны,
И дерзят певцы. А женщины сотворены
Слабыми — и дозволено им таковыми быть,
И рожать сыновей, чтобы тем — берега судьбы
Раздвигать, и кольчуги рвать, и концом копья
Корм историкам добывать из небытия.
Чтоб шутам решать проблемы зла и добра,
Чтобы львы на знаменах и драконы в горах,
Да в полнеба любовь, да веселая смерть на плахе,
А уж если палач — пускай без красной рубахи.

Март 1983

●

Моему другу Валерию Сендерову

О нем толковали по всем лагерям,
Галдели в столыпинских потных вагонах,
И письма писали о нем матерям,
И бредили в карцере хрипнувшим горлом.
Давно ли сидит он — не помнил никто,
Но знали: делился пайком и заваркой,
И отдал мальцу на этапе пальто,
А в зоне голодных кормил с отоварки.
И спутав со слухом невнятную быль,
Гадали: за что он влетел в арестанты?
Одни говорили: за то, что любил.
Другие шептали, что за пропаганду.
А он им паек в колбасу превращал,
Лечить их не брезговал — чесотка ли, вши ли.
А женщин жалел, понимал и прощал.
И даже не требовал, чтоб не грешили.
Он боль унимал возложеньем руки,
Учил: вы не звери, пора бы из клеток...
И самые верные ученики
Его продавали за пачку таблеток.

А он говорил: ваши души во тьме,
И что, мол, с вас спросишь.
И гневался редко.
А впрочем, болтали в Бутырской тюрьме,
Что он за донос изувечил наседку.
Одни уходили, отмаявши срок,
Другие амнистии ждали напрасно,
А он под нее и попасть бы не мог,
Поскольку считался особо опасным.
Но четверо зэков, уйдя по домам,
О нем записали, что знали, в тетрадку.
Их тут же забрали, и к новым делам
Подшили их записи — все по порядку.
И взяли его — неизвестно куда.
И где он теперь — в рудниках или ссылке,
А может, под коркой сибирского льда —
Спросите попутчиков на пересылке.

Март 1983

●

Господи, как он там? Присмотри за ним,
Чтоб с ума не сошел в пустом закутке квартиры,
Устыди его боль, от отчаянья охрани —
Чтобы с ясным лицом — за двоих — он встал перед миром.
Подымаю чашу — да будет воля Твоя!
Видишь: руки спокойны, легко беру и не трушу.
Но на чернь — белой эмульсии бытия —
Укрепи его душу!
Мне светлей, чем ему, и дорога моя проста:
Отшлифована сколькими! Вызубрен каждый камень!
Мне не трудно на ней — гляди! Лишь его не оставь
В сумасшедших углах, размеченных пауками!
Только руку не отними от его плеча,
Только не лиши опоры — твоей твердыни,
И ошейник он скует на нашу печаль
Из бессмертного сплава верности и твердыни.
А когда мы вместе встанем пред Тобой,
Ни о чем не прося — чего больше, когда мы рядом! —
Ни клинком не разнять, ни архангельскою трубой.
Мы ответим Тебе, не опуская взгляда.

Апрель 1983

●

Мы не войдем в одну и ту же реку,
Не разведем заросших берегов,
Не будет нам хромого человека,
Который нас перевезти готов.

А будет вечер — теплый, как настойка
На темных травах; лень и тошнота.
Тогда отступит лагерная койка,
И холод камеры, и ветер из окна.

Но мы запомним разговоры в кружку,
Счастливейшие сны в полубреду,
Мордовских баб, пихающих горбушку:
— Хоть хлебушка возьми, не голодуй!

И это нам нести своим любимым,
По-честному делясь — кому о чем:
Все страшное — себе,
Все злое — мимо,
Всю доброту Земли — ему в плечо.

16 февраля 1984

●

Их пророки обратятся в ветер,
В пепел обратятся их поэты,
И не будет им дневного света,
Ни воды, и не наступит лето.
О, конечно, это справедливо:
Как земля их носит, окаянных!
Грянут в толпы огненные ливни,
Города обуглятся краями...
Что поделать — сами виноваты!
Но сложу я договор с судьбою,
Чтобы быть мне здесь
И в день расплаты
Хоть кого-то заслонить собою.

9 марта 1984

Эпиграф ко второму сборнику «Вне лимита»

Как по площади по Красной рыщут флаги,
Птичья чернь орет, кружа над валом...
Нас обманом привели к присяге.
Но неправда — я не присягала.

●

И за крик из колодца «мама!»,
И за сшибленный с храма крест,
И за ложь твою «телеграмма»,
Когда с ордером на арест, —
Буду сниться тебе, Россия!
В окаянстве твоих побед,
В маете твоего бессилья,
В похвальбе твоей и гульбе.
В тошноте твоего похмелья —
Отчего прошибает испуг?
Все отплакали, всех отпели —
От кого ж отшатнешься вдруг?
Отопрись, открутись обманом,
На убитых свали вину —
Все равно приду и предстану,
И в глаза твои загляну!

5 июля 1984

●

Что ты помнишь о нас, мой печальный,
Посылая мне легкие сны?
Чем ты бредишь пустыми ночами,
Когда стены дыханью тесны?
Вспоминаешь ли первые встречи,
Дальний стан, перекрестки веков?
Говорит ли неведомой речью
Голубое биенье висков?
Помнишь варваров дикое стадо,
И на гребне последней стены
Мы — последние — держим осаду,
И одною стрелой сражены?
Помнишь дерзкий побег на рассвете,
Вдохновенный озноб беглецов,
И кудрявый восточный ветер,
Мне закидывающий лицо?
Я не помню, была ли погоня,
Но наверно отстала вдали,
И морские веселые кони
Донесли нас до теплой земли.
Помнишь странное синее платье —
И ребенок под шалью затих...
В этот год исполнялось проклятье,
И кому-то кричали: «Мы — братья!»,
А кого-то вздымали на штык...
Как тогда мы друг друга теряли —
В суматохе, в дорожной пыли —
И не знали: на день, навсегда ли?
И опять — узнаешь ли — нашли!
Через смерть, через годы и годы,
Через новых рождений черты,
Сквозь забвения темные воды,
Сквозь решетку шепчу: «Это ты!»

8 октября 1983

●

Мандельштамовской ласточкой
Падает к сердцу разлука,
Пастернак посылает дожди,
А Цветаева — ветер.
Чтоб вершилось вращенье вселенной
Без ложного звука,
Нужно слово — и только поэты
За это в ответе.
И раскаты весны пролетают
По тютчевским водам,
И сбывается классика осени
Снова и снова.
Но ничей еще голос
Крылом не достал до свободы,
Не исполнил свободу,
Хоть это и русское слово.

25 апреля

●

Ты себя не спрашивай — поэт ли?
Не замедлят — возведут в пииты!
Все пути — от пули и до петли —
Для тебя с рождения открыты.
И когда забьется человечье —
Ты поймешь, мотив припоминая:
От Елабуги до Черной речки —
Широка страна моя родная.

13 июля

●

Помню брошенный храм под Москвою:
Двери настежь и купол разбит.
И дитя заслоняя рукою,
Богородица тихо скорбит —
Что у мальчика ножки босые,
А опять впереди холода,
Что так страшно по снегу России —
Навсегда — неизвестно куда —
Отпускать темноглазое чадо,
Чтоб и в этом народе — распять...
— Не бросайте каменья, не надо!
Неужели опять и опять —
За любовь, за спасенье и чудо,
За открытый бестрепетный взгляд —
Здесь найдется российский Иуда,
Повторится российский Пилат?
А у нас, у вошедших, — ни крика,
Ни дыхания — горло свело:
По ее материнскому лику
Процарапаны битым стеклом
Матерщины корявые буквы!
И младенец глядит, как в расстрел:
Ожидайте, я скоро приду к вам!
В вашем северном декабре
Обожжет мне лицо, но кровавый
Русский путь я пройду до конца,
Но спрошу вас — из силы и славы:
Что вы сделали с домом Отца?
И стоим перед ним изваянно,
По подобию сотворены,
И стучит нам в виски окаянным
Ощущением общей вины.
Сколько нам — на крестах и на плахах —
Сквозь пожар материнских тревог —
Очищать от позора и праха
В нас поруганный образ Его?
Сколько нам отмывать эту землю
От насилия и от лжи?
Внемлешь, Господи? Если внемлешь,
Дай нам силы, чтоб ей служить.

12 октября 1983

●

А в этом году подуло весной
Четвертого февраля.
И на вспененной лошади вестовой
В нелепом мундире старинных войн
Промчал по мерзлым полям.
Прокатили мускулы облаков
По всем горизонтам гром,
И запели трубы былых полков
Смертью и серебром.
И по грудь в весне провели коней,
И намокли весной плащи,
А что там могло так странно звенеть —
Мне было не различить.
Но рвануло сердце на этот звон,
И усталость крылом смело.
И это был никакой не сон:
Было уже светло.

4 февраля 1984

●

Ну, так будем жить,
Как велит душа,
Других хлебов не прося.
Я себе заведу ручного мыша,
Пока собаку нельзя.
И мы с ним будем жить-поживать,
И письма читать в углу.
И он залезет в мою кровать,
Не смывши с лапок золу.
А если письма вдруг не придут —
(Ведь мало ли что в пути!) —
Он будет, серенький, тут как тут
Сердито носом крутить.
А потом уткнется в мою ладонь:
Ты, мол, помни, что мы вдвоем!
Ну не пить же обоим нам валидол,
Лучше хлебушка пожуем!
Я горбушку помятую разверну,
И мы глянем на мир добрей.
И мы с ним сочиним такую страну,
Где ни кошек, ни лагерей.
Мы в два счета отменим там холода,
Разведем бананы в садах...
Может, нас после срока сошлют туда,
Но вернее, что в Магадан.
Но когда меня возьмут на этап
И поведут сквозь шмон, —
За мной увяжется по пятам
И всюду пролезет он.
Я его посажу в потайной карман,
Чтоб грелся под стук колес.
И мы сахар честно съедим пополам —
По десять граммов на нос.
И куда ни проложена колея —
Нам везде нипочем теперь.
Мы ведь оба старые зэки — я
И мой длиннохвостый зверь.

За любой решеткой нам будет дом,
За любым февралем — весна...
А собаку мы все-таки заведем,
Но в лучшие времена.

8 августа 1984

●

Я доживу и выживу, и спросят:
Как били головою о топчан,
Как приходилось мерзнуть по ночам,
Как пробивалась молодая проседь...
Я улыбнусь. И что-нибудь сострю.
И отмахнусь от набежавшей тени.
И честь воздам сухому сентябрю,
Который стал моим вторым рожденьем.
И спросят: не болит ли вспоминать,
Не обманувшись легкостью наружной.
Но грянут в памяти былые имена —
Прекрасные, как старое оружие,
И расскажу о лучших всей земли,
О самых нежных, но непобедимых:
Как провожали, как на пытку шли,
Как ждали писем от своих любимых.
И спросят: что нам помогало жить,
Когда ни писем, ни вестей — лишь стены,
Да холод камеры, да чушь казенной лжи,
Да тошные посулы за измену.
И расскажу о первой красоте,
Которую увидела в неволе:
Окно в морозе! Ни глазков, ни стен,
И ни решеток, и ни долгой боли —
Лишь синий свет на крохотном стекле,
Витой узор — чудесней не приснится!
Ясней взгляни — и расцветут сильней
Разбойничьи леса, костры и птицы!
И сколько раз бывали холода,
И сколько окон с той поры искрилось —
Но никогда уже не повторилось
Такое буйство радужного льда!
Да и за что бы это мне — сейчас,
И чем бы этот праздник был заслужен?
Такой подарок может быть лишь раз.
А может быть, один лишь раз и нужен.

30 ноября 1983

Джон Стейнбек

РУССКИЙ ДНЕВНИК

Глава I

Необходимо прежде всего сказать, как появилось это повествование, из-за чего возникла сама поездка и какова была ее цель. В конце марта я, — а я пишу от первого лица по специальной договоренности с Джоном Гюнтером, — сидел в баре отеля «Бедфорд» на Сороковой улице Восточной стороны Нью-Йорка. Пьеса, которую я четыре раза переписывал, растаяла и утекла между пальцев. Я сидел у стойки, размышляя, чем бы заняться теперь. В этот момент в бар вошел Роберт Капа — вид у него был расстроенный. Страсть к покеру, в который он играл несколько месяцев подряд, наконец прошла. Альбом его ушел в типографию, и ему было нечего делать. Бармен Уилли, всегда старающийся утешить, предложил нам «Суисесс», напиток, который он делает лучше всех в мире. Мы были подавлены не столько последними международными событиями, сколько тем, как они подаются...

Уилли поставил перед нами два светло-зеленых «Суисесса», и мы принялись обсуждать, что может в этом мире сделать честный, свободомыслящий человек. Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о России. О чем думает Сталин, что планирует русский генштаб, где дислоцированы русские войска, как идут эксперименты с атомной бомбой и управляемыми ракетами, — и все это пишут люди, которые в России не были, а их источники информации далеко не безупречны. И нам вдруг пришло в голову, что в России есть много такого, о чем вообще не пишут, и именно это интересовало нас больше всего. Что там люди носят? Что у них на ужин? Бывают ли там вечеринки? Что они едят? Как русские любят, как умирают? О чем они говорят? Танцуют, поют, играют ли они? Ходят ли их дети в школу? Нам показалось, что было бы неплохо выяснить это, сфотографировать и написать обо всем этом. Русская политика не менее важна, чем наша, но ведь есть и другая обширная область их жизни, как есть она и у нас. Ведь существует же у русского народа частная жизнь, но о ней нигде не прочтешь — об этом никто не пишет и не фиксирует на фотопленке.

Уилли смешал нам еще по «Суисессу» и признался, что ему, пожалуй, все это было бы интересно и что об этом он бы с удовольствием почитал. Вот мы и решили попробовать — сделать обычный репортаж с фотографиями. Мы будем работать вместе. Постараемся избегать политики и крупных проблем. Мы будем держаться подальше от Кремля, от военных и от их замыслов. Постараемся, если удастся, добраться до простого русского народа. Надо признать, что мы не знали, сможем ли все это осуществить, когда же мы поделились своими планами с друзьями, те были абсолютно уверены, что не сможем.

Мы выработали следующий план: если нам удастся, — хорошо, получится настоящий репортаж. Не выйдет, — все равно сделаем репортаж, но уже о том, как нам не удалось осуществить наш замысел. С этим мы пришли в «Геральд трибюн» к Джорджу Корнишу и за обедом рассказали о своей задумке. Джордж сказал, что идея неплоха, и предложил нам всяческую помощь.

Печатается с сокращениями.

Мы условились о следующем: не лезть на рожон и постараться, с одной стороны, не очень хвалить русских, с другой — не слишком их критиковать. Это будет просто честный репортаж без комментариев, без выводов о том, что мы недостаточно хорошо знаем, и без раздражения на бюрократические препоны. Мы знали, что будет много такого, чего нам не понять, что нам не понравится, и что будет много неудобств. Так происходит всегда в любой чужой стране. Но мы решили, что если и станем что-нибудь критиковать, то лишь после того, как сами это увидим, а не до того.

В должное время наше заявление на визы ушло в Москву, и довольно скоро моя виза была уже готова. Я приехал в русское консульство в Нью-Йорке, и генеральный консул сказал мне:

— Мы согласны, что неплохо бы это сделать, но зачем вам непременно брать фотографа с собой? У нас полно фотографов в Советском Союзе.

Я ответил:

— Не таких, как Капа. И если уж я берусь за это дело, то только вместе со своим фотографом.

Чувствовалось нежелание впускать фотографа в Советский Союз, а против меня возражений не было; нам это показалось странным: ведь цензуре легче проконтролировать пленку, чем мысли репортера. Здесь мы должны дать объяснение тому, что подтвердилось впоследствии во время нашей поездки. Фотокамера — один из самых страшных видов современного оружия, особенно для людей, которые воевали, были под обстрелом и бомбами: ведь воздушному налету, как правило, предшествует фотографирование объекта. Прежде чем разрушить деревни, города и заводы, ведется съемка местности с воздуха, составляются шпионские карты, в основном при помощи фотоаппарата. Поэтому фотокамеры так боятся, а человека с фотоаппаратом подозревают и следят за его передвижениями. Если хотите убедиться в этом, возьмите свой «брауни-4» и отправьтесь куда-нибудь к Оак-Ридж [1] или к Панамскому каналу, а то и в любую из сотен наших зон, где проводятся эксперименты. Ибо у многих людей камера ассоциируется с разрушениями, и к ней относятся с заслуженным подозрением...

Как только стало известно, что мы едем в Советский Союз, нас начали засыпать советами и предостережениями. Делали это в основном те люди, которые никогда не были в России.

Одна пожилая женщина сказала, и в голосе ее слышался ужас:

— Да ведь вы же пропадете без вести, пропадете без вести, как только пересечете границу!

Мы, в свою очередь, задали ей вопрос, в интересах репортерской точности:

— А вы знаете кого-нибудь из пропавших?

— Нет, — сказала она. — Я никого лично не знаю, но пропало уже много людей.

Тогда мы сказали:

— Возможно, это и правда, мы не знаем, но не можете ли вы назвать нам имя хотя бы одного из тех, кто пропал? Или хотя бы имя человека, лично знающего кого-то из пропавших без вести?

Она ответила:

— Тысячи пропали.

Человек, многозначительно, с загадочным видом поднимавший брови, кстати, тот самый, который два года назад в Сторк Клубе выдал планы вторжения в Нормандию, сказал нам:

— Что же, у вас неплохие отношения с Кремлем, иначе бы вас в Россию не пустили. Ясное дело — вас купили.

Мы ответили:

— Нет, насколько нам известно, нас не купили. Мы просто хотим сделать хороший репортаж.

Он поднял глаза и прищурился. Он верил в то, во что верил. И коль скоро два года назад он знал намерения Эйзенхауэра, почему бы ему не знать теперь намерения Сталина.

---

[1] Район, где расположены военные предприятия (здесь и далее прим. переводчика).

Один пожилой мужчина кивнул нам и сказал:

— Вас будут пытать, вот что там с вами сделают. Просто посадят вас в какую-нибудь ужасную тюрьму и будут пытать. Будут руки выкручивать и морить голодом, пока вы не скажете то, что они хотят услышать.

Мы спросили:

— Почему? Зачем? Ради какой цели?

— Так они делают со всеми, — ответил он, — на днях я читал об этом книгу.

А довольно важный бизнесмен посоветовал:

— Что, едете в Москву, да? Захватите с собой парочку бомб и сбросьте на этих красных сволочей.

Нас замучали советами. Нам советовали, что́ взять с собой из продуктов, чтобы не умереть с голоду; говорили, как обеспечить постоянную связь; предлагали тайные способы переправки готового материала. И самым трудным оказалось объяснить, что наше единственное намерение — рассказать, как русские выглядят, что носят, как ведут себя, о чем говорят фермеры, что делают люди, чтобы восстановить разрушенные районы страны. Объяснить это было труднее всего на свете. Мы обнаружили, что тысячи людей страдают острым москоеитисом — состоянием, при котором человек готов поверить в любой абсурд, отбросив очевидные факты. Со временем, конечно, мы убедились, что русские, в свою очередь, больны вашингтонитисом, аналогичным заболеванием. Мы обнаружили, что в то время, как мы изображаем русских с хвостами и рогами, русские точно так же изображают нас.

Шофер такси сообщил:

— Эти русские вместе купаются, мужчины и женщины, и безо всякой одежды.

— Неужели?

— А как же, — ответил он. — А это аморально.

Задавая ему вопросы, мы выяснили потом, что он читал какую-то заметку о финской бане. Но он искренне переживал, что именно русские так поступают.

Получив всю эту информацию, мы пришли к заключению, что в мире сэра Стереотипа ничего не изменилось, что многие верят в двухголовых людей и летающих драконов. Правда, пока мы отсутствовали, появились летающие блюдца, которые совершенно не опровергают наш тезис. Нам кажется теперь, что самая опасная тенденция в мире — это готовность скорее поверить слуху, нежели удостовериться в факте.

Мы отправились в Советский Союз, вооруженные самыми невероятными слухами, какие только можно было собрать. И в этом рассказе мы хотим подчеркнуть одно: если мы перескажем слух, мы так и напишем — это слух...

Вот что с нами произошло. Это не заметки о России, — это заметки о нашем путешествии по России.

Глава 2

Из Стокгольма мы телеграфировали главе бюро «Геральд трибюн» в Москве Джозефу Ньюмену о приблизительном времени нашего приезда и успокоились, решив, что он встретит нас на машине и отвезет в гостиницу, где нас будут ждать номера. Наш путь лежал из Стокгольма в Хельсинки, оттуда в Ленинград и Москву. В Хельсинки мы должны были пересесть на русский самолет, поскольку ни один самолет иностранной авиалинии не летает в Советский Союз. Отполированный, безукоризненный, сияющий шведский лайнер перенес нас через Балтийское море и через Финский залив в Хельсинки. А хорошенькая шведская стюардесса накормила нас какой-то вкусной шведской едой.

После удобного и спокойного полета мы приземлились в новом аэропорту Хельсинки, недавно отстроенном и очень величественном. И здесь, в ресторане, мы стали ждать прибытия русского самолета. Спустя два часа появился низко летящий русский самолет «С-47». Он был все еще военного защитного цвета. Самолет коснулся земли, его хвостовое колесо

вышло из строя, и он, как кузнечик, запрыгал по посадочной полосе. Это было единственное происшествие за нашу поездку, но в тот момент нам все-таки стало не по себе. К тому же облупившаяся, в царапинах защитная окраска самолета, его неопрятный вид — все это довольно скверно выглядело на фоне сияющих лайнеров финских и шведских авиакомпаний...

Вскоре нам сообщили, что в этот день мы не полетим. Пришлось ночевать в Хельсинки. Капа собрал свои десять мест багажа, кудахча вокруг них, как курица-несушка. Он проследил, чтобы весь багаж заперли в специальной комнате. Он настойчиво требовал, чтобы официальные лица аэропорта усилили охрану багажа. И он ни минуты не был спокоен, пока находился вдали от своей аппаратуры. Обычно беспечный и веселый, Капа становился тираном и психом из-за всего, что касалось его камер.

...Назавтра в 10 часов утра мы снова были в аэропорту. Хвостовое колесо на русском самолете заменили, но еще велась какая-то работа у второго двигателя.

За два следующих месяца мы много полетали на русских транспортных самолетах, и все они довольно похожи друг на друга, поэтому достаточно будет дать описание одного такого экземпляра. Это были самолеты марки «С-47» защитного цвета, оставшиеся еще от ленд-лиза. На летных полях стояли более современные транспортные самолеты, русский вариант «С-47», но на таких мы не летали. Обивка кресел и ковры в «С-47», конечно, обветшали, однако моторы работали нормально, а пилоты, видно, были высокой квалификации. У них экипаж больше численностью, чем на наших самолетах, но поскольку мы не заходили к ним в отсек, то не знаем, чем они там занимаются. Когда дверь к ним открылась, мы увидели человек шесть или семь, в том числе стюардессу, которые все время находились там. Мы также не знаем, что делает стюардесса. Судя по всему, она не имеет никакого отношения к пассажирам. Еду во время полета не разносят, поэтому пассажиры сами запасаются огромным количеством пищи.

В самолетах, в которых мы летали, хронически не работала вентиляция, и свежий воздух совсем не поступал. И если салон наполняется запахом пищи или рвоты, ничего не поделаешь. Нам сказали, что старые американские самолеты будут эксплуатироваться, пока их не заменят новыми русскими машинами.

Американцам некоторые порядки на русских авиалиниях могут показаться странными. Здесь отсутствуют ремни безопасности. Во время полета курить не разрешается, но как только самолет приземляется, все тут же начинают курить. По ночам у них не летают, и если самолет не успевает добраться до места назначения до захода солнца, он приземляется и продолжает полет только на следующее утро. Русские самолеты летают намного ниже, чем наши, и лишь при грозе поднимаются выше. И это относительно безопасно, потому что большая часть России — равнины. В случае вынужденной посадки всегда можно найти площадку.

Загрузка русских самолетов нам также кажется любопытной. Багаж складывают в проходе после того, как пассажиры займут свои места.

Пожалуй, в первый день нас больше всего встревожил внешний вид самолета. Это было старое обшарпанное страшное чудовище. Но моторы его были в прекрасном состоянии, летел он превосходно, поэтому волноваться нам практически было не о чем. По-моему, сияющий металл наших самолетов не прибавляет им летных качеств. Я знал человека, жена которого говорила, что машина лучше едет, если она вымыта, и, вероятно, такое чувство мы испытываем по отношению ко многим вещам. Главная задача самолета — лететь в нужном направлении. И русские справляются с ней не хуже других...

В 11 мы взяли курс на Ленинград. С воздуха нам хорошо были видны следы долгой войны на земле — траншеи, окопы, щели, начинающие сейчас зарастать травой. Чем ближе мы подлетали к Ленинграду, тем чаще встречались траншеи, а шрамы на местности были глубже. Сожженные крестьянские дома с черными, оставшимися стоять стенами портили ландшафт. Некоторые участки, на которых проходили крупные сражения, были изрыты и походили на лунную поверхность. На подлете к Ленинграду разрушения казались неимоверными. Отчетливо виднелись дзоты, пулеметные гнезда.

В пути нам сообщили, что в Ленинграде нас должны будут досмотреть таможенники. Проверить наши тринадцать мест багажа, тысячи фотовспышек, сотни кассет фотопленки, массу камер, мотки проводов — нам казалось, что на это уйдет несколько дней. Мы подумали также, что с нас возьмут большую пошлину за всю эту новую аппаратуру.

Наконец мы полетели над Ленинградом. Пригороды были разрушены, но внутренняя часть города, очевидно, не сильно пострадала. Самолет мягко приземлился на травяное поле аэропорта и покатил по полосе. Здесь не было никаких зданий, кроме технических. Около нашего самолета встали два молодых солдата с большими винтовками и начищенными штыками. Потом на борт поднялись представители таможни. Начальником был улыбчивый, очень обходительный человечек со сверкающими стальными зубами. Он знал единственное слово по-английски — «yes». И мы знали одно слово по-русски — «да». Поэтому когда он говорил «yes», мы, в свою очередь, отвечали «да», и таким образом мы возвращались к тому, с чего начинали. Проверили наши паспорта и деньги, и встал вопрос о багаже. Поскольку его нельзя было выгрузить, то пришлось вскрывать прямо в проходе салона. Таможенник был очень вежливым, добрым и крайне щепетильным. Мы открыли каждую сумку, и он просмотрел все. Но пока он занимался этой процедурой, стало ясно, что ему просто было интересно и он не искал чего-то определенного. Таможенник перевернул все наше сияющее оборудование, любовно поглаживая его. Он вынул все катушки с пленкой, но ничего с ними не делал и ни о чем не спрашивал, похоже, ему просто нравились заграничные вещи. И еще нам казалось, что время его не ограничено. Наконец он поблагодарил нас, по крайней мере мы именно так его поняли.

Теперь возникла новая проблема — надо было проштемпелевать наши документы. Таможенник вытащил из кармана мундира маленький газетный сверточек, в котором оказалась резиновая печать. Это все, что при нем было, во всяком случае, чернильной подушечки не нашлось. Как потом выяснилось, у него никогда ее и не было, но техника проставления штемпеля была тщательно продумана. Из другого кармана мундира он вынул химический карандаш; потом, лизнув печать, он поводил по ней карандашом и приложил к нашему документу. Однако оттиск не появился. Таможенник попробовал еще раз. И опять ничего не получилось. Не осталось даже намека на отпечаток. Чтобы как-то помочь, мы вынули ручки, испачкали пальцы чернилами и намазали резиновую печать. Оттиск вышел замечательный. Таможенник завернул печать в газету, положил обратно в карман, пожал нам руки и вышел из самолета. Мы снова запаковали наш багаж и уложили его на сиденья.

К открытой двери самолета подкатил грузовик, в котором находилось полторы сотни упакованных в футляры микроскопов. В салон вошла девушка-грузчик — это была самая сильная девушка, которую я когда-либо видел, худая и жилистая, с широким, прибалтийским лицом. Она носила тяжелые связки коробок наверх, в кабину пилота, а когда кабина заполнилась, стала ставить коробки в проходе. Эта девушка была в платке, парусиновых тапочках и синем комбинезоне, а руки ее были налиты мускулами. И у нее, как и у таможенника, были зубы из нержавеющей стали, делающие рот человека очень похожим на деталь машины.

Мы думали, что нас ждут неприятности: таможенные формальности никому не доставляют удовольствия, ведь это — своеобразное вторжение в личную жизнь человека. И мы, вероятно, в какой-то мере поверили нашим советчикам, которые никогда не были здесь и думали, что нас могут оскорбить или плохо обойтись с нами. Но этого не произошло.

И вот нагруженный самолет опять поднялся в воздух и взял курс на Москву, полетев над бесконечной плоской землей, землей лесов и огороженных крестьянских участков, маленьких некрашеных деревенских домиков и ярко-желтых стогов соломы. Самолет летел довольно низко до тех пор, пока не вошел в облако, и тогда пришлось немного подняться. Иллюминаторы стали влажными.

Наша стюардесса была крупной грудастой блондинкой, в которой угадывалась мать, и, казалось, ее единственной обязанностью было носить

в кабину пилота бутылки минеральной воды. Один раз она отнесла туда буханку черного хлеба.

Вскоре мы стали испытывать сильный голод, потому что не позавтракали, и нам уже казалось, что возможности поесть у нас и не будет. Если бы мы могли объясниться, то попросили бы у стюардессы кусочек хлеба. Но мы не могли сделать даже этого.

Около четырех часов дня мы прошли, снижаясь, через дождевое облако и слева от себя увидели Москву — расползшийся гигантский город, и Москва-реку, рассекающую его. Сам аэропорт был очень большим. Часть взлетно-посадочных полос была заасфальтирована, а на многих полосах росла высокая трава. Вокруг стояли буквально сотни самолетов: старые «С-47», много новых русских самолетов на трех колесах и с блестящим алюминиевым фюзеляжем.

Подрулив к новому большому и внушительному зданию аэропорта, мы пытались найти хоть какое-нибудь знакомое лицо, — кого-то, кто мог нас встречать. Шел дождь. Мы вышли из самолета и собрали багаж под дождем: сильное чувство одиночества вдруг охватило нас. Никто нас не встречал. Ни одного знакомого лица. Мы не могли ничего спросить. У нас не было русских денег. Мы не знали, куда ехать.

Из Хельсинки мы телеграфировали Джо Ньюмену, что на день задерживаемся. Но Джо Ньюмена здесь не было. За нами вообще никто не приехал. Рослые носильщики перенесли наши вещи к выходу из аэропорта и ждали, чтобы им заплатили, но платить нам было нечем. Мимо проезжали автобусы, и мы понимали, что не можем даже прочитать, куда они едут; кроме того, они были переполнены, люди висели снаружи гроздьями, так что мы с нашим багажом в тринадцать мест просто физически не смогли бы залезть в автобус. А носильщики, очень сильные ребята, ждали денег. Мы были голодны, испуганы и чувствовали себя совершенно покинутыми.

И вот тогда вышел дипкурьер французского посольства со своим мешком; он дал нам взаймы, чтобы заплатить носильщикам, и положил наш багаж в машину, которая приехала за ним. Это был очень хороший человек. Мы были близки к самоубийству, и он спас нас. И если он когда-либо прочтет это, то мы еще раз хотим его поблагодарить. Дипкурьер отвез нас в гостиницу «Метрополь», где, по всей вероятности, должен был находиться Джо Ньюмен...

Гостиница «Метрополь» была действительно превосходной, с мраморными лестницами, красными коврами и большим позолоченным лифтом, который иногда работал. А за стойкой находилась женщина, которая говорила по-английски. Мы спросили, есть ли для нас номера, она ответила, что никогда про нас не слышала. Для нас номеров не было.

В этот момент Александр Кендрик из «Чикаго Сан» и его жена спасли нас. Где, спросили мы, Джо Ньюмен?

— А, Джо! Его здесь нет уже неделю. Он в Ленинграде на пушном аукционе.

Он не получил нашу телеграмму, ничего не приготовлено, и у нас нет номеров. И смешно было пытаться найти гостиничный номер без предварительной договоренности. Мы думали, что Джо свяжется с соответствующим русским агентством. Но поскольку он этого не сделал, не получил телеграммы, стало быть, русские и не знали, что мы приезжаем. Однако Кендрики пригласили нас к себе в номер, угостили семгой и водкой и очень радушно приняли.

Через минуту мы уже не чувствовали себя одинокими и покинутыми. Мы решили поселиться в номере Джо Ньюмена и таким образом наказать его. Мы пользовались его полотенцами, мылом и его туалетной бумагой. Мы пили его виски. Мы спали на его диване и кровати. Мы считали, что это единственное, чем он может нам отплатить за то, что заставил нас так мучиться. А то, что он не знал о нашем приезде, решили мы, не снимает с него обвинения, поэтому наказать его все же следует. И мы выпили две его бутылки виски. Надо признать, что тогда мы не знали, какое совершаем преступление. Во взаимоотношениях американских журналистов в Москве вообще много жульничества и разбоя, но мы довели это до неслыханного дотоле уровня. Порядочный человек не пьет чужого виски.

Глава 3

Мы еще не знали, каков наш статус. Мы не совсем представляли себе, каким образом сюда попали и кто нас пригласил. Но американские корреспонденты в Москве сплотились и позаботились о нас: Гилмор, Стивенс, Кендрик и другие, все добрые и отзывчивые люди. Они пригласили нас на ужин в коммерческий ресторан гостиницы «Метрополь». Так мы узнали, что в Москве существуют два вида ресторанов: ресторан, где можно поесть по продовольственным карточкам и где цены довольно низкие, и коммерческие рестораны, в которых цены неимоверно высоки, а еда приблизительно такая же.

Коммерческий ресторан в «Метрополе» превосходный. Посреди зала высотой этажа в три — большой фонтан. Здесь же танцевальная площадка и возвышение для оркестра. Русские офицеры со своими дамами, а также гражданские с доходами много выше среднего, танцуют вокруг фонтана по всем правилам этикета.

Оркестр, кстати, очень громко играл самую скверную американскую джазовую музыку, которую нам когда-либо приходилось слышать. Барабанщик, явно не лучший последователь Крупа, в экстазе доводил себя до исступления и жонглировал палочками. Кларнетист, судя по всему, слышал записи Бени Гудмэна, поэтому время от времени его игра смутно напоминала трио Гудмэна. Один из пианистов был заядлым любителем буги-вуги, и играл он, между прочим, с большим мастерством и энтузиазмом.

На ужин подали 400 граммов водки, большую салатницу черной икры, капустный суп, бифштекс с жареным картофелем, сыр и две бутылки вина. И стоило это около ста десяти долларов на пятерых, один доллар — двенадцать рублей, если считать по курсу посольства. А на то, чтобы обслужить нас, ушло два с половиной часа, что нас сильно удивило, но мы убедились, что в русских ресторанах это неизбежно. Позже мы узнали, почему обслуживают так долго.

Поскольку все в Советском Союзе, любая сделка контролируется государством или объединениями, которые содержатся государством, бухгалтерский учет раздут неимоверно. Поэтому официант, принимая заказ, аккуратно записывает его в свою книжку. Но после этого он не идет заказывать еду. Он направляется к бухгалтеру, и тот делает еще одну запись того, что было заказано, и выдает талон, который поступает на кухню. Там делается еще одна запись и запрашивается часть блюд. Когда, наконец, выдается еда, то вместе с ней выписывается талон, на котором перечисляются все блюда, и этот талон получает официант. Но на стол к заказчикам он еду пока не ставит. Он относит талон к бухгалтеру, который записывает, что такая-то еда, которую заказали, теперь выдается, и вручает официанту другой талон, с которым он возвращается на кухню и на этот раз уже приносит еду на стол, делая тем не менее запись в своей книге, что еда, которую заказали, которую оприходовали, которую выдали, — теперь наконец на столе. Вся эта бухгалтерия отнимает очень много времени. Намного больше времени в действительности, чем приготовление еды. И совершенно незачем проявлять нетерпение, пытаясь быстрее получить свой обед, — ничто в мире это не ускорит. Процесс этот неизменен...

Пока ждали еду, московские корреспонденты объяснили нам, чего можно ожидать и как себя вести. Их советы нам очень пригодились. Они предупредили, что нам лучше не получать аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Ведь одно из правил, которым должен следовать аккредитованный при МИДе корреспондент, запрещает ему выезжать за пределы Москвы, что совсем нас не устраивало, мы не хотели оставаться в Москве. Мы хотели поехать в провинцию и посмотреть, как живет народ на земле.

Поскольку мы не имели намерения посылать какие-либо сообщения или телеграммы, которые попали бы в поле зрения цензуры, мы решили, что нам, вероятно, удастся избежать аккредитации при МИДе. Но мы до сих пор не знали, кто нами занимается. Это мог быть Союз писателей, думали мы, или ВОКС, который является организацией, занимающейся культурными связями Советского Союза. Нам нравилось считать себя «культурными связями». И мы заранее определили для себя, что мы не

будем интересоваться политической информацией, кроме тех случаев, когда политика имела местное значение и оказывала прямое влияние на повседневную жизнь.

На следующее утро мы позвонили в Интурист, организацию, которая занималась иностранцами. Выяснилось, что Интурист не желает иметь с нами дела, что мы для них просто не существуем, и для нас нет номеров. Поэтому мы зашли в ВОКС. В ВОКСе нам сказали, что знали о нашем приезде, но даже не подозревали, что мы уже приехали. Они постараются достать для нас комнаты. Но это очень трудно, потому что все гостиницы в Москве постоянно переполнены. Потом мы вышли на воздух и побрели по улицам.

Я был здесь всего несколько дней в 1936 году, и перемены с тех пор произошли огромные. Например, город стал гораздо чище, чем тогда. Многие улицы были вымыты и вымощены. За эти одиннадцать лет выросли сотни высоких новых жилых домов, и новые мосты через Москва-реку, улицы расширяются, статуи на каждом шагу. Исчезли целые районы узких и грязных улочек старой Москвы, и на их месте выросли новые жилые кварталы и новые учреждения.

Повсюду заметны следы бомбежки, но разрушения незначительные. По-видимому, немецким самолетам не очень удавалось прорываться к Москве. Некоторые корреспонденты, которые работали здесь во время войны, рассказали нам, что противовоздушная оборона была настолько эффективной, а истребители так многочисленны, что после нескольких воздушных боев немцы, понеся большие потери, практически оставили попытки воздушных налетов на Москву. Но несколько бомб все же было сброшено: одна попала в Кремль, несколько других — на окраины. К этому времени «люфтваффе» изрядно потрепали над Лондоном, и немцы уже не хотели жертвовать большим количеством самолетов, чтобы бомбить хорошо защищенный город.

Мы заметили также, что город приводят в порядок. Все дома стояли в лесах. Их заново красили, кое-где ремонтировали, ведь через несколько недель город справлял свое 800-летие, которое собирались празднично и торжественно отметить. А вскоре после этого наступала 30-я годовщина Октябрьской революции.

Электрики развешивали гирлянды лампочек на зданиях, на Кремле, на мостах. Работа не останавливалась вечером, она продолжалась ночью при свете прожекторов, город прихорашивался, приводился в порядок: ведь это будет первое послевоенное торжество, первое за многие годы.

Но несмотря на предпраздничную суматоху, люди на улицах выглядели усталыми. Женщины очень мало или совсем не пользовались косметикой, одежда была опрятной, но не очень нарядной. Большинство мужчин носило военную форму, хотя они уже не служили в армии. Их демобилизовали, и форма была единственной одеждой, которую они имели. Форма была без знаков различия и погон.

Капа не взял с собой камеры — корреспонденты предупредили его, что без письменного разрешения фотографировать нежелательно, особенно иностранцам. Первый же полицейский заберет вас и отправит на выяснение, если у вас не окажется соответствующего разрешения.

Нам опять стало одиноко. За нами не только никто не следил, никто не преследовал, даже присутствия нашего никто не желал замечать. Мы знали, что в Москве будут постепенно открываться иностранные корпункты, как это происходит в Вашингтоне. Пока же, обретаясь в чужих комнатах, среди сотен катушек фотопленки и фотооборудования, мы начали волноваться.

Мы слышали о русской игре — назовем ее «русский гамбит», — выиграть в которой редко кому удается. Она очень проста. Чиновник из государственного учреждения, с которым вы хотите встретиться, то болен, то его нет на месте, то он попал в больницу, то находится в отпуске. Это может продолжаться годами. А если вы переключитесь на другого человека, то его тоже не окажется в городе, или он попадет в больницу, или уедет в отпуск. Одна венгерская комиссия в течение трех месяцев пыталась вручить какую-то петицию, на которую смотрели, как я полагаю, без одобрения, сначала конкретному чиновнику, а затем — кому угодно. Но встречи так и не произошло. А один американский профессор, блестящий, интеллигентный и добрый человек, несколько недель просидел в приемных со своей идеей студенческого обмена. Его так никто и не принял. И нет способа противостоять этому гамбиту. От него нет никакой защиты, единственный выход — расслабиться.

Сидя в комнате Джо Ньюмена, мы опасались, что такое могло вполне произойти и с нами. И, много раз звонив по телефону, мы обнаружили еще одну интересную особенность русских ведомств. Никто не появляется на службе до полудня, никто. Учреждения просто закрыты до полудня. Но с 12 часов дня учреждение открывается, и люди работают до полуночи. Утренние часы для работы не используют. Может, существуют учреждения, которые не следуют этому принципу, однако те, с которыми нам пришлось сталкиваться за эти два месяца, придерживались такого распорядка дня. Мы знали, что не должны проявлять нетерпения и злиться, так как из-за этого можем потерять в игре пять очков. Но наши страхи оказались беспочвенными, и на следующий день ВОКС начал действовать. ВОКС снял нам комнату в гостинице «Савой» и пригласил обсудить планы.

«Савой», так же, как и «Метрополь», предназначен для иностранцев. Люди, живущие в «Метрополе», считают, что «Савой» лучше, что там лучше еда и обслуживание. С другой стороны, те, кто живет в «Савое», уверены, что еда и обслуживание лучше в «Метрополе». Это длится уже годами.

Нам дали комнату на втором этаже «Савоя». Мы поднялись по мраморной лестнице, уставленной статуями; больше всего нам нравился бюст Грациэллы, знаменитой красавицы, которая приехала с Наполеоном. На ней было платье в стиле ампир и большая шляпа, но скульптор, вероятно, ошибся и высек имя не Грациэллы, а Кразиэллы. Для нас она стала Crazy[1] Ella. На лестнице, на самом верху, стояло огромное чучело русского медведя в угрожающей позе. Но какой-то робкий посетитель оборвал когти на передних лапах, поэтому медведь нападал без когтей. В полутьме верхнего зала от него постоянно шарахались новые клиенты «Савоя».

У нас была большая комната. Позже мы узнали, что этот номер был предметом зависти для людей, которые жили в других номерах «Савоя». Потолок — двадцать футов высотой. Стены покрашены в скорбный темно-зеленый цвет. В комнате был альков для кроватей с задергивающейся занавеской. Украшением комнаты были гарнитур, состоящий из дивана, зеркала, шкафа мореного дуба, и большая картина до самого потолка. Эта картина внедрилась со временем в наши сны. Если ее вообще можно описать, то, наверное, так: в нижней и центральной части картины был нарисован акробат, лежащий на животе с согнутыми колесом ногами. Две одинаковые кошки выскальзывают у акробата из-под рук. У него на спине лежат два зеленых крокодила, и у них на голове явно ненормальная обезьяна в царской короне и с крыльями летучей мыши. Эта обезьяна, у которой длинные мускулистые руки, через отверстия в крыльях держит за рога двух козлов с рыбьими хвостами. У этих козлов — нагрудники, которые оканчиваются рогом, протыкающим двух агрессивных рыб. Мы не поняли этой картины. Мы не поняли ни о чем она, ни почему ее повесили в нашем гостиничном номере. Но мы стали думать о ней. И, конечно же, ночью нам стали сниться кошмары.

Три больших двойных окна выходили на улицу. Со временем Капа все чаще и чаще стал располагаться на подоконниках, фотографируя маленькие сценки, которые происходили у нас под окнами. На той стороне улицы в доме на втором этаже находилась мастерская по ремонту фотоаппаратов. Там работал человек, который долго просиживал над камерами. Позже мы обнаружили, что, по всем правилам игры, пока мы фотографировали его, он снимал нас.

Наша ванная, а мы прославились по всей Москве, обладая собственной ванной, имела ряд особенностей. Войти в нее было не так-то просто, — нельзя было открыть дверь и зайти, потому что на пути двери стояла ванна. Кому нужно было в ванную, делал шаг внутрь, заходил за раковину, закрывал дверь и только потом имел возможность двигаться по ванной

[1] Crazy — сумасшедшая (англ.).

комнате. Ванна неустойчиво стояла на ножках, и если, сидя в ней, сделать неловкое движение, она подпрыгивала, и вода лилась на пол.

Ванна была старой, может, даже дореволюционной, эмаль на дне содрана, и поверхность стала, как наждак. Капа, существо очень нежное, обнаружил, что у него появились царапины, поэтому залезал в ванну только в трусах.

Эти отличительные черты нашей ванной подходили ко всем ванным, которые мы видели в Советском Союзе. Может, есть и другие, но нам они не попадались. В то время как все краны текли — в туалете, над раковиной и в самой ванне, — все водостоки были практически водонепроницаемы. Когда вы наполняли ванну, то вода стояла, а если вы выдергивали затычку, то это не производило никакого эффекта — вода оставалась в ванне. А в одном из отелей в Грузии рев спускающейся воды был таким жутким, что нам приходилось плотно закрывать дверь, чтобы можно было спать. Именно здесь заложены основы моего открытия, которое я предложил внедрить в промышленности. Оно очень простое. Поменяйте весь процесс: поставьте краны на место водостоков, а водостоки на место кранов — и вопрос будет решен.

Но наша ванна отличалась одним замечательным свойством. Здесь всегда было полно горячей воды, — чаще на полу, — но, во всяком случае, она была всегда, когда нам было нужно.

Именно здесь я обнаружил одну неприятную черту характера Капы, которую я считаю справедливым назвать на случай, если какая-нибудь молодая особа примет его предложение руки и сердца. Он — ванная свинья, и очень любопытный экземпляр. Его метод таков: он встает с постели, идет в ванную комнату и наполняет ванну. Потом он ложится в ванну и читает, пока его не сморит сон, и в конце концов засыпает. Это продолжается утром два-три часа, и вполне понятно, что ванну в это время невозможно использовать по назначению. Я даю эту информацию о Капе в качестве услуги обществу. Если у вас две ванны, Капа — очаровательный, интеллигентный, мягкий спутник. Если же у вас одна ванная комната, он — ноль...

Когда мы зарегистрировались в гостинице «Савой», нам выдали талоны на питание, по три на день — на завтрак, на обед и ужин. Пользуясь этими талонами, мы вполне нормально питались в гостиничном ресторане. Если же мы ели в коммерческом ресторане, то блюда там были намного дороже, но не намного лучше. Пиво было кислым и очень дорогим. Бутылка пива обходилась приблизительно в полтора доллара.

Днем из ВОКСа прислали машину, чтобы отвезти нас на собеседование. У нас создалось впечатление, что между Союзом писателей и ВОКСом шла борьба — кому придется за нас отвечать. ВОКС проиграл и получил нас. ВОКС расположен в маленьком красивом особняке, который когда-то принадлежал крупному торговцу. Г-н Караганов нас принял в своем кабинете, отделанном до самого верха дубовыми панелями, с потолком из цветного стекла, — очень приятном для работы месте. Г-н Караганов, молодой светловолосый осторожный человек, говорил по-английски медленно и точно; он сидел за столом и задавал нам множество вопросов. Разговаривая, он машинально чертил что-то карандашом, один конец которого был красный, а другой синий. Мы объяснили свой замысел: никакой политики, просто хотим поговорить и понять русских крестьян, рабочих, торговцев с рынка, посмотреть, как они живут, постараться рассказать нашим людям об этом, чтобы они хоть что-то могли понять. Караганов спокойно слушал нас и рисовал карандашом галочки.

Потом сказал:

— Были и другие, желавшие заняться этим. — И назвал имена американцев, которые уже написали книги о Советском Союзе. — Они сидели в этом кабинете, — рассказывал он, — и говорили одно, а потом вернулись домой и написали совсем другое. И если мы испытываем некоторое недоверие, то для этого есть причины.

— Но вы не должны заранее решать, с каким настроением мы сюда приехали — благоприятным или нет, — возразил я. — Мы приехали сделать репортаж, если это возможно. Я намереваюсь записать и сфотографировать лишь то, что увижу и услышу, без всяких комментариев. Если нам что-то не понравится или мы что-то не поймем, мы расскажем и об этом. Мы

приехали, чтобы рассказать о вас. Если мы сможем, то сделаем это. А если не сможем, то репортажа не будет, будут просто рассказы для знакомых.

Он кивнул, медленно и задумчиво.

— Мы можем этому поверить, — сказал он. — Но мы очень устали от людей, которые приезжают сюда и моментально становятся прорусскими, а возвращаясь в Штаты, так же быстро перерождаются в антирусских. У нас накопился большой опыт в этой области. Наша организация, ВОКС, — продолжал он, — не имеет ни большой власти, ни большого влияния. Но мы сделаем все, чтобы вы смогли выполнить задуманную работу.

Потом он принялся расспрашивать нас об Америке. Один из вопросов был такой:

— Ваши газеты пишут о войне с Советским Союзом. Хочет ли американский народ этой войны?

— Не думаем, — ответили мы. — Мы не знаем, но не думаем, чтобы какой-либо народ хотел войны.

— По-видимому, единственный человек в Америке, который во весь голос выступает против войны, это Генри Уоллес, — сказал он. — Вы не могли бы сказать, сколько у него приверженцев? Имеет ли он серьезную поддержку в народе?

Мы ответили:

— Не знаем. Но мы знаем, например, что в одной из поездок по стране Генри Уоллес собрал беспрецедентную сумму за входные билеты на свои выступления. Мы знаем, что люди впервые платили деньги, чтобы пойти на политический митинг. И мы знаем, что многим пришлось уйти с этих митингов, потому что не было не только сидячих мест, но и стоячих. Повлияет ли это как-то на предстоящие выборы, мы понятия не имеем. Мы знаем только, что те люди, кто хоть краем глаза увидел, что такое война, против нее. И мы считаем, что таких людей, как мы, очень много. Мы думаем, что если война — единственный ответ, который нам могут дать наши лидеры, значит, мы живем в несчастное время. — И затем мы спросили:

— Хочет ли войны русский народ, или какая-то его часть, или кто-то в русском правительстве?

Тут он выпрямился, положил свой карандаш и сказал:

— Я могу однозначно ответить на этот вопрос. Ни русский народ, ни какая-то его часть, ни часть русского правительства не хотят войны. И даже больше того: русские люди пойдут на все, чтобы избежать войны. В этом я уверен.

Он опять взял карандаш и стал рисовать загогулины на бумаге.

— Давайте поговорим об американской литературе, — продолжал он, — нам стало казаться, что ваши писатели уже ни во что не верят. Это правда?

— Не знаю, — ответил я.

— Ваша последняя книга показалась нам несколько циничной, — сказал он.

— Она не цинична, — ответил я. — Я считаю, что писатель обязан как можно точнее описывать время, в котором он живет, и так, как он его понимает. Этим я и занимаюсь.

Потом он спросил об американских писателях, о Колдуэлле и Фолкнере, и о том, когда Хемингуэй собирается выпустить новую книгу. И еще он спросил, какие молодые писатели появляются, какие новые имена. Мы ответили, что появилось несколько молодых писателей, но еще очень рано от них ожидать чего-либо серьезного. Эти молодые люди — вместо того, чтобы учиться мастерству — служили последние четыре года в армии. Такой опыт скорее всего должен был глубоко потрясти их, но им понадобится время, чтобы прочесать этот свой опыт, выделить из жизни основное, а потом уже садиться писать.

Казалось, он несколько удивился, узнав, что писатели в Америке не собираются вместе и почти не общаются друг с другом. В Советском Союзе писатели — очень важные люди. Сталин сказал, что писатели — это инженеры человеческих душ.

Мы объяснили ему, что в Америке у писателей совершенно иное положение — чуть ниже акробатов и чуть выше тюленей. И, с нашей точки

зрения, это очень хорошо. Мы считаем, что писатель, в особенности молодой, которого очень расхваливают, так же быстро может быть опьянен успехом, как и киноактриса, о которой печатают хорошие рецензии в специальных журналах. А если критика будет как следует колошматить писателя, в конечном счете это обернется для него только пользой.

Нам кажется, что одним из самых глубоких различий между русскими и американцами является отношение к своим правительствам. Русских учат, воспитывают и поощряют в том, чтобы они верили, что их правительство хорошее, что оно во всем безупречно, что их обязанность — помогать ему двигаться вперед и поддерживать во всех отношениях. В отличие от них американцы и британцы остро чувствуют, что любое правительство в какой-то мере опасно, что правительство должно играть в обществе как можно меньшую роль и что любое усиление власти правительства — плохо, что за существующим правительством надо постоянно следить, следить и критиковать, чтобы оно всегда было деятельным и решительным...

Блокнот г-на Караганова пестрел синими и красными значками. Наконец он сказал:

— Если вы составите список того, что вы хотите сделать и увидеть, и передадите его мне, я посмотрю, чем смогу вам помочь.

Караганов нам очень понравился. Этот человек говорил прямо и без смущения. Позже мы слышали много высокопарных общих слов. Но никогда мы не слышали такого от Караганова. Мы не скрывали, что мы именно те, за кого себя выдаем. У нас были свое мнение, своя американская точка зрения и, вероятно, с его точки зрения, ряд предубеждений. Но он не проявил ни нелюбви, ни недоверия, наоборот, казалось, что он проникся уважением к нам. За время нашего пребывания в Советском Союзе он здорово помог нам. Мы неоднократно встречались с ним, и его единственная просьба к нам заключалась в следующем:

— Напишите правду, напишите то, что увидите. Не меняйте ничего, напишите так, как оно есть, и мы будем очень рады. Потому что мы не доверяем лести.

Он казался нам честным и хорошим человеком.

Но все же вокруг нашей поездки шла молчаливая борьба. В настоящее время в Советский Союз можно приехать только в качестве гостя какой-то организации или для выполнения какой-то определенной работы. Мы не были уверены, занимается ли нами Союз писателей или же ВОКС, и не были уверены, что они сами это знают. По всей вероятности, обе организации стремились свалить эту сомнительную честь друг на друга. В одном мы были уверены: мы не хотели получать аккредитацию постоянных корреспондентов с соответствующими корреспондентскими правами, так как в этом случае мы попали бы под контроль Министерства иностранных дел. Правила МИДа очень строги в отношении корреспондентов, и если уж мы стали бы его подопечными, то не смогли бы выехать из Москвы без специального разрешения, которое очень редко выдается. Мы не смогли бы свободно путешествовать, и, кроме того, наш материал подлежал бы проверке цензурой МИДа. Этого всего мы не хотели, тем более что нас предупредили американские и английские корреспонденты в Москве, и мы увидели, что их репортерская деятельность сводится в большей или меньшей степени к переводу русских газет и журналов и пересылке этого перевода, и даже в этом случае цензура зачастую убирала большие куски из их телеграмм. Иногда цензура вела себя вообще смешно. Один раз американский корреспондент, описывая Москву, написал, что Кремль имеет форму треугольника. Позже он увидел, что это место вырезано из его статьи. Конечно же, никаких правил, которым нужно было бы следовать, не существовало, но корреспонденты, прожившие в Москве долгое время, уже приблизительно знают, о чем они могут писать, а о чем нет. Эта вечная борьба между цензурой и корреспондентами продолжается.

Существует знаменитая история про новую машину. Один инженер изобрел машину, которая прокладывает туннели или роет канавы, и назвал ее «земляной крот». В советском научном журнале появились ее фотографии и технические данные. Один американский журнал опубликовал этот материал у себя. В свою очередь, английская газета, увидев эту статью, телеграфировала своему корреспонденту в Москве, чтобы тот срочно написал о «земляном кроте». Английский корреспондент отправился в советский научный журнал, откопал материал и послал его в свою газету, после чего выяснилось, что всю статью задержала цензура.

Деятельность корреспондентов была еще больше урезана недавним постановлением, которое приравнивало разглашение сельскохозяйственных, промышленных и демографических показателей к разглашению военной информации. В результате никто не мог узнать никаких цифр относительно любого русского производства. Обо всем шла речь в процентах. А без основного показателя это вам ничего не дает. Например, вам не могут сказать, сколько тракторов выпустил такой-то тракторный завод, но вы можете узнать, что это, к примеру, составляет 95% от уровня 1939 года. Если вы знаете, сколько машин было выпущено в 1939 году, то получите достаточно точную цифру, но если у вас нет другого показателя, вы пропали. Иногда это выглядит просто смешно. Если, например, кто-то спрашивает, каково сейчас население Сталинграда, ему ответят, что оно составляет 87% от довоенного уровня. Следовательно, затем надо узнать, сколько народу жило в Сталинграде до войны и высчитать, сколько там проживает сейчас.

Между московскими корреспондентами и цензурой ведется постоянная война, и мы совершенно не хотели быть вовлечены в нее.

В это время со своих ленинградских каникул на пушном аукционе возвратился Джо Ньюмен. Мало того, что Джо хороший товарищ, он еще и очень полезный человек. Он работал в Японии и Аргентине. И это прекрасно подготовило его к московской обстановке. У него появилось одно хорошее качество в результате того, что он долгое время провел в странах, где прямота — чрезвычайно редкое явление; он выработал нюх на нюансы и намеки. Он может прочитать то, что нужно, между строк, и, кроме того, он очень мягкий человек. Если этому не научиться, то скоро просто сойдешь с ума. Мы очень обязаны ему за информацию и все то, чему он нас научил...

У нас сложилось мнение, что русские — худшие в мире пропагандисты собственного образа жизни, что у них самая скверная реклама. Взять, к примеру, иностранных корреспондентов. Обычно журналист едет в Москву с доброй волей и желанием понять то, что увидит. Но он сразу же подвергается всяким ограничениям и просто не в состоянии выполнять свою работу. Постепенно у него меняется настроение, и он начинает ненавидеть систему, не как саму систему, но как препятствие для своей работы. И нет способа быстрее настроить человека против чего бы то ни было. В конце концов журналист начинает злиться и нервничать из-за того, что ему не дают выполнять то, ради чего его послали. Человек, который не в состоянии делать свое дело, обычно ненавидит причину, мешающую ему. Посольские сотрудники и корреспонденты чувствуют себя изолированными и одинокими, они живут на острове посередине России, и неудивительно, что они озлобляются и становятся необщительными.

Это замечание в адрес Отдела печати МИД вставлено для оправдания журналистов, постоянно работающих в Москве. У нас была возможность делать многое из того, что им запрещено. Но если бы в наши обязанности входила, как у них, передача новостей, то МИД взял бы нас под свою опеку, и мы тоже не смогли бы выехать за пределы Москвы.

А так ВОКС предоставил нам переводчика, что было для нас очень важно, поскольку мы не могли даже прочитать вывеску на улице. Нашей переводчицей была молодая, миниатюрная и очень хорошенькая девушка. По-английски она говорила превосходно. Она окончила Московский университет, где изучала историю Америк. Она была проворна, сообразительна, вынослива. Ее отец был полковником Советской Армии. Она очень помогала нам не только потому, что прекрасно знала город и хорошо справлялась с делами, но еще и потому, что, разговаривая с нею, можно было представить себе, о чем думает и говорит молодежь, по крайней мере московская. Ее звали Светлана Литвинова. Ее имя произносилось Суит[1]-Лана, это имя так очаровало нас, что мы решили разделить его. Мы пробовали говорить Суит генерал Смит, Суит Гарри Трумэн, Суит Карри Чапмен Катт, но ни одно из них не привилось. В конце концов мы остановились на Суит Джо Ньюмене, и это, казалось, стало его постоянным именем. С тех пор его и зовут Суит-Джо.

[1] Суит — милая, сладкая. (англ.).

Суит-Лана была просто сгустком энергии и работоспособности. Она вызывала для нас машины. Она показывала нам то, что мы хотели посмотреть. Это была решительная девушка, и ее взгляды были такими же решительными, как и она сама. Она ненавидела современное искусство во всех его проявлениях. Абстракционисты были для нее американскими декадентами; экспериментаторы в живописи — представителями упадническо-го направления; от Пикассо ее тошнило; идиотскую картину в нашей спальне она назвала образцом декадентского американского искусства. Единственное искусство, которое ей действительно нравилось, была фотографическая живопись девятнадцатого века. Мы обнаружили, что это не ее личная точка зрения, а общее мнение. Мы не думаем, что на художника оказывается какое-то давление. Но если он хочет, чтобы его картины выставлялись в государственных галереях, а это единственный существующий вид галерей, то он и будет писать картины с фотографической точностью. Он не станет, во всяком случае, в открытую экспериментировать с цветом и линией, не будет изобретать новую технику и вообще не станет использовать субъективный подход в своей работе. Суит-Лана высказывалась на этот счет весьма категорично. Так же яростно спорила она и по другим вопросам. От нее мы узнали, что советскую молодежь захлестнула волна нравственности. Это было что-то похожее на то, что происходило у нас в Штатах в провинциальных городишках поколение назад. Приличные девушки не ходят в ночные клубы. Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы и ногти. Приличные девушки одеваются консервативно. Приличные девушки не пьют. И еще приличные девушки очень осмотрительно себя ведут с парнями. У Суит-Ланы были такие высокие моральные принципы, что мы, в общем никогда не считавшие себя очень аморальными, на ее фоне стали казаться себе весьма малопристойными. Нам нравится, когда женщина хорошо накрашена и когда у нее стройные лодыжки. Мы предпочитаем, чтобы она пользовалась тушью для ресниц и тенями для век. Нам нравится ритмичная музыка и ритмическое пение без слов, и мы обожаем смотреть на красивые ножки кордебалета. Для Суит-Ланы все это являлось признаками декадентства и капиталистического образа жизни. И это было мнение не только одной Суит-Ланы. Такими взглядами отличались все молодые люди, с которыми мы встречались. Мы отметили одну довольно интересную деталь—отношение к подобным вещам наших наиболее консервативных и старомодных общественных групп во многом совпадало с принципами советской молодежи.

Суит-Лана была очень опрятной и аккуратной, ее одежда была проста, добротно сшита и хорошо на ней сидела. А если она вела нас в театр или на балет, то надевала маленькую вуальку на свою шляпку. За время нашего пребывания в Советском Союзе Суит-Лана стала терпимее относиться к нашему декадентству. И, наконец, когда мы накануне отъезда устроили маленькую вечеринку, Суит-Лана сказала:

— Я работала со многими людьми, но еще ни с кем мне не было так интересно.

...Суит-Лана привезла нас на Ленинские горы, и с этой высоты мы увидели весь город, увидели Москву, огромный город, который простирался до самого горизонта. По небу плыли черные кучевые облака, но солнце пробивалось из-под них и отсвечивало на золотых куполах Кремля. Это город больших новых зданий и старых маленьких деревянных домиков с деревянными кружевами вокруг окон, любопытный город с изменчивым настроением и со своим характером. Точных цифр относительно его населения я не знаю, но говорят, что между шестью и семью миллионами.

Мы не спеша поехали обратно в город. На обочинах росла капуста, а по обе стороны дороги был высажен картофель. Москва еще не рассталась с тем, что у нас называлось «военными огородами»,—у каждого был свой участок, засаженный капустой и картофелем, и владельцы яростно защищали свои угодья. За то время, что мы находились в Москве, двух женщин приговорили к десяти годам исправительных работ за то, что они украли из частного огорода три фунта картошки.

На обратном пути в Москву большая черная туча накрыла нас и пролилась дождем над городом.

Вероятно, самое сложное в мире для человека—просто наблюдать

и принимать окружающее. Мы всегда искажаем картины нашими надеждами, ожиданиями и страхами. В России мы увидели многое, с чем не соглашались и чего не ожидали, и именно поэтому хорошо, что у нас с собой был фотоаппарат — ведь он без предвзятости запечатлевает то, что видит.

Нам пришлось пожить в Москве, пока мы ждали разрешений выехать из города и поездить по стране.

Нас пригласили на встречу с временным руководителем Отдела печати. Он был одет в серую форму с квадратными погонами Министерства иностранных дел. У него были ярко-голубые, как бирюза, глаза.

Капа темпераментно говорил о фотосъемках. До этого времени он не имел возможности снимать. Собеседник заверил нас, что сделает все, чтобы как можно скорее получить для нас разрешение на фотографирование. Наша встреча была официальной и вежливой.

Потом мы отправились в Музей Ленина. Зал за залом—кусочек человеческой жизни. Мне кажется, что в мире не найдется более задокументированной жизни. Ленин, по всей вероятности, ничего не выбрасывал. В залах и в застекленных витринах можно видеть его записки, чеки, дневники, манифесты, памфлеты; его карандаши и ручки, его галстуки, одежда—все здесь. А на стенах развешаны большие картины, на которых изображены эпизоды из его жизни, с самого детства. Каждое событие революции, в котором он принимал участие, также отражено на гигантских полотнах. На стенах укреплены его книги, высеченные из белого мрамора, названия—в бронзе. Здесь находятся статуи Ленина, изображающие его в разных позах, а позже к нему присоединяется фигура Сталина. Но во всем музее нельзя найти изображения Троцкого. Троцкий, как учит русская история, перестал существовать и вообще никогда не существовал. Такой исторический подход нам непонятен. Это та история, которую хотелось бы иметь, а не та, что была на самом деле. Нет никакого сомнения в том, что Троцкий оказал огромное историческое влияние на русскую революцию. Не вызывает ни малейшего сомнения также и тот факт, что его смещение и изгнание имели большое историческое значение. Но для русской молодежи его никогда не было. Для детей, которые ходят в Музей Ленина и наглядно знакомятся с историей революции, Троцкого, хорошего ли, плохого ли, никогда не существовало.

В музее толпился народ. Здесь были группы советских солдат, дети, туристы из разных республик; каждую группу водил гид; своей указкой он или она показывали экспонаты, о которых шла речь.

Пока мы там были, в зал вошла большая группа сирот, родители которых погибли во время войны. Мальчики и девочки от шести до тринадцати лет, чистенькие и принаряженные. Они шли по залам и рассматривали широко открытыми глазами документированную жизнь покойного Ленина. Они с удивлением рассматривали его меховую шапку и пальто с меховым воротником, его ботинки; столы, за которыми он писал, стулья, на которых он сидел. Все, что касается этого человека, находится здесь, все, за исключением его юмора. И ничто здесь не говорит о том, что за всю свою жизнь он хоть раз подумал о смешном и легком, рассмеялся от всего сердца, что ему было действительно весело. Уверен, что все это было, но скорее всего история запрещала обнародовать эту сторону жизни.

В музее приходит в голову мысль, что Ленин сам осознавал, какое место в истории он занимает. Он не только сохранял каждый клочок своих мыслей и записей, здесь были еще сотни его фотографий. Его фотографировали везде, в любых ситуациях, в разном возрасте, будто бы он предвидел, что в один прекрасный день будет открыт музей, который назовут Музеем Ленина.

Здесь царит тишина. Люди разговаривают шепотом, а гиды с указками говорят нараспев, будто читают молитву. Потому что этот человек перестал быть для русских просто человеком. Он уже не во плоти, а в камне, бронзе, мраморе. Лысую голову и остроконечную бородку можно видеть повсеместно в Советском Союзе. Прищуренные глаза внимательно смотрят с холстов и гипсовых скульптур.

Вечер мы провели в американском клубе, куда приходят отдыхать служащие посольства, солдаты и матросы из военного и морского атташатов. Подавали едкий пунш из водки с грейпфрутовым соком—прекрасное

напоминание о временах сухого закона. Маленьким оркестром дирижировал Эд Гилмор, aficionado[1] свинга. Сначала он назвал свой оркестр «Кремлевские вороны», но поскольку это не вызвало большого одобрения, он переименовал его в «Московских Водяных Крыс».

После торжественной обстановки Музея Ленина, где мы провели несколько часов, легкий шум, смех и некоторый беспорядок пришлись весьма кстати...

На следующий день мы поехали на воздушный праздник. Хотя это не считалось военным торжеством, все-таки проводили его Советские военно-воздушные силы. В Советской Армии у каждого рода войск свой праздник. Есть День танкиста, День пехоты, День военно-морского флота и День авиации. Поскольку все же праздник был полувоенным, нас попросили не брать с собой камеры. Довольно смешно, так как сюда были приглашены все военные атташе из всех посольств, а это люди, прекрасно разбирающиеся в самолетах. Мы же не отличали самолет от дырки в земле. Зато военные атташе, как нам казалось, возможно, понимали и запоминали все, что видели.

За нами пришла машина. Мы проехали по длинной улице, на которой было развешано множество красных флагов и флагов военно-воздушных сил. По обочинам шоссе были установлены большие портреты Сталина, Маркса и Ленина. Сотни тысяч людей ехали к летному полю на трамваях, автобусах, сотни тысяч шли пешком.

Наши места находились на трибуне, и это, конечно, было ошибкой. Нам надо было быть на зеленом поле, откуда буквально миллионы людей наблюдали за воздушным парадом. День был жаркий, а от солнца некуда было укрыться. На ровном зеленом поле стояли палатки, в которых продавали прохладительные напитки и пирожки. Когда мы заняли свои места, вдруг послышался гул, который перерос в настоящий рев: все, кто стоял на поле, приветствовали Сталина, который только что приехал. Нам не было его видно, потому что мы сидели на другой стороне трибуны. Его появление было встречено не просто приветствиями, а гулом, как в гигантском улье.

Праздник начался почти мгновенно. Первыми выступили гражданские летчики — с заводов, из авиаклубов, женских организаций. Самолеты летели звеньями, сложными звеньями и делали это прекрасно. Они лихо следовали цепочкой за ведущим, делали «мертвые петли», повороты, пикировали один за другим.

Потом показались военные самолеты, летящие в спарке, тройками, пятерками, семерками, крыло к крылу, как одна большая машина. Это был превосходный полет, но не то, ради чего пришли люди. Пришли, чтобы увидеть новые типы самолетов, реактивные машины, самолеты турбореактивные. Наконец они появились. Некоторые из них взлетали почти перпендикулярно на огромной скорости, оставляя за собой на небе белые следы. И вот появились реактивные самолеты. Не знаю зачем, может, из-за иностранных обозревателей, самолеты пронеслись на высоте трехсот футов над землей, и к тому времени, как мы услышали звук, сами самолеты уже исчезли из поля зрения. Мы увидели три или четыре новые модели самолетов. У нас не было ни малейшего представления, чем они отличаются от других реактивных самолетов, нам они показались очень быстрыми. За весь парад пролетело всего два больших самолета, скорее всего это были бомбардировщики.

Затем перед нами разыграли воздушный бой. Появились самолеты «противника», навстречу поднялись самолеты-защитники, а с земли, откуда-то издалека, доносился рев и были видны вспышки батарей ПВО, и все поле вздрагивало от раскатов. Это было очень зрелищно, время от времени какой-нибудь самолет выпускал облако черного дыма и огня, штопором летел к земле и за холмом вспыхивало пламя кальция, создающее иллюзию взрыва. Это было по-настоящему захватывающее зрелище.

Конец праздника был очень эффектным. К полю подлетела большая группа транспортных самолетов, и один за другим над полем стали появляться парашютисты. В воздухе находилось по меньшей мере около пятисот человек с красными, зелеными и синими парашютами. Солнце

[1] aficionado (исп.) — любитель.

делало их похожими на небесные цветы. Они летели к полю и прямо перед тем, как приземлиться, выпускали еще один парашют, поэтому никто не падал и не спотыкался, все приземлялись на обе ноги.

К этому празднику готовились, наверное, много недель, время было рассчитано очень точно, никаких задержек. Одно действие следовало сразу же за другим. Когда все кончилось, толпа опять загудела и сотни тысяч людей захлопали. Уезжал Сталин, а мы его так и не увидели.

Существуют определенные неудобства в том, чтобы иметь лучшие места на трибуне, и жалко, что мы не были на поле, где люди сидели с комфортом, прямо на траве, наблюдали за представлением и видели намного больше нас. Такой ошибки — согласиться на роль почетного гостя — мы больше не повторяли. Конечно, это льстит самолюбию, но далеко не все видно.

На следующее утро мы получили разрешение на съемку. У Капы давно чесались руки, и наконец ему дали волю. Мы хотели сфотографировать строящуюся Москву и то, как Москва лихорадочно красит и ремонтирует дома, готовясь к юбилею основания города. Суит-Лана должна была ехать с нами и быть нашим гидом и переводчиком.

Почти моментально мы столкнулись с подозрительным отношением окружающих к иностранным фотографам. Мы снимали детей, которые играли на груде камней. Они строили что-то, кладя один камень на другой, перевозя землю в маленьких вагончиках, подражая работе взрослых. Вдруг появился полицейский. Он был очень вежлив, но хотел, чтобы ему показали разрешение на съемку. Прочитал разрешение, но видно было, что не очень хочет идти на поводу у клочка бумаги. Поэтому он пригласил нас к ближайшему телефону-автомату и позвонил, по-видимому, в центральное управление. Мы стали ждать. Ждали в течение получаса, пока наконец не подъехала машина, набитая людьми в штатском. Они посмотрели наши разрешения. Прочитали каждый по очереди, потом посовещались; мы не знали, о чем они говорят, затем позвонили куда-то и наконец подошли к нам, улыбаясь, отдали честь, и мы снова могли продолжать съемки.

Затем мы поехали в другой конец города, где хотели снять всякие магазины: продуктовые, промтоварные, универсальные. И снова к нам подошел вежливый полицейский, прочитал наши бумаги и пошел звонить по телефону-автомату. И снова подъехала машина с людьми в штатском, каждый прочитал наше разрешение, поконсультировались и позвонили кому-то по телефону. Повторилось то же самое. Они подошли к нам, улыбаясь, отдали честь, и мы могли фотографировать и в этом районе.

Это повторялось на всей территории Советского Союза. Я думаю, такой порядок принят везде, где есть государственные учреждения. Никто не хочет ничего брать на себя. Никто не хочет сказать «да» или «нет» по какому-то поводу. Всегда лучше обратиться к кому-то вышестоящему. Таким образом, человек защищает себя от критики. Каждый, кто имел дело с армией или правительством, может подтвердить это. Реакция на наши камеры была везде очень вежливой, но всегда осторожной, и фотоаппарат не щелкал, пока полицейский не был уверен, что все в порядке.

Продовольственные магазины в Москве очень большие; как и рестораны, они делятся на два вида: те, в которых продукты можно приобрести по карточкам, и коммерческие магазины, также управляемые государством, где можно купить практически любую еду, но по очень высоким ценам. Консервы сложены горами, шампанское и грузинское вино стоят пирамидами. Мы видели продукты, которые могли бы быть и американскими. Здесь были банки с крабами, на которых стояли японские торговые марки. Были немецкие продукты. И здесь же лежали роскошные продукты Советского Союза — большие банки с икрой, горы колбас с Украины, сыры, рыба, и даже дичь — дикие утки, вальдшнепы, дрофы, кролики, зайцы, маленькие птички и белая птица, похожая на белую куропатку. И различные копчености.

Но все это были деликатесы. Для простого русского главным было — сколько стоит хлеб и сколько его дают, а также цены на капусту и картошку. В хороший год, в такой, как мы попали, цены на хлеб, капусту и картофель упали, а это показатель успехов или хорошего урожая.

На витринах продовольственных коммерческих магазинов и тех, в которых действуют карточки, выставлены муляжи того, что можно купить

внутри. На витринах лежит ветчина, бекон и колбаса из воска, восковые куски говядины и даже восковые банки с икрой.

Мы прошли в соседний универсальный магазин, где продается одежда, обувь, чулки, костюмы и платья. Качество и пошив одежды оставляли желать лучшего. В Советском Союзе существует принцип производить товары первой необходимости, пока они нужны, и не выпускать предметов роскоши, пока товары первой необходимости пользуются спросом. Здесь были набивные платья, шерстяные костюмы, а цены показались нам слишком высокими. Но не хотелось бы обобщать: даже за то короткое время, что мы были в Советском Союзе, цены снизились, а качество вроде стало лучше. Нам показалось, что то, что верно сегодня, назавтра может оказаться неверным.

Мы ходили в комиссионные магазины, где продаются подержанные товары. Это специализированные магазины. В одних продается фарфор и люстры, в других — ювелирные изделия, в основном старинные вещи, поскольку в настоящее время выпускается очень немного ювелирных украшений, — гранаты и изумруды, серьги, кольца и браслеты. Есть еще магазин, который торгует фотооборудованием и камерами, в основном немецкими камерами, которые привезли с войны. В четвертом продают ношеные вещи и обувь. Есть магазины, где можно купить полудрагоценные камни с Урала — бериллы, топазы, аквамарины.

У входа в такие магазины идет другая торговля. Если, например, вы выходите из фотомагазина, к вам осторожно подходят два-три человека с пакетами в руках, а в пакетах — фотоаппараты «Контакс», или «Лейка», или «Роллейфлекс». Эти люди дают вам взглянуть на камеру и называют цену. То же происходит и около ювелирных магазинов. Стоит человек с газетным свертком. Он быстро раскрывает его, показывает бриллиантовое кольцо и говорит цену. Скорее всего то, чем он занимается, — незаконно. Цены, которые называют эти уличные торговцы, во всяком случае, немного выше, чем цены в комиссионных магазинах.

В таких магазинах всегда толпятся люди, которые приходят сюда не купить, а посмотреть, как покупают другие. Если вы хотите взглянуть на какую-то вещь, вас моментально обступают люди, которые тоже хотят это посмотреть и узнать, будете ли вы это покупать. Нам показалось, что для них это что-то вроде театра.

Мы вернулись обратно в нашу зеленую спальню с безумной картиной на стене; настроение у нас было неважное. Мы не могли точно уяснить себе, почему именно, а потом до нас дошло: на улицах почти не слышно смеха, не видно улыбок. Люди идут, вернее, торопятся мимо, головы опущены, на лицах нет улыбок. Может, из-за того, что они много работают, что им далеко добираться до места работы. На улицах царит серьезность, может, так было и всегда, мы не знаем.

Мы ужинали с Суит Джо Ньюменом и Джоном Уокером из «Тайма» и спросили, заметили ли они, что люди здесь совсем не смеются. Они сказали, что заметили. И еще они добавили, что спустя некоторое время это отсутствие смеха заражает и тебя, и ты сам становишься серьезным. Они показали нам номер советского юмористического журнала «Крокодил» и перевели некоторые шутки. Это были шутки не смешные, а острые, критические. Они не предназначены для смеха, и в них нет никакого веселья. Суит-Джо сказал, что в других городах все по-другому, и мы сами увидели это, когда поехали по стране. Смеются в деревнях, на Украине, в степях, в Грузии, но Москва — очень серьезный город.

Одному из корреспондентов не повезло с шофером. Ему нужна была машина, и для иностранца лучше, когда его возит по Москве русский шофер. Но вот с заменой шофера ему не везло. Проблема заключалась в следующем: шофер был довольно хороший, но когда машина освобождалась, он подвозил любого, кто был готов заплатить сотню рублей. Шофер богател, а машина ветшала. Корреспондент ничего не мог поделать потому, что как только он выражал недовольство, у шофера портилось настроение, и тут же что-то случалось с машиной: она неделями не выходила из гаража. Поэтому ради того, чтобы пользоваться своей же машиной, ему приходилось поддерживать у водителя хорошее настроение. Несколько раз он менял водителей, но результат был тот же.

Нередко ситуация с шофером приобретает несколько странный оборот. Например, шофер Эда Гилмора имеет своего шофера, который привозит его на работу.

Мы сомневались в правдивости таких историй, но однажды убедились в этом окончательно, когда один человек нашел для нас целый автобус. Нам надо было срочно добраться из аэропорта в Москву, и другого транспорта не было. Поездка стоила нам 400 рублей. То была роскошная поездка: вдвоем в автобусе, в котором могли бы свободно разместиться 30 человек.

По всей видимости, такие шоферы — зажиточные и счастливые люди; иностранцу без них не обойтись, так как в Москве довольно трудно получить водительское удостоверение. Один корреспондент сдавал экзамен на права, но провалился из-за вопроса: «Чего не должно быть на автомобиле?» Он мог назвать множество предметов такого рода и в конце концов сказал что-то, но оказался неправ. А правильный ответ был — «грязи»...

Мы давно не получали никаких известий из дому. Письма не доходили, и мы решили попытаться дозвониться до Нью-Йорка. Это оказалось очень трудно, и мы бросили это дело. В Нью-Йорк можно было позвонить, если предварительно перевести туда на особый счет деньги. Поэтому сначала нужно телеграфировать кому-то в Нью-Йорк и указать точное время телефонного звонка и продолжительность разговора. Там посчитают, сколько это будет стоить, и доллары, которые лежат в Нью-Йорке, будут пересланы в Москву. Но поскольку все это заняло бы неделю или даже дней десять, мы решили, что проще будет продолжать писать письма в надежде получить что-нибудь в ответ.

Когда наконец стали приходить письма, мы подсчитали, что из Нью-Йорка в Москву почта идет от десяти дней до трех недель. Неизвестно, почему так происходит, ведь из Нью-Йорка в Стокгольм почта идет 2 дня, а остальное время тратится на дорогу до Москвы. Из-за такой задержки в доставке почты иностранцы чувствуют себя еще более отрезанными от остального мира и более одинокими.

В Москве мы были уже неделю, разрешение на наш выезд из города еще не пришло, и это тяготило нас. Мы думали, что можем прождать до конца лета, как вдруг разрешения пришли и наш план стал осуществляться.

Суит Джо Ньюмен устроил в нашу честь коктейль, который кончился очень поздно. На рассвете мы намеревались отправиться в Киев. Этот вечер поднял наш дух и настроение других пятидесяти гостей.

Мы столкнулись с тем, что путешествовать по Советскому Союзу очень сложно. Из Киева нельзя ехать сразу в Сталинград или из Сталинграда в Сталино. Каждый раз нужно возвращаться в Москву, поскольку транспортная система работает, как спицы у колеса; кроме этого, дороги так разрушены войной, что ездить по ним практически невозможно; к тому же на это ушло бы больше времени, чем мы могли себе позволить. Была еще одна трудность: самолеты летали только днем, и ночью вылетов не было, так что первые рейсы отправлялись рано утром. А после коктейля у Суит-Джо нам показалось, что даже слишком рано.

Глава 4

Суит-Лана не могла ехать с нами в Киев. Вместо нее в качестве переводчика и гида поехал г-н Хмарский. Приятный маленький человечек, изучающий американскую литературу. Его знание английского было очень книжным. Капа, как всегда, все время путал его имя и подшучивал над ним.

Хмарский снова и снова поправлял его: «Г-н Капа, Хмарский, а не Хумарский».

Тогда Капа говорил: «Да-да, г-н Хомарский».

— Да нет же, г-н Капа, не Хумарский и не Хомарский, а Хмарский.

Это продолжалось постоянно, и Капа с радостью находил новые варианты произношения его имени. Хмарский всегда немного волновался, когда мы начинали выражаться иносказательно, на американский манер. Поначалу он пытался было вслушиваться, но потом понял, что это бесполезно, и перестал слушать вообще. Порой срывались все его планы: за

нами не приходили заказанные им машины, не улетали самолеты, на которые он брал нам билеты. И мы стали называть его «Кремлин гремлин» [1].

— А что это за «Gremlin»? — поинтересовался он.

Мы подробно рассказали о происхождении этих гномов, как это началось в R.A.F.[2], и какие у них дурные привычки. Как они останавливают в полете двигатели, покрывают льдом крылья самолета, засоряют патрубки.

Он слушал с большим вниманием, а потом поднял палец и сказал:

— В Советском Союзе в привидения не верят.

Может, мы были с ним не слишком любезны. Но, кажется, он не очень обиделся.

Есть один вопрос, на который там никогда нельзя получить ответа, а именно: в котором часу улетает самолет. Заранее узнать это невозможно. Единственное, что известно, это то, что он вылетает рано утром. И еще нужно помнить, что на аэродроме необходимо быть задолго до посадки в самолет. Каждый раз, когда надо куда-то лететь, вы должны приехать на аэродром в холодную предрассветную темень и несколько часов сидеть и пить чай в ожидании вылета. В три часа утра к нам в номер позвонили, и мы не были рады столь раннему подъему, поскольку после вечеринки у Суит-Джо нам надо бы поспать по меньшей мере 12 часов, а мы спали всего час. Мы свалили оборудование в багажник машины и поехали по пустынным улицам Москвы за город...

В это предрассветное время в московском аэропорту толпились люди: поскольку все самолеты вылетают рано утром, пассажиры начинают подъезжать сюда сразу же после полуночи. Одеты они по-разному. На ком-то меховые шубы, которые согреют в арктическом климате Белого моря или на севере Сибири, на других — легкая одежда, что вполне подходит для субтропиков Черноморья. Шесть часов лета от Москвы — и вы можете попасть в любой климат, который только существует на свете.

Поскольку мы были гостями ВОКСа, нас провели через зал ожидания в боковую комнату, где стояли стол, несколько диванов и удобные стулья. И здесь под строгим взглядом нарисованного Сталина мы пили крепкий чай, пока не объявили о посадке в наш самолет.

Сталин на большом портрете, написанном маслом, был изображен в военном мундире со всеми орденами, которых, кстати, было очень много. У шеи — Золотая Звезда, высший орден Советского Социалистического Труда[3]. Слева на груди, вверху, — самая престижная из всех Золотая Звезда Героя Советского Союза, которую можно сравнить с нашей Медалью Чести Конгресса. Ниже — ряд орденов, присвоенных в честь сражений, где он принимал участие. А справа на груди — ряд золотых и красных эмалевых звезд. Вместо ленточек, которые носят в наших войсках, медали здесь выпускаются в честь каждой крупной победы Советской Армии: Сталинград, Москва, Ростов и так далее, и Сталин имеет их все, ведь, будучи Маршалом Советского Союза, он руководил всеми военными операциями.

Здесь будет весьма кстати обсудить то, что волнует большинство американцев. Все в Советском Союзе происходит под пристальным взглядом гипсового, бронзового, нарисованного или вышитого сталинского ока. Его портрет висит не то что в каждом музее — в каждом зале музея. Его статуи установлены у фасадов каждого общественного здания. А его бюст — перед всеми аэропортами, железнодорожными вокзалами и автобусными станциями. Бюст Сталина стоит во всех школьных классах, а портрет часто висит прямо напротив бюста. В парках он сидит на гипсовой скамейке и обсуждает что-то с Лениным. Дети в школах вышивают его портрет. В магазинах продают миллионы и миллионы его изображений, и в каждом доме есть по крайней мере один его портрет. Одной из самых могучих индустрий в Советском Союзе является, несомненно, рисование и лепка, отливка, ковка и вышивание изображений Сталина. Он везде, он

---

[1] Kremlin Gremlin — букв.: кремлевский злой гном (англ., здесь игра слов).

[2] R. A. F. (Royal Air Force) — Королевские Военно-Воздушные Силы Великобритании.

[3] Автор имеет в виду Маршальскую звезду.

все видит. Концентрация власти в руках одного человека и его увековечение внушают американцам чувство неприязни и страха, им это чуждо и ненавистно. А во время общественных праздников портреты Сталина вырастают до немыслимых размеров. Они могут быть высотой с восьмиэтажный дом и 50 футов шириной. Его гигантский портрет висит на каждом общественном здании.

Мы разговаривали об этом с некоторыми русскими и получили разные ответы. Один ответ заключался в том, что русский народ привык к изображениям царя и царской семьи, а когда царя свергли, то необходимо было чем-то его заменить. Другие говорили, что поклонение иконе — это свойство русской души, а эти портреты и являются такой иконой. А третьи — что русские так любят Сталина, что хотят, чтобы он существовал вечно. Четвертые говорили, что самому Сталину это не нравится и он просил, чтобы это прекратили. Но нам казалось, что то, что не нравится Сталину, исчезает мгновенно, а это явление, наоборот, приобретает более широкий размах. Какова бы ни была причина, очевидно одно: все в России постоянно находится под сталинским взором — улыбающимся, задумчивым или суровым. Это одна из тех вещей, которую американец просто не в состоянии понять. Есть и другие портреты и другие скульптуры. И по размеру фотографий и портретов других лидеров можно приблизительно сказать, кто за кем идет после Сталина. Например, в 1936 году вторым по величине был портрет Ворошилова, сегодня, несомненно, Молотова...

Мы собирались немного почитать в самолете, но моментально заснули. А когда проснулись, то самолет пролетал уже над полями Украины, такими же плодородными и плоскими, как наш Средний Запад. Под нами лежали бесконечные поля гигантской житницы Европы, земли обетованной, желтеющие пшеницей и рожью, кое-где убранной, где-то еще убираемой. Нигде не было ни холмика, ни возвышения. Поле простиралось до самого горизонта, ровного, закругленного. А по долине извивались и петляли речки и ручьи.

Около деревень, где проходили сражения, зигзагами шли траншеи, рвы и щели. Некоторые дома стояли без крыш, кое-где виднелись черные заплаты сожженных домов.

Казалось, конца не будет этой равнине. Но, наконец, мы подлетели к Днепру и увидели Киев, который стоял над рекой на холме, единственной возвышенности на многие километры вокруг. Мы пролетели над разрушенным городом и приземлились в окрестностях.

Все уверяли нас, что за пределами Москвы все будет совершенно иначе, что там нет такой суровости и напряженности. И действительно. Прямо на летном поле нас встретили украинцы из местного ВОКСа. Они все время улыбались. Они были веселее и спокойнее, чем люди, с которыми мы встречались в Москве. И открытости и сердечности было больше. Мужчины — почти все — крупные блондины с серыми глазами. Нас ждала машина, чтобы везти в Киев.

Наверное, когда-то город был очень красив. Он намного старее Москвы. Это — прародитель русских городов. Расположенный на холме у Днепра, Киев простирается вниз в долину. Некоторые из его монастырей, крепостей и церквей построены в XI веке. Некогда это было любимое место отдыха русских царей, и здесь находились их дворцы. Его общественные здания были известны по всей России. Киев был центром религии. А сейчас Киев почти весь в руинах. Здесь немцы показали, на что они способны. Все учреждения, все библиотеки, все театры, даже цирк — все разрушено и не орудийным огнем, не в сражении, а огнем и взрывчаткой. Университет сожжен и разрушен, школы в руинах. Это было не сражение, а безумное уничтожение всех культурных заведений города и почти всех красивых зданий, которые были построены за последнюю тысячу лет. Здесь хорошо поработала немецкая культура. Одна из маленьких побед справедливости заключается в том, что немецкие заключенные помогают расчищать эти руины.

Нашим гидом был Алексей Полторацкий, могучий человек, немного прихрамывающий из-за раны, полученной под Сталинградом. Это украинский писатель, прекрасно владеющий английским, человек с большим чувством юмора, сердечный и дружелюбный...

Я смотрел на женщин, которые шли по улице, как танцовщицы. У них легкая походка и красивая осанка. Многие из них прелестны. Местное население часто страдало из-за того, что украинская земля так богата и плодородна,—множество захватчиков тянулось к ней. Представьте себе территорию Соединенных Штатов, полностью разрушенную от Нью-Йорка до Канзаса, и получится приблизительно район Украины, подвергшийся разорению...

Здесь есть шахты, которые никогда не откроются снова, потому что немцы сбросили туда тысячи людей. Все промышленное оборудование на Украине было разрушено или вывезено, и теперь, пока не будет поставлено новое, все производится вручную. Каждый камень и кирпич разрушенного города надо поднять и перенести вручную, поскольку нет бульдозеров. Но пока ведутся восстановительные работы, украинцы должны еще производить продукты питания, потому что Украина является главной житницей страны.

Они говорят, что в период уборки урожая нет выходных, а теперь как раз время уборки. На фермах не существует ни воскресений, ни отгулов.

Работа, которая им предстоит, огромна. Здания, которые надо отстроить заново, сначала необходимо снести. А то, что бульдозер расчистил бы за несколько дней, вручную можно сделать только за недели. Но бульдозеров пока нет. Все необходимо заменить. И сделать это нужно быстро. Мы прошли через разрушенный и уничтоженный центр города, на то место, где после войны были повешены немецкие садисты. В музее есть планы нового города. Мы все отчетливей осознавали, как жизненно важна для советского народа надежда на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Здесь в белом гипсе была изготовлена модель нового города. Должен вырасти грандиозный, невероятный город, из белого мрамора, в классических линиях, с высокими зданиями, колоннами, куполами, арками, гигантскими мемориалами—все в белом мраморе. Гипсовая модель будущего города занимала большую часть одного из залов. Директор музея показывал нам здания. Это будет Дворцом Советов, это—музеем. Опять, как всегда, музей.

Капа говорит, что музей—это церковь русских. Им нравятся величавые и богато украшенные здания. Они любят чрезмерность. В Москве, где нет никакой необходимости в строительстве небоскребов, поскольку пространство практически неограниченно и ландшафт этого не требует, они все-таки планируют строительство высотных зданий в нью-йоркском стиле, хотя в отличие от Нью-Йорка в этом нет надобности. Они возведут свои города медленно, с муравьиной настойчивостью. А пока люди идут мимо руин, мимо разрушенных и разбитых домов, люди—мужчины, женщины и даже дети идут в музей, чтобы посмотреть на гипсовые города будущего. В России о будущем думают всегда. Об урожае будущего года, об удобствах, которые будут через десять лет, об одежде, которую очень скоро сошьют. Если какой-либо народ и может из надежды извлекать энергию, то это именно русский народ...

Вечером мы пошли в театр на пьесу «Гроза», драму XIX века, разыгранную в стиле XIX века. Постановка была странной и старомодной, как, впрочем, и сама игра. Довольно непонятно, почему надо показывать эту пьесу. Но это украинская пьеса, а им нравится все свое. Героиня была очень красивой. Она была похожа немножко на Катарину Карнелл и доминировала на сцене. Речь шла о молодой женщине, которая была под каблуком у властной свекрови. Эта молодая женщина влюбилась в поэта. Хоть она и была замужем, она все же пошла в сад на свидание. А в саду она только и делала, что очень много говорила и один раз разрешила поэту поцеловать кончики ее пальцев, что все-таки явилось достаточным преступлением, и в итоге она признается в церкви в своем грехе, бросается в реку и гибнет. Нам показалось, что это слишком большое наказание за то, что ей поцеловали кончики пальцев. У пьесы был и второплановый сюжет. Параллельно трагедии хозяйки шла комическая история ее горничной. Любовником горничной был местный мужлан. Это был обыкновенный традиционный спектакль, и публике он понравился. На перемену декораций ушло полчаса, поэтому было уже далеко за полночь, когда героиня бросилась наконец в реку. Нам показалось странным, что люди в зале, познавшие настоящую трагедию, трагедию вторжения, смерти, разорения, могут быть так взволнованы из-за судьбы женщины, которой поцеловали руку в саду.

На следующее утро шел дождь, а Капа считает, что дождь—это наказание, которое посылается ему свыше, потому что он не может фотографировать в дождь. Он ругал погоду на жаргоне, а также на четырех или пяти языках народов мира. Капа вечно волнуется из-за пленки. То света недостаточно, то света слишком много. Плохо проявили, плохо отпечатали, камеры сломаны. Он волнуется постоянно. Но когда идет дождь—это личное оскорбление, нанесенное ему богом. Он шагал взад-вперед по комнате, пока мне не захотелось его убить, а потом он пошел стричься, и ему сделали настоящую украинскую стрижку «под горшок».

Вечером мы отправились в цирк. В любом русском городе независимо от его величины есть свой постоянный цирк, который размещается в постоянном помещении. Но немцы, конечно же, сожгли киевский цирк, поэтому пока он размещается под шатром, но является все же одним из самых популярных в городе заведений. У нас были хорошие места, Капа получил разрешение на съемку и был поэтому относительно счастлив. Этот цирк был непохож на наши—один манеж и ряды стульев.

Представление начали акробаты. Мы заметили, что когда акробаты работали на высоких трапециях, то к их ремням за крючки пристегивали лонжи, чтобы акробаты не разбились и не получили травмы, поскольку, как нам объяснил наш сопровождающий, было бы нелепо подвергать человека такой опасности только для того, чтобы поразить публику.

Миловидные женщины и галантные мужчины делали кульбиты и повороты на высоко закрепленных трапециях и проволоке. Потом были дрессированные собаки, а дрессированных тигров, пантер и леопардов выпустили на арену, отгородив ее от публики стальной клеткой. Публике это очень нравилось, и в течение всего представления цирковой оркестр азартно играл цирковую музыку, которая никогда не меняется и везде одинакова.

Лучше всех были клоуны. Когда они в первый раз вышли, мы заметили, что все смотрят на нас, и скоро мы поняли, почему. Теперь их клоуны неизменно изображают американцев. Один изображал богатую даму из Чикаго, и то, как русские представляют себе богатую даму из Чикаго, поистине замечательно. Зрители посматривали и в нашу сторону: не обидит ли нас такая сатира, но было действительно смешно. И точно так, как некоторые наши клоуны цепляют длинные черные бороды и выходят с бомбой, называя себя при этом русскими, так русские клоуны называют себя американцами. Публика смеялась от души. На богачке из Чикаго были красные шелковые чулки и туфли на высоком каблуке, усыпанные фальшивыми бриллиантами, на голове—смешная, похожая на тюрбан шляпа. Ее вечернее платье с блестками было похоже на длинную уродливую ночную рубашку. Женщина ходила зигзагами по манежу, тряся искусственным животом, а ее муж кувыркался и пританцовывал, поскольку он был богатым чикагским миллионером. Шутки, по всей вероятности, были очень смешными; мы не понимали их, но публика стонала от хохота. Все, казалось, были рады, что мы не обиделись на клоунов. Клоуны кончили репризу с богачами американцами из Чикаго и стали представлять страстную и очень смешную версию смерти Дездемоны, где Дездемона была не задушена, а заколота ни много ни мало резиновым ножом.

Это был хороший цирк. Дети, сидящие на передних местах, были полностью поглощены представлением, на что способны только дети. Труппа здесь постоянная, она не гастролирует, и цирк дает представления круглый год, за исключением небольшого перерыва летом.

Дождь кончился, и после цирка мы поехали в киевский ночной клуб под названием «Ривьера». Он расположен на обрыве над рекой—открытая танцплощадка, окруженная столиками, и отсюда видна река, которая пересекает долину. Еда была отличная. Хороший шашлык, обязательная икра и грузинские вина. К нашему большому удовольствию, оркестр играл русскую, украинскую и грузинскую музыку, а это было лучше, чем плохой американский джаз. И играли они очень хорошо.

К нашему столику подсел Александр Корнейчук, известный украинский драматург, человек с большим обаянием и юмором. Они с Полторацким стали приводить нам старые украинские поговорки, а украинцы знамениты этим. Нашей любимой стала: «Лучшая птица — колбаса». А потом Корнейчук привел изречение, которое, как я всегда считал, появилось в Калифорнии. Оно про то, что обжора думает об индейке: «Индейка очень неудачная птица — ее многовато для одного и маловато для двоих». Выяснилось, что украинцы знают эту шутку не одну сотню лет, а я-то полагал, что это придумали в моем родном городе.

Они научили нас произносить на украинском тост, который нам понравился: «Выпьем за счастье наших родных». И опять они произносили неизменные тосты за мир. Оба эти человека были на фронте, оба были ранены и пили за мир.

Потом Корнейчук, который, кстати, побывал и в Америке, довольно грустно сказал, что когда он был в лондонском Гайд-Парке, то видел там фотографии Рузвельта с Черчиллем, Рузвельта с Де Голлем, а фотографии Рузвельта со Сталиным не увидел. Они же были вместе, сказал он, они совместно действовали, так почему же из Гайд-Парка убрали фотографии со Сталиным?

Темп музыки нарастал, танцующих становилось все больше и больше, на пол падали блики от разноцветных огней, а далеко внизу в реке отражались огни города.

Два русских солдата танцевали какой-то дикий танец, танец топающих сапог и машущих рук, танец фронтовиков. У них были бритые головы, а их сапоги были начищены до блеска. Они танцевали как безумные, а красные, желтые и синие огни мелькали на полу танцплощадки...

Приятная музыка, огни, внизу — мирная река, а наши друзья снова начали разговор о войне, будто это была постоянная тема, от которой они никуда не могли уйти. Они говорили о страшных морозах до Сталинградской битвы, когда они лежали в снегу и не знали, чем все это кончится. Они рассказывали об ужасающих вещах, о которых никогда не забудут...

Перевод с английского Е. Рождественской

Окончание следует

Ярослав Голованов

КАТАСТРОФА

(ИЗ ХРОНИКИ «КОРОЛЕВ»)

В начале 30-х годов молодой инженер, уже известный среди авиаторов как автор нескольких любопытных проектов планеров и легкого самолета, Сергей Павлович Королев начинает интересоваться ракетной техникой — областью непопулярной, в которой, как считалось тогда, серьезному специалисту делать нечего.

Да, в Калуге жил старик Циолковский, человек странный, немного «не от мира сего», издавал свои книжки, в которых мысли здравые так переплетались с фантазиями, что представить себе все это воплощенным в конкретных конструкциях было невозможно, да, он был признан и даже обласкан Советской властью, но нельзя было не видеть, что все умственные построения калужского мечтателя были бесконечно далеки от реалий и потребностей бурной эпохи индустриализации страны.

Особенно крупными победами в те годы не только в нашей стране, но и во всем мире могла гордиться авиация, переживавшая невиданный подъем и собравшая под свое крыло — в прямом и переносном смысле — лучшие инженерные умы. И хотя теоретики предрекали, что авиационный мотор имеет пределы и по мощности, и по допустимой высоте своей работы, до пределов этих было еще очень далеко, все рекорды регулярно обновлялись и ни в каких реактивных двигателях самолеты 30-х годов не нуждались.

В своей работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами», которая ныне считается классическим трудом мирового естествознания, Константин Эдуардович Циолковский пытался заглянуть в будущее. Он писал: «Обыкновенно идут от известного к неизвестному: от швейной иголки к швейной машине, от ножа к мясорубке, от молотильных цепов к молотилке, от экипажа к автомобилю, от лодки к кораблю. Так и мы думаем перейти от аэроплана к реактивному прибору для завоевания солнечной системы». Через четверть века Циолковский вновь возвращается к той же мысли: «Преобразованный аэроплан будет служить переходным типом к небесному кораблю».

Мысль была интересной, но не более. Завоевание солнечной системы небесными кораблями — вряд ли эту проблему можно было считать злободневной в то время. Но молодой Королев, мечтающий об авиации беспредельных возможностей, увидел в словах Циолковского то, что не увидели другие: реактивный принцип дает самолету невиданную свободу, открывает ему путь в стратосферу и еще выше — в безвоздушное пространство. И когда в 1932 году при Осоавиахиме создается Группа изучения реактивного движения (ГИРД), Сергей Павлович, быстро став ее лидером, с невероятной энергией начинает работы по этому самому «преобразованию аэроплана», о котором писал К. Э. Циолковский. Через неделю после первого успеха ГИРД — запуска 17 августа 1933 года нашей первой ракеты 09 — Королев публикует в «Вечерней Москве» заметку «Путь к ракетоплану». Заканчивается она так: «От ракет опытных, ракет грузовых, к ракетным кораблям — ракетопланам,— таков наш путь!» И через семь лет, 13 июля 1940 года, в письме к Сталину (этот документ впервые будет приведен здесь полностью), уже вторично

осужденный «враг народа» Королев вновь пишет: «Целью и мечтой моей жизни было создание впервые для СССР столь мощного оружия, как ракетные самолеты... Я... хочу продолжать работу над реактивными самолетами для обороны СССР».

В начале 30-х годов в нашей стране, кроме ГИРД, существовала еще одна организация, серьезно занимающаяся ракетной техникой,— Ленинградская газодинамическая лаборатория (ГДЛ). В отличие от осоавиахимовской, то есть общественной ГИРД, ГДЛ финансировалась военными и занималась вещами более прозаическими, чем ракетоплан, и более нужными армии, прежде всего — пороховыми реактивными снарядами и ускорителями для облегчения подъема тяжелых самолетов. Наряду с этим молодой выпускник Ленинградского университета Валентин Петрович Глушко энергично совершенствовал в ГДЛ жидкостные реактивные двигатели (ЖРД).

В конце 1933 года по инициативе М. Н. Тухачевского — одного из немногих людей, которые сумели предвидеть великое будущее ракеты, два наиболее жизнеспособных и энергичных коллектива — ГИРД и ГДЛ — были объединены в первый в мире ракетный центр — Реактивный научно-исследовательский институт — РНИИ. Так начался новый, очень важный и очень непростой период в жизни Сергея Павловича Королева.

Две организации с двумя руководителями объединялись в одну, и руководитель нужен был, естественно, один. Ситуация деликатная. Начальником военной ГДЛ только что был назначен Иван Терентьевич Клейменов. Из крестьян, участник гражданской войны, коммунист, красный командир: два «ромба». Соответственно и профессия у Ивана Терентьевича — «военный партиец». До ГДЛ работал он в берлинском торгпредстве. И второй кандидат — начальник гражданской ГИРД Сергей Павлович Королев. Из семьи интеллигентов, штатский, беспартийный и почти на десять лет моложе. Естественно, предпочтение было отдано Клейменову.

Королев стал его замом. Но и в замах ходил недолго: конфликты с Клейменовым привели к тому, что из замов Королева перевели в руководители одного из отделов института. Отстранен от должности он был по распоряжению начальника научно-технического управления НКТП Бухарина. Николай Иванович не мог знать, что таким образом он спас жизнь великому конструктору: останься Королев в руководстве института, созданного стараниями «врага народа» Тухачевского, через три года он был бы расстрелян. Именно эта участь ждала и Ивана Терентьевича Клейменова, и Георгия Эриховича Лангемака — крупнейшего специалиста по пороховым ракетам, занявшего кресло Королева. В 1938-м часто казнили не людей, а должности.

Жизнь в РНИИ была непростой, настроения — пестрыми. Тут работали москвичи и ленинградцы, военные и штатские, партийцы и беспартийные, специалисты разного профиля, опыта, уровня. Уже пробивались, шли в рост люди, умеющие подменить формулу математическую формулой политической, обоснованный план — громким обещанием, настоящее дело — звонкой фразой.

Положение Королева в РНИИ осложнялось еще и тем, что идеи, которыми он был так увлечен и над реализацией которых так энергично работал в ГИРД,— создание больших жидкостных ракет и летательных аппаратов с ЖРД — не находили поддержки у руководителей нового института. И понять их можно: инженеры ГДЛ привезли в Москву солидный задел по пороховым ракетам. Именно создание реактивной артиллерии представлялось тогда программой наиболее реальной и выполнимой в обозримом будущем. Так и случилось: к началу Великой Отечественной войны в РНИИ родилась знаменитая «катюша».

Но Королев считал жидкостные ракеты и ракетоплан не менее перспективными и важными для обороноспособности страны. С упорством, столь для него характерным, он требовал у Клейменова и Лангемака, чтобы ему дали и нужных людей, и производственную базу, и испытательные стенды, и полигон. Нельзя сказать, что работы Королева зажимали, но и развернуться ему в полном соответствии с его способностями тоже не давали. За время работы в РНИИ — 1933—1938 годы — Сергей Павлович, продолжая исследования, начатые в ГИРД, построил и испытал несколько жидкостных ракет, работающих на спирте и жидком кислороде, с расчетной дальностью, измеряемой десятками километров. Ракеты летали плохо. Если в ГИРД Королев писал: «В центре внимания ракетный мотор», то теперь он понимает, что успех дела более всего зависит от надежной системы управления ракетой в полете. Именно отсутствие такой системы привело к тому, что ни одна из ракет Королева тех лет не была принята на вооружение.

Однако самым любимым детищем Сергея Павловича оставался ракетоплан, работы над которым он начал еще в 1931 году. «Внедрить» его в тематику института было особенно трудно, поскольку в РНИИ занимались «земными» делами, авиационных специалистов там не было, а Клейменов и Лангемак справедливо полагали, что летательными аппаратами — будь то поршневые или реактивные — должны заниматься авиационные конструкторские бюро. И все-таки с огромным трудом в середине 30-х годов Королеву удалось убедить ученый совет РНИИ включить ракетоплан в тематический план работы института.

Феномен Сергея Павловича Королева прежде всего в точном соответствии личных устремлений устремлениям времени. Он хотел учиться и получил среднее образование в Одесской стройпрофшколе — экспериментальном, новаторском учебном заведении, дающем пищу для ума ищущего и оригинального. Он хотел заниматься авиацией, и это желание совпало с периодом ее бурного развития, создания Общества друзей воздушного флота, планерных кружков, авиационных школ. Королев стал выпускником авиационного отделения МВТУ имени Баумана, его дипломной работой руководил знаменитый Андрей Николаевич Туполев. Но Королев не был бы Королевым, если бы в начале 30-х годов он не задумал обогнать свое время. Для таких людей, как Сергей Павлович, это возможно. И в 1957 году он доказал всему миру, что это возможно! Но в 1938-м ему не дали обогнать. Он остался в своем времени — страшном времени, которое переживала наша страна.

Такова предыстория событий, о которых рассказывают новые главы хроники «Королев».

1

...Преступление, совершенное над отдельным лицом, не есть преступление только перед лицом, прямо от него пострадавшим, но и перед целым обществом.

Николай Чернышевский.

Когда Тухачевский решил объединить силы ракетчиков Москвы и Ленинграда, его непосредственный начальник Климент Ефремович Ворошилов идею эту не поддержал и был рад сплавить новорожденный институт Орджоникидзе в Наркомтяжпром. Но это лишь маленький частный эпизод, и можно простить наркомвоенмору, что не оценил он ракеты: в мире были считанные люди, способные их тогда оценить. Нет, спор Ворошилова и Тухачевского не о ракетах, он глубже и шире, он охватывал кардинальные, стратегические вопросы строительства армии. Если разговор касался будущей войны, Ворошилов видел перед глазами своими дико ревущую кавалерийскую лаву, лихих, веселых бойцов, гладких сытых коней, сверкание клинков над спутанными ветром гривами. Он видел гражданскую войну — только в будущей войне солдат, коней и фуража должно быть больше. Очевидно, Сталин заставил его поверить в авиацию. Хорошо, если пушек тоже будет больше. И пулеметов, конечно. У него не было какой-либо военной доктрины, пусть даже ошибочной. Приоритет кавалерии не доктрина, а воспоминания. Как оно там будет дальше — представлялось туманным. А главное — он сжился с мыслью, что в конечном счете все будет решать Сталин.

В 1922 году 29-летний командующий войсками Западного военного округа Тухачевский, делегат XI съезда РКП(б), по поручению Фрунзе готовит доклад, в котором прямо говорит: в будущей армии роль конницы уменьшится, а роль авиации, бронетанковых войск и артиллерии возрастет. В 1928 году Тухачевский направил Сталину записку о необходимости решительного технического переоснащения армии. Крупнейший военный теоретик, он в труде «Новые вопросы войны» еще в 1931—1932 годах (то есть практически одновременно с началом работы Королева над ракетопланом) писал: «Осуществление бомбардировочных полетов в стратосфере будет означать громадный технический и военный переворот. Гигантская быстрота перелетов (например, Ленинград—Париж—два-три часа), вытекающая отсюда внезапность и, наконец, неуязвимость для зенитной артиллерии».

Мысль эта не оставляет его. Через три года он снова к ней возвращается: «Чем больше скорость самолета, тем он труднее уязвим со стороны зенитной артиллерии, тем он труднее уязвим со стороны истребителей противника. Поэтому эти показатели имеют не меньшее, а иногда и большее значение, чем показатели количественного порядка».

Был ли у Королева более верный единомышленник? Мог ли не ликовать Сергей Павлович, читая слова Тухачевского, словно прямо ему адресованные: «Несмотря на то, что полеты в стратосфере находятся в стадии первоначальных опытов, не подлежит никакому сомнению, что решение этой проблемы не за горами...» Тухачевский писал о танках, радиосвязи и радиоуправляемых минах, о новых подводных лодках, новых методах обучения войск, новой организации работы тыла. Он был автором более ста научных работ.

Генерал-лейтенант Ф. И. Жаров, который хорошо знал Михаила Николаевича, поскольку в предвоенные годы был начальником вооружений ВВС, один из немногих чудом уцелевших людей из ближайшего окружения маршала, написал в своих воспоминаниях: «Тухачевскому в развитии военной техники принадлежит такое место, на которое не может претендовать никто другой из наших военачальников».

В 1970 году старый военный инженер, прошедший и ссылки, и фронт, сказал мне о Тухачевском:

— Поверьте мне, старику, это был военный гений.

И Клим Ворошилов с его конницей...

Тухачевский несколько лет пытался объяснить своему непосредственному начальнику, что кавалерия не может быть главной силой в будущей войне. Безрезультатно. Недаром подхалимы придумали ему эпитет «железный». Ворошилов и впрямь отличался железным упрямством. Если он бывал благодушно настроен, что случалось не часто, он пытался отшучиваться, ссылался на опыт Буденного, потом начинал злиться. Буденный был прост. Когда при нем выражали сомнение в непобедимости кавалерийских атак, он грозил пальцем и изрекал «классическую» фразу: «Погодите, лошадь еще свое слово скажет!..» Это уже какой-то фарс, а Тухачевский был человеком военным и осознавал свою ответственность и перед армией, и перед народом. С трибуны VII Всесоюзного съезда Советов он сказал:

— Мы привыкли за время гражданской войны к коннице, как к самому быстрому роду войск, а большинство привыкло и к пехотным действиям, и перестроиться на новый лад, уметь использовать подвижность авиации и наших механизированных войск, наших танков не так-то просто...

Эта дуэль коня Ворошилова и мотора Тухачевского тянется многие годы. За несколько недель до гибели, понимая, что Ворошилова и чаще всего соглашающегося с ним Сталина ему все равно не убедить и ничего, кроме гнева наркома, это не вызовет, Тухачевский тем не менее публикует статью, в которой прямо говорит: «Нам пришлось столкнуться с теорией «особенной» маневренности Красной Армии — теорией, основанной не на учете нового вооружения как в руках наших возможных врагов, так и в руках советского бойца, а на одних лишь уроках гражданской войны, на взглядах, более навеянных героикой гражданской войны, чем обоснованных ростом могущества, культуры, ростом крупной индустрии социалистического государства, а также ростом вооружений армий наших возможных противников из капиталистического лагеря».

Можно себе представить, как взбесила эта статья Ворошилова. В те дни и была окончательно решена судьба красных генералов. Говорил ли Ворошилов со Сталиным? Не мог не говорить.

Забегая вперед, хочется проследить за продолжением конно-моторного спора просто для лучшего понимания позиции Ворошилова. Уже после разгрома Сталиным, Ворошиловым и Ежовым Красной Армии в 1938 году, уже не имея перед собой ни одного военачальника, который бы посмел с ним спорить так, как Тухачевский, и, что того страшнее, кто мог бы с ним спорить на уровне Тухачевского, Ворошилов по-прежнему остается убежденным противником модернизации армии. В докладе «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота» в феврале 1938 года он утверждает:

— Конница во всех армиях мира переживает, вернее уже пережила кризис и во многих армиях почти что сошла на нет... Мы стоим на иной точке зрения... Мы убеждены, что наша доблестная конница еще не раз заставит о себе говорить, как о мощной и победоносной Красной кавалерии... Красная кавалерия по-прежнему является победоносной и сокрушающей вооруженной силой и может и будет решать большие задачи на всех боевых фронтах...

В конце концов Сталин понял, что кавалерийская доктрина двух нерасстрелянных его любимцев — самых бесталанных из маршальской пятерки — полная чушь, и начал от нее отмежевываться. Все идет по хорошо продуманной, выверенной схеме: свалить собственные грехи на других, убедить всех, что порочен не стиль его руководства, а глупые действия неумелых исполнителей гениальных замыслов. Так он «поправлял» неугомонных коллективизаторов, обвиняя их в «головокружении от успехов». Так на январском Пленуме ЦК ВКП(б) 1938 года он «исправлял» ошибки ретивых чекистов. Теперь пришла пора наставить заблудших военачальников. На заседании Главного военного совета 17 апреля 1939 года он уже говорит о том, что «культ традиций и опыта гражданской войны помешали... перестроиться на новый лад, перейти на рельсы современной войны». А в январе 1941 года на заседании того же совета буквально повторяет слова Тухачевского, сказанные Михаилом Николаевичем еще в 1922 году, приписывая себе мысли, за которые, в частности, высказавший их был казнен: «Современная война будет войной моторов: моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на воде и под водой. В этих условиях победит тот, у кого будет больше моторов и больший запас мощностей...»

Страшно думать, сколько людей заплатили своей жизнью за это позднее прозрение «величайшего из полководцев всех времен и народов»...

Сообщение о раскрытии заговора в Красной Армии ошеломило Королева. Он часто встречался с Михаилом Николаевичем, слышал его выступления, не раз с ним говорил. Королев не мог заставить себя поверить в то, что Тухачевский — враг. Понимая умом несбыточность своих надежд, сердцем все-таки надеялся: разберутся, вероятно, ошибка, не может быть, чтобы не разобрались, ведь это Тухачевский!

Каждое утро он с нетерпением хватал газету, искал сообщения о суде. 11 июня развернул «Красную звезду» и не поверил своим глазам: передовая статья называлась «Шпионам и изменникам пощады не дадим!». Каким шпионам?! Каким изменникам?! Ведь суда еще не было, ведь еще надо доказать, что арестованные — изменники и шпионы! Королев не был знатоком юридических тонкостей, но такую элементарную вещь не увидеть было нельзя. Суд еще не приступил даже к разбирательству дела, а газета писала: «Маски сорваны, шпионы пойманы с поличным. Они сознались в своих гнусных преступлениях, в своем предательстве, вредительстве и шпионаже».

Тогда, в июне 1937 года, Королев не понимал, а если бы кто-нибудь и объяснил ему, то не поверил бы, что суд никому не нужен, что это проформа. Он не поймет этого и через год — в июне 38-го, когда его самого арестуют и он будет с

нетерпением ждать суда. Он не мог представить себе, что ни вопросы суда, ни ответы обвиняемых никого не интересуют, что приговор вынесен задолго до суда и даже больше — задолго до того, как подсудимые были арестованы и превратились в подсудимых. В конце концов и Королеву откроется истина: этот суд — спектакль. Но и после этого он еще долго не сможет понять, что спектакль этот разыгрывается в театре марионеток, еще будет надеяться, что в нормальном, человечьем, с живыми людьми...

Все восемь подсудимых, проходивших по делу о «военно-фашистском заговоре», были приговорены к расстрелу. Приговор привели в исполнение немедленно.

В день расстрела Тухачевского и его товарищей заведующая бюро жалоб Комиссии советского контроля Мария Ильинична Ульянова умерла от кровоизлияния в мозг.

В тот же день народный комиссар обороны СССР подписал приказ № 96, в котором, кроме анализа текущего момента («Вся Красная Армия облегченно вздохнет, узнав о достойном приговоре суда над изменниками, об исполнении справедливого приговора»), была в сжатой форме изложена и программа на будущее: «Ускорим полную ликвидацию последствий работы врагов народа».

Лето было прекрасное, ласковое, теплое, и много замечательных событий происходило вокруг. В апреле МХАТ поставил замечательный спектакль «Анна Каренина». Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович и Жданов смотрели, и все им очень понравилось. В мае отважный планерист Расторгуев на планере комсомольца Грошева установил международный рекорд. Написал потом Сталину, поблагодарил за заботу о советском планеризме. Получил орден «Знак Почета». Полярная экспедиция Отто Юльевича Шмидта прилетела на Северный полюс. В газете была большая фотография: Сталин целует летчика Спирина. В июне Чкалов, Байдуков и Беляков полетели через Северный полюс в Америку «по маршруту, намеченному тов. И. В. Сталиным». Участники узбекской декады демонстрировали в Большом театре свое искусство и послали товарищу Сталину письмо, поблагодарили за заботу о Советском Узбекистане. Было принято постановление о создании ВСХВ[1] и по воле великого Сталина в Останкине развернулось строительство волшебного города.

Папанинцы рапортовали о своих успехах с самой макушки планеты, а отец героя, Дмитрий Николаевич Папанин, писал в газете: «В золотое время живут наши дети...»

Замечательные успехи радовали и начальника Реактивного научно-исследовательского института Ивана Терентьевича Клейменова, но расстрел Тухачевского и других не выходил из головы. Непостижимо! Но сознались, сами во всем сознались! Однажды, заехав по делам к Алкснису, начал было разговор, ведь Алкснис сам судил...

— Кто бы мог подумать...— только и сказал Яков Иванович. Помолчал и добавил: — Ты-то хоть нас не подведешь? Мы ведь тебя с Лангемаком к ордену представили...

— А как я вас могу подвести? — рассеянно спросил Иван Терентьевич.

— Ты-то не сядешь?..

Страшно стало оттого, что Алкснис сказал это без улыбки.

Через несколько дней, вернувшись с работы, Иван Терентьевич сел в кресло и странно замер.

— Что ты, Ваня? Что-нибудь случилось? — тихо спросила Маргарита Константиновна.

Он долго разглядывал жену, а потом так же тихо ответил:

— Сегодня Яков Иванович оказался немецким шпионом.

— Этого быть не может,— выдохнула Маргарита Константиновна.

Он рассердился:

— Ты всегда всех судишь по себе! Почему этого не может быть? Сейчас все

[1] Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Ныне — ВДНХ, Выставка достижений народного хозяйства.

может быть. Просто так, ни за что ни про что людей не арестовывают. Меня же не арестовывают, потому что не за что меня арестовывать...

Иван Терентьевич был не прав: было за что его арестовывать. Да — из крестьян, да — участник гражданской войны, да — большевик с 1919 года. А мало ли таких перерожденцев? В Берлине в торгпредстве работал? Не важно, до Гитлера, после Гитлера, но работал. А известно ли ему, что его сослуживцы по Германии Иосиф Зенек, Владимир Бельгов, Соломон Мушинский — враги народа? И уже обнаружен, выявлен целый клан шпионов-заговорщиков из Наркомвнешторга, и он, Иван Клейменов,— среди них. А когда нарком Ежов послал товарищу Сталину списки арестованных, приложив другие списки с пометкой: «Всех этих лиц проверяем для ареста»,— товарищ Сталин слова эти раздраженно подчеркнул и написал рядом: «Не проверять, а арестовывать нужно».

А разве не писал в райком партии его же сотрудник по РНИИ Андрей Григорьевич Костиков, что в повседневной своей работе он, Иван Клейменов, опирается на беспартийных Лангемака и Королева, людей с темным прошлым? А разве через три дня после расстрела Тухачевского не получил нарком Ворошилов письмо от боевого командира, героя гражданской войны, который тоже работал в РНИИ, Леонида Константиновича Корнеева? Ведь там четко написано: «...только теперь в свете последних событий как-то ясно стало, что Клейменов тоже вредитель, стоявший за спиной подонков человечества, исключительных мерзавцев XX века: Пятакова, Тухачевского и других. ...Чем раньше, чем скорее будут собраны материалы о Клейменове и его сегодняшних покровителях, тем больше пользы получит страна».

Ну так как? Есть ли у наркома Ежова основания для ареста Ивана Терентьевича Клейменова?

В Доме Правительства, том самом прославленном Юрием Трифоновым «Доме на набережной»[1], где жил Клейменов с женой, двумя дочками-школьницами и породистым дратхаром Гертой — непременной участницей всех охотничьих походов Ивана Терентьевича, в 1937 году арестовывали чуть ли не каждую ночь. Иван Терентьевич узнавал об арестах, прогуливая утром Герту. В доме было много собак, собаки перезнакомили хозяев, и теперь, если на утреннюю прогулку собаку выводил кто-то другой, все уже знали, что хозяина ночью арестовали. Да и собака эта гуляла теперь не как прежде, а в отдалении от других.

Собаки ощущали происходящее лучше людей, ибо руководствовались глубинным инстинктом самосохранения и уже почти утраченным человеком первобытным предчувствием опасности. Эти животные качества одерживали верх над людским разумом, который не мог осмыслить происходящего, поскольку оно не подчинялось законам разума: все эти ощущения по природе своей были куда ближе миру животных, нежели миру людей.

Иван Терентьевич убедился в этом сам: когда ночью 2 ноября за ним пришли, Герта завыла, и Маргарита Константиновна отвела ее в дальнюю комнату.

Пришли трое. Один был совсем молоденький, просто мальчик. Клейменов сидел в кресле в той же напряженной, несвойственной ему позе, в какой сидел он в день ареста Алксниса. Иногда он тер руками глаза и, оглянувшись на Маргариту Константиновну, повторял:

— Ничего не понимаю... Ничего не понимаю...

Она присела к нему на ручку кресла.

— Уйдите! Не сговаривайтесь,— резко сказал один из пришедших. Тот, что постарше.

Клейменов обернулся к нему удивленно: его поразил не смысл произнесенных слов, а тон, каким они были произнесены. Никто и никогда в его доме не говорил так с ним и его женой.

Перерыли всю квартиру, три больших берлинских чемодана набили документами и фотографиями. Оживление вызвали два охотничьих ружья и еще больше — третье, с оптическим прицелом. Это было ружье Михаила Шолохова. Они познакомились еще в Германии, Иван Терентьевич показывал Шолохову Берлин, потом подружились и, когда Шолохов приезжал в Москву, вместе ездили на охо-

[1] Улица Серафимовича, дом 2.

ту. Оптический прицел очень вдохновил чекистов: подготовка теракта была налицо!

Маргарита Константиновна собрала в старый желтый портфель белье, полотенце, мыло.

— Возьми денег,— сказала она Ивану Терентьевичу.

— Не надо, я завтра вернусь... Это какое-то недоразумение...

Обулся: ботинки и краги. На голову — пилотку, хотя было зябко: ноябрь...

Потом, уже весной, в большой камере Бутырской тюрьмы Маргарита Константиновна вместе с другими женщинами будет пристально вглядываться в узкую полоску свободного пространства под железом оконного козырька. Единственное окно камеры выходило во двор, где прогуливали заключенных. Видны были только ноги чуть пониже колен, и женщины по обуви искали своих мужей. Очень много сапог и расшнурованных ботинок промелькнуло перед ней, но краг не было ни разу...

Маргарита Константиновна не знала тогда и долго потом не знала — я назвал ей этот черный день лишь весной 1988-го,— что Клейменова расстреляли 10 января 1938 года — за сутки до ее ареста.

2

...Не надлежит ослабевать духом, но тем больше мысли простирать, чем отчаяннее дело быть кажется.

Михаил Ломоносов.

Весть об аресте Клейменова Королев принял спокойно: он ждал этого. Арест Ивана Терентьевича стал реальностью сразу после расстрела Тухачевского. РНИИ был детищем маршала-«вредителя», так где же искать его единомышленников, как ни в РНИИ? Правда, могли вспомнить конфликты замнаркома с начальником института. Ведь одно время Тухачевский даже снять хотел Ивана Терентьевича. Но ведь не снял! Поди теперь докажи, что недовольство маршала было искренним, что все это не игра. Иван Клейменов — вредитель! Ну и времена настали...

На следующий день был арестован главный инженер РНИИ Георгий Эрихович Лангемак.

Институт притих. Столь невероятные события не обсуждались даже в самом узком кругу. Никакого официального мнения по поводу случившегося не было. Вновь торжествовала старая добрая формула: «Зря не сажают». Кто следующий по рангу? Руководители отделов? Но их много. Получалось, что самым большим начальником становился теперь Федор Николаевич Пойда — специалист по пороховым ракетам, недавно избранный секретарем партийного бюро. Пойда ждал, что следующим арестуют его. Когда в дверь постучали, он не вздрогнул, не испугался, потому что те, кого он боялся, в незапертые двери не стучали никогда. С удивлением увидел он на пороге главбуха Покровского, человека аполитичного и с партийным бюро никогда никаких дел не имевшего.

— Федор Николаевич, я к вам,— тихо сказал главбух.— Дело в том, что послезавтра надо зарплату выдавать. Все документы готовы, но чтобы в банке получить деньги, нужна подпись лица материально ответственного.— Он замолчал и сказал еще тише: — А лиц нет...

Что-либо подписывать вместо врагов народа Пойда не хотел, решил посоветоваться в райкоме. Там никто не знал, что в таких случаях надо делать, и порекомендовали съездить в ЦК. Но и там все как-то робели давать советы, и бедный Федор Николаевич зашагал в наркомат — благо тот был рядом. В наркомате долго ломали голову, как быть, и придумали в конце концов замечательное объяснение всей ситуации. Возможно, враги рассчитывали как раз на то, что если их изобличат, то подписывать финансовые документы будет некому и деньги не дадут. Это неминуемо должно привести к недовольству честных, преданных делу Ленина — Сталина тружеников, к ослаблению их веры в силу Советской власти. Но враг жестоко просчитался! И пусть Пойда смело все, что надо, подписывает!

Зарплату выдали, но все равно жить без начальства оказалось чрезвычайно трудно. Подумав, Пойда снова пошел в наркомат. Там сказали, что директора института, куда ни шло, подыскать еще можно, но ведь главный-то инженер все-таки должен разбираться в ракетной технике, а таких людей в наркомате нет. «Придется выдвигать из своей среды»,— сказали Пойде.

Пойда собрал членов партбюро, и все вместе начали выдвигать. Кандидатур было не так много, быстро сошлись на том, что надо предложить на выбор двух человек: либо Победоносцева, либо Тихонравова. Через несколько дней из наркомата сообщили, что предложенные кандидаты отклоняются. Пойда посадил напротив своего заместителя Геворкяна, и стали они думать, кого теперь предложить, причем так, чтобы наверняка не отклонили. И чем больше думали, тем больше укреплялись в сознании, что есть, пожалуй, только один верный кандидат — Андрей Григорьевич Костиков.

А Андрей Григорьевич словно услыхал зов своей судьбы. Все эти дни безвластия он был необыкновенно активен. Не дожидаясь никаких наркоматских решений, он сам начал отдавать административные команды, и, что еще более удивительно, его слушались!

Вскоре было назначено общее собрание. Повестка дня: ликвидация последствий вредительства. Перед собранием Костиков подошел к Королеву:

— Мне кажется, вам, Сергей Павлович, следует выступить...

— Все, что я мог бы сказать о деятельности Клейменова и Лангемака, я уже сказал и Ивану Терентьевичу, и Георгию Эриховичу,— сказал Королев.— Выступать я не буду.

— Это вам даром не пройдет,— процедил Костиков.

Собрание было очень бестолковым. Костиков говорил о «банде, свившей себе гнездо в институте». Евгений Сергеевич Щетинков, сидевший рядом с Королевым, прошептал ему в ухо: «Вы слышали, чтобы бандиты вили гнезда?» Все выступавшие твердили о том, что теперь надо отдать все силы «залечиванию ран, нанесенных вредителями», но никто не знал, что это конкретно за раны, а потому не мог предложить столь же конкретного рецепта их залечивания. Потом вспомнили, что мать Лангемака вроде бы жила в Эстонии и Лангемак с ней переписывался. Но поскольку сам факт переписки сына с матерью обсуждать было нелепо, желанного кипения негодования и накала гнева опять не получилось. Собрание не удовлетворило Костикова. Он понимал, что два «врага народа» для целого института — это несерьезно, и надеялся получить на собрании хотя бы пяток новых кандидатур для дальнейшей разработки. Известно было, что тесть химика Чернышева жил в Греции, но Чернышев, как на грех, ушел из РНИИ, если и доказывать, что Чернышев враг народа, то это был бы уже не «свой», а «чужой» враг. Правда, потом наметилось было «дело Раушенбаха»...

Когда Борис Викторович Раушенбах перебрался из родного Ленинграда в Москву, жить ему было негде. Все квартиры на Донской, предназначавшиеся для новых сотрудников РНИИ, давно разобрали, и он поселился у приятеля в квартире, которая принадлежала сестре Якова Михайловича Свердлова. Ее дочь была замужем за Ягодой, а когда его арестовали, она вернулась в эту квартиру. Ночью приехали с обыском, искали оружие, но нашли Раушенбаха с приятелем. Приятеля исключили из комсомола за то, что он не разоблачил Ягоду, а Раушенбаху дали строгий выговор за то, что он не разоблачил приятеля, который не разоблачил Ягоду. Увы, все понимали, что все это дело выглядит несолидно, мелочь это...

Костиков не был удовлетворен собранием еще и потому, что оно не укрепило его позиций в институте. Ему очень хотелось стать теперь начальником, тем более что достойных конкурентов он не видел: Глушко — человек Клейменова, чуть подтолкни — и упадет. Королев, правда, воевал с Клейменовым и Лангемаком, но основная тематика института — пороховые реактивные снаряды — его совершенно не интересует. Кроме того, он не военный и беспартийный. Да и характер его известен всем... Тихонравов никогда сам вперед не полезет. Оставался, правда, Победоносцев, мужик с характером и один из лучших специалистов института. Наверх он вроде бы не стремился, но как знать... Подрезать крылышки никогда не вредно. Очевидно, именно в это время сочинил Андрей Григорьевич письмецо, которое вполне могло стоить Юрию Александровичу жизни. «Существовала в институ-

те так называемая баллистическая лаборатория,— доверительно сообщал Костиков,— в которой занимались изучением процесса горения пороха в ракетной камере и продолжают заниматься по настоящее время. Причем основную роль, к сожалению, в этой лаборатории занимает инж. Победоносцев Ю. А., хотя начальником этой лаборатории является инженер коммунист тов. Пойда.

Во второй половине 1937 года, после того, как РС и РАБ (будем дальше для краткости так называть ракетн. снар. и ракетн. авиац. бомбы) [1] пошли на опытно-валовое производство, как бы случайно было обнаружено ненормальное поведение в известных условиях пороха при его горении...»

Далее наш популяризатор объясняет, к чему это может привести и как иссушить мощь Красной Армии.

Вся изюминка, конечно, в этом замечательном «как бы случайно». Невинная с виду оговорка — словно маленькая формочка, в которой отливалась пуля для Юрия Александровича.

Несмотря на это письмо, на то, что фамилия Победоносцева была выбита из Клейменова и Лангемака на допросах, Юрия Александровича не арестовали. Объяснить это так же невозможно, как объяснить, почему, наоборот, арестовали того или иного человека. Размышляя над такими вопросами, надо отказаться от попыток каких бы то ни было логических объяснений. Но сделать это трудно, и объяснения всегда ищешь. Единственное, что приходит тут на ум, это то, что Победоносцев был одним из главных, если не самым главным специалистом по реактивным снарядам, которые определяли тематику института и, бесспорно, были самым перспективным оружием из всех там разрабатываемых. Впрочем, такое объяснение не стоит выеденного яйца: как же тогда арестовали Лангемака?

По всему раскладу получалось, что нет серьезных конкурентов у Андрея Григорьевича. Поэтому вдвойне тяжело было разочарование, когда узнал он, что довольствоваться придется лишь креслом главного инженера. Начальником НИИ-3 НКБ — так с конца 1936 года назывался институт, отданный Орджоникидзе вновь организованному Наркомату боеприпасов,— назначен был Борис Михайлович Слонимер.

Это был толстый, спокойный, рассудительный человек и неплохой химик. В ракетной технике ничего не понимал. Очевидно, он был из породы везунов, потому что, вернувшись из республиканской Испании, где он работал техническим экспертом, Борис Михайлович не был объявлен испанским или каким-либо другим шпионом, а через несколько месяцев после назначения в РНИИ награжден орденом Ленина за реактивные снаряды, в создании которых не принимал решительно никакого участия. Слонимер очень мало говорил, чтобы не сказать лишнего, ни с кем не ссорился, чтобы не нажить себе нечаянно врагов, и старался принимать как можно меньше самостоятельных решений, чтобы не делать ошибок, тем более в области, где он не считал себя компетентным специалистом. Уже то было хорошо, что он это понимал и использовал любую возможность «подковаться» в беседах со своими сотрудниками. Узнав, что Раушенбах, хоть и имеет строгий выговор за потерю бдительности, читает в библиотеке иностранные журналы, он вызвал его к себе и сказал с подкупающей откровенностью:

— У меня совершенно нет времени читать, и я вас очень прошу: приходите ко мне раз в неделю и рассказывайте, что делается на белом свете...

Как в данный момент руководить институтом, Слонимер тоже не знал, писать доносы на своих подчиненных не хотел, положение его было очень сложным. Климент Ефремович Ворошилов еще накануне ареста Тухачевского отмечал: «Там, где вместо бдительности господствует беспечность и самоуспокоение, где упорная настойчивая работа над своим совершенствованием подменена бахвальством и зазнайством, там враги народа наверняка найдут благоприятное поприще своей шпионской, вредительской и диверсантской деятельности». Человек трезвый и объективный, Борис Михайлович сколько ни искал, не находил во вверенном ему учреждении ни беспечности, ни самоуспокоенности, ни бахвальства, ни зазнайства, а следовательно, не находил для врагов «благоприятного поприща» и даже в размышлениях своих приближался к тому опасному рубежу, когда ему начинало казаться, что никаких врагов, возможно, в институте вообще нет. Разумеется, мыслями этими он ни с кем не делился — его могли неправильно понять. Не снижая тем не менее бдительности, он посчитал, что коль скоро враг где-нибудь притаился, его отыщут люди более опытные, и внутренне к обнаружению такому был готов постоянно, поскольку врагом мог оказаться каждый. А потому со всеми держался Борис Михайлович приветливо, но не более. Когда к нему пришла жена Клейменова и попросила вернуть ее собственные облигации, которые хранились в сейфе Ивана Терентьевича, Слонимер мог предположить, что этот визит — своеобразная проверка его бдительности, и ответил твердо, что никаких облигаций врагам народа он возвращать не будет и просит оставить его в покое.

[1] Разъяснение в скобках показывает, что адресат Андрея Григорьевича вряд ли был специалистом в ракетной технике, поскольку среди специалистов эти аббревиатуры были широко известны.

Немало написано уже о том, сколько замечательных людей погибло в годы сталинских репрессий, и почти ничего не сказано о том, как эти годы калечили души и отравляли мозг тех, кто оставался на свободе, как разлагали они людей добрых и порядочных, выедая из сердец честь, достоинство и сострадание, как замораживали всякую смелость, да так, что и через десятки лет людей этих нельзя было разморозить, и уходили они из жизни запуганными и страхом этим униженные навеки.

Ни один сотрудник РНИИ после ареста Клейменова и Лангемака не пришел к ним домой — просто чтобы пожать руку жене и подарить кулек конфет девчонкам.

Институт продолжал работать в прежнем ритме. В самой этой покорности, в том, что люди вели себя так, будто ничего не случилось, в том, что работа не приостановилась и даже не замедлилась, было что-то глубоко оскорбительное для человеческого достоинства. Никто не только не пытался защитить Клейменова и Лангемака, но никто даже не спрашивал: как это могло случиться? — потому что в самом вопросе этом уже был намек на какое-то сомнение. Королев конфликтовал с руководством все эти годы, но ведь были люди, все эти годы активно поддерживавшие начальника института и главного инженера, однако и они даже не пытались их защитить, и высшим проявлением гражданской смелости был скорбный вздох и невнятное бормотание шепотом: «Да... кто бы мог подумать...»

Ощущение тоскливой беспомощности, овладевшее Королевым после ареста Клейменова и Лангемака, не проходило. Для его активной, деятельной натуры ощущение это было особенно мучительным, но что надо делать в подобной ситуации, он не знал. В одном только уверен твердо: то, над чем он работает, стране нужно и работу необходимо продолжать, как бы дальше ни складывалась жизнь.

Главной заботой Королева в ту пору была подготовка к летным испытаниям ракетоплана РП-318 — первого в нашей стране летательного аппарата с жидкостным ракетным двигателем. Пока на стенде проходили так называемые «холодные» испытания всех систем, двигатель еще не включали. Правой рукой Сергея Павловича был Евгений Сергеевич Щетинков, который вел самые ответственные расчеты, а главным испытателем — Арвид Владимирович Палло. Вместе с инженером Касятовым и механиком Волковым он работал на стенде.

Как и весь институт, этот маленький коллектив в дни арестов Клейменова и Лангемака продолжал трудиться, словно ничего и не произошло. В середине ноября 1937 года отработали систему зажигания двигателя, завершив таким образом «холодную» часть испытаний. Королев составил заключение и пошел к Слонимеру подписывать бумагу в академию Жуковского: пора было вылезать с ракетопланом из рамок института, подключать военных авиаторов, так дело пойдет быстрее. Письмо на имя начальника академии Слонимер подписал, полагая, что письмо такое еще раз демонстрирует отсутствие всякого бахвальства и зазнайства во вверенном ему учреждении. «Ввиду отсутствия в НИИ № 3 специалистов

по тактике ВВС прошу Вашего разрешения на проведение соответствующей консультации специалистами ВВА с целью выявления возможных областей применения ракетных самолетов...»

Нетрудно представить, что за жизнь была в академии Жуковского осенью 1937 года после ареста Алксниса, начальника ВВС РККА. Однако положительный ответ пришел очень быстро, и Королев отвез в академию свои расчеты.

Тем временем на институтском стенде Арвид Палло под неусыпным наблюдением Щетинкова и Королева начал огневые испытания. Первый раз ничего не получилось: из-за дефектов форсунок горючего двигатель не запустился. Королев отрегулировал форсунки и 16 декабря назначил новые испытания. На этот раз все прошло благополучно. Пожалуй, даже более чем благополучно. Можно сказать, что просто здорово все прошло на этот раз: двигатель проработал 92 секунды!

Шесть испытаний подряд проходят без сбоев. В протоколах значится: «Двигатель запускался сразу, плавно, работал устойчиво и легко останавливался... Материальная часть вела себя безукоризненно».

Королев старался, чтобы Щетинков пореже приходил на стенд: в задымленном, пропахшем горелым железом помещении его начинал бить кашель. Но однажды в самое неподходящее время вдруг появился Щетинков:

— Сергей Павлович, вас Елена Наумовна просила зайти,— успел сказать, прежде чем судорожно задохнулся.

Это был плохой знак. Елену Наумовну Купрееву, секретаря-машинистку в приемной начальника, побаивался весь институт: она знала все и обо всех. Вместе с Клейменовым она работала в берлинском торгпредстве, и поначалу все считали, что Иван Терентьевич просто привел в институт свою секретаршу, с которой сработался, знает, доверяет. Но вскоре выяснилось, что и сам Клейменов чрезвычайно тяготится присутствием в его приемной Елены Наумовны, что на работу он ее не приглашал, что ее «прислали». С этого времени к Елене Наумовне все стали относиться с почтительной настороженностью, одновременно стараясь по возможности обходить ее, что было трудно, учитывая ее местопребывание.

— Хорошая новость,— сказал Елена Наумовна, с улыбкой передавая Королеву пакет.

Пакет был вскрыт. В нем лежало довольно объемистое «Заключение» Военно-воздушной инженерной академии. Королев быстро пробежал глазами отдельные абзацы:

«...горизонтальная скорость вдвое превосходит известные скорости...»

«...зона тактической внезапности, составляющая 80—120 км от линии фронта, может быть сокращена до 20—30 км...»

«...цифры уже сейчас обеспечивают реальную возможность вести воздушный бой...»

Дойдя до главки «Выводы», ногой нащупал стул, сел и читал, не отрываясь:

«Самолеты с ракетными двигателями дают вполне реальные основания предполагать, что в них могут быть осуществлены летно-технические данные, дающие резкое превосходство над самой совершенной техникой противника. Одни только данные горизонтальных и вертикальных скоростей говорят о превосходстве, абсолютно недостижимом по линии бензиновых двигателей при современных принципах их конструирования».

Светлые головы в этой академии! Королев прямо подпрыгнул на стуле.

Елена Наумовна улыбалась, глядя на него...

«Изложенное доказывает,— читал Королев,— что дальнейшая работа над ракетными двигателями и широкое внедрение их в авиацию является необходимым и сулит перспективы, о каких в других областях авиационной техники нельзя и мечтать.

Начальник кафедры тактики Военно-воздушной академии РККА полковник Шейдеман.

ВРИД начальника кафедры огневой подготовки Военно-воздушной академии РККА майор Тихонов».

Какие же молодцы Шейдеман с Тихоновым! Наверное, за всю жизнь не получал Королев о своей работе отзыва, столь решительно его поддерживающего. Он был необычайно обрадован и воодушевлен. Вместе со Щетинковым составляет Сергей Павлович подробные тезисы доклада «по объекту 318» — ракетному самолету. Почувствовав поддержку военных специалистов, Королев усиливает натиск: «Должен быть принципиально решен вопрос о нужности этого объекта и необходимости более форсированного развития его». В заключение вновь давит на Наркомат боеприпасов; понимая, что с ракетопланом новые хозяева института связываться не захотят, с них и реактивных снарядов довольно, он ставит вопрос категорически: «Необходимо теперь же принять определенное решение о необходимости и важности этого объекта и обеспечить все необходимые условия для работ. Половинчатые решения только повредят делу, так как при недостаточных темпах работ получение первых практических результатов будет отодвинуто на срок 5—6 лет, когда требования к объекту в связи с прогрессом тактики и техники могут совершенно измениться».

Почти ежедневно теперь на «горячем» стенде проводят испытания систем подачи, замер температур и других параметров двигателя. Кроме главного испытателя Палло, в них принимают участие Щетинков, Глушко, инженеры Шитов, Дедов, слесарь Иванов — ракетоплан словно сам собирал вокруг себя коллектив.

И результаты были весьма обнадеживающие. В декабре все ликовали, когда двигатель проработал 92 секунды. В марте он непрерывно работал уже 230 секунд—почти четыре минуты! На протоколах испытаний резолюции Королева: «Огневые испытания на полной мощности повторить».

До сих пор двигатель испытывали на стенде отдельно от остальной конструкции, отгородившись от него на случай взрыва броневой плитой. 19 марта впервые решили включить его прямо на раме ракетоплана, точно так, как он будет работать в полете. После зажигания раздался сильный хлопо̀к и — тишина: двигатель не включился. Два дня возились с зажигательными пороховыми шашками. 21 марта, в понедельник, Королев сидел на стенде с Глушко допоздна.

— Если хлопо̀к и не загорается, значит, температура зажигания недостаточна,— рассуждал Королев.

— Или нерасчетный режим подачи топлива,— добавил Глушко,— надо заменить завихрители горючего и померить температуру, которую дают шашки. Когда мы сможем это сделать? Завтра сможем?

В ночь со вторника на среду Глушко арестовали. Его бы раньше арестовали: показания на него были, не говоря уже о том, что он переписывался с Германом Обертом — лучшим ракетным специалистом Западной Европы. Но в марте судили «антисоветский правотроцкистский блок» во главе с Бухариным, и тюрьма на Лубянке была переполнена. А как раз к концу месяца с правыми троцкистами все было уже кончено, с помещениями стало полегче...

Когда Валентину Петровичу предложили одеться и он стал зашнуровывать полуботинки, один из пришедших за ним сказал тихо, так, чтобы не слышал второй, уныло перетряхивающий книги:

— Одевайтесь теплее.

Ведь весна, уже совсем тепло, «одевайтесь теплее» — это значит надолго...

— Мама, успокойся, это какое-то недоразумение,— он говорил Марте Семеновне то, что говорили тогда все, к кому вот так приходили ночью...

В черной «эмке» ввезли его в просторный внутренний двор НКВД. Выходя, он заметил множество фургонов с надписью «Хлеб» и удивился, не понимая еще, что в этих фургонах сюда привозят людей.

В камере сразу стали знакомиться. Из темного угла кто-то спросил с вызовом, нервным, надтреснутым голосом:

— Ну и как?! Можете вы себе представить, что все мы — вот все эти люди — враги народа?

— Не знаю,— устало сказал Валентин Петрович.

Несмотря на высокую оценку военными из академии разработок Королева, в РНИИ дела с ракетопланом шли трудно. Если в первые годы работы института все научные споры, хотя и были окрашены личными симпатиями, идущими от землячеств или традиционных антагонизмов военных и гражданских, оставались все-таки научными спорами, то с 1937 года вся их объективная техническая суть начисто испарилась. Королев конфликтовал с Клейменовым по принципиальным вопросам, но сейчас помнили только то, что Королев конфликтовал именно с Клейменовым, а суть конфликта никого не интересовала. Раз Королев конфликтовал с «врагом народа», его следует поддержать.

Сергей Павлович находился в замешательстве. Ему очень хотелось расширить и ускорить работы по крылатым ракетам и ракетоплану. Было ясно, что сделать это можно, встав на путь оголтелой политической спекуляции. Королев должен был громко сказать, что Клейменов и Лангемак мешали ему работать не потому, что не верили в жидкостные ракеты как оружие, не потому, что сомневались в реальности ракетного истребителя-перехватчика в ближайшие годы, а потому, что они были врагами, пособниками фашистов, сознательно приносили вред обороноспособности страны. Но он не мог так сказать даже ради ракетоплана!

Он видел, как подобная демагогия губит сейчас разработку реактивных снарядов. Как бы ни относился к ним Королев, он понимал, что работа эта нужная и перспективная. Победоносцев убедил его, что из них может вырасти грозное оружие. Но после ареста Лангемака работы по РС затормозились, поскольку их главным вдохновителем был «враг народа». Теперь, когда арестовали Глушко, Костиков сразу припомнил, что Королев консолидировался с врагом. Стало быть, ты враг, а значит, сколь бы ни были полезны и совершенны твои разработки, они могли рассматриваться только как продолжение «вредительства». Все это было настолько нелепо, что Королев, привыкший к горячим схваткам на техсовете, к спорам до крика, совершенно растерялся. Это были не научные споры, а какая-то гнусная и вредная игра, в которую он играть не умел и учиться не хотел.

Один из великих современников Королева — Владимир Иванович Вернадский — напишет в письме к жене Наталье Егоровне: «...Я считаю, что интересы научного прогресса тесно и неразрывно связаны с ростом широкой демократии и гуманитарных построений — и наоборот». Королев слов этих не знал, но чувствовал: вся эта «псевдомарксистская» борьба, поиски «вредителей» и зависимость оценок объективных технических решений от политических симпатий их авторов дело загробят.

Костиков, используя положение главного инженера института, зажал Королева крепко. Любое возражение руководству сразу трактовалось как саботаж, нежелание исправлять «последствия вредительства», а значит, как само вредительство.

Наступление на Сергея Павловича шло по всему фронту. Сначала его перевели из заведующих отделом в старшие инженеры. Потом вывели из совета Осоавиахима. Когда Геворкян хотел рекомендовать его в группу «сочувствующих», Пойда был категорически против.

— Но это один из самых толковых людей в институте, делу предан беспредельно! — кипятился Геворкян.

— Мало быть толковым,—уперся Пойда.— Королев в общественных мероприятиях участия не принимает, на профсоюзные собрания не ходит. Вспомни: на демонстрации и маевки его не затащить, да и с сотрудниками груб.

Из «сочувствующих» Королева исключили. Несмотря на это, Королев пишет 19 апреля 1938 года письмо в Октябрьский райком ВКП(б), жалуется на невыносимые условия работы. Ответа он не дождался, но о письме всем рассказал. Костиков несколько притих, понимая, что в столь смутное время все может в одночасье перевернуться с ног на голову, и уже он, прижимая ракетоплан Королева, станет «врагом народа», подрывающим оборонную мощь страны.

Но того жара, с каким боролся еще два-три года назад Королев за свои жидкостные ракеты и ракетоплан, в нем уже не было. Что-то в нем надломилось. После ареста Глушко он понял, что и его арестуют непременно. Он чувствовал это. По отрешенности, с какой говорил с ним Слонимер, по улыбке Елены Нау-

мовны, по все более агрессивной наглости Костикова, даже по тому, что механики на стенде старались как можно меньше контактировать с ним, вообще находиться в одном помещении.

А может, все это ему кажется, может быть, просто сдавали нервы: он чувствовал себя измазанным, заразным, уязвимым для всевозможных унижений, которым он должен подвергнуться за что-то гадкое и позорное, чего он не совершал, но о чем все, кроме него, уже знают и ждут, когда обо всем этом публично объявят. Да-да, очень часто казалось, что его ареста ждут!

Пожалуй, единственным, кто ни в чем, даже в мелочах не изменил своего отношения к Королеву, был Евгений Сергеевич Щетинков. Он вообще вел себя так, словно никаких арестов не было, разговаривал безо всякой оглядки, не боялся вспоминать и Клейменова, и Лангемака, и Глушко, в то время как для других они словно бы никогда и не существовали. У Щетинкова была репутация институтского юродивого, который и царю может говорить в глаза, что думает.

— Ему хорошо, у него туберкулез,— со вздохом сказал о Щетинкове один из сослуживцев.

Евгений Сергеевич действительно был тяжело болен и внутренне подготовил себя к близкой смерти. Осенью и весной, набрав разной расчетной работы, уезжал он в Абастумани и там, в ласковых грузинских горах, пережидал смертельную для него московскую слякоть. Нынешней весной был он совсем плох, но не торопился с отъездом. Очень хотелось напоследок сделать что-то по-настоящему интересное, что переживет его самого и, кто знает, может быть, поможет понять всем этим «бдительным слепцам», что нельзя арестовывать Королева, а напротив, надо, чтобы он мог работать с полной отдачей своих уникальных (в этом Евгений Сергеевич был убежден) сил и способностей.

В самом начале апреля Щетинков закончил большую работу — «Перспективы применения жидкостных ракетных двигателей для полета человека». Сорок страниц: весовой баланс, аэродинамика с учетом влияния звуковых скоростей, куча формул, графиков — он просчитал несколько вариантов...

Королев закрыл папку, прижал ладонью к столу, спросил грустно:

— Успеем ли, Евгений Сергеевич?

— А разве это важно? Другие успеют...

— Не согласен,—твердо сказал Королев.— Я сам должен успеть...

Намеченные еще с Глушко огневые испытания продолжались до начала лета. Двигатель работал на азотной кислоте, и это тормозило испытания: опыта обращения с агрессивными жидкостями не было, механики ходили с обожженными руками, в дырявых спецовках: постоянно что-то просачивалось, протекало, лопалось. Королев уже отметил, что на каком-то этапе стендовых отработок непременно наступает вот такая черная полоса неповиновения металла, и, как ни бейся, она будет длиться положенное богом время, а потом сама собой кончится. Щетинков говорил, что это мистика, а Палло был согласен с Королевым и считал, что как раз сейчас они вошли в эту черную полосу.

13 мая взорвались баки на ракетной торпеде 212, по счастью, никто не пострадал. Председателем комиссии по разбору причин аварии назначили Тихонравова, чему Королев был рад: Михаил Клавдиевич не будет искать в этом деле «вредительства». Разбирались целый день. Через неделю Королев составил программу новых испытаний ракеты. Теперь нужно было очень постараться, чтобы что-то взорвалось. Опрессовку новой системы водой проводил Палло. Вырвало штуцер: давление высокое—до сорока атмосфер. Королев торопил механиков, ему хотелось поскорее вернуться к ракетоплану. Когда все отремонтировали, дал команду залить основные компоненты. Палло показал: подтекает.

— Я предлагаю проводить испытания,— бодро сказал Королев.

— Я не буду,— хмуро отозвался Палло.

— Это почему?

— Потому что все надо переделывать... Иначе, когда выйдем на расчетное давление, может рвануть.

— А может и не рвануть, правильно? — Королев обернулся к механикам Волкову и Косятову, ища у них поддержки.

Волков отвернулся. Саша Косятов молча вытирал ветошью руки.

— Александр Васильевич, но вы-то что молчите?! — спросил его Королев.

— Ненадежно все это, Сергей Павлович,— подумав, сказал Косятов.

— Я сам буду проводить испытания! — Королев взорвался: бунт на его корабле!

Механики хмуро разошлись по местам.

— Поехали!— крикнул Королев.

Палло, не отрываясь, смотрел на дергающуюся стрелку манометра. Громкое шипение заглушало все звуки и голоса. Потом звук этот сразу сломался, стрелка упала влево, Палло оглянулся и увидел: Королев стоит, прижав руки к лицу, и между пальцами льется кровь. В следующую секунду Королев выбежал во двор, выхватил носовой платок, прижал к окровавленному лицу и упал. Тут же вскочил. Палло держал его за плечи. Волков побежал вызывать «скорую». Косятов раздобыл бинты.

Вырвавшийся кусок трубы ударил Королева в висок. Как выяснилось потом, он прошел по касательной, оставив трещину в черепе. Спасли Сергея Павловича буквально миллиметры.

Когда приехала «карета скорой помощи» (так долго на старинный манер называли эти автомобили с красными крестами на боку), Королев попросил:

— Свезите в Боткинскую, у меня там жена работает.

В двухместной палате травматологического отделения пролежал он недели две. Страшная синяя гематома почти закрывала один глаз. Рядом с ним лежал молодой парень, спортсмен, которому ампутировали ногу. Он не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать. Ксана[1] приходила по нескольку раз на день. Приезжала мама.

Когда пришел Арвид Палло (он был единственным из сослуживцев, кто навестил его в больнице), Сергей Павлович сказал:

— Ты был прав: надо переделывать...

Долечивался он дома, на Конюшковской. Очень рвался в институт, а Ксана не отпускала. В их доме почти каждую ночь кого-то арестовывали. Идешь утром на работу, а на соседской двери висит свежая бирка с сургучной печатью. Подъезд, двор и вся улица были грязными, ветер таскал по мостовой какую-то бумагу, клубил пыль. И двор, и улицу теперь не убирали, потому что дворники ночью ходили как понятые, очень уставали от чужих слез и днем отсыпались. Ксении Максимилиановне казалось, что, пока Сергей сидит дома, пока вот эта белая повязка на голове, никто его не тронет. Но сколько ни уговаривала себя, трезвый ум ее шептал свое: «Тронут, все равно тронут...» Дочку отвезла на дачу к бабушке Соне: если все-таки придут, девочка не должна этого видеть.

На работу Королев вышел только в двадцатых числах июня. Новостей за время его отсутствия накопилось много. Приняты на вооружение в ВВС реактивные снаряды двух калибров. Развернуты работы по многозарядной реактивной установке[2]. Сегодня почти весь институт работает на эту тематику. И, конечно, установку теперь сделают.

И еще одна новость, конечно, с этой связанная: 1 июня, когда Королев лежал в больнице, Слонимер издал приказ остановить работы по ракетоплану...

Прочитав приказ, Королев долго молчал, думал. Если теперь, после отличного отзыва из Военно-воздушной академии, издается такой приказ, значит, его решили зажать окончательно. Кто может помочь? Циолковского нет. Эйдемана нет. Алксниса нет. Тухачевского нет. Все его союзники теперь — Евгений Сергеевич, Арвид Палло, Борис Раушенбах, Саша Косятов. Не густо. Но победить необходимо, иначе вообще незачем жить. Надо писать Сталину. Сталин поймет, как все это важно...

В воскресенье 26 июня были выборы в Верховный Совет России. У избирательных участков толпился народ, молодежь танцевала, люди смеялись, и невольно хотелось верить, что все обойдется, что все невзгоды пройдут, начнется наконец нормальная жизнь...

[1] Ксения Максимилиановна Винцентини — первая жена С. П. Королева.
[2] Потом ее назовут «катюшей».

На следующий день по дороге на работу Королев развернул «Правду». Почти весь номер был посвящен выборам. Цитировалась записка, брошенная в избирательную урну: «Пусть долго живет товарищ Сталин! За дело Ленина — Сталина мы готовы на все! Так думает весь народ».

«...Мы готовы на все...»

Вечером, возвращаясь из РНИИ, Королев увидел у подъезда своего дома двух «топтунов» в темных душных костюмах. Ксана просила купить хлеба. Кроме французской булки, он купил новую патефонную пластинку. У них — патефон. В те годы обладателей патефонов было несравненно меньше, чем сегодня людей, у которых есть телевизор. Они с Ксаной подкупали разные пластинки, танцевальные — «Рио-Риту», «Брызги шампанского»,— а сегодня он купил «Русские песни».

Ужинали на кухне. А потом завели патефон.

Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли, стояла.
Люли-люли, стояла.
Некому березку заломати,
Некому кудряву...

Когда в дверь позвонили, он сразу все понял.

3

С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний поруганного и ниоткуда не защищенного существования? — и, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили!

Михаил Салтыков-Щедрин.

Ивана Терентьевича Клейменова, арестованного в ночь со 2 на 3 ноября 1937 года, во внутренней тюрьме НКВД словно забыли: на первый допрос он был вызван через сорок три дня после ареста — 15 декабря.

За жаркое для Ежова и его людей лето 1937 года уже был накоплен некоторый опыт обращения с такими людьми, как Иван Терентьевич. А это сложный контингент: из крестьян, упрямые, понюхавшие кровь на гражданской войне. Именно осенью, в октябре—ноябре 37-го, работы на Лубянке было невпроворот, и до Клейменова просто руки не доходили. А с другой стороны, такого, как он, полезно было «образовать» в камере, дать ему послушать других, притомить его так, чтобы он уже ждал допроса, а потом вызвать неожиданно и с налета, с азартом, когда самому кровь бросается в голову, так его ухватить, чтобы сразу весь дух из него вышел! Было среди следователей даже такое негласное соревнование: у кого с какого допроса подпишет. И мастера настоящие были. Ушиминский Зиновий Маркович, например. Как подлинный артист, он даже псевдоним себе придумал, под которым был известен в широких кругах ежовцев: Ушаков. Он чуть ли не с первой атаки повалил и Фельдмана, и Эйдемана, и самого Тухачевского. Но как и в каждом бою, время атаки тут тоже надо точно выверить.

Тактика эта себя оправдывала. «А почему действительно меня не вызывают?» — начинал думать узник в смятении, ибо человек — существо общественное, а за решеткой — общественное вдвойне. Лев Толстой говорил, что человек многое может выдержать, если видит, что и другие люди живут так же, как он. Невинный человек, не понимающий, почему и за что его посадили, по издавна бытующей на Руси практике законов не ведающий, имеющий самое смутное представление и о своих правах, и о своих обязанностях и вообще получивший все свои знания о тюремной жизни в лучшем случае от графа Монте-Кристо, естественно, ищет поддержки у окружающих, прислушивается к их советам и делает выводы из открывшегося ему чужого опыта.

Конечно, существовало немало тюремных «университетов», но все их программы стремились к одной цели: малыми жертвами достичь наилучших результатов. А вот пути к этому предлагались самые разные. Там, где обучался Клейменов, полагали, что надо быстро, не доводя дело до серьезных увечий и, не дай бог, до Лефортовской тюрьмы, во всем признаваться, называя при этом сообщниками тех, кто уже сидит, создавать этакий замкнутый «хоровод»: ты показал, что я шпион, а я — что ты шпион. А вот когда дело передадут в суд, тут уж надо все отрицать. Это приведет суд в замешательство, начнут разбираться, увидят — не смогут просто не увидеть! — что кругом «липа», и отпустят, конечно...

Многие и многие тысячи людей поплатились жизнью за эту «тактику». Но винить авторов ее было бы жестоко, потому что во всех своих построениях они исходили из соображений, что их противник наделен как минимум человеческой логикой, и заведомо идеализировали его конечные цели.

Если для Сталина повальные репрессии были продуманной политикой, то непосредственные реализаторы этой политики осмыслением ее никогда себя не утруждали. Им прежде всего требовалось придумать Дело, нахватать как можно больше людей, уничтожить их с соблюдением некоего ритуала и отрапортовать. Существовал термин: «Слипить дело». Именно «слипить», а не «слепить», поскольку новый этот глагол — «липовать» — был производным не от «лепки», а от «липы». А раз так, «липили» первоначально в самых общих чертах, с употреблением формулировок самых расплывчатых, скажем — «заговор». Что за заговор, против кого, с какой целью — это уже детали. И участники «заговора» — тоже детали. Имеет человек к нему отношение или не имеет — не суть важно. Надо просто наполнить оболочку «заговора» каким-то человеческим содержанием, не важно каким. Известно немало случаев, когда приходили человека арестовывать, а его нет — уехал. Не скрылся, не спрятался, а просто уехал на курорт или в деревню. Но, даже зная куда он уехал, его обычно не искали — вместо него арестовывали кого-то другого. В списках «врагов народа, окопавшихся во Внешторге», были Сердюков и Тулупов. Николай Сердюков, друг Клейменова, работал в одном из московских НИИ. Когда его исключили из партии и он понял, что вот-вот посадят, он уехал из Москвы в другой город, поступил на завод, и о нем забыли, точнее, руки до него не дошли. А Тулупова — председателя приемной комиссии берлинского торгпредства — просто не нашли. И искать не стали: пропал, ну и черт с ним.

Но ведь арестованные всего этого не знали! А хоть бы и знали, что бы изменилось? Мог бы Лангемак, например, даже зная о предстоящем аресте, скрыться? Да нет, конечно! Потому что по его понятиям чести это уже означало бы признание за собой некой вины. Именно благородство жертв было главным помощником палачей: никто никуда не бежал, все сидели на своих местах и надеялись, что их-то не арестуют, поскольку они-то ведь не вредители! Не бежали, потому что никак не могли уяснить для себя главного: во всем происходящем никакой нормальной человеческой логики нет, и всякие их умственные построения, рассчитанные с ее учетом, заведомо негодны.

Положение Ивана Терентьевича было мучительно еще и потому, что, ожидая многие дни допроса, он все-таки не мог к этому допросу подготовиться: сколько ни вспоминал, никаких грехов за собой не находил, не понимая, что для его уничтожения никакие реальные грехи и не нужны! Ощущай он себя хоть в чем-то виноватым, он мог бы придумывать разные варианты оправдания, а так неизвестно, к чему надо было ему готовиться. Единственное, что он мог предположить, так это то, что посадили его за знакомство с врагом народа Тухачевским, у которого он находился в подчинении несколько последних лет. Но ведь невозможно же арестовать всех, кто был связан с Тухачевским (собственно, почему невозможно?), ведь в подчинении у него была практически вся Красная Армия!

Можно даже предположить, что в то время, когда Ивана Терентьевича арестовали, дела ему окончательно еще не «слипили». Дальше-то все получилось исключительно удачно для следствия, потому что Клейменов стал как бы мостиком, соединяющим два «змеиных гнезда врагов и диверсантов» — Внешторг и РНИИ.

Внешторговцев начали арестовывать давно. Да и то сказать, кого, как не их, легче всего было заманить в свои сети Троцкому в Мексике, Пилсудскому в Варшаве и Гитлеру в Берлине? Клейменов знал, что еще в 1936 году арестован был Леонтий Александров, а в мае 37-го — помощник военного атташе в Берлине Иосиф Зенек. Но он не знал, что в одну ночь с ним арестовали заместителя председателя Технопромимпорта Бориса Шапиро, через три дня — начальника экспертного управления Шмавона Гарибова, потом председателя Техноимпорта Киселева, Николая Гасюка из Берлинского торгпредства, Алексея Хазова, Мордуха Рубинчика, Владимира Бельгова и других ответственных работников Наркомата внешней торговли. Все они на следствии признались во вредительстве и шпионаже, но, кроме Рубинчика, никто даже не упомянул фамилии Клейменова. Избитый до полусмерти, Рубинчик «признался» 14 ноября 1937 года, что по совместной нелегальной деятельности был связан с Клейменовым и Бельговым, которые работали в Берлине. Но когда начали дознаваться, как он встречался с Троцким и сколько миллионов лир получал за свои рапорты в Рим, Рубинчик опять принялся за старое: Троцкого никогда в жизни не видел, итальянским шпионом не был и никаких денег не получал. За такое упрямство его, как и большинство других арестованных внешторговцев, расстреляли. Второй раз фамилия Клейменова была произнесена на допросе Лангемака 15 декабря.

Главной темой раздумий узников внутренней тюрьмы НКВД была: «Какая же сволочь меня посадила?!», «Кто написал донос и что в нем написано?!» Между тем раздумья эти были совершенно пустопорожними. Конкретных инициаторов ареста могло и не быть, а мотивы обвинения даже человек с предельно развитым воображением представить себе был не в состоянии. Великого генетика Николая Ивановича Вавилова арестовали, в частности, на том основании, что отец его якобы жил в Германии. А отец нигде не жил, потому что к тому времени, вернувшись из Германии, умер в России.

Клейменов был арестован 2 ноября, а первые невнятные обвинения в его адрес прозвучали 14 ноября и 15 декабря, то есть уже после того, как он был арестован. Поэтому чей-то навет был для Лубянки безусловно желателен, но вовсе не обязателен, как и разные другие тормозящие набранное ускорение юридические «условности». Тому же Клейменову постановление об избрании меры пресечения сочинили только через месяц после ареста. И у прокурора утвердить забыли. И предъявить обвинение Ивану Терентьевичу на предварительном следствии тоже забыли. Ну, что сделаешь: работы невпроворот. При такой загрузке просто невозможно соблюсти все юридические тонкости. А потом, не зря же говорил генеральный прокурор товарищ Вышинский: «Надо помнить указание тов. Сталина, что бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей в частности, когда законы оказываются устаревшими и их надо отложить в сторону».

Дело Клейменова вел Соломон Эммануилович Луховицкий, натуральный садист[1]. И хотя Клейменов после долгих раздумий и советов с товарищами-сокамерниками решил, что на предварительном следствии плести на себя небывальщину все равно, очевидно, придется, такого мордобоя с первых минут допроса (атака Луховицкого была рассчитана на ошеломление и полное подавление противника) не ожидал — все-таки он участник гражданской войны, ромбы в петлицах. И как бы ни готовил себя Иван Терентьевич, не рассвирепеть он не мог, а потому и был избит до потери сознания, пришел в себя только после уколов, когда позвали фельдшера, едва дотащился до камеры, лег пластом и не поднимался до следующего допроса. На следующий день, 16 декабря, Луховицкий показал Ивану Терентьевичу признания Рубинчика и Лангемака и спокойно объяснил, что дело его

[1] В 1951 году Луховицкий был уволен из органов госбезопасности по болезни. В 1955 году, когда началась реабилитация осужденных сотрудников РНИИ, выяснилось, что Луховицкий применял запрещенные законом методы ведения следствия, зверски избивал заключенных, лишал их сна и пищи, фальсифицировал протоколы допросов. Он обвинялся главной военной прокуратурой и в необъективном расследовании дела Клейменова, «повлекшем наступление тяжелых последствий». Заместитель главного военного прокурора Терехов направил секретарю МГК КПСС Фурцевой письмо с просьбой привлечь Луховицкого к партийной ответственности, поскольку судить его после Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии от 27 марта 1953 года нельзя. Приказом по КГБ от 21 апреля 1955 года Луховицкий был уволен из органов госбезопасности уже не по болезни, а «по фактам, дискредитирующим высокое звание офицера». Пенсия этому заслуженному труженику была снижена до 1400 рублей.

безнадежно, если он не облегчит своей участи чистосердечным признанием. А потом так же спокойно сказал, в чем конкретно надо признаться. А признаться надо было в том, что в антисоветской организации в Берлинском торгпредстве он, Клейменов, состоял и сам завербовал в нее Киселева, Сердюкова и Тулупова. Надо признаться и в том, что в организации этой состояли Александровы — Леонтий и Степан, Алексей Хазов, Лазарь Газарх, Иосиф Зенек. И еще надо признаться в том, что в РНИИ тоже была антисоветская организация и в организации этой он, Клейменов, установил «контрреволюционную связь» с Лангемаком и от него узнал, что в организацию эту входят Валентин Глушко, Сергей Королев, Юрий Победоносцев и Леонид Шварц [1].

Вспоминая в камере все детали допроса, Иван Терентьевич подумал, что Луховицкий даже не спросил, в чем же конкретно заключалась его «контрреволюционная связь» с Лангемаком и что это вообще за связь. Лангемак был его заместителем, и «связь» у них была ежедневно. Это же замечательно: тем абсурднее будут выглядеть на суде все обвинения!

Следователь Георгия Эриховича Лангемака, 28-летний младший лейтенант Михаил Николаевич Шестаков [2], был, очевидно, еще не столь опытен и искусен, как его коллега Луховицкий, и с Лангемаком ему пришлось крепко повозиться: тот упорно отказывался признать себя виновным хоть в чем-то. Только на двенадцатый день уже теряющий связь событий и временами впадающий в состояние странного динамического беспамятства, когда он мог ходить, сидеть и говорить, находясь в то же время как бы за порогом мысли, Лангемак подписал заявление о том, что он «решил отказаться от своего никчемного запирательства и дать следствию показания о своей контрреволюционной деятельности».

Да, действительно, еще в 1934 году начальник института Клейменов завербовал его в антисоветскую организацию и он узнал от Клейменова, что в ней уже состоят инженеры Глушко, Королев и Победоносцев. Ну а дальше все вместе начали вредить, срывать сроки разработок нового вида вооружения, в частности тормозили сдачу армии реактивных снарядов, стартовых ускорителей, двигателей на жидком кислороде, которыми занимался Глушко, и так далее...

Прошло много часов, прежде чем ясность сознания Георгия Эриховича восстановилась, все происходящее расставилось по своим местам и вернулась обычная способность к холодному анализу. Лангемак не мог не радоваться своей находчивости на допросе. Как ловко удалось обвести вокруг пальца Шестакова, когда он обвинил Глушко в саботаже с кислородными двигателями! Ведь когда на суде начнут разбираться, сразу увидят, что Глушко всегда был противником этих двигателей, даже в книжке об этом писал и сам никогда двигатели на кислороде не строил! И как он, Лангемак, мог тормозить работы над реактивными снарядами, если совсем недавно, в марте нынешнего года, как раз за эти работы он приказом народного комиссара оборонной промышленности был премирован десятью тысячами рублей! С первого взгляда ясно, что все его показания — полнейшая чепуха. Не заметить этого суд просто не сможет. И вообще, бытовавшая в его камере мысль о том, что, признаваясь, надо называть как можно больше «соучастников», очевидно, не столь уж абсурдна. Действительно, невероятное количество «врагов народа», соизмеримое с самим народом, оставшимся на свободе, должно в конце концов убедить Сталина в том, что Ежов — преступник. Ну как, скажем, может быть крестьянский паренек Клейменов врагом Советской власти, если он дрался за нее на фронте, если власть эта все ему дала: образование, положение в обществе, высшее командирское звание...

[1] Сотрудники РНИИ. Леонид Эмильевич Шварц, один из создателей снаряда знаменитой «катюши», не был репрессирован, как и Юрий Александрович Победоносцев (1907—1973). Шварц погиб в 1944 году при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе.

[2] Старший помощник главного военного прокурора П. Лепшин, занимавшийся реабилитацией Г. Э. Лангемака, писал 7 января 1956 года в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС: «...считаю, что за фальсификацию обвинения против Лангемака Шестаков должен понести партийную ответственность». Как объяснили юристы, судить его было бесполезно ввиду истечения срока давности его преступлений.

Мысль об очевидной вздорности всех его признаний настолько крепко засела в голове Георгия Эриховича, что не стоило большого труда убедить его не отказываться от своих показаний на суде. Он и не отказывался. Ждал, что вот начнут читать дело и... А Клейменов отказался. Прямо сказал: все, что говорил,— ложь! Виновным себя не признаю! Ему снова прочли показания Рубинчика и Лангемака.

— Это тоже все ложь! — твердо стоял на своем Иван Терентьевич.— Я ни в чем не виноват.

Суд длился минут 15—20: понедельник вообще день тяжелый, а тут еще очень много дел, и входить во все тонкости судьи просто не могли. Да и надо ли, когда и так все ясно?..

Иван Терентьевич Клейменов и Георгий Эрихович Лангемак были приговорены к расстрелу. Приговор обжалованию не подлежал и приводился в исполнение в день оглашения. Стояли сильные морозы, и, когда везли на расстрел, Клейменову в пилотке было холодно.

Как раз в январе 1938 года Сталин задумывался о чистоте своей короны. Положение сложное: с одной стороны, все, что происходит в стране, должно происходить с ведома и благословения вождя, с другой — теперь, когда он обмазал кровью для гарантии будущей преданности возможно большее количество самых приближенных соратников — «людей с сильными лицами», как назвал их в 1939 году Иоахим Риббентроп,— от всей этой жути надо отмежевываться. На январском Пленуме было признано, что ошибки имели место. Было опубликовано специальное постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». В пункте 7 этого постановления были просто замечательные слова: «Обязать партийные организации привлекать к партийной ответственности лиц, виновных в клевете на членов партии, полностью реабилитировать этих членов партии и публиковать в печати свои постановления в тех случаях, когда предварительно в печати были помещены дискредитирующие члена партии материалы».

И действительно, кого-то выпустили из тюрьмы, кого-то восстановили в партии: в 1938-м — 77 тысяч, на следующий год — еще 65 тысяч, но на деле ничего не изменилось, аресты продолжались, может быть, только поменьше стали писать о том, как туго приходится врагам в «ежовых рукавицах». Ничего не изменилось и в методах следствия. Валентина Петровича Глушко били в марте ничуть не меньше, чем его начальников в декабре. Однако ход самого «Дела РНИИ» значительно замедлился: обвинительное заключение Глушко комиссар госбезопасности III ранга НКВД Амаяк Захарович Кобулов завизировал только через год после ареста Валентина Петровича. А год тогда — срок огромный!

В НКВД была своя табель о рангах: дело делу рознь. Глушко, Королев, которые мелькали в показаниях Клейменова и Лангемака,— кто они такие? Это сейчас мы читаем и ужасаемся, кого посадили,— академики, лауреаты, гордость ракетной техники, пионеры мировой космонавтики! Но тогда-то это были безвестные инженеришки какого-то там института [1]. Через пятьдесят лет после описываемых событий на мой вопрос: «Почему в 1937—1938 годах из сотен сотрудников РНИИ посадили всего семерых?» — Мария Павловна Калянова, секретарь комсомольской организации РНИИ в 1938 году, ответила: «Думаю, потому, что нас не принимали всерьез...»

И немалая доля правды в этом объяснении есть. Расстрелами Клейменова и Лангемака РНИИ был обезглавлен. Теперь предстояла подчистка, отлов мелкой рыбешки. На такой работе трудно проявить себя ярко, заметно. Ну кто такие эти мальчишки со своими огненными горшками, кому охота с ними возиться? Надо брать пример с того же Соломона Луховицкого, который «слепил» дело наркомпищепрома. Наркома Гилинского подвел под расстрел! Это же вся страна читает и дрожит! А тут какие-то газогенераторы, прости господи. Короче, дальнейшая разработка «Дела РНИИ» не сулила ничего интересного.

[1] После ареста Королева были арестованы еще три сотрудника РНИИ.

Однако не прислушаться к голосу научно-технической общественности тоже нельзя. А научно-техническая общественность была представлена Андреем Григорьевичем Костиковым. «Ежовые рукавицы» словно специально корчевали все препятствия на его пути. Арест Клейменова и Лангемака делает Костикова главным инженером, а затем и начальником института. Арест Глушко убирает реального конкурента и самого последовательного научного оппонента. Только Королев, этот вечно спорящий, упрямый, драчливый Королев, остается, пожалуй, единственно реальной угрозой его безраздельному владычеству в ракетной технике. И пока будет Королев, полновластным хозяином в институте ему не быть.

— Это вам даром не пройдет...

Незадолго до смерти, заехав к вдове Клейменова Маргарите Константиновне, Королев скажет ей:

— Таких, как Костиков, надо добивать безжалостно. Его счастье, что умер...

Через тридцать с лишним лет после описанных событий деликатнейший, очень осторожный в своих оценках Евгений Сергеевич Щетинков скажет:

— У меня впечатление, что Костиков причастен к арестам в РНИИ...

В 1957 году, когда в 23-м томе второго издания Большой Советской Энциклопедии была опубликована статья о Костикове, Королев и Глушко — тогда уже члены-корреспонденты Академии наук СССР, Герои Социалистического Труда,— отправили в редакцию БСЭ письмо, в котором рассказали об истинном вкладе Андрея Григорьевича в нашу ракетную технику. В этом письме, в частности, говорилось: «В 1937—1938 гг., когда наша Родина переживала трудные дни массовых арестов советских кадров, Костиков, работавший в институте рядовым инженером, приложил большие усилия, чтобы добиться ареста и осуждения как врагов народа основного руководящего состава этого института...»

Так что «помощь научно-технической общественности» имела место, и тем не менее «Дело РНИИ» двигалось в темпе, который не мог не опечалить Андрея Григорьевича. При самом беглом чтении дел сразу бросалось в глаза: Лангемак утверждает, что во вредительскую организацию его вовлек Клейменов, от которого он узнал, что там же уже состоят Глушко и Королев. Клейменов доказывает, что о вредительстве Глушко и Королева он узнал от Лангемака. Минуточку, почему никто не обращает внимания на одну маленькую деталь: коль скоро и в показаниях Клейменова, и в показаниях Лангемака везде эти две фамилии рядом: Глушко — Королев, то почему же Глушко арестован, а Королев разгуливает на свободе? Ну хорошо, ну не разгуливает, а лежит в больнице с трещиной в черепе, дома долечивается. Но хватит уже, полежал, пора брать...

Не сразу остановили патефон: «Некому кудряву заломати...».

Один из вошедших поднял иглу, двинул рычажок стопора.

Королев сидел на стуле посередине комнаты. Вошедших удивило, что он не успокаивает жену, не говорит тех непременных слов, которые говорят все, слов, которые они слышат каждую ночь: «Это — недоразумение, все завтра же разъяснится...» Обыск скучный, по давней, в самодержавное прошлое уходящей схеме: от дверей по часовой стрелке. Обыски делали, как правило, формально: искавшие знали, что ничего интересного для себя не найдут. У военных иногда еще попадалось незарегистрированное оружие — прямое доказательство террористических намерений, а у штатских — от силы завалявшаяся где-нибудь брошюрка Троцкого. Но редко, время было такое — только объявят в газете: «враг»,— все тут же сами сжигали, выбрасывали, портреты в книгах заливали тушью...

Ксения Максимилиановна заметила: тот, который делал обыск, нагнувшись над ее туалетным столиком, ловко вытянул из открытой шкатулки малахитовые запонки, которые ее отец подарил Сергею на свадьбу. Она тоже сидела на стуле посередине комнаты.

— Соберите вещи,— мирно сказал второй чекист, безо всякого интереса листавший книги.

Третий, подсев к письменному столу, писал протокол. Дворник дремал в прихожей на табуретке.

Ксения Максимилиановна не сразу сообразила, о каких, собственно, вещах идет речь. Потом поняла: вещи Сергею в тюрьму. И в этот момент испугалась по-настоящему, испугалась за Сергея, за себя, за Наташку, вообще за всю будущую жизнь. Сколько надо собрать вещей и каких, она не знала, а спрашивать не хотела. Не то чтобы боялась, а не хотела, ей неприятно было всякое, пусть даже вынужденное, общение с этими людьми.

Обыск и сочинение протокола продолжались до утра: Сергей начал одеваться, когда за окном уже было совсем светло, позвенькивали трамваи. Написал доверенность на получение зарплаты. Надел кожаное пальто, еще гирдовское, вечное. Уходя, в прихожей обнял Ксану и, прямо глядя ей в глаза, сказал спокойно и просто:

— Ты знаешь: вины за мной никакой нет.

4

Арест Королева санкционировал Рагинский — заместитель Генерального прокурора Вышинского. К великому сожалению Андрея Януарьевича, когда Ежова арестовали и трон Вышинского качнулся, Рагинским пришлось пожертвовать. Постановление на арест Королева писал Жуковский — это человек Ежова. Основания для ареста: показания Клейменова, Лангемака, Глушко — все трое называли Королева участником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». Следствие по делу Сергея Павловича вели младшие лейтенанты, оперуполномоченные Быков и Шестаков.

Фамилия Шестакова нам уже встречалась: он «лепил» Лангемака. На мой запрос в управление кадров КГБ пришел ответ с указанием адреса Михаила Николаевича — оказывается, жив-здоров. Я немедленно к нему поехал.

...Дверь отворил невысокий крепкий человек с живыми карими глазами. На аккуратной голове его темные волосы резко, как словно бы это тонзура монаха, переходили в лысинку чистого блеска. Михаилу Николаевичу шел 80-й год, но в движениях его не было ни старческой заторможенной немощи, ни мелкой прерывистой суетливости—спокойный, опрятный, сильный еще отставной полковник.

Познакомились. Со всей возможной деликатностью сообщил я о цели моего визита, упирая главным образом на то, что меня более всего интересует поведение Королева во время допросов. Каким он был: подавленным или, напротив, агрессивным, молчаливым, словоохотливым, оживленным, угрюмым?

— Какого Королева вы имеете в виду?—спросил, в свою очередь, Шестаков, глядя мне в глаза честным, прямым взглядом.

— Сергея Павловича. Из РНИИ. Впоследствии — Главного конструктора ракетно-космической техники...

— Не помню... Решительно не помню.

— Но ведь Королев сам называет вас своим следователем в письме к Сталину. Согласитесь, вряд ли, находясь в тюрьме, он рискнул бы писать неправду товарищу Сталину.

— Удивительно. Здесь какая-то ошибка...

— Но и в письме к вашему непосредственному шефу — Лаврентию Павловичу Берии— Королев тоже называет вашу фамилию. Берия хорошо знал своих сотрудников, и если бы это была неправда, он мог легко изобличить автора письма.

— Но я не помню Королева!

И вдруг ужасная мысль пришла мне в голову: а может быть, Шестаков говорит правду? Может быть, он действительно не помнит Королева? Может быть, раскрыв в январе 1966 года «Правду» и увидев портрет академика в траурной рамке, он не нашел знакомых черт?

Я помню всех, кому давал пощечину, даже мальчишек в школе. Существует только одно объяснение того, как мог Шестаков действительно забыть человека, которого он избивал (а что, как не побои, имелось в виду под термином «физические репрессии» в письме Королева к Сталину и Берии?): таких людей было много! Их было так много, что все их окровавленные лица превратились в памя-

ти его в какой-то сплошной мокрый красный ком. Эта страшная работа была столь ординарна для него, неинтересна, а главное — длилась так долго, что требовать, чтобы он запомнил свои жертвы, так же нелепо, как требовать от кассирши универмага, чтобы она запомнила лица всех своих покупателей.

— Да я вообще не занимался следствием,— продолжал тем временем Шестаков,— я был на оперативной работе.

— А в чем она заключалась?

— Ну, это уже наши профессиональные дела...

— Михаил Николаевич, но если вы не занимались следствием, зачем же вас в 1955 году вызывали в Главную военную прокуратуру, где состоялся разговор малоприятный, помните? Дело Лангемака...

Темные глазки метнулись: он не ожидал, что я и это знаю. Движение было быстрым, как щелчок затвора фотоаппарата, но он «засветился» в этот миг. Теперь я знал, что он помнит Лангемака, и Королева тоже не может не помнить. Ну, слава богу, а то мы уж было начали возводить на человека напраслину...

— Видите ли, я действительно давал показания по делу Лангемака, поскольку однажды заходил в кабинет, где его допрашивали...

— Вот и славно! Расскажите, какой это был кабинет: большой, маленький, куда окна выходили, какой свет, где сидел Лангемак, а где следователь?

Шестаков улыбнулся:

— Помилуйте, все это было пятьдесят лет назад. Неужели вы могли бы запомнить комнату, в которую вы случайно зашли пятьдесят лет назад?

— Ну, хоть и пятьдесят лет прошло, но Лангемака вы помните. А Королева не помните?

— А Королева не помню. Да, много лет пролетело... И не заметил, как годы бегут, а сейчас вот здоровье никудышное, на днях опять в госпиталь кладут.

Потом пришлось выслушать жалобы отставного полковника на нашу медицину.

На том мы и расстались с Михаилом Николаевичем.

Следователя Быкова разыскать не удалось, жив ли он — неизвестно. Единственный человек, кто может сегодня рассказать о Королеве во время следствия,— Шестаков. Он не расскажет никогда. Я прочитал много дел того времени, дел, которые вели следователи Клейменова, Лангемака, Глушко. Валентин Петрович Глушко неохотно, кратко, но все-таки рассказал мне, что вытворяли с ним на Лубянке. Не думаю, что для Королева были сделаны какие-нибудь послабления — кто бы и зачем их делал? Я не знаю точно, как все было с Королевым, но я знаю, что было с десятками людей равного с ним бесправия в то же время и в том же месте.

Уверен, что Королева били и мучили. В ящике письменного стола, как рассказывал Валентин Петрович Глушко, у следователя всегда лежала разная пыточная мелочь: куски резиновых шлангов с металлом внутри, плетенки из кабеля со свинцовой изоляцией, бутылочные пробки со вставленными внутрь булавками так, что жало выходило наружу на два-три миллиметра. Наверняка Сергея Павловича ставили на «конвейер», как ставили Туполева,— это когда заключенный стоит круглосуточно, а следователи меняются каждые восемь часов. От «конвейера» обычно лопаются сосуды на ногах, и человек падает без сознания. После обработки физической, как правило, начиналась психическая обработка с использованием весьма оригинальных логических построений:

— Это глупо: отпираться от вещей очевидных. Вы же инженер, можете рассуждать здраво. Ну, давайте вместе разбираться. Вы работали в НИИ-3?

— Работал.

— Институтом руководил Клейменов. Троцкист. Немецкий шпион. Вредитель. Это он сам признал. Вы выполняли его указания?

— А как же можно не выполнять указаний начальника института, в котором ты работаешь?

— Вопросы задаю здесь я. А вы—отвечаете. Вы выполняли указания Клейменова?

— Выполнял.

— Слава богу! Вы понимаете, что, выполняя вредительские указания, вы тем самым совершали вредительство?

— Но ведь весь институт так или иначе выполнял указания Клейменова...

— Я не спрашиваю обо всем институте. С институтом мы еще разберемся. Вы за себя отвечайте. Вот ваш дружок Глушко понял, что запираться глупо, и честно пишет: «Вел подрывную работу по развалу объектов, необходимых для обороны страны с целью ослабления мощи Советского Союза, тем самым подготовлял поражения СССР в войне с капиталистическими странами... Сорвал снабжение армии азотно-реактивными двигателями, имеющими огромное оборонное значение...»

— Да почему же «сорвал»? Он их доводил до ума. ОРМ-65 — хороший двигатель, я с ним работал...

— ОРМ-65? — задумчиво переспросил следователь, листая бумаги дела.— Есть и ОРМ-65. Вот слушайте: «В 1936 году Глушко с целью оправдать свою бездеятельность подготовил для сдачи азотно-реактивный двигатель ОРМ-65 для установки на торпедах и ракетоплане, который им же, Глушко, вместе с Королевым при испытании был взорван с целью срыва его применения в РККА...» Очень интересно получается. Значит, вы признались, что работали с двигателем ОРМ-65, так?

— Работал. Можете посмотреть протоколы горячих испытаний...

— У нас с вами свои протоколы. И не менее горячие! Итак, вы признаете, что работали с ОРМ-65, а Глушко признает, что работа эта — вредительская. Стало быть, вы кто? Вредитель! Зачем взорвали двигатель? А? Говорите честно. Ведь легче будет...

— Да ничего мы не взрывали! Он цел! Можете поехать в институт и посмотреть...

— Куда мне ехать, я сам решу. Не мое дело по институтам ездить, а мое дело получить от тебя показания, узнать, кто там еще затаился в вашем институте. И ты мне их назовешь! Всех назовешь! Назовешь, выблядок фашистский!!!

Начинался следующий круг...

В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР Ефуни. Сергей Наумович рассказывал мне о болезни Королева и операции, во время которой Сергей Павлович умер. Сам Ефуни принимал участие в ней лишь на определенном этапе, но, будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го главного управления Минздрава СССР, знал все ее подробности.

— Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством,— рассказывал Сергей Наумович.— Для того, чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королев не мог широко открыть рот. У него были переломы обеих челюстей...

— У Сергея Павловича были сломаны челюсти? — спросил я жену Королева Нину Ивановну.

— Он никогда не упоминал об этом,—ответила она.— Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал...

Королев пишет ясно: «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королеву, я не могу. К сожалению, никто этого уже не сможет доказать. Даже доказать, что ударил,— нельзя. Что просто толкнул. Вновь повторю: я ничего не могу доказать, нет у меня доказательств.

Днем после ареста Сергея Ксана поехала в приемную НКВД на Кузнецкий мост. На вопрос, в чем конкретно обвиняют мужа, младший лейтенант, поворошив бумаги, ответил коротко:

— Арестован. Ведется следствие...

Когда она вернулась домой, позвонила свекровь, начала спрашивать что-то о внучке...

— Мария Николаевна! Сергея больше нет! — крикнула Ксана, бросила трубку и, упав на диван, завыла, давясь слезами. Это были ее первые слезы с тех пор, как Сергея увели.

Когда Мария Николаевна примчалась на Конюшковскую, дверь в квартиру оказалась не заперта, в прихожей были разбросаны марля, бинты, какие-то пузырьки (при обыске растрясли домашнюю аптечку), и она подумала, что с Сергеем случилось что-то страшное.

— Умер? — спросила она спокойно, входя в комнату.

— Нет, арестован НКВД.

— Ну, слава богу!

— Вы с ума сошли!!!

— Но ведь он жив!!!

Вечером приехали старики Винцентини. Начался семейный совет. Макс сказал дочке:

— Если ты начнешь хлопотать, тебя тоже посадят.

— Хлопотать надо обязательно! — Мария Николаевна воплощала деятельную энергию.— Я пойду в НКВД и напишу письмо Сталину!

В НКВД домашние ее не пустили, а письмо Сталину она написала. Может быть, оно до сих пор лежит в архивах, хотя невозможно представить себе такое хранилище, которое вместило бы все письма к Сталину. Ответа, разумеется, не получила, но энергия ее не иссякла. Через некоторое время Мария Николаевна посылает Сталину телеграмму. Пройдя по Великому Кольцу Жалоб, телеграмма эта осела в архивах прокуратуры. Своеобразный документ эпохи:

«Москва. Кремль. Сталину. Дополнительно моему письму 15 июля сего года делу сына Королева Сергея Павловича работавшего институте номер 3 НКОП арестованного органами НКВД 27 июня сего года. Убедительно прошу срочно ознакомиться письмом. Сын мой недавно раненый с сотрясением мозга исполнении служебных обязанностей находится условиях заключения, каковые смертельно отразятся его здоровье. Умоляю спасении единственного сына молодого талантливого специалиста инженера ракетчика и летчика, принять неотложные меры расследования дела. Мать Королева Мария Баланина. Москва, Октябрьская, 38, кв. 236. 22 июля 1938 года».

Счастье наше в том, что чем дальше будет отодвигаться от нас то время, когда Сергей Павлович Королев сидел в сегодня уже не существующей тюрьме, тем меньше сможем мы понять его, вникнуть в его переживания, уяснить себе психологию его поведения. Да, это счастье, что нам, годящимся Королеву в дети и внуки, сделать это трудно, и, дай бог, чтобы детям внуков наших это стало совсем невозможно. Почти уверен, что ход моих размышлений по этому поводу неверен и приблизителен, но ведь берем же мы на себя смелость говорить о непреклонности воли Галилея или Бруно, выстраивать их внутренние монологи, проникать в психологию людей, отделенных от нас веками. А Королев — наш современник.

Интересовался ли он политикой? По свидетельству людей, знавших его в те годы, не интересовался и, будучи по природе законченным технарем, искренне не понимал, как ею можно всерьез интересоваться. Он не очень вникал в разногласия Троцкого со Сталиным, и Тухачевский или Орджоникидзе, например, занимали его лишь в той степени, в какой эти люди могли ускорять или тормозить его работу, которая волновала его несравненно больше, чем заботы всех политиков мира, вместе взятых.

Построй он тогда ракету, которую он построил через двадцать лет... Впрочем, даже ту, которую он построил через десять,— и она встала бы тогда в один ряд с перелетами через полюс, метрополитеном, песнями Дунаевского, палаткой Папанина, с Магнитогорским комбинатом, «Тихим Доном», костромскими буренками-рекордистками,— со всем лучшим, что было создано в нашей стране ее гражданами, создано их умом, талантом и трудом, но провозглашалось лишь итогом следования гениальным предначертаниям одного человека, пополняя ларец исторических свершений великого вождя всех времен и народов. Королев еще не успел сделать свой взнос. Но даже если бы и успел, это вовсе не означало бы, что колесо его жизни минует катастрофическую колею. Слава Мейерхольда или Туполева ушла за границы страны, и что? Да объяви тогда, что в сплоченный коллектив папанинцев затесался матерый японский шпион, скажем, Кренкель,— никто бы не удивился... Моментально бы заклеймили...

Но не будем фантазировать. Будем размышлять о том, что известно. Известно, например, что Королев, как и большинство его коллег по РНИИ, жил жизнью довольно изолированной. В самых общих чертах они представляли себе, как рождаются колхозы, как возводятся великие стройки. Что им говорили по радио, о чем они читали в газетах, то они и знали. И если Сталин, который уже в середине 30-х годов становится «гениальным», которого очень умный человек Тухачевский называет «великим», если этот гениальный, великий политик утверждает, что по мере роста и укрепления страны классовая борьба будет ожесточаться, то как можно ему не верить?! Королев всегда с большим уважением относился к специалистам, а в этом вопросе Сталин был для него как раз авторитетным специалистом. А потом — денно и нощно — по радио, в газетах: Сталин прав, прав, прав! И думаешь: да все, наверное, не так просто, как казалось раньше. То, что враги Советской власти существуют,— это никому и доказывать не надо, это всякому ясно. Другое дело, что распознать их действительно трудно. Но распознают! Припирают к стенке! И они сознаются! Сами сознаются! Кто бы мог поверить, что Тухачевский —глава антисоветского заговора? Генерал армии А. В. Горбатов, отвечая на этот вопрос в своих мемуарах, пишет: «В конце концов, перебрав различные объяснения, я остановился на самом ходком в то время: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит». Этот вывод имел кажущееся основание в том, что М. Н. Тухачевский и некоторые другие лица, вместе с ним арестованные, происходили из состоятельных семей, были офицерами царской армии... «Очевидно,— говорили тогда многие, строя догадки,— во время поездок за границу в командировки или на лечение они попали в сети иностранных разведок».

Разве расстреляли бы таких высоких военачальников, если бы не было за ними никаких грехов, да еще сейчас, когда так много говорят о грядущей войне, сейчас, после Испании?! Ну не будет же Сталин рубить сук, на котором сидит! Значит, были грехи, и немалые...

А Клеймеиов с Лангемаком? Ведь Клейменов действительно жил в Берлине. Могли его там завербовать? А почему не могли? Лангемак был царским офицером, кто ему в душу влезет? И здесь из темных, до поры запретных глубин сознания всплывала страшная, миллионы людей сгубившая своим гражданским наркозом формула: «Просто так у нас не сажают!» А давайте-ка разберемся. Разве не мешали Клейменов и Лангемак ему, Королеву, развивать жидкостные ракеты, строить ракетоплан, то есть именно те объекты, которые (по мнению Королева!) представляют огромную ценность для обороны страны? Разве не тормозили они его работы, не вставляли ему палки в колеса? Но ведь он-то точно не враг народа! И если они ему мешали, то враги они! Если они оговорили его, втянули в свою шайку, посадили за решетку, значит, они вдвойне враги!..

Стоп! Так нельзя! Нельзя! Да, они не соглашались с ним, спорили, всегда старались протолкнуть свои реактивные снаряды впереди его ракетоплана, не верили в жидкий кислород и крылатые ракеты, но ведь техническая близорукость и предательство — это все-таки не одно и то же. И, объективно говоря, у них ведь получались неплохие реактивные снаряды, вне зависимости от того, нравятся они ему или не нравятся. Но если они не враги народа, зачем же они втянули его в эту кровавую историю?! Ведь они же знали, что он не вредитель, знали, что ни в какой антисоветской организации он не состоит, и втянули! Однако об их показаниях только говорят, а самих документов не показывают. А если этих показаний не было? И другое возможно: показания есть, но даны они под пыткой. Тогда все,

вся жизнь теперь сужается до одного-единственного, обязательного условия всего его существования: не назвать никого, не утопить других людей. На иное сил уже не хватит...

Пройдет много дней и ночей на нарах теплушек, в камерах пересылок, в палатках далекой Колымы, много долгих дней и ночей подневольного рабского труда на заводах и в шарагах Москвы, Омска, Казани, прежде чем сквозняки эпохи рассеют дым сталинского ладана в его голове, прежде чем рассосется зловонная жижа подозрительности ко всем и ко всему в его сердце, прежде чем сквозь мутное и кривое стекло искаженной истории сумеют глаза его разглядеть истинные лица своих товарищей и осознать себя участником одной из величайших трагедий в истории человечества.

Королев Сергей Павлович обвинялся в деяниях весьма серьезных, а сказать точнее — в преступлениях, обозначенных в статье 58, пунктах 7 и 11 Уголовного кодекса Российской Федерации. О 58-й статье сегодня слышали все, но именно слышали, а толком о ней мало кто знает и узнать трудно: в современном Уголовном кодексе ее нет. А статья и пункты эти — страшные, беспросветные.

Пункт 7 — это «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества».

Пункт 11 еще страшнее: «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке и совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения преступлений, предусмотренных настоящей главой».

Столь подробное цитирование старого Уголовного кодекса умышленно: прочитав все это, острее можно представить себе состояние совершенно невинного человека, которого в подобных злодеяниях обвиняют. Как должен был закричать тот же Королев: «Помилуйте, но какое ко мне все это имеет отношение?! Какую промышленность или кредитную систему я подрывал, в интересах каких капиталистических организаций действовал, какие преступления подготавливал?!» Задача следователя и состояла, помимо получения признания, в доказательстве того, что конкретные действия арестованного как раз «подпадают» под данные пункты статьи. А поскольку сформулированы они были с такой широтой, что охватывали все горизонты деятельности любого работающего человека, сделать это при желании и даже минимальных навыках было совсем нетрудно. В чем же конкретно обвинялся Королев?

Первое и главное: он член контрреволюционной вредительской организации. Это доказывается показаниями Клейменова, Лангемака и Глушко. Никаких документов, никаких вещественных доказательств, ничего, кроме расплетающихся подписей трех до полусмерти забитых людей.

По этому поводу Королев писал: «...я никогда, нигде и ни в какой антисоветской контрреволюционной организации не состоял и ничего об этом не знал и не слыхал. Мне 32 года, отца моего, учителя в городе Житомире, я лишился 3-х лет от роду. Мать моя и сейчас учительница в Дзержинском районе Москвы. Я вырос при Советской власти и ею воспитан. Все, что я имел в жизни, мне дала партия Ленина — Сталина и Советская власть. Всегда, всюду и во всем я был предан генеральной линии партии, Советской власти и Советской Родине».

Второе обвинение: разработка ракет производилась без чертежей, расчетов, теоретического обоснования, то есть ракеты-то вроде и были, но на самом деле это не ракеты, а только одна видимость, обман, саботаж, вредительство. Но ведь все чертежи, расчеты — в секретных тетрадях, они хранятся, их можно посмотреть. Протоколы испытаний и продувок в аэродинамических трубах, теоретические обоснования в сборниках «Ракетная техника», которые издавал институт, их вышло уже пять, все акты экспертиз Технического института РККА, Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, НИИ № 10 НКОП и других учреждений — все это существует! Не сожгли, не уничтожили, даже не запрятали — все лежит на своих местах. Надо просто взять и посмотреть, и все обвинение лопается.

Следующий пункт: специально разрабатывал неудачную ракету 217, чтобы задержать остальные, более важные разработки. Конечно, неудачи в РНИИ у Королева были, и немало, но как раз ракету 217 можно отнести к числу удач. Заказчик — НИИ № 10 в Ленинграде — ракету принял, есть акты. В сравнении с другими разработками Королева ракета 217 — более чем скромный объект, который просто не мог ввиду малого объема работы затормозить другие ракеты. А потом, опять-таки, на все есть документы...

Еще одно обвинение: не разработана система питания ракеты 212, что сорвало ее испытания. Но ведь система, даже несколько ее вариантов, реально существует в металле, ее можно пощупать! И испытания проводились многократно, есть протоколы! А проводить испытания без системы питания невозможно!

Королева обвиняют в том, что он конструировал негодные ракетные двигатели, которые работали только 1—2 секунды. «Работы над ракетными двигателями мною никогда не производились,— пишет Королев,— а велись в другом отделе института и другими лицами». Это истинная правда: за всю жизнь Королев не разработал ни одного ракетного двигателя.

Наконец, упорно доказывалось, что еще в 1935 году они с Глушко разрушили ракетный самолет. Самое замечательное в том, что разрушить его в 1935 году невозможно было при всем желании хотя бы потому, что он тогда не существовал. И как же он разрушен, если весь 1938 год на нем регулярно проводились испытания?! «В день моего ареста 27 июня 1938 года,— пишет Королев,— он целый и невредимый стоял в НИИ-3».

Что ни пункт, то откровенная, даже ничем не замаскированная «липа». Не потрудились придать всему делу хотя бы видимость чего-то серьезного. Все обвинение рассыпается при первом же, самом поверхностном прикосновении следствия. Но никакого следствия не было. Было истязание.

В мае 1955 года в заявлении в Главную военную прокуратуру с просьбой о реабилитации Королев писал о тех днях: «Во время следствия по моему делу я ничего не мог доказать и объяснить, так как следствие в то время велось в совершенно недопустимой форме и обстановке. Вернее было бы сказать, что никакого следствия по существу дела и предъявленных обвинений в то время не производилось.

Меня обвиняли во вредительстве в области новой техники, где я работал в то время. Более неправдоподобное и нелепое обвинение трудно себе представить, так как работа в области новой техники всегда была для меня целью всей моей жизни и любимым делом».

Каково же ему было тогда, в 38-м, если и семнадцать лет спустя волнение его отчетливо выступает за этими строчками, если и в 55-м душу его жжет горечь, обида за надругательство над ним?

Очень плохо было ему тогда. Королев совершенно подавлен морально. Это видно из его письма к первой жене — Ксении Максимилиановне Винцентини. «Я сильно, очень сильно устал от жизни. Я не вижу в ней для себя почти ничего из того, что влекло меня раньше... Тебя, может быть, огорчит столь резкое падение моего интереса к жизни вообще, но должен тебе сказать, что это вполне обоснованное положение. Во-первых, я не вижу конца своему ужасному положению. Будет ли ему конец скоро, в этом году? Никто не знает, и, быть может, еще год, два и более суждено мне томиться здесь. Во всяком случае, рассчитывать почти наверное нечего, затем, вообще на что можно рассчитывать дальше мне, ибо я

всегда снова вероятный кандидат. Да, кроме того, это значит всегда отягощать твою и Наташкину судьбу. Я даже не знаю, сможем ли мы снова жить вместе, вернее, могу ли я и должен ли я жить вместе. Я боюсь об этом говорить и думать...»

Поскольку обвинение, как говорится, на ногах не стояло, ему надо было срочно придумать какие-то костыли. Такими костылями не только в деле Королева — в тысячах других дел — были акты «Технической экспертизы». Причем не спрашивали: «Вредил или не вредил?» Сам факт вредительства не обсуждался. Требовалось указать, «как конкретно вредил».

Начальник РНИИ Слонимер назначил специальную экспертную комиссию по делу Королева. Составлен был акт за подписями четырех человек: Костикова, Душкина, Дедова, Каляновой. Позднее Королев напишет: «Этот акт пытается опорочить мою работу. Однако заявляю вам, что он является ложным и неправильным. Лица, его подписавшие, никогда не видели в действии объектов моей работы. Приводимые в акте «факты» вымышлены...»

Откуда и как появилась эта четверка? Слонимер от подписи ушел: человек-де новый, с Королевым работал очень недолго. Костиков подписал не раздумывая. Он же привлек Душкина — нужен был хотя бы один человек, что-то понимающий в тематике Сергея Павловича. Душкин был человек способный, а каждый способный человек кому-то мешает. Он очень боялся, что и на него напишут донос, боялся ареста. Наверное, подумал, что подпись будет замечена «там», расписывался не во вредительствах Королева, а в собственной лояльности. Дедов работал в отделе Королева. Он был из рабочих, с большим трудом закончил институт, но инженера из него так и не получилось. Подписал, потому что начальство велело. Маруся Калянова была на взлете: фабричная девчонка окончила Академию химзащиты, попала в РНИИ, а после ухода Николая Гавриловича Черньтшова стала заведовать химическим отделом. Румяная, очень энергичная, наглая, совершенно недумающая: «Зря у нас не сажают». В 37-м ее уже приняли кандидатом в члены партии, и подпись ее под актом можно было рассматривать как исполнение партийного поручения: помочь товарищу Сталину разоблачать врагов народа.

Акт, подписанный этим квартетом 20 июля 1938 года, разрешал Королева уничтожить:

«Методика работы Королева С. П. была поставлена так, чтобы сорвать выполнение серьезных заказов путем создания определенных трудностей, запутывания существа дела, ведением кустарного метода работы и непроизводительным расходованием средств...»

Через полвека я нашел Марию Павловну Калянову. Вспоминали РНИИ. Она рассказывала, кто в какой комнате сидел, как одевался, ее прекрасная память сохранила много ценнейших мелких наблюдений, на которые лишь женщины способны. Когда стали вспоминать страшные давние годы, сказала убежденно: «Я не допускала мысли, что Клейменов, Лангемак, Глушко и Королев — враги народа».

Даже мысли не допускала!

Я спросил без паузы, среди беседы:

— Мария Павловна, вот вы говорите, что Королев был душевным, симпатичным молодым человеком. Вы совершенно не были связаны с ним по работе, значит, какое-либо соперничество исключается. Что же побудило вас подписать акт технической экспертизы для НКВД в 38-м году? Ведь вы же не могли не понимать, что этим актом вы губите человека...

Разом вспыхнула:

— Какой акт?! Не помню... Не может быть...

Ах, Маруся, Маруся («Меня все в институте Марусей звали...»), я сам с этой хроникой следователем стал и вижу: помните, все вы прекрасно помните. Просто не могли себе представить, что через пятьдесят лет отыщется эта проклятая бледная подпись и, приняв мое обличье, явится в вашу квартиру, что акт этот всплывет из пучин бездонного океана страшных бумаг тех лет—свидетельств слабости, если не трусости, трусости, если не подлости...

— Неужели там моя подпись? Просто не могу поверить... Очевидно, Пойда меня уговорил...

Да не судья я вам, Мария Павловна. Не обличения ради говорю все это, а с одной-единственной целью. Пусть всякий человек, и ныне взявший в руки неправедное перо, помнит: уберечься от правды невозможно, и есть на наше счастье среди всех судей, прокуроров и адвокатов главный, никогда не ошибающийся судья, прокурор и адвокат — Время. А что потом уж страшней — кара людская или приговор собственной совести,— каждый сам решит для себя...

Когда я уходил, Мария Павловна сказала несколько жеманно, тоном неискренним:

— Вы, право, так расстроили меня сегодня...

Но я поверил: я действительно ее расстроил.

Сколько раз вызывали Шестаков и Быков на допрос Сергея Павловича Королева, установить нельзя. Дело в том, что протоколы допросов чаще всего оформлялись лишь тогда, когда подследственный давал какие-либо показания. А если упрямился — что ж бумагу-то переводить...

В «Деле» Королева, хранящемся в архиве Комитета Государственной безопасности, есть только два протокола допроса: от 28 июня — сразу после ареста — и от 4 августа 1938 года.

Вот в этом втором протоколе (отпечатан на машинке, дата проставлена чернилами) записано: Королев признал, что является участником антисоветской организации, в которую в 1935 году был вовлечен Лангемаком и в котором состояли Клейменов и Глушко.

Однажды, уже в 1945-м, он скажет Ксении Максимилиановне:

— Я подписал, потому что мне сказали: если не подпишу, вас с Наташкой погубят...

Читая дела ракетных и авиационных специалистов, репрессированных в 1937—1938 годах, трудно обнаружить какую-либо закономерность в определении наказания. Поскольку все эти люди совершенно чисты, нельзя говорить об их вине. Можно рассматривать лишь количество обвинений, которые им предъявлялись. Однако за одно и то же «преступление» человека могли приговорить к десяти, а то и восьми годам лагерей, а могли и расстрелять. Расстреливали чаще лидеров, скажем, наркомов, их заместителей, крупных специалистов, которые объявлялись руководителями диверсионных группировок, как Клейменов, например. Но, скажем, знаменитые авиаконструкторы Туполев и Петляков, названные руководителями вредительской «русско-фашистской партии» в авиапроме, остались живы, в то время как рядовые «члены» этой «партии» были расстреляны. Одни «признавались» во всем и «признание» это постоянно подтверждали. Другие «признавались», но потом отказывались от своих показаний. Третьи — единицы — ни в чем не «признавались». Но мера наказания в каждой из трех групп арестованных тоже была различна. Не зависела она и от того, назвали вы «соучастников» или не назвали. «Высшая мера» назначалась, надо думать, не только до начала следствия, но еще и до ареста человека, и поэтому, скорее всего, не могла быть обусловлена его поведением и показаниями.

В этой слепой стихии, существовавшей без каких-либо законов и правил, было бездушие и фатализм молнии или урагана. Невозможно было ничего предвидеть, рассчитать, предположить развитие событий по некой схеме, работающей, пусть не по твоей, но хотя бы по какой-то логике. Ответить на все вопросы, объяснить, почему так или иначе, не могли ни законы, ни жертвы, ни даже палачи. Пожалуй, только один человек мог — Сталин, но он не любил это объяснять.

Королев, как и большинство других арестованных, очень ждал суда. Нервы его были на пределе. Он был человеком действия, из тех, для которых ждать

много хуже, чем догонять. Пусть хоть в тундру отправляют, но сидеть целыми днями в камере, задыхаясь от невероятной духоты и смрада, он больше не мог. В Москве отмечалась в те дни рекордная жара — до 35 градусов,— люди падали на улицах, а что творилось в переполненных тюремных камерах, и представить невозможно. Суд превращался в навязчивую идею, в недосягаемую мечту, и чем нетерпеливее он ждал суда, тем крепче становилась его уверенность, что там можно будет все объяснить, указать на несуразности обвинений, видные сразу, даже без изучения каких-либо документов, там можно, наконец, хотя бы попытаться оправдаться, то есть сделать то, что невозможно было сделать во время следствия. Живучесть этих заблуждений объяснялась тем, что если во время следствия арестованные могли общаться между собой, обмениваться трагическим опытом, то контакты между теми, кого уже судили, и теми, кто ожидал суда, исключались.

Как судят — рассказать было некому.

Королева судила 27 сентября 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством армвоенюриста Василия Васильевича Ульриха.

В галерее «героев 1937 года», кроме самого главного «героя», прежде других глаза останавливаются на трех портретах: благообразный теоретик человеконенавистничества Вышинский, маленький урканган с маршальскими звездами в петлицах[1] — Ежов и человек с лицом василиска — Берия. Предшественник Ежова — Ягода отходит куда-то на задний план, и совсем в тени остается Ульрих. Между тем Ульрих по масштабам своего человеческого перерождения, по почти мифологическому размеру причиненного им зла не только не уступает вышеназванным палачам, но даже превосходит их. Если допустимо рассуждать формально, то, может быть, именно Ульрих своей подписью приговорил к смертной казни и каторге столько людей, сколько не приговорил ни один другой человек за всю историю человечества.

Безупречное происхождение. Родился в Риге в семье убежденного революционера, вступившего в борьбу еще в конце 70-х годов прошлого века и тогда же сосланного на пять лет в Сибирь. XX век Мефодий — такая была партийная кличка у Василия Даниловича — встречал с женой и десятилетним сыном в новой ссылке—в городке Илимске Иркутской губернии. Там до пятнадцати лет мальчик живет и воспитывается в среде настоящих революционеров. Восемнадцати лет он уже член «Центра учащейся молодежи» при рижском комитете социал-демократов. Учится в знаменитом Политехническом институте, ведет активную пропагандистскую работу. С осени 1915 года — вольноопределяющийся в саперных войсках, но, поскольку образование высшее, направлен в школу прапорщиков. В октябре 1917-го — член исполкома Совета солдатских депутатов 12-й армии. Весной 1918 года направлен в ВЧК, работает под непосредственным руководством Дзержинского. Как, где, когда проклюнулся и пошел в рост палач?

С февраля 1920 года — в органах военной юстиции. Стремительная карьера: с января 1926 года он уже председатель Военной коллегии — главный военный юрист страны! Постановление ЦИК СССР передает подчиненным ему военным трибуналам с июля 1934 года все дела «об особо социально-опасных преступлениях против Советского государства». Он председательствует на всех самых знаменитых процессах 30-х годов: «Контрреволюционный ленинградский центр», «Объединенный троцкистско-зиновьевский центр», «Параллельный троцкистский центр», «Военно-фашистский заговор», «судит» Каменева, Зиновьева, Ягоду, Пятакова, Бухарина, Тухачевского, за каждой этой фамилией — десятки, сотни, тысячи других жертв. Редкое дело поручает он своему заместителю Матулевичу — подавляющее большинство стремится вершить сам. Невероятно работоспособен. В 1937 году усердие его отмечено было орденом Ленина. Его избирают в первый Верховный Совет СССР, словно в насмешку делая депутатом

[1] Ежову Сталин пожаловал ранее не существующее звание Генерального Комиссара Государственной безопасности, разрешающее носить в петлицах маршальские звезды.

от Усть-Вымского избирательного округа Коми АССР — именно там лагеря с тысячами его жертв.

Страшный этот человек умер в мае 1951 года. С полным уважением к его заслугам и званию — он был единственный генерал-полковник юстиции в стране — Ульриха похоронили на Новодевичьем кладбище. Через весь город от здания Военно-юридической академии ученики его — курсанты — несли гроб на руках. Воистину, нет бога! Прахом наивного, более смешного, чем опасного, обманщика Гришки Отрепьева выстрелили из пушки. Сталина вынесли из Мавзолея. Берию лишили могилы. Ульрих лежит в некрополе славнейших сынов Отечества!

Вот этого человека — толстенького, круглолицего, почти совсем лысого, с маленькими черненькими (тогда их чаще называли «чаплинскими», а позднее — «гитлеровскими») усиками, в очках, с виду очень добродушного — дети любят таких плюшевых медвежат — и увидел перед собой Королев утром 27 сентября 1938 года. По бокам его сидели два довольно безликих человека с «ромбами» в петлицах. До 1935 года Военная коллегия сохраняла видимость некоего судопроизводства: прокуроры, адвокаты, судьи, но к 1938 году вся эта канитель отпала за ненадобностью. Если у Ягоды или Пятакова были — пусть формально — защитники, то Королеву и в голову не могло прийти требовать адвоката и невозможно даже представить себе меру удивления Василия Васильевича, если бы он его потребовал.

Голосом безгневливым, скучающим Ульрих поинтересовался «установочными данными»: кто такой, где и когда родился и кем работал до последнего времени? Королев отвечал. Ульрих слушал молча, но как бы и не слышал. Затем, тоже довольно бесстрастно, было зачитано обвинительное заключение.

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил Ульрих, кажется, впервые взглянув на Королева.

— Нет, не признаю,— твердо ответил Королев.— От своих прежних показаний я отказываюсь. Я дал их только потому, что ко мне применялись недозволенные методы следствия. Я ни в чем не виноват.

Настал долгожданный миг! По мнению Королева, эти слова должны были сразу круто изменить ход судебного заседания. Он ожидал недоумения и даже растерянности судей. Мог представить себе их недоверие к его словам, даже возмущение, но того, что слова эти не произведут никакого впечатления, он не ожидал и на какой-то миг даже подумал, что, возможно, его не расслышали, или не поняли и надо повторить. Но повторять не потребовалось.

— От своих показаний вы отказываетесь,— еще спокойно, но уже с чуть заметным усталым раздражением сказал Ульрих,— а вот Клейменов показывает, что на путь борьбы с Советской властью он вступил еще в тридцатом году, находясь в Берлине, и продолжал свою вредительскую деятельность в НИИ-3. И вы в этой вредительской группе состояли...

— Ни в какой группе я не состоял.

— И Лангемак, и Глушко показывают...

— То, что они говорят, я объяснить не могу.

— Вы-то не можете, зато мы можем!..

Разбирательство заняло минут пятнадцать: у Василия Васильевича был уже немалый опыт. Протокол заседания столь долгожданного для Королева суда умещается на одной странице. В бумажке этой значилось, что Королев «виновным себя не признает и данные им показания на предварительном следствии отрицает... Как участников организации он назвал по указанию и предложению следователя — Лангемака и Глушко. Назвал их потому, что знал об их аресте, но он категорически отказался называть следователю лиц, которых тот ему еще предлагал, зная, что те не арестованы. Участником контрреволюционной организации он никогда не был и, конечно, не знал никаких участников этой организации».

Королев все ждал, что вот сейчас весь этот нелепый по своей бездоказательности разговор о террористическом заговоре кончится, наконец, и его начнут

спрашивать по делу, по сути предъявляемых обвинений. Множество раз в Бутырках беззвучно повторял он свои оправдательные доводы, с актерским прилежанием продумывал все интонационные подъемы, спуски и даже мимику. Но никто ни о чем не спрашивал и никакими деталями не интересовался. Ульрих скользнул взглядом по своим безмолвным и неподвижным помощникам, сказал невнятно: «Ну, думаю, все ясно...»

Наверное, Королеву хотелось крикнуть: «Погодите, но ведь так же нельзя! Давайте я расскажу вам о себе, о своей работе»,— но он не успел. Ульрих уже читал:

— ...Королева Сергея Павловича за участие в антисоветской террористической и диверсионно-вредительской троцкистской организации, действовавшей в Научно-исследовательском институте № 3 Народного комиссариата оборонной промышленности; срыв отработки и сдачи на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии новых образцов вооружения приговорить к десяти годам тюремного заключения... окончательный... не подлежит...

5

О люди,
Люди с номерами!
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.
Я с вами шел в те злые годы.
И с вами был не страшен мне
Жестокий титул «враг народа»
И черный
Номер
На спине.

Анатолий Жигулин.

После суда Королева поместили в бывшую церковь Бутырской тюрьмы, которая ввиду того, что бога нет, служила местом временного пребывания полутора сотен уже приговоренных зеков, ожидающих отправки, то есть этапа. Он был настолько подавлен, вернее сказать, раздавлен, что ни с кем не говорил, на вопросы не отвечал. Сколько прошло времени — часов или суток — неизвестно, во всяком случае, очень скоро сквозь приглушенный вокзальный гул огромной камеры он услышал громкое:

— Королев, с вещами...

По правилам Бутырок, если говорили: «Оденьтесь слегка»,— это означало, что поведут на допрос тут же в тюрьме. «Оденьтесь» — повезут в «университет», так называлась Лубянка, или в «академию» — это Лефортово. А если: «С вещами» — это значит увозят далеко.

Новая, ранее неизвестная грань тюремной жизни предстала перед Королевым: он не знал, куда его отправят. Сколько помнил себя, во всех переездах все было известно заранее: едем с мамой в Одессу к отчиму, еду в Киев к дяде Юре, в Коктебель — летать, в Харьков — к Ксане, в Москву — учиться — всякий раз знал, куда и зачем. Даже тогда, ночью, на Конюшковской, когда его арестовали, он знал, что повезут, вероятно, на Лубянку, часто слышал: «Забрали на Лубянку». А куда повезут теперь?

Дня два просидел он в пересылке на Красной Пресне, ждал, пока оформят этап. Потом платформа. Теплушка. Состав тронулся без гудка. Поехали... Куда? Зачем? «И так будет десять лет?!» Наверное, впервые ясно ощутил он весь необъятный срок своей несвободы именно теперь, под перестук колес теплушки, неспешно, но упрямо катившейся в черной осенней ночи.

Московские казематы были переполнены, столицу требовалось разгрузить, и арестованных отправляли в пересыльные тюрьмы, где формировали этапы: в Коми, Мордовию, на Урал, в Сибирь, в казахские степи и далее — до крайних восточных пределов страны. Королев попал в Новочеркасскую пересылку, одну из самых больших тюрем на юге России. Прибыл он туда довольно быстро, если учесть темпы движения арестантских экспрессов — 10 октября, через две недели после суда. В Новочеркасской тюрьме провел он почти восемь месяцев. Я не нашел ни одного человека, который бы помнил Королева по Новочеркасску, о пребывании его там ничего не известно. Тень его пребывания в пересылке — заявления, которые он шлет оттуда в Москву. Сразу по прибытии он пишет Председателю Верховного суда СССР и Прокурору СССР, который не ответил на его августовское письмо. В феврале 1939 года — в ЦК партии, в апреле — второе письмо Председателю Верховного суда.

В то же время в квартире на Конюшковской появляются какие-то неизвестные люди, приносят крохотные записочки: «Жив, здоров, не волнуйтесь...» Ксения Максимилиановна сует добровольным почтальонам деньги. Расспрашивать бесполезно: это уголовники, они не могут ничего рассказать о тюрьме, поскольку в их сознании тюрьма настолько понятна и естественна для человека, что и рассказывать не о чем.

— В Новочеркасске шамовка клевая, куда Самаре...

Но Ксения Максимилиановна не знала, как кормят в самарской тюрьме, сравнить не могла...

1 июня 1939 года Королева наконец отправили. Этап следовал на восток, но прошел слух, что повезут через Москву. Удалось написать домой. Ксения Максимилиановна и Мария Николаевна пробовали выяснить, что за поезд, куда, когда придет. Никто ничего не знал. А может быть, не велено было говорить. Всю ночь ходили они по путям Москвы-товарной, искали, не нашли.

Почти два месяца катился пульман к Тихому океану. В вагоне их было пятьдесят человек. Конвоир не нужен: вагон запирался снаружи. Пятеро блатных стали было куролесить, но однажды молодой комбриг, грузин, ухватив домушника Жору за ворот правой рукой, поднял его к самой крыше и, дико вращая огненными глазами, заорал:

— Встать!

И блатные встали. Комбриг бросил им под ноги Жору и крикнул:

— Вольно!

Со дня «вознесения святого Георгия», как окрестил это событие отец Михаил — священник из Ульяновска, блатные стали ниже травы, тише воды. На остановках конвоиры, прихватив в помощники блатных, разносили хлеб и ведра с похлебкой. Ели из мисок, но без ложек, как собаки. За трешку конвоиры приносили газеты. Когда Королев читал их, ему казалось, что это какие-то инопланетные издания, рассказывающие о жизни других миров. Опера Хренникова «В бурю». Декада киргизского искусства. Город Надеждинск переименовали в Серов, а Бердянск — в Осипенко. Все время кого-то награждали орденами: работников наркомата вооружения, воинов дивизии особого назначения имени Дзержинского, сельских учителей, артиста Козловского. В передовой «Правда» цитировала Ворошилова: «У нас есть полная уверенность, что в ближайшее пятилетие мы выйдем на уровень мировой авиационной техники и создадим все условия для того, чтобы в этой области быть впереди других». Вот он и «создал все условия». «Проблема повышения потолка... самолетов,— продолжала «Правда»,— во всей авиации встает сейчас с особой остротой». Но коли она «встает», почему же он, Королев, лежит на нарах? Ведь именно этим — повышением потолка — он и занимался. Особенно поразила его статья Председателя Верховного суда СССР Голякова, которая долго ходила по нарам, периодически вызывая взрывы отборного мата.

«Необходимо, чтобы органы расследования собрали по каждому делу улики, не вызывающие сомнений в своей достоверности, чтобы все противоречия были вскрыты и объяснены..,— писал Голяков.— Известно, что вредители стремились к упрощению судебного процесса, прививали судьям пренебрежительное отношение к защитнику, игнорировали права подсудимого».

Матерь божья! Это он, «вредитель» Королев, оказывается, прививал Ульриху пренебрежение к защитнику! Все это было так мерзко, что ирония уже не спасала. Но раз это печатали, значит, там, в том мире за стенками вагона, были

люди, которые верили, что органы следствия дотошно собирают улики, «не вызывающие сомнений», а сами подсудимые им мешают.

Написать домой обо всем, что волновало его сейчас, было невозможно: не на чем. Однажды удалось раздобыть несколько лепестков папиросной бумаги и нацарапать карандашным огрызком весточки: жив, здоров. Бумажки эти, сложенные треугольником, заклеивали хлебным мякишем и выбрасывали в перевязанное колючей проволокой оконце. Если их не уносил ветер, щадил дождь и птицы не склевывали мякиш, был маленький шанс, что записку эту мог найти путевой обходчик и переслать семье арестованного. Редко, но письма такие доходили. «Человечность путевых обходчиков в эпоху сталинского террора» — вполне подходящая тема для диссертации.

К концу второго месяца пути эшелон прибыл наконец на станцию назначения. Вторая Речка — так назывались ворота Колымы. Это была обширная территория, а точнее, несколько обширных территорий, обнесенных колючей проволокой в два ряда, между которыми бегали овчарки. По углам на вышках сидели пулеметчики, а внутри стояли огромные добротные бараки. Каждая зона вмещала 10—15 тысяч зеков, а вся Вторая Речка по числу жителей не уступала областному городу. Отсюда начинался путь к золоту, здесь швартовались штатные теплоходы Дальстроя, постоянно подпитывающие магаданские прииски новой живой силой. Тысячекратно описанные перевозки работорговцев не идут по масштабам своим ни в какое сравнение с Дальстроем. И за десять лет не привозили на берега Миссисипи столько невольников, сколько на берега Колымы за одну навигацию.

После могучих стен новочеркасских казематов и густого, неистребимого никаким сквозняком горячего смрада вагона Вторая Речка представлялась просто пионерлагерем: солнце, ветерок, настоянный на далеких медовых травах, теплынь — Королев повеселел.

Жизнь здесь била ключом: кого-то привозили, кого-то увозили, каждый день новые слухи с воли. Бессознательно приукрашенные самими заключенными, они были, как правило, оптимистичны: начали пересматривать дела, кого-то уже выпустили, Ежов снят... Когда людей лишают надежды, они создают ее сами, потому что надежда должна быть с человеком до самого его последнего мига.

Передавали мнение людей знающих, что якобы торопиться уезжать со Второй Речки не надо, чем больше здесь прокантуешься, тем больше сил сбережешь, но как, каким способом можно было тут зацепиться, толком никто не знал: все они были колымскими новоселами. Известно, что в пересылке сидели и месяц, а то и два, но Королев, хотя и понимал, что от добра добра не ищут, все-таки хотел отсюда поскорее выбраться. Он не любил состояния временности, надо точно знать, что тебя ждет, и, зная это, рассчитывать силы. Он был тогда, с точки зрения опытного колымского зека, непростительно наивен.

Ждать ему пришлось недолго: дней через десять он попал в этап. Пристань. Солдат и собак, кажется, больше, чем заключенных. Трап и сразу трюм, гулкий, как собор, трюм теплохода «Дальстрой». Пять тысяч заключенных расписаны были по отсекам. У каждого трюмного колодца — толпа охранников. Небольшими группами, если не было шторма, выводили подышать на палубу. У команды и конвоя было две заботы: исключить возможность захвата парохода заключенными и обеспечить их численную сохранность. Живой или мертвый — это неважно, лишь бы за борт не упал, не смыло волной.

Все познается в сравнении. Теплушки теперь казались раем: в трюме стояла невероятная липкая духота, весь пол в блевотине — в Охотском море сильно штормило,— противная дрожь всего окружающего железа и этот глухой стук машины,— очень скоро уже не можешь отличить, где стучит: у тебя в голове или где-то снаружи. От холода за бортом и зловонного трюмного тепла железо все время запотевало, сочилось водой. Под ногами стояли лужи в белых пузырях — они бродили, как сусло. Сверху непрестанно к ало. В трюме колымские зеки переживали предельное ощущение физической нечистоты — ни до, ни после такого не было. Плыли семь дней.

Королев сидел в носовом отсеке. По шипению воды за бортом можно было

определить, когда меняется ход. Потом, словно сорвавшийся с вершины камнепад, загрохотала цепь в якорном клюзе. И стало тихо. Открыли люк.

— Выходи пятерками!

Стоя в своей пятерке, Королев смотрел на берег, где за завесой мелкого холодного дождя на фоне пологих скучных гор белели домики. Перед ним был Магадан — столица колымского края.

Освоение Колымы началось с 1932 года, когда организовался Дальстрой. Тогда стали тянуть Колымский тракт, пробиваться от Магадана к перевалу и дальше на север — к Берелёху, Таскану, Сеймчану. Шли за золотом, за оловом, за углем, двадцатиметровые пласты которого лежали прямо на поверхности. Дело двигалось ускоренно. В 1934 году здесь уже собрали урожай картофеля и капусты, а в оленеводческом совхозе Дальстроя паслось одиннадцать тысяч голов. Еще через год начальник Дальстроя Э. Берзин (уже расстрелянный к моменту приезда сюда Королева) писал: «Каковы перспективы Колымы? Здесь пройдут железные дороги, здесь будут сооружены десятки шахт и рудников, здесь будет металлургический завод... Нет силы, которая может остановить рост этого края».

Силы такой действительно не было: в 1937—1939 годах население здесь удваивается, утраивается, удесятеряется. Создается последняя (будем оптимистами!) в истории человечества рабовладельческая империя — империя ГУЛАГа.

По маленьким, но характерным деталям: громкому открытому мату, тычкам прикладами в спины замешкавшихся, отсутствию овчарок на причале,—было видно, что бухта Нагаева—это уже другой мир, мир далекий, как Плутон, и законы здесь другие, а значит, и жизнь будет совсем другая...

Неожиданно хорошо, досыта накормили. Повели в баню-«вошебойку».

— Учти, шмотки отберут,— шепнул ему по дороге сосед в шеренге.

Жалко было кожаного пальто, прочная, долгая вещь.

— Никогда у меня больше не будет вот такого замечательного кожаного пальто,— засмеялся Королев. Пророчество сбылось: никогда больше не было у Королева кожаного пальто.

Каждому выдали кусочек хозяйственного мыла с палец величиной, предупредили: на мытье — 15 минут. Некоторые ухитрились провернуть даже маленькую постирушку.

После бани каждому уготовлена была горка одежды: майка, трусы, портянки, ватные штаны, гимнастерка, бушлат, шапка-ушанка и валенки: путь их лежал на север.

Огромная магаданская пересылка располагалась в центре нарождающегося города рядом с тюрьмой, которую все называли Домом Васькова, но кто такой Васьков, чем знаменит, никто не знал. Сюда шли заявки с приисков, здесь формировались этапы. Отсюда начинался великий Колымский тракт — дорога на Голгофу, только не для трех человек, а для сотен тысяч, и шли по ней тоже и разбойники, и пророки, но пророков было больше, чем разбойников...

И тут Королев тоже не задержался: через несколько дней попал в этап. Их усадили в трехтонку ЗИС-5 с крепкой фанерной будкой в кузове, так что стоять было нельзя — только сидеть на скамейке. Конвоир расположился в кабине. Странно, но отсутствие конвоира, сам факт, что никто их теперь всерьез не охранял, действовал угнетающе: значит, действительно бежать некуда. Спрыгнуть с грузовика было равносильно прыжку с теплохода в Охотское море: или ты утонешь в тайге, или доберешься до берега, до людей, которые навесят тебе за этот прыжок новый срок. Никто не прыгал.

Первые километров девяносто дорога была хоть и выбитой, но все-таки относительно спокойной. За поселком Палатка началось Колымское нагорье, серпантины, тряска, но красота неописуемая. Дождь, постоянно гуляющий по берегу моря, остался внизу. Было сухо, прохладно, солнечно, сурово.

На остановках «для оправки» все кидались собирать кедровые шишечки, во множестве разбросанные у обочины, косясь при этом на конвоира, вылезавшего из кабины размяться: конвоир-весельчак мог запросто пристрелить за один лишний шаг к шишке, пристрелить абсолютно безнаказанно, поскольку шаг этот всегда можно было назвать первым шагом побега.

Потом пошла грунтовка и трясло так, что было уже не до красот природы. Они ехали четыре дня, впроголодь, без глотка горячего, и путь был так огромен, что казалось — еще один поворот, и откроются просторы Ледовитого океана. И опять, как в пульмане, никто не знал, куда они едут. Шофер не отвечал на вопросы, конвоир тем более. Шли по тракту: Мякит — Оротукан — Дебин — Ягодное — Бурхала — Сусуман — Берелех. В Берелехе — это был примерно 550-й километр от Магадана — свернули с тракта направо. На пятый день Королев прибыл на прииск Мальдяк.

Прииск организован был недавно — в 1937 году, но благодаря усердию Николая Ивановича Ежова в далекой Москве стремительно развивался и повышал свою производительность, хотя числился небольшим, точнее сказать,— типовым лагпунктом. Бывали лагеря до десяти тысяч человек, а Мальдяк — стандартный, примерно 500—600 зеков работало там в то время.

Поселок представлял собой несколько маленьких деревянных домиков, в которых жили люди вольные, и обширную зону, огороженную колючей проволокой со сторожевыми вышками по углам и десятью большими — в армии их называли «санитарными» — палатками внутри. Вокруг Мальдяка плавными волнами бежали сопки, поросшие низкорослыми, скрюченными ветром лиственницами и расцвеченные сейчас роскошными цветами иван-чая. В распадках между сопками неслись к Берелеху чистые ручьи. Тут действительно была просто прорва золота. На одной примитивнейшей бутаре за смену, случалось, добывали до сорока килограммов песка. Там, где выработка была меньше пятисот граммов, уже не копали. Золото лежало буквально под ногами: требовалось только снять верхний слой почвы и начать мыть! В других местах надо было зарываться, но не глубоко, редкий шурф был глубже сорока метров.

Сергею Павловичу пришлось работать и наверху, и под землей. Впрочем, наверху недолго: зима начинается в сентябре, а зимой мыть золото нельзя, и породу таскают из-под земли в терриконы, копят до весны.

Королев попал на Колыму в разгар ее короткого лета. Первым, самым страшным испытанием были для него комары. Уроженец благословенной Украины, он о таежных комарах слышал, но ничего подобного представить себе не мог. Говорят: «тучи комаров». Тучи имеют границы. А это были не тучи, а нескончаемая, слепая комариная метель. Комары кружили у губ, еще чуть-чуть — начнешь дышать комарами, и они задушат тебя. Когда руки при тачке и защищаться нечем, спасения нет никакого. А комаров столько, что едва трап разглядишь, по которому тачка катится. Перед первыми заморозками появилась на несколько дней мошка. Это был уже сущий ад, люди ходили с окровавленными лицами, выли, как звери.

Первый день работы под землей показался Королеву раем: там комаров не было. Да и какой комар может выдержать чад от горящей в нефти пакли. Но очень скоро он понял, что выполнить норму невозможно, а если и выполнишь, блатные пайку не дадут. Вечную мерзлоту кайло, даже американское, не брало, бурили шахтерскими отбойными молотками, закладывали аммонал и взрывали. Руду вывозили где можно на тачках, где нельзя — в коробах на лямках, как бурлаки.

Распорядок жизни в лагере был вечен, как мерзлота. В четыре часа утра — подъем. Завтрак — кусочек селедки, двести граммов хлеба и чай. За зону выводили побригадно: тридцать зеков и один конвоир. Вообще охрана была чисто символическая. Поэтому можно было выйти за зону и без конвоира. «Иду за дровами» — и тебя пропускали.

Добывали золото примерно в километре от лагеря. Работа начиналась часов с семи и шла до двух часов дня, когда привозили обед: миска баланды с перловкой или гаоляном. Ложка каши и триста граммов хлеба.

В ту пору на берегах Колымы можно было встретить самых разнообразных

«врагов народа», «троцкистско-зиновьевских прихвостней» и «подлых наймитов вражеских разведок». Школу колымского золота прошли одновременно с Сергеем Павловичем Королевым заместитель командира 6-го кавкорпуса Горбатов, друг Белы Куна, работник Коминтерна Стерн, экономист, редактор «Правды» Грязнов, преподаватель политэкономии Бакинского университета Мазуренко, работник Ленсовета Дубинин, комиссар Ярославской химдивизии Чистяков, начальник Главного управления учебных заведений наркомзема Левин, болгарский коммунист Дечев, будущие писатели Варлам Шаламов и Вячеслав Пальман — воистину там были и академики, и герои, и мореплаватели, и плотники.

Люди держались по-разному. В общем всё, как и на воле: общительные скорее завязывали знакомства, образовывали приятельские группки, хоть в пустяках старались помочь друг другу. Но были и такие, кто сохранил веру в то, что «зря у нас не сажают», а то, что случилось с ними,— ошибка, «увы, ошибки неизбежны». Секретарь Харьковского обкома партии Бобровников считал, например, что во всем лагере он один сидит безвинно. Ни с кем не разговаривал, читал Маркса.

Этим несчастным, обманутым, совершенно зачуханным людям, которые во время следствия потеряли привычные нравственные и моральные ориентиры и теперь наново возвращались, если не к доверию, то хотя бы к нормальному человеческому общению, противостоял сплоченный коллектив уголовников — со своими ясными законами и выверенными традициями, нетронутым, не подвергшимся никакой ревизии кодексом «морали», напротив, в свете всего происходящего в стране лишь укрепившийся в сознании своего превосходства. Из пятисот — шестисот зеков лагеря Мальдяк блатные составляли едва ли десятую часть, но это были лагерные «патриции»: подносчики баланды, хлеборезы, повара, старшие по палаткам, дневальные, нормировщики, учетчики, съемщики золота (каждый в сопровождении двух конвоиров), бригадиры, наконец. Они задавали тон лагерной жизни, судили, били, отбирали еду и одежду. В палатке, где жил Королев, всем командовал «дядя Петя» — известный в своих кругах грабитель поездов. Бригадиром могли назначить и «анекдотчика» (статья 58 УК пункт 10[1]). Но лучшим бригадиром среди зеков считался не «урка» и не «анекдотчик», а старый, тертый зек с многолетним стажем, изучивший до тонкостей лагерную жизнь и правила местных взаимоотношений. Такой человек значил для рядового зека несравненно больше, чем, скажем, недоступный начальник лагеря. От него во многом зависело, будет ли бригада передовой или сядет на «гарантийный» паек — 200 граммов хлеба. А передовой она будет, если бригадир «ладит» с нормировщиком, десятником, учетчиком, со всеми, кто дает наряд на объект, определяет норму и расценку, составляет процентовку, акты приемки. А «ладить» можно, только имея «фонд»: продукты из посылок. Это была целая наука, и вовсе не простая.

Колыму раздирало противоречие: с одной стороны, предназначалась она для уничтожения людей, с другой — для добычи золота. Но умирающий не мог добыть много золота, а здоровяк, добывающий много золота, не хотел умирать. Решение было выбрано половинчатое, но позволяющее выполнить худо-бедно обе задачи: высокие нормы. Единственный стимул для их выполнения — хлеб. Даже крепкий зек чаще всего норму выполнить не мог. Ему срезали пайку, он обессилевал и тем более не мог выполнить норму. Начинался лавинообразный процесс гибели зека, но его стремление жить поддерживало при этом сравнительно высокую производительность труда.

Противоречие это отражалось и в действиях лагерной администрации. Садист Гаранин — начальник Севвослага[2] — мог, приехав в лагерь, за невыполнение пла-

---

[1] «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». В разъяснениях к этой статье прямо говорилось, что «контрреволюционной пропагандой признается распространение среди узкого круга лиц контрреволюционных мыслей», пусть хоть «какой-либо одной контрреволюционной мысли» письменно, устно и вообще всеми доступными способами, даже «путем каких-либо символических знаков...» Так что для того, чтобы совершить увлекательное путешествие в труднодоступные районы бассейна реки Колымы, достаточно было просто сказать приятелю: «А наш-то...» — и покрутить пальцем у виска.

[2] Северо-восточный лагерь ГУЛАГа, куда входил прииск Мальдяк.

на в назидание расстрелять несколько десятков человек. Но он понимал, что чем меньше людей в лагере, тем меньше песка. Начальники лагерей и бригадиры на своем уровне должны были решать те же проблемы. Сгноить зека дело нехитрое, но ведь неизвестно, когда пришлют новых, сколько их будет и какие это будут люди. Скажем, узбеки или таджики вообще не могли работать на вечной мерзлоте, однако числились по документам, план спускался и на них, и за план этот спрашивали и с простого бригадира, и с начальника Дальстроя комиссара госбезопасности III ранга Павлова. И у бригадира, и у комиссара выход был один — туфта.

Туфта — довольно емкое лагерное слово, обозначающее всевозможный обман официального руководства. Золотодобыча по самой своей природе создавала условия для пышного произрастания туфты: количество золота в породе колебалось в очень широких пределах, рядом стоящие бутары могли отличаться по своей производительности в 50 и более раз. Площадь снятых шурфов также могла «натягиваться» в немалых границах, равно как и объем добытой породы. Короче, все держалось на туфте — обмане, обсчете, приписках. Кто знает, может быть, там, за колючей проволокой сталинских лагерей,— корни хозяйственного растления, всех этих больших и малых фальсификаций, чуть не погубивших наше народное хозяйство многие годы спустя.

Королев видел и понимал все это. Там научился он распознавать туфту — эта наука очень ему пригодится. Там обострился, отточился его природный дар видеть суть человека, потому что на Колыме от дара этого зависела часто жизнь.

Сергей Павлович мало и неохотно рассказывал о годах своего заключения домашним и самым близким сослуживцам. Кроме скупых и отрывочных этих рассказов, существует немало полулегенд о том времени. Согласно одной из них он ударил бригадира за то, что тот избил старика зека, от немощи опрокинувшего тачку, но был прощен.

— Не троньте этого человека,— сказал якобы бригадир,— это наш человек, если он не побоялся меня!

С той поры этот бригадир оказывает Сергею Павловичу покровительство, а на прощание даже дарит ему свой бушлат, который помогает Королеву выжить.

В другой полулегенде вместо безымянного бригадира появляется вполне конкретный человек — Усачев, завоевавший непререкаемый авторитет в лагере благодаря своей огромной физической силе. Он тоже покровительствует Королеву и даже избивает урку, который притесняет Сергея Павловича.

У этой полулегенды есть реальное основание. Михаил Александрович Усачев, человек действительно богатырского телосложения, был директором авиазавода при КБ конструктора Поликарпова. Арестовали его после гибели в декабре 1938 года Валерия Чкалова — любимца Сталина. Королева он знал, когда тот работал на авиазаводе. Еще большее доверие начинаешь испытывать к этой истории, когда узнаешь, что в 1961 году Королев приглашает Усачева, работавшего в авиапроме, в свое КБ и назначает его заместителем главного инженера опытного завода. По свидетельству очевидцев, Усачев неизменно пользовался расположением Главного конструктора, который прощал ему то, чего никогда не простил бы другому.

Наконец, существует как бы полулегенда-«наоборот»: не Королева защищают от урок, а урка «кнацает» [1] Королева. Верится в это с трудом, поскольку согласно лагерной этике подобные взаимоотношения исключались. Королев знал это, но сам рассказывал, что на прииске был некий уголовник Василий, который подкармливал и опекал его. Спустя несколько лет, Сергей Павлович скажет жене:

— Если у меня когда-нибудь будет сын, я назову его Васильком...

Коли так, то этот неизвестный нам человек с преступным прошлым, историю которого мы вряд ли когда-нибудь узнаем, спас жизнь Сергею Павловичу Королеву в 1939 году. Впрочем, он сделал даже больше в нравственном смысле: он ведь

[1] Кнацать — покровительствовать. (Лагерный жаргон.)

спасал его жизнь, ясно сознавая, что спасти не удастся,— именно такие, как Королев, молодые крепыши, сгорали от голода, пеллагры и цинги быстрее хилых стариков.

Зима накатывалась стремительно, день ото дня становилось все холоднее, все больше маленьких (по большим конвоиры стреляли) костерков светилось на полигоне, и все быстрее жизнь вымораживалась из тела. От холода было одно спасение — работа, движение, человек работал не потому, что проявлял сознательность, и даже не потому, что мечтал о добавке к пайке. Человек работал, чтобы не замерзнуть, чтобы не присесть на камень в сладком бессилии и не заснуть навсегда. Но снова оказывался он внутри замкнутого круга: человек не мог работать, потому что у него не было сил. А сил не было потому, что не было хлеба. А хлеба — потому, что он не мог работать.

Все теснее душило это дьявольское кольцо Королева. Все яснее видел он черные глазницы главного, самого страшного и непобедимого губителя — голода. От комаров зеки могли спастись дымом, от стужи костром, от голода они не могли спастись ничем.

Он думал о еде все время, понимал, что так нельзя, но запретить себе эти мысли был бессилен. Где, как, когда удобнее, у кого, с помощью кого или чего раздобыть корку хлеба? Все, весь мир, вся Вселенная, вращались вокруг корки хлеба.

А потом наступало самое страшное: и эти мысли пропадали. На какой-то предсмертной стадии полная апатия ко всему окружающему овладевала ими, тупое равнодушие и к бедам, и к радостям. Не реагировали и на смерть, не воспринимали труп человека, как воспринимает его человек. Не реагировали и на жизнь. Скажут: надо идти — пойду. Не скажут — не пойду. Станут в прорубь совать — не буду сопротивляться. Отнимут желанную пайку — вчера бы глотку за это перегрыз, а теперь даже на это наплевать: перед смертью от истощения есть уже не хочется. Наступает не только физическая, но и умственная неподвижность, и жизнь тихо гаснет, как выгоревшая до донышка свеча.

Зимой Королев погиб бы, зиму он бы не пережил — он сам говорил об этом. Зима была страшная: из пятисот заключенных лагеря Мальдяк до весны дожили не больше ста.

15 октября 1938 года Сергей Павлович направил письмо Генеральному прокурору СССР. Отметая все предъявленные ему обвинения, Сергей Павлович закончил его так:

«Вот уже 15 месяцев, как я оторван от моей любимой работы, которая заполняла всю мою жизнь и была ее содержанием и целью. Я мечтал создать для СССР впервые в технике сверхскоростные высотные ракетные самолеты, являющиеся сейчас мощным оружием и средством обороны.

Прошу Вас пересмотреть мое дело и снять с меня тяжелые обвинения, в которых я совершенно не виноват.

Прошу Вас дать мне возможность снова продолжать мои работы над ракетными самолетами для укрепления обороноспособности СССР».

Во всех заявлениях во все инстанции он никогда не ставил свободу на первое место. На первом всегда была возможность работы. Думаю, для Королева работа была важнее свободы.

Посылая это заявление, Королев не знал, что приговор его уже отменен.

Как рассказывала Мария Николаевна, из Магадана Сергей прислал ей письмо, в котором... восхищался отважными летчицами, установившими женский рекорд дальности полета. Их самолет получил нейтральное название «Родина», прежнее — АНТ-37-бис — упоминать было опасно (см. ст. 58, п. 10 УК РСФСР), поскольку сам АНТ — Андрей Николаевич Туполев — к тому времени уже сидел. В письме Королев отдельно поминал Гризодубову и посылал привет «дяде Мише». Мария Николаевна поняла, что сын подсказывает ей, откуда можно ждать

помощи, и быстро разыскала адреса Гризодубовой и «дяди Миши» — Михаила Михайловича Громова.

Королев очень ценил Громова, восхищался им, собирал все вырезки о его полетах и гордился своим знакомством со знаменитым летчиком. Встретились они в ЦАГИ еще во время недолгой работы Королева в авиапроме.

Мария Николаевна пошла к Громову без звонка. Он жил на Большой Грузинской. Стоял ясный весенний день, вдруг как-то сразу полилось с крыш, побежали ручьи. В мокрых фетровых ботах и зализанной капелью беличьей шубке Мария Николаевна выглядела жалковато.

Громов был высок, строен и очень красив, но без сладости признанных красавцев. Ему было сорок лет — мужик в самом соку, он и выглядел на сорок, сидел очень прямо (верховая езда до глубокой старости сохранила его осанку), слушал внимательно. Потом сказал:

— Все ясно. Я постараюсь помочь, но в какой форме, не знаю. Надо посоветоваться с моим секретарем... Видите ли, я ведь беспартийный...

— Сережа тоже беспартийный,— сказала Мария Николаевна.

— Позвоните мне через два-три дня...

Секретарь Громова отнекивался, тянул, давал понять, что звонки ее нежелательны, но недооценил упорства Марии Николаевны (это качество Главный конструктор, бесспорно, унаследовал от матери) и в конце концов передал ей записку Громова Председателю Верховного суда СССР с просьбой принять ее.

Летом 1971 года я посетил Михаила Михайловича дома, в высотном здании на площади Восстания, чтобы узнать подробности его заступничества за Королева, известного мне лишь по рассказам Марии Николаевны.

— Весна 39-го? — переспросил Громов.— Я ездил в Берлин за медалью... Откровенно скажу, я не помню, что мать Королева приходила ко мне, но я действительно хлопотал, чтобы ее принял Председатель Верховного суда, и характеризовал Сергея Павловича как порядочного человека...

В мемуарах, опубликованных в 1977 году (журнал «Новый мир» №№ 1—3), Громов этот эпизод вспомнил. О Марии Николаевне он пишет: «Когда-то, а точнее после моего полета через Северный полюс, она пришла ко мне на Большую Грузинскую с просьбой помочь ей встретиться с влиятельными людьми, которые могли бы устранить трагическую несправедливость, угрожающую ее сыну. Я это сделал».

Мария Николаевна решила обратиться и к Гризодубовой. Валентина Степановна — молодая, красивая, знаменитая — была в зените своей славы. Только что получила она новую квартиру неподалеку от Петровского замка, еще не везде докрашенную, с газетами на полу. (Кстати, защищая пол от краски, необходимо было предварительно очень внимательно просматривать газеты, чтобы не расстелить на полу портрет вождя. Грязный калошный след на газете мог стоить человеку жизни.) Пока Мария Николаевна нашла квартиру, уже стемнело. Дверь открыла Надежда Андреевна, мать Вали. Выслушав Марию Николаевну, всплеснула руками:

— Сережа Королев! Ну как же, такой славный мальчик, я помню его в Коктебеле...— Закричала в дальние комнаты: — Валюша! Иди сюда. Это мама Сережи Королева. Помнишь Сережу?

Вышла Валя, с распущенными волосами, в пеньюаре:

— Сережа... Ну конечно, помню...

Отец всегда брал ее с собой в Коктебель. Она была совсем девчонка, планеристы любили ее и баловали. Феодосия, гостиница «Астория», летчики стояли под балконом, задрав головы и открыв рты, она бросала им в рот виноградины... Есть какие-то пустяки, которые непонятно почему застревают в памяти навсегда. Черноглазый крепыш Сережа Королев. Очень хорошо плавал...

— Вы успокойтесь, что можем, мы все сделаем,— ласково сказала Надежда Андреевна.— Валя, надо написать записку в Верховный суд.·. Подумать только, и Сережу...

Она вела всю переписку дочери. Героине писали сотни людей — жалоб, просьб защитить, заступиться было очень много. В аппарате Верховного суда

мать Гризодубовой уже знали, говорили: «Ну вот еще одно послание от бабушки Гризодубовой...»

Валентина Степановна отличалась характером взрывным, отчаянным и, если уж что-то решала, шла напролом — недаром она занималась в юности боксом. Могла себе позволить поступки дерзкие, куда более опасные, чем перелет на Дальний Восток. Берии, например, сказала однажды:

— Если вы будете ко мне приставать, я о вас все расскажу Иосифу Виссарионовичу!

Она ходила в Кремль заступиться за Сережу Королева, с большим трудом добралась до Поскребышева и взяла с него обещание, что он непременно передаст ее заявление Сталину. Трудно сказать, показал Поскребышев эту бумагу Сталину или сам дал команду разобраться.

Рассказывая о страшных годах всеобщей подозрительности, доносительства, предательства идеалов и друзей, особенно приятно находить в этой грязи зерна истинного благородства. Это относится не только к Героям — Герою легче быть благородным. Молоденький Гриша Авербух, который работал с Королевым в РНИИ и сразу после ареста Сергея Павловича пришел к Ксении Максимилиановне,— вот это герой! То, что в дом «врага народа» приходили Юрий Александрович Победоносцев и Евгений Сергеевич Щетинков, говорит мне о них больше, чем все характеристики, лауреатские дипломы и орденские книжки, вместе взятые. Сейчас, по счастью, это трудно понять, но в то время поведение Авербуха, Победоносцева и Щетинкова следовало считать не просто благородным, но мужественным.

Если взглянуть на всю историю возвращения Королева с Колымы трезво да подумать, то быстро сообразишь, что для этого недостаточно было хлопот Марии Николаевны и записок Героев. И за других хлопотали, и за других заступались люди авторитетные, однако ж... Главную причину изменения судьбы Сергея Павловича правильно было бы искать в событиях более масштабных, в переменах политики общегосударственной.

Осудив на январском Пленуме 1938 года крутой раскат репрессий, Сталин одной рукой как бы пригрозил слишком усердному Ежову, а другой продолжал его подталкивать: аресты, ссылки и расстрелы продолжались. Но к концу 1938 года Сталин, удовлетворившись (пока!) результатами деятельности НКВД, очевидно, понял, что пора проводить пересменку палачей. Все теперь оборачивалось очень красиво и достойно: в январе Ежову велели поуняться, он не послушался, пусть пеняет на себя... В преддверии XVIII съезда партии Сталин не включает своего недавнего любимца в состав ЦК, снимает с поста главы НКВД и низводит до наркома водного хозяйства РСФСР. 17 ноября 1938 года публикуется Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о грубейших нарушениях социалистической законности — очередной шедевр сталинского лицемерия. Следом специальное Постановление принимает пленум Верховного суда, в котором указывается, что «в судебной практике имели место случаи неправильного применения ст. ст. 58—7, 58—9 и 58—14 УК РСФСР».

С именем нового наркома НКВД Лаврентия Павловича Берии у Королева связывались самые светлые надежды и чаяния. И не без оснований! Ведь действительно Иванова выпустили, Петрова восстановили в партии, а Сидорова посадили в прежнее высокое кресло. Маленькие факты, подчиняясь человеческому стремлению к справедливости, порождали большие слухи. Всячески поощряемые, они создавали светлый образ чекиста-либерала, верного друга и соратника великого и мудрого вождя, который просто не знал обо всех творящихся в стране ужасах, но теперь-то узнал и вот вместе с новым, пусть строгим, но справедливым наркомом начал ошибки исправлять.

Берия, который был умнее Ягоды и Ежова, вместе взятых, в десять раз, изучив опыт своих предшественников, не мог не понимать, что даже пустячная ошибка, даже небольшой перекос, малейшее отклонение, нет, не от команд, а от невысказанных желаний Сталина, будут стоить ему головы, и должен был задуматься крепко. Ясно, что в кровопускании требовался передых. С другой сторо-

ны, если брать интересующую нас грань проблемы, Берия не мог не видеть все большего внимания вождя к военной технике. Внимание было, а военных специалистов не было — кто расстрелян, кто сидит. Выпускать сидевших, пожалуй, преждевременно. Во всяком случае, нигде, ни в одном выступлении Сталина не уловил Лаврентий Павлович и намека на реабилитацию. Ежов был осужден за перегибы, но жертвам этих перегибов доброе имя возвращено не было. Значит, открывать клетку рано. А вот приспособить этих умных недострелянных зеков к работе, держа их при этом за решеткой, было бы правильно. Если зеки сделают что-то стоящее, кто пожнет лавры их успехов? НКВД! Кто стоит «на страже завоеваний»: недоумок Ворошилов со своей конницей и тачанками-ростовчанками или он, Берия, с новыми танками и торпедными катерами? И вождь увидит это. И оценит. Но даже если ничего не выйдет, кто мешает отправить всех спецов обратно в рудники? Никто!

Это время с полным основанием можно назвать временем новой экономической политики НКВД. Очень быстро начинает выстраиваться обширная сеть шараг: всевозможных институтов, лабораторий и конструкторских бюро, в которых работали репрессированные специалисты.

Все это как раз и происходило в тот момент, когда Мария Николаевна Баланина переступала порог большого кабинета, где из-за огромного стола поднялся, внимательно разглядывая ее, тоже очень большой, импозантный седеющий мужчина — Иван Терентьевич Голяков, Председатель Верховного суда СССР, тот самый, прочитав статью которого, так клокотал в теплушке зек Королев. По воспоминаниям Марии Николаевны, внимательно выслушав ее взволнованную речь, первый судья страны в ее присутствии толстым красным карандашом крупно начертал прямо на обложке «дела»: «Пересмотреть!»

Насколько счастливее все мы стали бы, если бы судьи так покорно слушались наших матерей...

Но по документам выходит другое. Дело Королева на пленум Верховного суда СССР с просьбой отменить приговор направляет... Василий Васильевич Ульрих! Да, тот самый страшный армвоенюрист просит отменить приговор, им самим вынесенный!

Угрызения совести исключаются категорически. Вышинский? Вряд ли. Да и зачем это было ему нужно: признаваться в собственных ошибках. Единственный, кто заинтересован в том, чтобы вернуть Королева с Колымы,— Берия. Очевидно, команда Ульриху исходила от него. Очевидно и то, что касалась команда не одного Королева, это был не единственный «пересмотр». В общем, так или иначе 13 июня 1939 года пленум Верховного суда отменяет приговор Военной коллегии от 27 сентября 1938 года.

Королев медленно пересекает в этот момент Россию с запада на восток — он только едет на каторгу! Но он уже не заключенный! Приговор отменен! Он не узнает об этом ни в пересылке на Второй Речке, ни в трюме парохода «Дальстрой», ни в бухте Нагаева, ни в лагере Мальдяк. В декабре 1939 года на берегах золотоносной речки Берелех умирал замечательный человек, не только ни в чем не виноватый, но даже не осужденный по закону!

Когда его вызвали к начальнику лагеря и он брел среди сугробов на свет маленьких окошек, он перебрал в уме, казалось бы, все возможные причины вызова, ждал всего, но такого не ждал:

— Королев? Поедете в Москву...

Уже в зоне страшно, до стона в груди заплакал. Стоял трескучий мороз, и слезы жгли лицо, как кипяток.

Окончание следует

Публицистика

Сергей Чернышев

НОВЫЕ ВЕХИ

Не успевая ни задуматься, ни оглядеться, пересекаем мы рубеж, за которым — неудержимое соскальзывание в нечто, трагическое в своей неизвестности. Но если предлагается именовать это н е ч т о революцией — предстоит самая удивительная из революций в новой истории.

Всем великим переломам в жизни европейских народов предшествовали периоды глубинной духовной и интеллектуальной подготовки. До французской революции была французская энциклопедия. Троичную русскую революцию выстрадали три незабвенных поколения ее идейных творцов.

Нынешний перелом надвигается в стране, которая являет собой интеллектуальную пустыню.

Об инициаторах перестройки в этом смысле можно сказать, что они вполне современные люди, в которых — под давлением неумолимых обстоятельств — голос совести и здравый смысл начинают мучительно медленно переламывать окостеневшую архаику сословных мифов и предрассудков. Нельзя приуменьшать значение этого спасительного чуда. И все же перестройка — недоношенный плод истерзанного лона России.

Казалось бы, во время, названное судьбоносным, сама музыка социальных сфер должна настраивать на эпический лад. Привычно верить, что глубинные революционные потрясения и перевороты социального бытия непременно отзываются откровениями, бурями и щедротами духовной культуры. Неужели же это не более чем миф?

Откуда эта кричащая несоразмерность между переломом времен, когда речь идет о жизни и смерти не только нашего отечества, но самой идеи социализма,— и хозрасчетной перебранкой посетивших сей мир в его минуты роковые? И почему вскрытие самого драматического пласта нашей истории, хранящего следы нравственного пожара, невиданных злодейств и бесчисленных трагедий отцов и дедов, ведут словно бы и не их дети и внуки, и даже не профессиональные историки и археологи, а бригада лихих репортеров из уголовной хроники?

А истина? Уж сколько лет назад, и к тому же далеко не с академической кафедры, был задан вопрос: кто мы такие, куда идем и откуда? Почему, претендуя на монопольное обладание единственно верной теорией общественного развития, на деле вынуждены двигаться на ощупь, методом разорительных проб и непоправимых ошибок?

Нет ответа. Культура безмолвствует, тая в самой сердцевине какое-то проклятье роковое, парализующий ее скрытый надлом.

Это совсем не означает, что царит тишина, по меньшей мере благодатная для раздумий и самоанализа. Место теоретического диалога занимает трескучая публицистическая свара и перемывание костей, которыми усеяно поле давней битвы славянофилов и западников.

Эти заметки задуманы как введение к сборнику «На рубеже». Работу над ним завершает группа авторов, объединившаяся вокруг интеллектуального клуба «Гуманус». В статье использованы материалы С. Платонова.

Может ли на пороге третьего тысячелетия быть судьбоносной и открывающей горизонты дискуссия, в которой слева с энтузиазмом первопроходцев живописуют прелести повсеместного устроения ватерклозетов, а справа бьют в набат по поводу того, что отказ от рытья отхожих ям грозит подрывом идейных устоев? Может ли возникнуть сверхзвуковой пассажирский ракетоплан из конкуренции двух конструкторских бюро, если первое надеется достичь технологического прорыва путем перестройки самолета «Илья Муромец», дерзновенно идя на отдельные заимствования из конструкции «Дугласа-8», а второе в качестве основополагающего принципа требует, чтобы при любой модернизации спереди оставался воздушный винт?

Ночное море все в кровавых отсветах глубоких зарниц, исчерчено тяжкими двойными змеями горизонтальных молний... Но вместо громовых раскатов — всезаглушающее суетливое хлюпанье зыби, что с безнадежным опозданием несет издалека отголоски давно прошумевших бурь и штормов.

Кучка околостоличных интеллектуалов, опьяненная безнаказанностью, буйствует и сводит счеты среди безобразных идолов вчерашнего дня, поваленных в одночасье, как костяшки домино. Тем временем затравленную верхушку номенклатурной иерархии прижала к стене растущая ежечасно толпа кредиторов, требуя немедленной уплаты всех долгов, накопленных за семьдесят лет. Но единственная добродетель административной системы — власть и умение централизованно распределять — бессильна, потому что источник подлежащих распределению материальных и духовных благ, и без того изначально скудный, иссякает на глазах.

Рынок спасительных рецептов предлагает лишь на разные лады перелицованную формулу «Запад нам поможет». Нетрудно догадаться, что Запад не спешит. И надо всем этим звучит крепнущее эхо давнего пророчества: «Для того, чтобы было, что распределять, надо прежде всего иметь что-нибудь, а чтобы иметь — надо созидать, производить».

Чье же это пророчество, и насколько фатально оно для судеб страны?

1

Явная гипертрофия принципа распределительной справедливости и угнетение начала свободы производства, индивидуальной свободы экономического и всякого иного творчества — такой диагноз все чаще звучит у ложа агонизирующего «народного хозяйства». Дело вовсе не в пресловутом диктате производителя над потребителем. Реальная суть проблемы — в неограниченном диктате распределителя над этим производителем. Те, кто не умеет и не желает трудиться, готовы уморить страну голодом, лишь бы не позволить по-настоящему работать и жить тем, кто хочет и может.

Дальше дискуссия участников консилиума идет по двум линиям. Во-первых, экономисты-«либералы» дружно атакуют диктатуру распределителей, удобно устроившуюся под флагом диктатуры пролетариата. В ответ ее штатные и добровольные адвокаты выдвигают дежурный аргумент, что первый же глоток свободы в сфере производства приведет к тяжкому похмелью нарушения священной социальной однородности и к расслоению общества.

Во-вторых, иные философы-западники и прочие безответственные гуманитарии указывают, что распределительный принцип подразумевает приоритет производственных отношений, тогда как принцип свободы производства выдвигает на первый план проблему эмансипации творческой личности. Соответственно при одном подходе для перестройки первичными прежде всего объявляются глубокие реформы распределительных отношений, давно обещанная реализация второй половины формулы социализма: «Каждому — по труду». Сторонники же другого подхода призывают вернуться к основательно забытой первой части формулы «От каждого — по способностям», начать с раскрепощения творцов, которое откроет путь и к перестройке отношений.

Современного читателя изумляет, с какой глубиной и силой предвидения эта проблематика разработана в сборнике «Вехи», три издания которого увидели свет

несколько раньше апрельского пленума, в марте, мае и июле 1909 года. Цитированное выше пророчество принадлежит С. Франку, одному из авторов сборника. И это далеко не случайное прозрение или совпадение. «Вехи» представляют собой подлинное собрание сбывшихся грозных пророчеств.

«Теоретически в основе социалистической веры лежит тот же утилитаристический альтруизм — стремление к благу ближнего; но отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам. Социалист — не альтруист; правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою идею — именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и с другой стороны — виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может, так как его деятельность должна принести пользу лишь их отдаленным потомкам; поэтому в его отношении к ним нет никакого действенного аффекта; последних он ненавидит, и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство ненависти к врагам народа (выделено мною.— С. Ч.) и образует конкретную и действенную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению...»[1]

Не время и не место расставлять оценки, сводить философские счеты или устанавливать роль «Вех» в истории духовной культуры. Главное в том, что коллизия двух принципов — распределительной справедливости и производящей свободы — в нашей истории далека от исчерпания. Завершен лишь один акт исторической драмы. Он стоил стране миллионов загубленных жизней и, очевидно, завел в тупик. Судьбе того, что названо перестройкой, предстоит разрешаться в следующем акте.

В таких обстоятельствах первая же идея, открывающаяся умозрению,— снять шляпу перед проницательностью «веховцев» и, похерив предательский и дискредитированный принцип распределительной справедливости, броситься в объятия его противоположности. Можно доказать, что это неверно, но легче показать, что это невозможно: невозможно вследствие реальной расстановки сегодняшних общественных сил. Более того, можно утверждать, что сами «веховцы», доживи они до нынешних дней, заняли бы иную позицию. Свидетельство тому — бердяевские «Истоки и смысл русского коммунизма». Персонализм Бердяева не мешал ему быть политическим реалистом. Сам он не раз напоминал, что предрек неизбежную победу большевиков еще в статье 1907 года. Среди уроков «Вех» — способность не путать жизненные реалии с нравящимся идеалом.

В социологическом анализе, которым блистают веховцы, часто ощутима марксистская закваска. Основным сознательным носителем демократического идеала распределительной справедливости в трех русских революциях оказалась интеллигенция — специфический феномен российской жизни середины XIX — начала XX века. Но под этим светлым островком сознания простиралась бытийная тьма бессознательного — бездонный резервуар распадающегося общинного уклада, откуда выплескивался и городской пролетариат с его «нутряной» тягой к справедливости.

Творческое, производящее начало на этих просторах ощущало себя бездомным. Противостоящую силам революции царскую администрацию даже с большой натяжкой нельзя было отнести к поборникам элитарного принципа свободы творчества. Производящая свобода владела умами и сердцами лишь тесной плеяды духовных лидеров русского «серебряного века», религиозных философов и литераторов дворянского происхождения. Выморочному буржуазному укладу было не до священного принципа свободы частного предпринимательства, и тем более не до писаний Булгакова и Трубецких. Ростки гражданского общества едва пробивались...

[1] «Вехи», 3-е изд., Москва, 1909 г., стр. 192.

Противостояния идеалов не было. Призыв «Вех» просто не был услышан.

Сегодня Бердяев, Франк, Струве и другие внезапно сделались кумирами российского образованного слоя. Интеллигенцией этот слой именуется лишь по недоразумению — с легкой руки сталинских чиновников от культуры. Та, подлинная интеллигенция, зажигавшая лампады перед образами Белинского, Чернышевского и Плеханова, без следа исчезла в огне порожденных ею революций. Остатки ее, локализованные в резервациях «буржуазных спецов», были истреблены в процессах 20—30-х годов, в деле врачей-вредителей и на сессиях ВАСХНИЛ. У нынешних интеллектуалов — другие корни и иные кумиры. Так что в необъявленной журнальной войне последних трех лет производящая свобода явно начинает одолевать распределительную справедливость. Казалось бы, не пора ли издавать альманах «Вехи перестройки»?

Тонкая пленка публицистической пены лишь скрывает мощное движение глубинных слоев молчаливого большинства. И это большинство уже перестает молчать. Яростное озлобление, которое выплескивается на оборотистых кооператоров, поджоги и погромы ферм арендаторов, экстремистски-уравнительные требования забастовщиков — все это говорит о том, что идеал распределительной справедливости жив и настроен весьма агрессивно. Из глубин общинного «бессознательного» произошла его возгонка в сферу массового общественного сознания, всячески поощрявшаяся правящим административным укладом. Пользуясь чистым именем духа справедливости, Сталин выпустил на волю демона уравнительности, дремавшего в недрах патриархального уклада,— и кампания тотального «раскулачивания» адским пламенем выжгла из народного тела и души все сколько-нибудь возвышавшееся над убогим уровнем самого серого середняка.

Так что сегодня, когда едва рассеялся кошмар уравнительного автогеноцида, не стоит возлагать чрезмерных надежд на призыв раскрепоститься, дать простор творческому началу, высвободить производящие силы общества. И дело не только в массовой враждебности, с которой столкнутся эти призывы, но и в том, что они обращены в пустоту. В стране катастрофически не хватает людей, не потерявших способности и вкуса к подлинному творчеству. Это наш главный дефицит, источник всех прочих дефицитов. Духовный пейзаж общества угадан Тарковским в образе разоренной дотла деревни колокольных мастеров.

Тогда есть ли вообще созидательный смысл в надвигающихся потрясениях? Неужто единственная и неповторимая вселенная русской культуры обречена на «тепловую смерть», торжество социальной уравнительной энтропии? Неужто мы переживаем не родовые схватки, а предсмертные судороги?

Великий спор справедливости и свободы начался не вчера и окончится не завтра. Это всемирная, всечеловеческая драма, а не участь одной лишь России, но России уготована в ней своя, особая роль. Весь вопрос в том, сможем ли мы, наконец, играть эту роль сознательно, или же неосмысленный сюжет обернется слепым роком, подлинной трагедией для нас и для других народов.

Борьба двух идеалов не означает борьбы светлых и темных сил, в которой одни всенепременно должны восторжествовать, а другие — быть истребленными на корню. Ближе к истине уподобление противоречивому и мучительному слиянию женского и мужского начал, таинству зарождения нового. История свидетельствует, что злом оборачивается именно безраздельная диктатура любого из принципов, добро же таится на зыбкой грани равновесия между ними.

Русский этнос, как и всякий иной, издревле заключал в своей целостности оба начала. Осенял эту бескрайнюю землю дух свободы, были в ней творцы и землепроходцы, еретики и казачья вольница. Правда, русская свобода по духу своему ближе к славянскому понятию «воля», чем английскому «liberty»: скорее всеобщая народная вольность, чем элитарные «роскошь, своеволие, свобода» платоновского Калликла. Это не была свобода для избранных, элиты, расы господ. Русь при самом зарождении представляла собой совокупность различных племен; формирующийся русский этнос и позже не раз принимал в себя, изменяясь, кровь с запада и востока, севера и юга. Существует русский дух, но не существует русской крови. На свете найдется немного мест, где проповедь национальной исключительности имеет меньше шансов на успех, чем здесь.

Пожалуй, крен в сторону уравнительного начала наметился вслед за тем, как в XIII веке первая волна великого нашествия Востока нейтронной бомбой выжгла городской уклад, гнезда мастеров и первооткрывателей. Русь, которую скандинавы называли «страной тысячи городов», на долгие века обратилась в одну огромную деревню с Московским Кремлем посредине.

Волею судеб Россия, обладательница бездонного байкальского колодца с чистейшей пресной водой, сама сыграла роль уникального резервуара, хранилища общинного равенства. Отсюда оно щедро расплескалось по миру в величайшей буре XX века. Но если внутри страны концентрация и брожение уравнительного начала обернулись ядом репрессий, вытравливанием творческой свободы — во внешнем мире эти брызги стали живой водой справедливости, обеспечили огромные социальные завоевания людей труда, помогли рождению европейской модели демократического социализма.

Волны нашествий Запада пришли позже и в иной форме. Англосаксонский социум, вотчина элитарного идеала индивидуальной свободы, при Петре наслал на святую Русь чуму брадобрития, а двумя столетиями спустя наградил ее бородатым Марксом, под чьим именем и знаменем — неслыханное дело! — добровольно шли в революцию вчерашние общинники в лаптях. Марксизм, призывавший к прыжку в царство свободы, совершил головокружительный прыжок с Запада и основал царство Третьего Интернационала на семи холмах.

Россия лопнула, выворотилась наизнанку, как сверхновое светило, разметав свою справедливость и свою свободу во всю Вселенную, а в сердцевине осталась зиять черная дыра диктатуры.

Каков же смысл нового содрогания гигантского тела страны, нового лобового столкновения двух идеалов? Что принесет оно?

Окончательное торжество восточной уравнительной справедливости на шестой части земной суши? Это повлекло бы последнее падение в пропасть, из которой мы отчаянно попытались было выбраться, старение и смерть социума, осуществление апокалипсической картины, венчающей «Осень» Баратынского:

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей,—
Перед тобой таков отныне свет.
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

Или внезапную победу принципа свободы, обеспеченную массированной поддержкой Запада? Это означало бы разрыв тысячелетней линии судьбы России, отказ от ее уникальной исторической миссии и переход к реализации традиционной европейской модели развития на пустом месте с отставанием от соседей на столетия. Противоположности смыкаются.

Чистые принципы самоубийственны. Конечно, нам никуда не деться от написанного на роду начала социальной справедливости. Воплощать его во всей полноте, порождать и хранить его тепло, щедро излучать в космос человечества призвана звезда России. Но непримиримому идеалу справедливости придется потесниться, принять в себя свою противоположность — идеал производящей, творческой свободы. Отступить, но не уступить. Принять его до известной степени и на известных условиях. Стать с ним в определенное отношение. Каково это совершенно конкретное отношение в различных сферах материальной и духовной жизни нашего общества — в такой форме сегодня встает перед нами извечный русский вопрос: «Что делать?».

2

Трагедия послереволюционного спора справедливости и свободы в нашей истории состоит в том, что *спор этот беспредметен*; это схватка за штурвал кренящегося, неотвратимо теряющего ход корабля. Если «история — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека» (Маркс), то деятельность по созиданию нового общества, помимо ясного идеала, должна иметь свой качественно новый, конкретный *предмет*, не менее определенный и осязаемый, чем у хлебопашца, строителя и гончара. Не нужно быть философом, чтобы понять: предмет деятельности тесно связан с ее смыслом. На переломе двух эпох мы не смогли обрести, утеряли этот смысл, и наша история закружилась в порочном круге.

Потерянные деньги, где бы они ни были потеряны, лучше искать под фонарем, ибо там светлее. Это по-английски. А по-русски будет: потерявши смысл — ищем... виновного. Сталин осужден бесповоротно. Но оказывается, что этого мало для сатисфакции. Маститые литераторы принимаются с пристрастием читать Ленина и спешат оповестить о своих открытиях, едва осилив первый том. К кому приведут эти поиски нашего первородного греха? Нетрудно догадаться, взглянув на вывеску незабвенного ИМЭЛС[1]. Суд над Марксом!

Судебный процесс еще не начался, обвинение не предъявлено. Покуда Маркс всего лишь выходит из моды. Говорить о нем, ссылаться на него становится дурным тоном. Он окружен стеной молчания. Общественное мнение в классическом сталинском стиле исподволь готовится санкционировать расправу над своим былым кумиром. Естественно — и это тоже «по-нашему»,— аргументы по существу дела никого не интересуют.

Но судьи пребывают в блаженном неведении относительно того, что подлинный Маркс имеет отдаленное отношение и к историческому западному «марксизму», и в особенности к восточному «марксизму-ленинизму» — этим самоназваниям политических идеологий. Сам он говорил в сердцах: «Я знаю только одно, что я не марксист». А Ленин, уже в зрелые годы конспектируя «Логику» Гегеля, записал во внезапном озарении: «Никто из марксистов не понял Маркса ½ века спустя!!»

«Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности». В этой сакральной формуле «Манифеста» — и проклятие наше, и спасение. Слова Маркса были истолкованы не конструктивно — как определение предмета деятельности, исторического творчества, а деструктивно — как призыв вооруженной силой устранить помещиков и капиталистов. Категория «уничтожение» понята не по-европейски — как снятие, преодоление, овладение, а по-азиатски — как истребление, террор, «красногвардейская атака».

И вновь предостерегают вещие «Вехи»:

«Работа над устроением человеческого счастья с этой точки зрения есть не творческое или созидательное, в собственном смысле, дело, а сводится к расчистке, устранениию помех, т. е. к разрушению... Прогресс не требует собственно никакого творчества или положительного построения, а лишь ломки, разрушения противодействующих внешних преград... Разрушение признано не только одним из приемов творчества, а вообще отождествлено с творчеством или, вернее, целиком заняло его место. Здесь перед нами отголосок того руссоизма, который вселял в Робеспьера уверенность, что одним лишь беспощадным устранением врагов отечества можно установить царство разума»[2].

Уничтожение частной собственности для Маркса тождественно уничтожению труда, уничтожению пролетариата, производственных отношений — и уже по одному этому видно, что *уничтожение здесь не сталинское, а гегелевское*: уничтожение — снятие, т. е. овладение, преодоление, включение в состав нового развивающегося целого. Уничтожение частной собственности есть преодоление отчуждения. В этом весь Маркс и весь коммунизм. Именно это он называл «действительным коммунистическим действием», «положительным упразднением частной собственности» в отличие от «простого упразднения», которое олицетворяет человек с ружьем.

[1] Институт Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.
[2] «Вехи», 3-е изд., Москва, 1909 г., стр. 194.

Уничтожение труда — горькая пилюля, которую наши марксисты при чтении «Немецкой идеологии» и «Святого семейства» вынуждены глотать множество раз. Во имя благопристойности и целомудрия теории в ее кафедрально-кастрированном варианте этот «грех молодости» классика, как и многие иные, тщательно замалчивается.

«Коммунистическая революция выступает против существующего до сих пор характера деятельности, устраняет труд».

«Труд есть та сила, которая стоит над индивидами; и пока эта сила существует, до тех пор должна существовать и частная собственность».

«Пролетарии... должны уничтожить условие своего собственного существования, которое является в то же время и условием существования всего предшествующего общества, т. е. должны уничтожить труд».

«Труд уже стал свободным во всех цивилизованных странах: дело теперь не в том, чтобы освободить труд, а в том, чтобы этот свободный труд уничтожить».

Бедные марксисты, изучающие классиков лишь на предмет оснащения приличествующими цитатами своих многочисленных трудов «по» коммунистической теории! Для избавления от все более душераздирающих загадок им остается только упрятать Маркса в спецхран. К счастью, его и так давно не читают.

Ключ к подлинному Маркху один — культура мышления. «Труд есть лишь выражение человеческой деятельности в рамках отчуждения». *Труд*, по Марксу, вполне определенное, ограниченное *понятие*, а вовсе не абстрактная надысторическая добродетель, которая превращает волосатого предка в лысеющего, благообразного современника. Труд означает такой конкретно-исторический *вид деятельности* людей, при котором они скованы и связаны между собой отчужденными, не зависящими от их воли производственными отношениями. Уничтожение труда не означает уничтожения всякой деятельности во имя основания царства бездельников,— напротив, это есть превращение деятельности в подлинно человеческую, поскольку выход из производственных отношений[1] только и открывает простор для отношений между личностями. От подлинной человеческой деятельности труд отличается тем же, чем брак от любви,— скованностью, безличными производственными отношениями. Известная со времен Сократа совместная деятельность по постижению Истины, утверждению Блага, сотворению Прекрасного — это воистину «дьявольски серьезное дело, интенсивнейшее напряжение», но это не есть труд.

«Труд» здесь разделяет участь многих категорий Маркса, трактуемых с позиций почтенного житейского здравого смысла. «Но с обывательскими понятиями нельзя браться за теоретические вопросы» (Ленин). Если только мы принимаем негативную, разрушительную трактовку призыва «Манифеста», то обессмысливаем весь жизненный подвиг Маркса. Львиная доля этой жизни была отдана «Капиталу» — работе, которая неотступно тяготела над ним как проклятие, которую, как выясняется из «Плана шести книг», удалось завершить менее чем на $^1/_{24}$ часть, книге, которая никогда, нигде и никем, включая Энгельса, не была понята, и самое главное — абсолютно не нужна вооруженным экспроприаторам экспроприаторов.

Но одновременно мы лишаем смысла и всю собственную жизнь, собственную историю с момента принятия этой западной формулы в ее восточном толковании. Вместо закономерного, осознанного движения сквозь историческое пространство, плотно заполненное слоями отчужденных общественных отношений, формами собственности, вместо сознательного творчества, наследующего всю материальную и духовную культуру человечества,— будущее предстает как расширение в пустоту дурной бесконечности, волюнтаристское строительство на якобы расчищенном месте чего-то образцового, невиданного и неслыханного.

[1] Этот выход, по Марксу, осуществится через полное вытеснение живого труда из сферы материального производства.

Вместо обещанного царства свободы мы попадаем в царство произвола. Но если «человек хозяин всему и решает все», если нет закона, нет истории, нет Бога,— это не свобода, а арзамасский ужас. Через пролом в оболочке культуры веет запредельным эсхатологическим холодком — и младенчески-архаическое сознание общества бросается под защиту Великого Вождя и Учителя, творца Положений и Выводов, суррогатных абсолютов и истин в последней инстанции.

Коммунизм «Манифеста» не имеет к этому никакого отношения. Уничтожение частной собственности, ее положительное упразднение в обратном порядке проходит, по Марксу, через те же этапы, что и само развитие отношений собственности, и начинается с исторически последнего, высшего их типа. Это означает, во-первых, что коммунизм по своему содержанию равновелик не капитализму, а всей предшествующей истории, которую Маркс не случайно в своей классической работе назвал «предысторией». Коммунизм — не утопически-идеальное состояние общества, а движение в глубь Истории, снимающее отношения собственности, эпоха, которая включает целый ряд формаций, объединяемых новым типом развития, новым предметом и смыслом человеческой деятельности. И это означает, во-вторых, что при своем начале такое движение имеет непосредственным предметом капитал: первая коммунистическая формация, которую Маркс называет «грубым коммунизмом», должна решать задачу обобществления капитала, т. е. овладения бескризисным расширенным воспроизводством стоимости в масштабах общества.

Выходит, автор «Капитала» не был ни одержимым, ни излишне любознательным, отдавая свою жизнь Книге. Первый же шаг в подлинном преодолении частной собственности немыслим без детального знания предмета этой книги. Тот факт, что она по сей день не понадобилась в нашей сугубо практической деятельности, говорит нечто важное не о ней, а о нас: мы попросту еще и не приступали к уничтожению частной собственности. Мы пребываем во мраке неведения относительно того, что именно и каким образом обязаны «уничтожать». И самое прискорбное — в отличие от Сократа мы и не подозреваем, что кое-чего не знаем.

Частная собственность в отличие от общественной — это собственность, находящаяся в каком-либо выделенном, особом отношении к некоторой части общества. Это азбука теории Маркса. Поэтому любая государственная собственность, независимо от идеологических притязаний государства на некую мифическую «общенародность», по определению, есть разновидность частной; и в этом качестве она подлежит уничтожению, в свой черед, в одном ряду с капиталом. Более того, нетрудно понять, что и сама героиня политэкономических заклинаний— общенародная собственность, упади она с неба, оказалась бы опять-таки частной, если только народ не отождествлять со всем без изъятия населением земного шара.

Но коль скоро вроде бы выясняется, что делать, не пора ли задать второй русский вопрос: кто виноват в том, что мы до сих пор этого не делаем?

«Мы постоянно сбиваемся на то, что «мы» переходим от капитализма к социализму, забывая точно, отчетливо представить себе, кто именно это «мы» (Ленин). В этом суть, в этом главный вопрос перестройки, который по-настоящему покуда даже не поставлен. Но так уж устроена конкретная истина, что на пути к ней нужно сперва постичь истину абстрактную: какой именно исторический субъект призван взяться за уничтожение отчуждения? Идея, как учат классики, неизменно посрамляла себя, когда пыталась самореализоваться, не оседлав с этой целью подходящий материальный интерес. Кто же, какие классы или слои общества наиболее кровно заинтересованы в скорейшем уничтожении частной собственности?

Канонический ответ напрашивается, но он неверен. Как ни странно, таких классов два. «Самовозрастание капитала — создание прибавочной стоимости — есть... совершенно убогое и абстрактное содержание, которое принуждает капиталиста, на одной стороне, выступать в рабских условиях капиталистического отношения совершенно так же, как рабочего, хотя и с другой стороны,— на противоположном полюсе» (Маркс). Правда, позитивный смысл избавления от этого рабства каждой из сторон видится совершенно по-разному. Рабочие стремятся добиться справедливости в распределении произведенной стоимости, тогда как капиталисты — свободы от тягостного гнета рыночной стихии и слепого рока кризисов.

Маркс считал это раздвоение субъекта чисто теоретическим феноменом, лишь в пролетариате видя силу, которая способна материализовать идею преодоления отчуждения. Буржуазии, справедливо полагал он, есть что терять, кроме своих цепей, а главное, она фатально расколота беспрестанной борьбой каждого отдельного капиталиста против всех. Он ясно видел эту центробежную силу, отталкивающую частные капиталы друг от друга, и не находил возможной противодействующей силы сжатия, которая спаяла бы их как протоны в атомном ядре. А посему — пролетарии всех стран, соединяйтесь! Буржуазия соединиться не в состоянии.

Это было теоретической, абстрактной истиной — в предположении, что пролетариат всех развитых стран одержит победу одновременно. В реальности же он победил первоначально в одной стране. И вот тогда сочетание постоянной внешней угрозы в лице коммунистического интернационала с нарастающим изнутри давлением рабочего движения породило — в условиях величайшего экономического кризиса 1929—1933 годов — ту могучую силу сжатия, которая вынудила финансовую элиту сделать первые шаги к объединению. Возник «зеркальный», элитарный субъект преодоления отчуждения.

Ирония истории в том, что сегодня мы вынуждены всерьез заняться воссозданием и дальнейшим развитием самой что ни на есть частной собственности под флагом ее уничтожения, а противоположная система, объявившая частную собственность священной и неприкосновенной, на деле — со времен Рузвельта — ее последовательно уничтожает. Конечно, красногвардейцы не врываются в небоскребы на 5-й авеню. Но происходит нечто, по существу, более драматичное: финансовая элита руками государства медленно, но верно монополизирует и централизует — слой за слоем — высшие формы экономической деятельности. Правда, здесь сделаны только начальные шаги. Капитал — это не вещь, а отношение, самовоспроизводящаяся стоимость. Частичное ограничение возможностей вкладывать и использовать капитал равно его частичному уничтожению: свеча остается в руках собственника, но пламя ему уже не принадлежит. Это есть самая настоящая, по Марксу, экспроприация капиталистов. Только субъект такой экспроприации иной: вместо диктатуры пролетариата — власть финансовой элиты. Перед лицом смертельной внешней и внутренней угрозы она вынуждена сплачиваться, сбрасывать классическую форму борьбы каждого против всех и в антикризисных целях централизовать управление воспроизводством совокупного капитала. Непопулярный ныне тезис о неизбежной гибели капитализма, который продолжает числиться среди догматов марксистского вероучения, давно пора снять, и вовсе не потому, что Маркс оказался не прав, напротив,— потому, что капитализм давно уже погиб. Причем российская революция имеет к этому самое прямое, хотя и непредвиденное отношение.

Государственно-монополистический капитализм времен первой мировой войны отличается от современного западного элитаризма принципиально: как временное, силовое упразднение экономических отношений от поэтапного их уничтожения—снятия. ГМК — неустойчивое, переходное состояние, которое разрешается двояко: либо по миновании военной необходимости вновь выпускается на свободу нормальный монополистический капитал, либо возникает госмонополистический социализм в результате перехода власти от диктатуры олигархии к диктатуре пролетариата. Элитаризм же — шаг не просто в новый способ производства, а в новый, надформационный тип развития.

В начале века Ленин, подвергнув исследованию капиталистическую систему, констатировал, что сия особа, корчившая из себя девицу, находится на высшей и последней стадии беременности, и более того, на той ее заключительной ступени, между которой и родами «никаких промежуточных ступеней нет». С тех пор в бурной жизни упомянутой особы случились невиданные перемены и неслыханные мятежи. Но наши проницательные «марксисты», отбрасывая тень сом-

нения, торжественно провозглашают, что интересное положение 70-летней давности длится и поныне, а весь ряд эпохальных сдвигов в западной истории XX столетия суть не что иное, как выявленные ими частные подробности очередных этапов общего кризиса, коим потерян счет.

Социальная материя, как и подобает ей, ушла далеко вперед, в то время как наш мятежный политэкономический дух «увяз в дерьме субстанций» (Маркс), намертво окопался на принципиальных позициях первой империалистической.

Отечественное обществоведение лежит в родах. Оно рожает исторический материализм. Когда-то разрешатся эти грандиозные потуги, и какого еще динозавра они нам принесут?

Завершается человеческая предыстория, и мир вступает в новую эпоху, эпоху преодоления отчуждения, уничтожения частной собственности; но это историческое движение будет совершаться в двух взаимосвязанных формах — под флагом справедливости и под флагом свободы, в двух противостоящих друг другу и одновременно нуждающихся друг в друге системах — коммунизма и элитаризма. Коллизия российской истории, вскрытая «Вехами», не разрешается, но приобретает одновременно общемировой характер.

Неумолимая логика прогрессирующего распада страны требует от нас отчетливого самосознания, безукоризненной логики мысли и действия. Как же мало времени осталось и как мало надежд на проявление этих качеств дают бесконечно тянувшиеся десятилетия великого безмыслия и вселенской расхлябанности! Но, или додумывать до конца, или испить эту чашу до дна.

Возвращение к Марксу от доморощенного «марксизма», возвращение к подлинному смыслу «Манифеста» выбивает утрамбованную почву из-под ног догматического Голиафа. Выясняется: уничтожение частной собственности в новую эпоху не разделяет нас с противоположной системой, а напротив, объединяет с ней. Подлинное раздвоение проходит по линии водораздела между равенством и свободой. Коммунизм есть снятие отношений собственности *плюс социальная справедливость*.

Выясняется: мы давно живем без идеала. Пора осознать и это. Призрак коммунизма бродил по стране в годы первых пятилеток, бледнея на глазах, пока не испарился окончательно в 60-е годы. Но для Маркса коммунизм никогда не был, да *и не мог быть социальным идеалом*. Это переходная, промежуточная эпоха, первое отрицание бесчеловечной предыстории.

«Коммунизм есть необходимая форма... ближайшего будущего, но как таковой коммунизм не есть цель человеческого развития, форма человеческого общества.

...Мы даже коммунизм называем еще не истинным, начинающим с самого себя положением, а только таким, которое начинает с частной собственности.

...Коммунизм — гуманизм, опосредованный с самим собой путем снятия частной собственности. Только путем снятия этого опосредования, — являющегося, однако, необходимой предпосылкой, — возникает положительно начинающий с самого себя, положительный гуманизм» [1].

Так однажды стучится в дверь неузнанная тысячекратно правда. Тогда мы всматриваемся в чужие лица подлинных родителей. Отверзаются рвы под Куропатами. Из полос тьмы на знакомых фотографиях выступают забытые фигуры. Пепел складывается в рукописи.

Что может означать для изверившейся страны это замещение коммунизма гуманизмом? Замену одного полустертого штампа другим? Что значило само это слово полтора столетия назад для молодого берлинского доктора философии? В публицистической статье 1842 года двадцатичетырехлетний младогегельянец Карл Маркс противопоставил расколу отчуждения, «духовному животному царству» — объединение вокруг *святого Гумануса*. Тому, кто отважится на поиски родословной этого святого, дано будет прикоснуться к тайнам...

Неоконченная, точнее, едва начатая поэма Гете «Тайны» — один из наиболее загадочных памятников европейской культуры. Сам автор придавал замыслу поэмы огромное значение. Впервые «Тайны» были напечатаны в собрании

[1] *К. Маркс.* Экономическо-философские рукописи. 1844 г.

сочинений Гете, вышедшем в Лейпциге в 1787—1790 годах. Поэма начата 8-го августа 1784 года, о чем имеется свидетельство в письмах автора к г-же фон Штейн и Гердеру. В этот день было написано посвящение к ней, помещенное впоследствии автором во главе собрания его стихотворений. Традиция сохраняется и по сей день — посвящение к «Тайнам» служит как бы напутствием ко всей жизненной работе Гете.

Но внутренних значений песни этой
Никто во всем не сможет разгадать...

Спустя три десятилетия, 15 ноября 1815 года, некий кружок студентов в Кенигсберге, собиравшийся для чтения и обсуждения поэтических произведений, обратился с письмом к еще здравствовавшему патриарху мировой литературы, прося его, ввиду возникших в кружке споров, дать свое истолкование этому таинственному отрывку. Неожиданно Гете откликнулся, причем по тем временам весьма оперативно, и написал заметку под заглавием: «Тайны. Фрагмент Гете», которая была помещена в «Моргенблатт» от 27-го апреля 1816 года. Пространный комментарий автора как по объему, так и по содержанию значительно превосходит сам комментируемый фрагмент. Собственно, из опубликованного текста «Тайн» читатель успевает лишь узнать о том, как некий монах, заблудившийся в гористой местности, попадает в приветливую долину, где находит двенадцать таинственных рыцарей. Прочее осталось невоплощенным. Что же именно?

Вслушаемся в тихий голос старого Гете:

«Чтобы дать теперь понять мои дальнейшие намерения, а вместе с тем и выяснить и общий план и цель стихотворения, я открою, что имелось в виду провести читателя... через различные области горных, скалистых и утесистых вершин... Мы посетили бы каждого рыцаря-монаха в его жилище и из созерцания климатических и национальных различий узнали бы, что эти отменные мужи собрались сюда со всех концов земли, где каждый из них перед тем чтил Бога на свой лад в тиши».

«Читатель заметил бы, что различнейшие образы мыслей и чувств, развиваемые и запечатляемые в человеке атмосферою, страною, народностью, потребностью, привычкой, призваны явиться здесь, на этом месте, воплощенными в выдающихся индивидах, и что здесь находит свое выражение жажда к высшему усовершенствованию, не полному в отдельном лице, но достойно завершающемуся в совместной жизни».

«Но для того, чтобы все это стало возможным, они собрались вокруг человека, носящего имя Гуманус; на это бы они не решились, если бы не чувствовали некоторой близости, некоторого сходства с ним».

«При этом оказалось бы, что каждая религия в отдельности достигает в известное время высшего расцвета своего и приносит плод свой, и что тогда она сближается со сказанным выше верховным вождем и посредником, и даже вполне сходится с ним. Эти эпохи должны были явиться закрепленными и воплощенными в двенадцати представителях так, чтобы каждое признание Бога и добродетели, в каком бы удивительном образе оно ни предстало перед нами, являлось нам всегда достойным всякой чести и любви».

«И теперь после долгой совместной жизни Гуманус мог прекрасно покинуть их, ибо дух его воплотился в них всех и, принадлежа всем, не нуждался более в собственной земной оболочке».

Так вот какие космические бездны открывает поиск утраченных духовных корней нашей революции! Вот какова родословная отечественных Робин Гудов, умеющих лишь отнимать и делить поровну!

Сегодняшний «марксизм» отрезает, отгораживает нас от мира общечеловеческих ценностей, превращает в остров погибших кораблей в океане мировой истории. Подлинный Маркс — средоточие европейской культуры, концептуальный и духовный мост, связывающий нас с прошлым и будущим всего человечества.

Конечно, гуманистический горизонт Маркса куда более узок, чем вселенский охват Богочеловечества у Соловьева, да и нравственный смысл гуманизма далеко не достигает высот всеобщего воскрешения Николая Федорова. Однако

теоретический взор Маркса, лишь скользнув в молодости по отдаленным вершинам, был затем всю жизнь прикован к таинственной слепящей кромке, на которой будущее переплавляется в прошлое. Предшествующие мыслители спешили не глядя перемахнуть пропасть между идеалом и реальностью, их ценности для своего земного торжества нуждались в Апокалипсисе. Маркс впервые поставил цель соединить лед реальности и пламень идеала в «действительном коммунистическом действии».

Какова мера ответственности самого Маркса за те деяния, которые совершали российские борцы за справедливость от его имени? Не стоит спешить с ответами на такие вопросы. Должно быть ясно одно: те, кто искренне считал и себя наследником Маркса, унаследовали его демонов, проклятье, тяготевшее над Книгой его жизни, но полностью утеряли ее созидательный смысл.

Поэтому беспочвенны и безответственны попытки избавиться от великого дара Запада — марксовой мечты осуществить прорыв через царство осознанной необходимости в мир гуманизма. Но эта мечта и этот план должны быть возвращены, воссоединены со всем контекстом мировой, западной и русской культуры; царство свободы — с эсхатологическим царством русской религиозной философии, категория «отчуждения» Маркса — с бердяевской «объективацией». Нынешнему поколению советских людей, которое уже не будет жить при коммунизме, нужно вернуть смысл жизни, подлинный смысл таких слов, как «коммунизм» и «гуманизм».

Коллизия свободы и справедливости проходит через всю историю. На протяжении предысторического царства естественной необходимости она постепенно прорастает и обостряется, поляризуя изнутри культуру каждого этноса. В границах предстоящего царства осознанной необходимости это противоречие разделяет человечество на две системы, разрывая внутренний мир человека на два несовместимых идеала. И только в эпоху гуманизма оно станет источником развития каждой личности и общества в целом, постоянно нарушаемым и вновь восстанавливаемым на более высоком уровне единством возвышающих друг друга в своей деятельности свободных и равных индивидов.

Не постигнув эту истину, не сделав ее конкретной, не увидев ясно в ее беспощадном свете самих себя, невозможно понять, что же именно и зачем производится и распределяется сообразно принципам свободы и справедливости.

3

Прошлое нашей Родины едва ли не более закрыто и непостижимо, чем будущее. Вернуть историю государству Российскому! Падчерица исторического материализма, она упорно не влезает в прокрустово ложе теории. Отечественные производительные силы никак не желают имманентно саморазвиваться, а производственные отношения — в установленном порядке чинить им обструкцию. Наметанный глаз обществоведа, всюду выискивающий сельфакторы и машину Ползунова, вечно натыкается в наших временных летах на перестройки сверху по мановению батюшки-царя, осуществляемые под угрозой или по итогам очередного нашествия иноземного супостата. Врагами народа в 30-е стали не только легендарные красные командиры, но и Карамзин, Соловьев, Ключевский, заметившие эту историческую странность и оттого зачисленные в идеалисты. Что же касается обнаружения историков-материалистов, то тут даже органы оказались бессильны. И роковое клеймо идеализма легло на всю российскую родословную, вынуждая бдительных граждан отречься от своих корней.

Печатью того же проклятия отмечена и наша революция. Подобно тому, как правоверные иудеи, ожидавшие мессию, не признали таковым Иисуса, ортодоксальные западные марксисты сочли ее незаконнорожденной. Октябрь 1917-го — скрещение всех загадок мировой истории. И фокус, эпицентр, сердцевина всех споров — непостижимая фигура Ленина. Превращенный было жрецами сталинизма в нового Конфуция, он переживает ныне свое второе пришествие в общественном сознании. Уже и своды Мавзолея сотрясаются. Диапазон оценок простирается от Христа до Антихриста. Человек этот, при жизни никем не понятый, по-язычески почитавшийся и трагически одинокий, как итог мучительно-противоречивых борений и исканий завещал нам гениальный взгляд на русское и на любое общество как **многоукладное** и на социалистическую экономику как сознательно управляемую систему взаимосвязанных укладов. Тут ключ к тайне победы социалистической революции «первоначально в одной, отдельно взятой» и совершенно к тому не готовой стране.

Теория Маркса позволяет в принципе построить менделеевскую таблицу общественно-экономических формаций, идеальных состояний, которые пробегает общество в процессе развития. Но химически-чистые формации в социальной природе встречаются крайне редко. Реальный общественный организм — это противоречивая совокупность, комплекс взаимосвязанных укладов. Каждый из них представляет собой соответствующую формацию как бы в свернутом виде. Уклады — не только рудименты прошлых и зародыши будущих состояний, но и активные элементы, которые определяют настоящий день социальной системы. **Физику** этих элементов постиг Маркс, основы **химии** и **биологии** закладывает ленинское понимание многоукладности, **логика** взаимодействия и развития целого содержится в наследии Гегеля. Таковы три компоненты подлинного исторического материализма, три оси координат пространства, в котором движется человеческое общество.

В первую голову рамки и границы пресловутых единства и борьбы противоположных принципов должны быть установлены в жизненно важной сфере экономики. Это есть именно вопрос жизни и смерти, а не тема для схоластических вариаций, потому что мы уже опоздали, и опоздание вот-вот станет катастрофическим. Послевоенная практика развитых стран Запада давно подсказала ответ. Сферы действия свободы и справедливости — это соответственно **производящий** и **воспроизводящий** уклады. Уравнительно-распределительной справедливости не место в сфере производства вещей, где не обойтись без здоровой, регулируемой конкуренции производителя. С другой стороны, элитарный, индивидуалистический принцип «Каждому — по способностям» не годится для сферы воспроизводства человека, для детских садов, больниц и домов престарелых. Вопрос о бытии социализма, над которым картинно бьются гамлеты нашего средневекового обществознания, прост, как жизнь: общество социалистично, если в нем свобода существует в рамках и во имя справедливости; и наоборот, общество принадлежит к иной системе, если свобода в нем доминирует и допускает справедливость для собственного воспроизводства и стабильности.

Попытки растворить горсть кооператоров и арендаторов в массе населения, живущего на одну государственную зарплату-пособие, в лучшем случае наивны. Старинный обычай пустить красного петуха под крышу более удачливому соседу родился не в семнадцатом году. С другой стороны, и социалистические бизнесмены, оказываясь в положении волка в стаде казенных овец, самим ходом вещей подталкиваются к грабежу, а не к здоровой конкуренции. Предпринимательство должно концентрироваться в полюсах и регионах промышленного роста, в свободных экономических зонах различного типа, которые в совокупности составят «открытый сектор» нашей экономики. Пребывание в резервациях свободной конкуренции поможет нашим легальным миллионерам ощутить крепкие локти соперников, а заодно не мозолить попусту глаза блюстителям распределительной уравниловки. Предпринимательские зоны уцелеют в агрессивном окружении, если будут исправно платить обществу дань в виде постоянного потока качественных и недорогих потребительских товаров.

Но откуда возьмется сам дефицитный дух предприимчивости, который предстоит укоренять на подзолистой отечественной почве? Здесь не обойтись одним лишь поощрением его чахлых казенных ростков и надеждами на те клубни и корни, что могли чудом уцелеть под выжженным полем, зарастающим сорными травами подпольной экономики. Эти запоздалые меры придется дополнять тщательно выверенной и решительной пересадкой здоровой социальной и духовной ткани из-за рубежа. Чтобы покончить с рабской зависимостью от ввоза продуктов западного производства, необходимо импортировать и имплантировать **само производящее начало**.

Где же, в каком заморском укладе обитает ныне искомое начало? Глубоко и опасно заблуждаются те литераторы от политэкономии, которые помещают его в существующий столетиями классический рыночный уклад. Такое заимствование, безусловно, позволило бы нашему «народному хозяйству» сделать шаг вперед, но это был бы в лучшем случае шаг из европейского тринадцатого столетия в восемнадцатое, в тупик, увековечивающий наше отставание.

Обычный человек не может воспринимать ультрафиолетовое излучение невооруженным глазом. В противоположность этому именно глаз, вооруженный сталинским истматом, в упор не видит, не различает на современном Западе экономические уклады, расположенные на формационной шкале выше капитализма. Таковых, как известно, не может быть, так как этого не может быть никогда. Нет спору, классический капитал живет и здравствует в современной экономике элитаризма, однако он является в ней подчиненным, контролируемым и эксплуатируемым укладом, уже не столько отчужденной, сколько обобществленной производительной силой. Именно современные механизмы планового регулирования и управления развитием рыночной экономики, получившие мощное развитие со времен Рузвельта, должны быть заимствованы, усовершенствованы и применены социализмом в первую голову.

Наша архаичная хозяйственная система подобна близорукому пловцу, который полагает, что плывет в ту же сторону, что и все, а сам вот-вот разобьет голову о бетонную стенку бассейна, от которой уже оттолкнулся его соперник, развернулся,— и движется в противоположном направлении. Беда в том, что наши теоретики «прозевали» смену фундаментальных типов общественного развития. Мы слепо упираемся в объективную необходимость приступить к преодолению частной собственности — в стране, где её предстоит сперва создать.

Задача кажется немыслимой и безнадежной. Но она не более безнадежна, чем та, что стояла перед революционными силами России в начале века. Нужно было не просто «срезать угол» векового исторического развития, а соединить две противоположно направленные революции — буржуазную и пролетарскую — в одной. Собственно, это и есть та самая задача. В политической сфере она была решена за семь месяцев — между февралем и октябрем. Понадобилось семь десятилетий, чтобы теперь дошла очередь до экономики и всего остального.

Но это значит, что вновь встают во весь рост проклятые вопросы семнадцатого года. Имеем ли мы право браться за перестройку-революцию в обществе, которое ни экономически (по уровню развития отношений собственности), ни культурно к тому совершенно не готово? Возможно ли совместить две несовместимые перестройки в одной? Не ввергнет ли это страну в очередной и, быть может, последний кровавый хаос?

Существует фундаментальное различие между тогдашней и теперешней ситуациями, которое дает исторический шанс. В политической области, в вопросе о власти мы были первопроходцами. Мы не могли получить помощи извне и сполна испытали «мильон терзаний», ибо, как писал Гончаров, первый воин, застрельщик — всегда жертва. Но покуда мы шли своим крестным путем,— и в прямой связи с тем, что мы двинулись этим путем,— за океаном свершалось мучительное и судорожное таинство экономических родов. И сегодня экономика качественно нового типа, экономика, адекватная подлинному, реальному социализму, реально существует. Правда, не у нас.

Остается, стало быть, не изобретая более безграмотных «самобеглых колясок», вылущить указанную экономику из оболочки элитаризма и поставить на службу принципу социальной справедливости. Вот эта-то почти немыслимая трансплантация, установка реактивного двигателя на ветхую телегу, нам и предстоит. Однако, повторимся, шанс в том, что и телега, и двигатель, пусть порознь, но реально существуют — в отличие от ковра-самолета политэкономических сказок.

Наш хозяйственный механизм во многих своих принципиальных, формационных чертах мало чем отличается от развитого планового хозяйства династии Птолемеев в эллинистическом Египте. От современности его отделяют столетия.

Пусть так. Но зато все промежуточные уклады, заполняющие эволюционную шкалу между этими этапами, в мировой экономике налицо. Важно только понять, где и что именно заимствовать, и как правильно соединять между собой. Предстоит сконструировать пирамиду укладов, опирающихся друг на друга, причем нижний должен держаться на поверхности разливанного моря неконвертируемых рублей, а верхний, пусть минимальный по масштабам, соответствовать уровню и стандартам мировой экономики. Предстоит свернуть время формационной эволюции в пространство управляемой многоукладности. Превратить разнообразие наших «патриархальных, полудиких и по-настоящему диких» укладов из тормоза в двигатель, использовать разность их экономических потенциалов как могучую производительную силу.

Поразительное многообразие условий нашей страны, сопоставимое с многообразием всей мировой цивилизации, предоставляет основные детали гигантского конструктора «сделай себя сам». Недостающие элементы нужно смело заимствовать из опыта и практики других народов. А этот опыт свидетельствует, что отсутствие высших экономических укладов, практически пустое место, на котором предстоит возводить здание современной экономики,— одновременно и недостаток, и огромное преимущество. Рывок в будущее из-за спин лидеров не будет вязнуть в трясине отчужденных отношений и традиций. В то время как лорд-протектор величаво дремал на мешке с шерстью, потомки отцов-основателей стремительно двигались в глубь американских прерий. Из послевоенных руин тоталитарной империи взвился к небу удивительный цветок японской сверхдержавы.

Экономика должна быть одухотворенной. Но само творческое начало не может обретаться в качестве духа, носящегося над водами, ему необходимо иметь надежное представительство на земле. Оно естественно осуществляется через разнообразие независимых общественных структур. Однако в данном случае неприемлемы как классическая восточная модель вездесущего государства, не оставляющего места гражданскому обществу, так и западная, где последнее одерживает победу над государством и берет его под контроль. Как известно, всевышний не справился с тестом на всемогущество, когда требовалось сотворить такой камень, который он сам не в силах был бы сдвинуть с места. Здоровой части нашего государственного организма, запустившей маховик перемен, необходимо совершить нечто подобное: подавить рефлекторный порыв административной системы к удушению нарождающегося гражданского общества и одновременно удержать это безответственное и буйное чадо от поползновений к отцеубийству и саморазрушению.

Не стоит страдать комплексами по поводу того, что в области хозяйственного и общественно-политического строительства предстоит расстаться с мученическим венцом реформаторов-первопроходцев, уступить другим незаконно узурпированную пальму первенства вместе с кадушкой. Наша миссия — совсем в ином. Страна таит в своих глубинах ювенильное море, в котором дышат и бродят девственные воды социальной справедливости. И пусть даже на поверхности явлений живой, действенной справедливости сегодня куда меньше, чем на Западе. Для того, чтобы эти воды пробились наверх, мы остро нуждаемся в прививке свободы.

В такой особой миссии нет ни малейшей претензии на исключительность, ибо в семье народов можно быть самым свободным, но нельзя быть самым равным. Хотим мы того или нет — необходимо принять свое наследие как судьбу, как непреложный факт. Но в этой данности — одновременно дар и долг, проклятье и благословение. Истинна вера в то, что отечество наше предназначено, всем ходом истории призвано стать духовной, общекультурной палестиной принципа справедливости, идеала равенства, его очагом, дарящим тепло и свет всей мировой диаспоре. И если очаг этот угаснет — необратимо нарушится баланс мировых весов, равно необходимый и справедливости, и свободе. Но неистинна вера в патриархально-общинный уклад как хранилище и вместилище этого тепла и света. Вновь и вновь мифологическое сознание из лучших побуждений пытается затолкать едва родившегося, еще беспомощного младенца обратно в материнское лоно. Но нет пути назад. Социальной справедливости предстоит на нашей

земле осознать самое себя, стать определяющим принципом устроения и жизни общества, чьи социально-экономические структуры должны быть скроены по меркам даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня.

Среди загадочных свойств родного пепелища — неистребимая способность вызывать к жизни все новые поколения творцов. Страна сказочно богата одаренными, энциклопедически образованными и самобытно мыслящими людьми. И здесь нет никакого противоречия с мыслью об интеллектуальной пустыне, о которой говорилось вначале. Все эти искры божественного огня слишком рассеяны, разрозненны для того, чтобы из них возгорелось возрождающее и преобразующее пламя. Почти начисто отсутствуют традиционные неформальные очаги воспроизводства и наследования творческого начала — «невидимые колледжи», лицеи, салоны, поэтические кружки. Единственным российским институтом подобного рода продолжает оставаться ночная кухня. Меценатствующее государство во все века душило творцов в своих объятиях. Опыт уважаемых нами народов показывает, что конструктивную роль здесь должны играть различные общественные фонды с независимым источником доходов.

Подобно былинному богатырю, просидевшему столетие на печи, мы накопили огромный духовный потенциал. Мощный интеллектуальный уклад — единственная реальная сила для осуществления стремительной модернизации страны. Но эта сила и на пятом году перестройки остается невостребованной. Известно, что щедринского богатыря, дремавшего в дупле, сожрали гадюки. Для того, чтобы это пророчество не оправдалось, стране необходимо сбросить тупое административное оцепенение мысли, влекущее импотенцию действия. В новом типе развития, вдоль границы которого мы топчемся семь десятилетий, предысторическая диалектика отчужденных производительных сил и производственных отношений перестает служить мотором общества. Отныне двигателем развития может быть лишь сознательный субъект, который не просто является носителем одного из двух общественных идеалов, но при этом практически воплощает в жизнь теорию преодоления частной собственности. Рождение из мук «перестройки» такого исторического субъекта и степень его интеллектуальной вооруженности — подлинный вопрос жизни и смерти социализма. Время истекает.

Стать субъектом собственного развития — это значит прежде всего обрести **самосознание**, дать ответ на ленинский вопрос: кто такие «мы»? А для этого требуются не только бесстрашие и нравственная бескомпромиссность, но и огромная интеллектуальная мощь, культура мысли и духа. Лишь в 1983 году, сквозь недомолвки Андропова, наконец-то вновь забрезжил вопрос о том, кто мы такие и где находимся,—поистине судьбоносный вопрос-вопль, вырвавшийся крик, который с того момента окружен вязкой стеной малодушного умолчания.

С ответа на него и начнется подлинная перестройка.

Истина должна быть предельно конкретной, потому что конкретна жестокая действительность этого времени и этой страны. Осмысленный путь между идеалом и реальностью пролегает по лезвию бритвы. Срыв в бездну исторических стихий будет означать непоправимую трагедию сотен миллионов.

«Слишком часто бывает так, что в обществе не находится положительных, творческих, возрождающих сил. И тогда неизбежен суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции, тогда происходит разрыв времен, наступает прерывность, происходит вторжение сил, которые для истории представляются иррациональными... Революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть... для возрождения к новой жизни... Но революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами творят зло; в революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории» [1].

Не успевая ни задуматься, ни оглядеться, пересекаем мы рубеж. Что за ним: разрыв времен — или управляемая эволюция, суд истории — или живое творчество народа, отчуждение — или возрождение?

---

[1] Н. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. YMCA — PRESS, Париж, стр. 107—108.

Анатолий Аграновский

АПРЕЛЬ В ПРАГЕ. 1968 ГОД

(ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ)

16.IV.68 г. Поездка в Чехословакию.

Лечу завтра, в 8.20 из Шереметьева.

Девиз Г. Гейне: «Лучше быть несчастным человеком, чем самодовольной свиньей».

Н. Лесков (1862 г.): «Сведения газетные, конечно, бывают гораздо тоще и скромнее устных толков...».

Л. Н. Толстой (1893 г.): «Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел». (Из письма Н. С. Лескову.)

Мы (Симонов, Полевой, Беляев, Шатирян и я) едем на дискуссию по «литературе факта». Один из участников (с чешской стороны) Иван Клима. В предисловии к «Часу тишины» (первого его романа): «Наша земля невелика, и потому **целиком вымышленным** историям угрожает то, что читатели будут вкладывать в них **слишком уж жизненное содержание**...» Парадокс изящный. (Сам он, правда, от документальности здесь отошел.)

Гете: «Говорят, что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим образом! Между ними лежит проблема...»

Л. Н. Толстой: «Для того, чтобы приказанное было наверняка исполнено, надо, чтобы человек выразил такое приказание, которое могло бы быть исполнено».

Св. Августин: «Даруй мне чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши, о Господи...»

А. С. Пушкин: «Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале... Глупость осуждения не столь заметна, как глупая хвала; глупец не видит никакого достоинства в Шекспире, и это приписано разборчивости его вкуса, странности и т. п. Тот же глупец восхищается романом Дюкре-Дюмениля... и на него смотрят с презрением».

Г. Х. Андерсен: «— Не понять вам меня!» — сказал гадкий утенок».

Бальзак: «Совесть, мой милый, это палка, которою всякий готов бить своего ближнего, но отнюдь не самого себя».

Шолом Алейхем: «Из всех молочных блюд самое лучшее — это кусок мяса».

16.IV.1968 г.

Мысли из редакции (не мои).

Закономерное содружество. Нам жить с ними и через пять лет, и через двадцать, и через сто. Как строить отношения? Они традиционны, закономерны, обоюдно выгодны... Должны быть выгодны...

Мои: «Не уступать принципиальных позиций!». Да, это мы умеем... А вот строить политику умно, гибко... Находя выходы из сложных ситуаций, высекая полезное, где можно...

Реформа реформой, а работать все-таки надо! Моя поездка в ГДР — вес будничной работы. Надо делать дело — это решает.

Время: 50-летие Чехословакии — осенью. Один из толчков Октября.

Время: 30 лет с Мюнхенского сговора. Помнить об этом...

Трудности — корень всего — в экономике. Как исправить? Что **уже** делается?

Сейчас корабль в дрейфе. Команда разношерстная. К какому берегу прибьет?.. Вмешиваться мы не должны, не можем. Наблюдать — со вни-

манием и интересом. С надеждой, что не напорется корабль на подводные рифы. Что доплывет, не даст течь...

Корни трудностей — в **экономике.** Как направляются? Что уже делается?

Рабочий класс. Что думает? Что от этого всего выигрывает? Как его, рабочего, вовлекают в движение?

Верим: субъективно люди честны. Хотят лучшего. Но история судит людей по их **объективным** делам. Человека ценят по содеянному... Обстоятельства бывают сильней нас. Смогут ли они выполнить то, чего хотят.

Анализ причин трудностей — вот туда направлять активность масс. Вот для чего демократизация... Между тем, путь исправления экономических перекосов — в укреплении сотрудничества. Многостороннего.

Техническая интеллигенция. Своего слова еще не сказала. Роль ее. Нет ли такого: кто возьмет верх — за тем и пойдем.

Деревня. Крепки кооперативы. Никто не хочет выходить. Живут намного лучше.

Научно-техническая революция. Борьба за прогресс. Что мешает? И здесь сотрудничество в рамках СЭВа. Критика помех.

Пусть чехи требуют. Пусть выступают инициаторами — интерметалл, энергетика... Что еще?.. Спорить по конкретным вопросам. Моя методика — **спор.** Это ясно, а что если получится так?.. Мне отвечают... Я спрашиваю... и т. п.

Итак: а) экономика — внутри,
б) экономика — сотрудничество (внешнее).

17 апреля 1968 г. Прага.

Встреча с послом **Червоненко** Степаном Васильевичем.

— Здесь мы находимся не в конце, не в середине, а **в начале пути...** Этап, когда был потерян идеал, — это надо учитывать. Отражение наших событий 50-х годов. В стране созревали разные проблемы — экономические, идеологические, политические, национальные. И долгое время никак не решались. Две наши страны идут вместе, плечом к плечу.

— Знали ли? — Да, росло недовольство. В интеллигенции. И в рабочей среде.

Взрыв между назревшими проблемами и **уровнем руководства.** Умением руководства решать выдвинутые жизнью проблемы. Схема, ранее составленная, накладывалась на жизнь независимо от хода жизни... **Экономика.** В 30-х годах Чехословакия занимала место среди 10-ти передовых промышленных стран. Занять то же положение они не смогли. Были **объективные трудности.** Но при более **динамичной** политике можно было сохранить положение... Поставлять товары они могут соц. странам. А в кап. мир — мало и по низким ценам... Не было **модернизации.**

Национальный вопрос. Тоже был упрощенный подход. Казалось, после революции **модель,** созданная ими, давала все возможности решить национальный вопрос. Перескакивали через этапы. Пытались сделать то, что возможно будет в будущем, когда национального вопроса вообще не будет... Ликвидировали, например, в Словакии Совет Министров (при Готвальде был). Как важно учитывать национальные интересы и — мало этого — национальные чувства.

Глубокое уважение — только этот способ. (На октябрьском пленуме Дубчек говорил об этом.)

...И все-таки в октябре все казалось спокойно.

Сфера идеологии. Тут недовольство проявилось в первую очередь. Эту **«надстроечную часть»** руководство партии не смогло понять глубоко. Компартия в целом теряла свой авторитет... **Реформа** дала определенный поворот. Инициатива предприятий и пр. Хотя цены в прошлом году поднялись на $^1/_5$%, зарплата — на 5%... Жизненный уровень, думаю, будет повышаться. Может быть, они найдут возможность **ускорить подъем.** Сегодня **средний чех** недоволен положением.

...Дубчек не хотел быть «первым». Он в октябре выступил против Новотного. Новотный сам выдвинул Дубчека... Между октябрем и январем — дискуссия перешла вниз в партию, в другие организации. Нет единства воли, нет единства цели. Вакуум в руководстве... Партия выдвинула правильный лозунг — демократизация, развитие активности, исправление оши-

бок... И тут активизация оппортунистов, скрытых врагов и доза демагогии и т. д. **Народная партия** — активизация Ватикана. В ней — рост. Вступают люди — в основном выходцы из буржуазных партий. А крестьяне им не нужны — будут голосовать, как поп прикажет в проповеди. **Социалисты.** Первичные организации этой партии были запрещены. Появляются явочным порядком. Идут разговоры о том, что необходима **оппозиция.** О том, что в Национальном фронте компартия будет на паритетных началах.

Что еще? Оживилось «кулачество». Собственники...

Само движение за демократизацию — оно здоровое. Жизнь его потребовала. Можно было после январского пленума идти по этому пути — **спокойно, поэтапно, осмотрительно.** Без заигрывания.

(Нарушена информация. Курсируют слухи. Слухи, преувеличения, липа... Это я после видел.)

Нельзя, чтобы кривда исправлялась новой кривдой.

К здоровому процессу начали пришвартовываться люди, мечтающие вернуть страну ко времени до 48 года... Сумеет ли новое руководство ЦК удержать процесс в рамках соц. демократии?

«Либералы» к марту оказались консерваторами (в том числе и Гольдштюккер). Сами почуяли опасность натиска.

На мартовском пленуме А. Дубчек предложил **переголосовать** себя. И опять 100%. И Новотный голосовал за него. Что это? **Консолидация здоровых сил?** (А там треть уже сняты с постов — секретари обкомов.)

Партия вступила в полосу **борьбы за массы.**

Не надо видеть только **пену** — под ней поток, очень сильный... Разлив, и то, что 20 лет стояло в недвижности, подняло, понесло... Есть берега или нет их? К какому берегу принесет их?

Первый парадокс: никакой Чехословакии нет. Есть Словакия и есть Чехия — две разные страны, на разных социальных этапах. Они в разных фазах. Здесь говорят: словаки в экстенсивной фазе, чехи в интенсивной фазе развития.

Структурный кризис, структурно-промышленный. А значит, социальный. Мы им усиленно помогали достичь кризиса. К ней, Чехословакии, нельзя подходить с нашими мерками. А по китайским меркам — Чехословакия законченная буржуазная страна. Этот кризис мы им создали — они как тень следуют за нами. Нагрузили еще — выдержат? Важнейший исторический момент, когда **лопнуло...**

Рождаемость низка, на последнем месте. Прага единственная столица, где население уменьшается, рождаемость низка, смертность выше... Растет процент стариков. Народ ответил на все — снижением рождаемости... Как поднять? Освободить женщину, дать материальные условия — она восстановит население. Необходимы пособия на детей. Преодолеть старение науки, ускорить жилищное строительство, повысить зарплату, пенсии, пособия. Кризис из горячего перешел в холодный...

Я за социализм. И я за ленинскую формулу: **«Полное самоопределение народов».**

Селуцкий Радослав, журналист: «Наш Госплан еще не понял, что надо развивать... Вы как понимаете демократию? Я так понимаю — грозить забастовкой и требовать повышения зарплаты. Создавать рабочие советы, брать власть в свои руки...»

17 апреля.

Прием в Союзе писателей. Встреча с Гольдштюккером.

Тезисы: — Все от экономики. Неизбежность событий. Три пункта для нашего спокойствия: 1) На позициях социализма; 2) В лагере социализма; 3) Дружба с Советским Союзом.

— Мы хотим создать свою модель — **соединение социализма с демократией** (свободой)...

Вежливый разговор с вином, сливовицей, орешками, кофе. Гольдштюккер плотный дядя, лет пятидесяти на вид, плотные щеки, узкие глаза. Ему, как и всем чехам, с которыми мы встречались после этого, очень хотелось (было видно) прежде всего успокоить нас: ничего, мол, страшного не происходит. Доказать неизбежность событий — иного пути просто не было.

Я попробовал спорить, тоже осторожно: — Писатели с писателями говорят об экономике. Это характерно. Но все не объяснишь экономикой.

В ГДР жизненный уровень выше, достижений больше, но там не было таких перемен...

Ответ был уклончиво-вежливый: мол, в наших условиях иначе было невозможно. Первый раз мы услышали о демократических традициях народа...

Потом была дискуссия с чешскими писателями (запишу позже).

Вечером встретились с Богушем. **Богуслав Хнёупек,** гос. секретарь Министерства культуры ЧССР. Веселый, толстый чех, который рос в Словакии. Став первым замом министра (еще год назад), он в Прагу не переехал. Жена его с детьми живет в Братиславе (я был у них потом). А он в общежитии. Тут многие живут «на чемоданах».

— Печать **«объективна».** Бывший министр культуры Гофман написал 3 статьи — нигде не печатают. А свобода печати? — «Мы вас слушали 20 лет — теперь вы нас послушайте».

Сейчас в Чехословакии **очень много говорят.** Время дискуссий, споров, обсуждений...

Карикатуры в газетах стали острыми. Нарисована демонстрация. У одного на плакатике слово: «Вперед», у другого — «За»... Подпись: «А где Франта?»... Очередь к продавцу, продает петли по 15 крон — это отклики на самоубийства судейских и военных... (В одной газете поместили фотографию висельника.) Еще карикатура: могильные плиты, на них венки, на каждом лента, на ленте одно слово: «Пардон», — это о реабилитации.

По телевидению передача «В помощь генеральной прокуратуре. Смерть Яна Масарика»... И есть «желтизна» — перехлесты, «выстрелки» — нападки на бывших персон. Отзвук бесцензурности.

Активность. Люди интересуются, принимают участие, пусть с ошибками, — вот положительное явление. Повышение роли профсоюзов, рабочие думают, вступают в обсуждение. (Посмотреть стенограммы митингов.)

Богуш: — Нет, сейчас у нас нет руководства культурой (не дай Бог!), а «обслуживание». Как мне обслуживать католическую печать?.. Я все-таки коммунист.

Мы пошли с ним вечером в небольшую гостиницу «Прага» на тихой улочке Рыбной. Там живут многие члены правительства, там и Дубчек (квартира его, семья — в Братиславе). Охраны нет. Прошли в вестибюль, на столе газеты (в «Правде» изложение их программы), прошли в ресторан. За столом сидели с тремя министрами. Входили другие — Богуш знакомил нас с ними.

Сидим, беседуем. Неслышно движется официант. Грушкович пьет молоко. Это предмет для шуток... В этой партийной гостинице живет «словацкая колония». Очень все просто, демократично. И на чемоданах... Еще подошел высокий, скуластый, с проседью, Петр Цолотка, зам. премьера. Этот очень усталый. Да и все усталые. Идет разговор.

— Чехословакия много вкладывала денег в тяжелую промышленность. Велики эти инвестиции потому, что сырье ввозится. И энергия... Очень дорогая продукция. А обрабатывающая промышленность не получала необходимых средств. Уделяли недостаточное внимание. Не развивалась исследовательская работа. Колоссальный ассортимент — 90% мировой продукции машиностроения. Почти все! В результате при международном обмене товаров нам не выгодно продавать. Качество, технический уровень низки. Производство для производства. С этого нет прибыли. К тому же некоторые отрасли, высокоэффективные, отдавались на пожирание другим, не эффективным. Отрасль пожирает другую отрасль.

— Предстоит сложный процесс структурных изменений. Определить отрасли, где есть перспектива международной торговли. Они помогут модернизировать другие отрасли. Пойдем на покупку лицензий, оборудования. Чтобы через два года можно было начать производство. Например, получаем лицензию американской фирмы во Франции — электронно-счетные машины. Два-три поколения этих машин. Чтобы в перспективе в 1968 году первые машины были готовы. Это даст нам возможность изучить технологию. Программу сможем использовать для 3-го поколения. Окупится быстро. В промышленности товаров широкого потребления — то же... Это одна из дорог, чтобы получить капитал. Быстрый оборот...

— Деньги люди имеют. Плохо, что не тратят на товары, которые требуют дальнейших трат. А они постоянный источник прилива средств (автомобили, например).

— Руководство — не неопосредствованно, а опосредствованно: цены, прибыль и прочие рычаги. (Все та же новая экономическая система.) Обмен документацией — был безвозмездный. Платили цену бумаги — 40 кр. кило... В прошлом году создали фонд (переходный) в комитете по технике — **для оплаты идей.**

— Вопрос о судьбе **директоров** должен решаться **экономически.** Создать условия: если предприятие будет делать не то или то (качество и проч.) — то от этого зависит судьба руководителя. А не от национальности и т. п.

Шутки (за столом):

— Правительство Олдржиха Керенского.

— Почему?

— Временное...

— Политик тот, кто еще не упал... (острота Минача, словацкого писателя).

Он же Дубчеку: — Это мой партийный зуб. (Вставили в поликлинике ЦК.) Чтоб я вас не кусал...

Об избрании Смрковского: — Он лучше других...

Еще подошел один — высокий (на голову всех выше), громогласный, добродушный. Министр сельского хозяйства Словакии — точней, поверенный министерства по Словакии Коломан Бодя. Этот, конечно же, пьет вино. Тоже подсел к нашему столу. — Вопросы социальной политики. Вот уже два года ни от одного крестьянина я не слышал: «Мало зарабатываю». О пенсиях — да, много говорят. Крестьяне зарабатывают больше, чем рабочие... Было время — мы ввозили каждый **пятый** кг масла, каждый **третий** кг мяса. Теперь масло вывозим. Мясо еще ввозим, но и вывозим тоже. Баланс... — Бодя сморщился, — незначительный. Больше из-за плохого хранения испортится...

Мы ждали Дубчека — он тоже здесь ужинает, — но где-то он задержался. Ушел первый Грушкович. Потом Цолотка пригласил нас к себе. Поднялись в номер, а номер оказался двойной, в соседнем — Грушкович. Пришел в пижаме. Пили словацкое вино...

О стабильности. Есть ли признаки? Хоть один? — спросил я (как говорит спецкор «Известий» Володя Кривошеев), «на голубом глазу».

— Пройдут партийные конференции... Первая в Брно — Цолотка едет туда через два дня. Если большинство не потребует чрезвычайного съезда — это первый важный признак.

— А второй, третий?

— Надо подумать...

Задача: от демократизации перейти к демократии. Что волнует сейчас? Буржуазная демократия и соц. демократия. Собственность. Свобода. Личность и общество. В конкретной политике есть две крайности. В буржуазном обществе — свобода для тех, кто что-то имеет. А мы взяли то, что служит режиму. Отсутствие представительства.

Пережиток старых представлений: каждая система требует оппозиции. Но это не обязательно другая партия. Могут быть профсоюзы, молодежные организации, крестьяне... На базе социализма.

Задача наша — создать условия, чтобы и при нашей системе обеспечить демократию. Коммунизм — гуманная цель. Люди хотят, чтобы и дороги, ведущие к цели, были гуманными. Чтобы коммунисты выполняли свою роль авангарда, но не смотрели на остальных, как на руководимых... **Создать такую модель, где бы коммунисты вели, но не диктовали.** «Псевдореволюционность». Надо, чтобы законы действовали сегодня и завтра. Чтобы не было **правового нигилизма.** План, например, считался законом. Но не были созданы объективные предпосылки. План не вытекал из объективных причин. Это другая крайность нигилизма. Две крайности нигилизма...

Появился Дубчек. Еще говорили, говорили... Разговор весь шел по-русски. Чем-то я расположил их к себе. Может быть, тем, что был не «в составе делегации». Дубчек сходил в свой номер, принес мне подарок: кепку из древесного гриба (мне показалось, что это замша), сказал: — Такую я буду носить, когда опять стану лесником. — Было уже часа два ночи.

Поднялся Бодя: — Идем. Правительство не выспится... — На лестнице он сказал, что слышал в одном колхозе: «Нам не нужна демократизация, нам сеять нужно...».

Марта Мацкова, редактор журнала «Прага — Москва».

Мы сидели в маленькой «районной» винарне, недалеко от «Интернационаля». Сидели рабочие, студенты. Было тихо, потом одна компания подгуляла, начала петь песни, но в пределах пристойности. О политике говорили, кажется, только за нашим столом.

Я просил рассказать все с самого начала. «Для самых маленьких».

— Начало — 58 год. Тогда утверждалась наша пятилетка. Принцип: все, как в СССР. На первый план тяжелая промышленность. Все капиталовложения — в тяжелую промышленность. Это было гибельно. В Госплане Ота Шик и другие выступили против этого. Полемика стала известна людям. Вы совсем не можете нас понять. У нас все по-другому. Мы маленькая страна. У нас все всё знают. Утвердили пятилетку, как намечалось. Пример: комбинат в Кошице. В Словакии. Он сожрал все капиталовложения для Словакии — и они недовольны. Первая очередь пущена в 1961 г. **Окупится через 35 лет.** Бывает, ставят металлургический комбинат у руды — везут уголь. Или у угля — везут руду. Или у большой воды. Или в большом населенном пункте, или у дороги... В Кошице ничего не было. Руду из Советского Союза — специально строили железную дорогу с широкой колеей. Уголь — из северной Чехии. Воду вели туда, людей везли... (Металлургический комбинат в стране, где нет сырья! В 1948 году, во время процессов, одного экономиста повесили за саботаж — он предлагал строить такой завод.)

Росло недовольство. Полемики. Появились первые статьи в печати. В 1963 году статья Радослава Селуцкого (публицист по экономике): «Культ плана приведет нас к гибели».

— Тут от экономики я перейду к политике. Новотный ничего не придумал лучше, как обрушиться на журналиста. Он сухой, глупый, мелкий и злой человек... Вы не думайте: это я бы сказала вам и три года назад. И многие бы сказали. Его не любили у нас. (Забавно: Свободу избрали — и уже слух, для чехов симпатичный, что где-то у него есть женщина 30-ти лет. У Новотного даже любовницы не было.)

— Плохо относился к словакам, этого не скрывал. Не любил Дубчека. Почему не снял с поста?.. Вот, Анатолий, у вас этого никак не могут понять. Это нельзя было! Дубчека ведь уже избрали в Словакии, как же он мог снять?.. **У нас была свобода, но в ней участвовало слишком мало людей.** Народ, масса коммунистов были в состоянии летаргии.

Январский пленум не с неба — он вырос изнутри. Пошло это не только снизу, но и сверху — из ЦК, из Политбюро... В 1963 г. на заседании ЦК выступил Юлис Дюриш, старый коммунист, член довоенного ЦК, первый министр сельского хозяйства, потом министр финансов, — протестовал против методов партийной работы. Коммунисты летаргичны. Метод приказов. Заседания ЦК плохо подготовлены, решения пишутся заранее, нет дискуссии... Новотный кричит на него «по-пивному»: — Демагогия!

Дюриша погнали из ЦК, из депутатов — на пенсию... Да еще на самую низкую. После один из членов ЦК, зам. премьера: «Товарищ Новотный, не кричи на людей. Нехорошо. Неэтично»... Тоже погнали.

...1963 год — переход на новую экономическую систему. Но партийные органы тормозят. Ота Шик предупреждает: «Быстрого повышения жизненного уровня не может быть». 1 мая выступает Новотный и громогласно это обещает. Шик: повышать зарплату нельзя. Новотный: «будем повышать...» Мы маленькая страна: все знают — это вранье. Демагогия о рабочем классе. Надо подсчитать и сказать правду. О структуре, трудностях, о том, что не будет быстро... Нет, не сказали.

А цены пришлось повысить — с прошлого года... И опять Новотный заявил: «Меня называют консервативцем. Я горжусь тем, что я консервативец. Я хотел поднять пенсии, выплаты многодетным семьям...» Все демагогия.

Странное мнение было высказано дальше Мартой Мацковой: дескать, русский народ велик — все выдержит, все возьмет на свои плечи. А чехи не могут. «Маленький народ должен жить лучше». Вспомнила «образ», приведенный Геббельсом в войну: винтовки — ножи — зубы... Рельсы на спинах и пальцы встык...

(Так сказать, опять «загадочная русская душа». «Вы не только нами помыкаете — узбеками, грузинами... За это благодарны не бывают». В общем — бремя великой державы, русские привыкли жить плохо и так далее... Все это в устах умной, образованной женщины, давнего друга Советского Союза...)

...1967 год, февраль — пленум ЦК. Выступила женщина, член ЦК, из Остравы — острая критика методов партийной работы. Среди интеллигенции, с молодежью... Новотный обругал ее, она плакала, кончилось истерикой. Разошлось ЦК в раздражении.

Потом IV съезд писателей. «Лит. газета» уже была голосом группы радикалов. От нее отказались солидные писатели. Съезд был подготовлен так, чтобы взять «Лит. газету» в свои руки.

Выступил П. Когоут: не согласен с национальной политикой... Задал тон. Литература отошла в сторону. Он же потом зачитал письмо Солженицына (когда заговорили о цензуре). Гендрих, секретарь ЦК, «потерял свои нервы» — грубо отвечал — неумно и нетактично. Тут все объединились — писателей обижают. Гендрих покинул съезд... Впрочем, резолюция была принята хорошая, и письмо в ЦК о преданности идеям социализма. Разошлись тихо...

Тут сбежал Мнячко... Когда опубликовал свое заявление в ФРГ — во «Франкфуртер альгемайне», общее мнение было против него... Потом его лишили гражданства. Народ объективный — на него по-прежнему сердиты, но и на правительство злы — зачем это, это незаконно...

Как оплачивается плохая информация... Почему такое отношение к Израилю? В 1948 году — в печати — маленький народ, мы ему помогаем оружием против огромных сил арабов. Это осталось. Потом смена официальной политики, а объяснено народу плохо. Весной прошлого года выступление Насера — и как на грех — дословно те же слова, которые говорил Гитлер в 1938 году о Чехословакии: «Израиль надо стереть резинкой с карты!» Все вспомнили. Мы маленькая страна — это был сильный эмоциональный удар. Очень...

...В августе исключили из партии Вацулика, Климу. Когоуту — выговор. Пленум ЦК: ликвидирована «Лит. газета» («Литерарни новины»). Однако опять выступали с сомнениями: можно ли так — одни приказы, одни акции... Новотный совсем еще не понимал свое положение: «Так решено. Так будет. Конец».

Это было в сентябре. Однако приняли резолюцию — собрать пленум в конце октября.

На нем первой выступила Мария Седлакова, журналист, из Словакии. Вопрос к Новотному: «Где аргументы по поводу закрытия «Л. Г.»?» А он намекал, что тут работала чуть ли не французская разведка. И что это государственная тайна. И он даже членам ЦК не может сказать.

Второй день — критические выступления... Время работает на Новотного: ему пора уже ехать в Москву на празднование 50-летия... Он еще ничего не понимает. Обещает дать объяснения на декабрьском пленуме...

Новотный в Москве — все тихо — его ждут. Пленум должен начаться 4 декабря. 2 декабря на аэродроме появляется Л. И. Брежнев. Короткое его пребывание. Улетел...

После на митинге в парке Фучика (15 тысяч) Смрковского спросили, что сказал Брежнев. Смрковский ответил: «Сказал — это ваше внутреннее дело». Были бешеные аплодисменты. Народ воспринял это с восторгом.

Итак, декабрьский пленум. Политбюро разбежалось... Во время пленума вдруг начаты маневры войск. Резервистов ночью поднимали с постели... И выступил Дубчек. И все рухнуло.

Тут рождество. Все чехи. И Новотный тоже чех. И он хочет испечь свой кулич. Все хотят в эти дни покоя. Пленум разъехался, и все было тихо.

Потом — январь... Остальное вы знаете...

И еще сказала Марта: — Я очень дружу с русскими. У меня много хороших знакомых в Москве. Дружба с Советским Союзом — мое убеждение,

если хотите, это стало моей профессией... Совсем откровенно: если бы тогда, в декабре, танки вошли в Прагу — я бы оставила эту работу. Даже я...

18.IV.1968 г.

Днем в кинотеатре смотрели хороший фильм «Поезда идут далеко» (так, кажется). Нет, «Поезд дальнего следования»...

Вечером пошли в гости к Велимиру Будимиру, югославу, корреспонденту ТАНЮГ.

Современная мебель, низкие кресла, кофе, коньяк. По телевизору поет мулатка с Кубы... Опять говорим, говорим.

— Швестка, редактор «Руде право», вчера лег грудью на талер — снял комментарий Шульца... Ситуация дикая: газета — орган ЦК, первый секретарь ЦК А. Дубчек высказался против чрезвычайного съезда, редактор «Руде право» (член президиума ЦК — его ввели в марте — апреле) — тоже против... А сотрудник газеты Шульц — за. И вот он пишет свой комментарий о районных парт. конференциях и доказывает, что 33% коммунистов уже высказались за чрезвычайный съезд. Швестка поздно узнал об этом, примчался в редакцию и снял — в пражском выпуске. На провинцию ушло так...

Другая газета, «Млада фронта», орган ЧСМ, высказывается за роспуск ЧСМ. (Разумеется, высказывается один журналист, но при всем новом «бесцензурье» статьи принимаются «догматически» — написано — значит, директива.) Вчера «Млада фронта» критиковала Дубчека. За повелительное наклонение в его речи на пленуме. «Мы не допустим», «Мы не позволим»...

Хозяин дома принес телетайпную речь Цисаржа (Честмира). На каком-то съезде учителей он сказал: «Программа партии нуждается в развитии. Это не генеральная линия партии. Например, вопрос о других партиях, о дальнейшем развитии церкви, прежде всего католической...»

И еще: «В ЦК большинство членов потеряли доверие, они не представляют партию. Надо снизу доверху менять руководство...» Это говорит секретарь ЦК по идеологии. (Утром мы прочитали в газетах смягченный вариант: не «большинство», а «многие». Но и это, как говорится, не сахар.)

...Диктор телевидения перед очередным веселым номером говорит: Эту передачу мы подготовили 3 месяца назад. До всех событий. Потому она веселая.

Танцует кубинка... А мы говорим, говорим... О странном, неслыханном положении в печати, о новой роли газетчиков... Володя и Велимир говорят бойко на смеси чешско-сербско-русского. Даже я кое-что понимаю.

— Где они кончат? — спрашивает югослав.

Вот еще факт стабилизации: был резкий скачок тиражей периодики. «Лит. листы» с 90 до 270 тысяч. В 2—3 раза и все остальные... А иллюстрированные журналы, напротив того, горели... Теперь снова появился интерес к журналам, где нормальная информация, новелла, юмореска... А газетные тиражи, кажется, входят в норму...

В Праге жарко... Утром я вышел из гостиницы, вошел в трамвай, где сидел за своей конторкой важный кондуктор, и поехал в центр. Зеленые газоны, белые детские коляски... Люди до удивления спокойны. Идут обычные, тихие разговоры, смех молодых. Тут в моде у парней с девушками идти по улице в обнимку. Целуются в кафе... Идут, вихляя бедрами, длинноволосые. Ну, нравится — пусть. Самая доступная мода: растет «из себя». Только бы чаще мылись... Оживленно в магазинах, в кино, в театрах. До удивления спокойный город.

Впрочем, вчера мне сказали, что по-чешски «безопасность» — «беспечность». «Министерство Госбеспечности»!..

19.IV.68 г.

Просмотр в Министерстве культуры. Министр Галушка, был журналистом, заведовал чехословацким павильоном в Монреале. Высокий, седой, симпатичный чех. И Богуш, его зам. — маленький, толстенький, лоснящийся.

В разговоре мало было интересного. Кино они, так сказать, выпускают из рук. «Цензуровать», указывать авторам не будут. Печатью вовсе не будут заниматься... Трудно с попами — в Министерстве был и есть отдел по делам церкви, — они приходят теперь со своими требованиями...

Я спросил: — То, что сейчас в печати, завтра будет в кино, театрах. Грядет второй эшелон. О процессах, о советских советниках, о разгонах студенческих демонстраций... Что об этом думает министр?

Галушка отвечал: — Старые методы административного вмешательства не могут вернуться. Дело совести художников... Я полагаю, что через год острота спадет, взгляд будет более зрелый, спокойный. А темы эти — что ж, они имеют право на отображение...

Прием был короткий — министр торопился на похороны — Прага хоронила известную актрису (кажется, жену Карела Чапека)... Уехал «открывать похороны».

Нам показали два фильма. «Рука» Иржи Трнка — отличный кукольный фильм с живой рукой (тема — художник и государство); он вышел благополучно на экраны 3 года назад. Поистине, нам их трудно понять!.. Второй фильм — «Стыд» (пред. горсовета — кооператив — пред. кооператива — изнасилованная, не вызывающая симпатий — зоотехник — молчаливое собрание (людям стыдно). Этот фильм до событий лежал на полке...

И опять разговоры... Вечером пришел к Кривошеевым Богуш, озабоченный, хмурый... За эти дни прошли передо мной разные люди — у каждого своя тема — свой настрой. И отношение к событиям разное.

Богуш — функционер. Связан с группой Дубчека (он чех, но родился в Словакии), Дубчеком выдвинут. Смотрит на все глазами своей группы. На пленуме ЦК выступал резко против «выстрелков» («экстремных» выступлений). Сказал: «Наша партия оказалась единственной, которая не защищает своих членов»... Только что его критиковали в газетах («Млада фронта» и др.). От этого нервы взвинчены. Куда мы идем? Где остановимся?.. Богуш склонен отчасти к панике. Едва не с порога: — Брошу все, уеду к Марине и детям... Скоро из дому нельзя будет выйти. У нас шофер, он возил Широкого, вчера пошел в пивную возле своего дома, куда сто лет ходит, а его узнали, кричат и пальцами показывают: «Коммунист!» Он убежал. Ему теперь жена пиво домой приносит... Ясно вам?.. Когоут революционер! Мне смешно. Я ведь помню, как он ходил в форме юнака, в ЦК бегал каждый день — самый партийный поэт. Надо было тогда быть смелым! Когда меня отовсюду прогнали, я писать не мог полгода... Кто тогда кричал громче всех, тот и теперь громче шумит. Не люблю!..

Сыплются имена, мне неизвестные, кто как тогда себя вел... Знает Богуш эти дела, надо сказать, превосходно. Все про всех. И нынешние новости — «с самого верха».

— Колдеру конец... Дубчек сказал: придется пожертвовать. Один-два дня!.. Не удалось отстоять, слишком большой шум... Эта газета (мы показали ему выступление Цисаржа) — будет большой скандал на Президиуме... Цисарж — революционер! Мне смешно... Дубчек и Колдер еще три года назад договорились выступить против Новотного. Ждали момент. В прошлом году Колдер отдыхал в Румынии, предложил Цисаржу присоединиться. А он: «Нет-нет, что вы! Я ничего не слышал. Без меня...» Когда мы голову совали в петлю, они ждали. Отсиживались. Пусть этот дурачок-словачок рискует собой. А мы поглядим, куда повернется. А теперь он н не нужен. Когда все сделано, пусть дурачок-словачок убирается к себе в Братиславу. Теперь они храбрецы! Надо больше есть фосфор. Рыбу есть, в ней фосфор. Чтобы спина была прямая...

И так весь вечер до глубокой ночи. Отводил душу.

— Нет, друзья, хорошо это не кончится... Когда партия людова (католики) в день набирают по 250 членов, я не могу говорить об этом спокойно... Ты читал интервью Кучеры? Социал-демократа? Заявил, что бывших членов своей партии, которые потом вступили в компартию, они обратно принимать не будут. А? Не хотят засорять свои ряды!

Убежал он неожиданно, толстый, улыбчивый, встрепанный, озабоченный. И при всем при том очень славный дядька...

20.IV.68 г.

И другая среда — мы в гостях у Биллеров. Семен Биллер — переводчик

(подписывается фамилией «наоборот»: Реллиб). Жена его Рада — армянка, у нее советское гражданство. Говорит она: «У вас». Это противно.

Здесь другие опасения: как бы дело не свелось к «простой смене руководства». Сыплются опять имена, но уже в другом порядке, в другом контексте. В госбезопасности сидят те же люди. Старые силы не ушли, не отступили, они пока в тени, но могут в любой момент выйти на первый план... В общем они за Дубчека — до той поры, пока он, с их точки зрения, сила прогрессивная. Но безусловно против Колдера и др.

Здесь полная противоположность взглядам Богуша. Должны быть другие партии, без оппозиции нет демократии, необходим «механизм» смены руководства при социализме, и, конечно, полная свобода печати — никакой цензуры.

Мы спорили: — «Полной» свободы печати никогда и нигде не было. Печать классова. Бесцензурность — фикция.

Биллеры не согласны.

Ладно, доведем до логического конца. А если порнография? А если пропаганда фашизма? Биллер стоит на своем: печатать надо все. До логического конца? Да. И пропаганду фашизма — тоже. Раз у человека такое мнение... Большинство против. Газета дает место для противоположной позиции. Читатели сделают выбор.

Мы спорили: сейчас не очень печатают «консервативцев». Статьи Гофмана, бывшего министра культуры, отказались печатать три газеты. Биллер говорит: это зря, это неправильно. Хотя, конечно, двадцать лет их слушали, пусть теперь **они** послушают.

Сейчас много говорят, много пишут. 20 лет молчали — 3 месяца говорят. Возможны, конечно, перехлесты, но это не беда, не страшно... Разумеется, и здесь мы услышали о незыблемости социализма и дружбы с Советским Союзом. Биллеры считают, что тут проводится неслыханный эксперимент — попытка соединить социализм с демократическими свободами.

Спорили мы долго. Убедить их нам не удалось. Даже поколебать не удалось. Даже опасений наших они не приняли...

20.IV.68 г.

Это была суббота, мой свободный день. Володя Кривошеев возил меня по Праге — «малый туристский круг». Пока сидели с ним дома, зашла их знакомая чешка, работающая в газете. Прежде была в аппарате ЦК.

Она мне рассказала: — В аппарате ЦК не было ни одной машинистки, печатавшей по-словацки. Документы Словацкого ЦК переводились худо, они выглядели безграмотными дураками. В желании говорить на родном языке Новотный видел буржуазный национализм. Скандал с «Матицей Словенской»... Это культурная организация, возникшая давно для сохранения национальной культуры, письменности, для связи со словаками, рассеянными по миру (эмигрантов очень много). Когда Новотный посетил Словакию, его пригласили представители «Матицы Словенской». Он отказался. Еще он должен был ехать на старинное кладбище, где собрался и ждал его народ. «Это пахнет национализмом», — сказал Новотный и не поехал. Позже «Матица» послала ему в подарок свои издания — солидные книги об истории, культуре, искусстве, — и письмо с объяснениями вполне лояльными, что «ничего не желали дурного», — посылка вернулась с припиской, сделанной рукою президента: «Адресат отказался принять». Это уже было оскорбление не только национальных интересов, но **национальных чувств...**

(Между прочим, на второй день после отставки Новотного в «Вечерней Праге» появилась заметка: «Ужин бывшего президента» (о капустных котлетках). Вполне нравы желтой прессы.)

Поездка по Праге. Все цветет. Уже и каштаны зацвели. На Смихове вокруг танка «23» — первого, вошедшего в Прагу, — розовым цветом светятся вишни... Ивы у Карлова моста. Он сейчас в ремонте... Лодки на Влтаве. Одни рыбачат, другие спят в лодках. Покойно. Молодые парни в обнимку с девицами. Сзади не различишь, где кто. В костеле Св. Миклоша (барочном) — волосатые с гитарами сидели на каменном полу, слушали Баха...

Покойно в городе. Субботний отдых. Все рестораны, и кафе, и пивные — полны. **«Поешь блинов — уж тут какие нервы!»**

21 апреля 1968 г.
Воскресенье.

Сегодня делегация отлетает в Братиславу — в 14.40. А мы рано утром, в 8 утра, отбываем на машине. За рулем Володя Кривошеев, взяли с собой Симонова с Ларисой.

Кутна гора — первая остановка. Храм Барбары, готика.

Костница (открытка с черепами). В городке (как, впрочем, и всюду по пути) малолюдно — воскресный день. В двух городках по дороге — футбол. Зайцы бегают по полям — видели их много.

Брно — там не останавливались: проехали стороной; большой промышленный город, многоэтажные окраины.

Семья навстречу — все: папа, мама, дети — на велосипедах.

Хотели обедать в старом замке, где открыт «модерный» ресторан, дали ради этого крюка километров на 30, но ресторан закрыт; обедали в какой-то забегаловке в маленьком городке...

...Ближе к Словакии виды меняются. Беленые избы, росписи по белому, палисаднички с цветами. Сидят старухи на завалинках... В одном селе просто стулья выставлены, и сидят прямые старики в воскресном и старухи — смотрят на дорогу.

21.IV.68 г.
Братислава.

Воссоединились с делегацией (мы прибыли на час позже них), отправились бродить по городу. Удивительно приятный, теплый южный город. Каштаны цветут вовсю. Оживленная набережная, ветерок с Дуная... Здесь, после безлюдья дороги, очень много народу. Пивная у реки. Флаги в честь приезда президента Свободы, он будет жить в нашем отеле... Впервые вывешены только трехцветные флаги Чехословакии (без красных — СССР).

Вечером мы сидели в ресторации «У великих францишкан» («У больших францисканцев»); есть еще и «у малых». Оборудован ресторан в подвале: низкие круглые своды, многие помещения, ходит оркестрик из зала в зал — аккордеон, контрабас и, конечно, скрипка.

Здесь, в отличие от Чехии, поют. Компания за соседним столом — молодежь, по виду — студенты. Четыре мини-девушки и трое парней. Поют старинную словацкую: «Генерал Лауб бежал через Весницу». Но текст они изменили: — Генерал Шейна бежал через Весницу... — Особенно лихо, с присвистом, на два голоса припев: — Стой! Кто там? — Патрула. — Яка? — Военска! — Кто ее веде? — Чехи! — Яки? — Губаты... (А надо по песне: «Женска! — Яка? — Бесстыжа».)

За другим столиком сидят чехи, морщатся... Подходит оркестрик и с ходу включается — аккомпанирует песне.

Поздно ночью мы с Володей едем еще в гости к Богушу. Жена его — Марина, дети спят, позже вдруг проснется маленький, 3-летний любимец, беленький, бледненький, и просияет Богуш... Квартира его в высотном доме на берегу Дуная, с балкона видны три страны — Австрия, Венгрия и Чехословакия. А по Дунаю плавают в основном советские суда; на заре Богуш слышит: «Ты куда, твою мать!..»

В гостях у Богуша был скульптор Барфайт, известный в Словакии; недавно была его выставка на Кузнецком... Между прочим, еще два года назад он вышел из Правления Союза художников.

— Почему?

— Много болтают. Художник должен работать.

(Примерно тогда же вышел из Правления Союза писателей Минач; и мотив тот же: «Писатель должен писать».)

— Это был протест против догматизма — прежде всего — и против демагогии — тоже. Это могли себе позволить действительно крупные художники.

...Кажется, словацким писателям сейчас будет не до приема советских друзей. События здесь разворачиваются. Трое вышли из редколлегии «Культурного живота», газеты Союза писателей Словакии, в знак протеста против линии редакции. Вышел Новомеский, писатель наиизвестней-

ший (его прочат в президенты Словакии), вышел Валек, поэт, председатель Союза. Они на позициях более умеренных...

Все тут очень сложно, с нашими мерками не понять. В противоположной группировке Корваш, известный драматург (две его пьесы идут сейчас в Москве). Значит, он радикал, «левый». А у него в доме трагедия — полгода назад покончил с собой его сын, студент. Причина: разочарование, крушение идеалов. Отец оказался для него догматиком, «консервативцем». «Мнячко мог, а отец не мог». Идеологом для сына стал Мнячко, и Корваш должен ненавидеть его...

22.IV.68 г.

Утром пошли в ЦК, чтобы послать оттуда телеграмму в «Известия». Валек напомнил мне Богуша — та же издерганность — его сейчас критикуют в газетах... Спросил у него, в чем суть разногласий. Валек сказал, что все очень сложно, нам не понять. Одни считают, что надо сперва демократизацию, другие — наоборот... В общем, тут в основе национальное, а не социальное. Расстались с ним у винарни. Туда придет Микач, у них предстоят сложные переговоры (Микач держит сторону Валека) о том, как добиться большинства в Правлении Союза писателей, — заседание завтра, — и, конечно, они порядочно выпьют.

А нам надо ехать на завод.

«СЛОВНАФТ» — огромный нефтеперерабатывающий завод в Братиславе. 5,5 тысячи работников — для химии очень много. Работает на советской нефти. Здесь кончается нефтепровод «Дружба».

Задаю всем один вопрос: как относятся они к событиям в стране? Чего ждут? Как отразились события на жизни завода?

В беседе участвуют: инженер Ян Вандрияк, инженер Балан, начальник отдела международных связей Томаш Возар, Лидия Голикова, экономист, — переводчица (она русская).

— Вопрос широкий. Отражается на всех ступенях. И в первичных парторганизациях, и в профсоюзах, и в руководстве завода.

— Больших событий здесь не произошло. Завод все дни работал. Валовой доход в 1-м квартале — 101%. На производственном процессе пока никак не отразилось... Что нового? Люди открыто критикуют недостатки.

— Процесс демократизации большей частью относится к политике. Новая экономическая система (начали два года назад) деформировалась административными методами. Это мешало заводу. **Решения партии не отменяются**. Смысл в том, чтобы **именно их выполнять**.

— На заводе процессом демократизации руководит партийная организация. Секретарь сменен, но он ушел **на повышение**. Изменений пока серьезных нет: три месяца — это не срок.

— Организованных требований повышения зарплаты не было.

— Почему?

— Завод оснащен современным оборудованием, план перевыполняет все время, зарплата растет. (13-ю зарплату получают второй год. Средняя — 1860 крон. В 1966 г. — 1790, а в 1967 г. — 1830.) 4% в год — рост зарплаты...

Все, таким образом, внешне спокойно. Правда, директор Ростислав Пиларж, строивший этот завод, уходит. Через 2 месяца.

— Почему? — Его критиковали за твердое управление, за твердое обращение с людьми. Но дело не в этом. — А в чем? Он чех? — Да, но и не в этом. Он по образованию строитель, пойдет начальником строительства нового нефтеперерабатывающего завода — в Чехию. А нынешний главный инженер будет новым директором, Эмиль Кудличка. Он уже сказал: «Изменений не будет. Все остается на заводе, как было». — А он словак? — Да, — говорят они, — но не в этом дело...

Впрочем, тут же говорят они о том, что был «кадровый потолок», что словаков-директоров не было на больших заводах, и это несправедливо, и надо это исправить. Снова о том же: — Выросла словацкая интеллигенция, а директора трех крупнейших заводов — чехи. Нельзя, конечно, сказать, что Пиларж был плохой руководитель, нет... Но и теперь замдиректора будет чех, и некоторые начальники цехов, и многие инженеры...

— Преимущество демократизации — процесс начала и ведет партия.

Есть нападки, «выстрелки» — это журналисты. Когда собрание — **это коллективное мнение. А журналист пишет — это его личное, субъективное мнение.** А люди привыкли верить тому, что пишет газета. Им (журналистам) платят за это, они этим живут...

— Получить болезнь легче, чем ее лечить... Ну, и еще люди боятся критиковать. Еще не привыкли. На заводе был городской актив. Выступал Павленда, член Президиума ЦК Словакии. Получил такой вопрос (записку): «А скоро вас арестуют за критику?»

— Была партийная конференция на заводе. Твердо заявлено: путь социализма, руководство партии, дружба с Сов. Союзом... Против этого ни одного голоса не было.

— Может, боятся? Ждут, чем кончится?..

— Но я думаю, дружба с СССР имеет здесь еще и материальную базу. Технология советская и самое главное — сырье. У нас дружба с Саратовским нефтеперегонным. Дружба **«оматериализована»**. Это не берется под сомнение — и в профсоюзах, и для тех. интеллигенции, и для рабочих.

— Критикуют недостатки руководства, плохую заботу о рабочих и кадровую (имеется в виду национальную) политику.

О профсоюзах. Т. Возар: — Если бы завтра не было профсоюзной организации, никто бы не заметил. Только и вспоминаем, когда надо платить членские взносы. Коллективный договор — формальность. В обязанности администрации вменяется то, что она и без того, по закону обязана делать...

Балан: — Каждый **рабочий видит демократизацию через свой карман.** Многие верят в лучшее, надеются. И, конечно, очень много говорят люди. Административное руководство позволяло покрывать недостатки одного завода за счет другого. То же с зарплатой — полная нивелировка. Решено правительством: зарплата может повышаться только с повышением производительности труда. Так объявлено...

Мой вопрос **о позиции технической интеллигенции**. Чем отличается она от точки зрения гуманитариев?

— Для технической интеллигенции **демократизация не конец, а точка отсчета.** Мне надо: то, что я предложу, чтобы было реализовано. Чтобы в Министерстве не сказали: нет. Четыре дня назад я вернулся из Праги: заключали контракт на оборудование. Невозможный бюрократизм! Очень долго, очень много бумажек! Если хорошо работаешь, надо, чтобы это видели другие. Работа должна быть оценена. До сих пор судили человека по другим качествам...

Вопрос о «выстрелках».

— Обл. секретарь сказал вчера на конференции: — Надо нам **вернуть доверие людей.** Мы не можем опустить руки и ждать, пока захватят влияние реакционные силы. Мы должны работать с народом. И пока процессом будет руководить партия, у нас не будет опасений. Конечно, нельзя писать в газетах так, как пишут некоторые. Существует определенная граница, чувствительная граница между тем, что можно делать, и тем, что делается. Границу никто не должен переходить.

— В печати, судя по газетам, население Чехословакии состоит из писателей, журналистов и ученых. На областной конференции все делегаты требовали, чтобы съезд проводился без спешки, хорошо подготовленным, чтобы уже были какие-то результаты... Мы, инженеры, люди завода, с этим согласны. От нас не требовали, а нужно будет — резолюции пойдут.

— Важно рабочим — Шик или Черник?

— Нет. Не знают ни того, ни другого...

Прошли по заводу. Он безлюден, огромен. Светлый зал, серые пульты, стрелки приборов. Рабочие в касках, на касках спереди фамилия владельца. Очень удобно.

Спрашиваю, что они думают о демократизации. Молодой парень **Пинкава**, оператор, усмехнулся, махнул рукой: — Я беспартийный! — И отошел. Но после вернулся и говорил больше всех. Другой рабочий, постарше, — **Такач:** — Ничего до нас не дошло. Все наверху... Я тоже непартийный. — Вернулся **Пинкава:** — Было восстановление, потом соц. строительство, потом культ, потом новая экономическая система, теперь демо-

кратизация — поглядим... Никаких выгод практически не имеем. Увидим — тогда скажем.

Еще подошел молодой рыжий парень — **Пожик:** — Нам не важно, кто там будет, важно, что сделают.

Тут они дружно и очень горячо начинают говорить, что повышения зарплаты не было. А было сокращение рабочих часов. Они бы предпочли работать столько же, но получать больше...

Володя Кривошеев: «Экономически это одно и то же».

(После А. М. Бирман, который тоже появился в Праге, сказал, что не одно и то же: «Вы пришли в магазин и просите: дайте мне кило масла. — А деньги? — У меня 4 часа свободного времени».)

Однако эти рабочие молоды и интерес к «политике» у них есть. Радио слушают, телевидение смотрят, газеты читают.

Соображения Пинкавы: — В целом мнение людей другое, чем в газетах. Мы, молодые, не знаем, кто был что. Мы мало верили печати. То, что сейчас, ближе к правде... Ни один из прежнего состава правительства не может быть незамешанный, невиновный. Даже, если он молчал... Скажет: я молчал, потому что опасно было говорить. Ты на ведущем положении — не должен бояться. А молчал — значит, был согласен.

— О Гусаке... Как утверждали, он был герой. Сразу после войны. Почему вдруг стал плох? Если идет за ним народ, обязательно должны быть хорошие мысли. Определяются делами люди... Гусаку, в общем, верю: он хотел для республики и народа хорошее... (Все это — из газет. Читают, что-то им нравится, что-то запало в душу, память.) **Свобода слова?** Конечно, могу использовать, но потом отзовется. Опыт двадцати лет... Люди, которые были раньше, они в большинстве остались. Правильно пишут в газетах: нужны гарантии, что не вернется прошлое. **Что нас волнует?** Первый вопрос: чтобы мы получали так же, как чешские рабочие. Второй: **автономия Словакии**. Все решения приходят из Праги...

Еще суждения (курим, разговариваем, время от времени кто-то из них отходит к приборам, возвращается): — Рабочему никогда не бывает лучше. Он не скоро почувствует это на себе. Квартплата повысилась, цены в ресторанах, кафе — больше, плата за автобус, цены в магазинах... Я получу премию 500 крон, а директор — 20 тысяч крон. А рабочий работает больше, чем директор.

Инженер Вандрияк спорит с ними: труд руководителя, инженера совсем не прост, он сложнее, ответственнее...

Я говорю: — Когда вступят в действие экономические рычаги, когда ваше благополучие действительно будет зависеть от верного руководителя, вы сами поймете, скажете: пусть директор больше получает, лишь бы работал хорошо. Это мы уже наблюдали в колхозах...

Молчат. Не согласны.

Новая тема: — Нас в школе учили: все, что в СССР, — лучшее. «Советские достижения — наш взор»! Лесные полосы у вас в степях — и тут взялись сажать на Карпатах. Школы продленного дня были у нас — отменили. Потом вы их ввели — тогда и у нас восстановили. **Это слепое заимствование бесит людей.** Нам говорили: мы должны догонять Советский Союз. А Советский Союз догоняет развитые капиталистические страны. А Чехословакия уже была до войны развитой капиталистической страной. Почему мы должны сами себя догонять? Дружба с вами — вопрос не дискуссионный. Дружба должна быть. Но как раньше — нет!.. Лозунги глупые — «наш взор», «образец», «пример» — отбросить. Народ не может унижать себя.

— Треба брать добро и отметать зло...

22.IV.1968 г.

У нашего отеля праздничная толпа: ждут выхода президента Свободы. Крыльцо выстлано красным ковром. Есть милиция, но мало — не охрана, а для порядка. Дети с цветами, студенты в обнимку со своими девушками, семьи... Я стоял в толпе и видел: настроение у всех праздничное.

Вышел седой президент; аплодисменты; он подошел, руки над головой в приветствии; сошел вниз и, отказавшись от машины, пошел пешком к национальному театру. Толпа пошла за ним... Жест президента понравился. Все сейчас сравнивают люди. И то, что он остановился в отеле, замечено.

Вечерний прием в честь Свободы.

Прием во дворце, большие залы, нарядные дамы, машины подъезжают под листву деревьев, мраморная лестница... Короткое представление президенту, рядом с ним Биляк, первый секретарь ЦК КП Словакии. Он приземистый, черноволосый. В прошлом портной («брючник»). Официанты обносят гостей коньяками, сливовицами, маленькими бутербродами; накрыты большие столы. Еда и питье — стоя. Все поначалу торжественно.

Прием интересен тем, что тут всех можно увидеть, со всеми поговорить.

Вот короткая запись бесед:

Михал Пехо, 2-й секретарь ЦК Словакии (по идеологии). Симпатичный, интеллигентный, в очках: — Эти нападки справа не имеют социальной базы. Нет лучшей позитивной программы, чем программа компартии. Мы вели дискуссию со студентами. Сам лично был во всех вузах Словакии. Это трудно — выйти на студенческую аудиторию из нескольких тысяч человек. Правильно, что мы, коммунисты, выступили с инициативой федерации. Иначе другие вышли бы с требованием отделения, самостоятельности... **Ситуация сложная, но не катастрофическая.** Намечаем теперь собрания с учителями: у них в руках будущее страны. В мае придем к рабочим... К сожалению, в партии мало людей, которые могут выйти к людям, вести дискуссию. Мало ораторов, трибунов. Окончательный диагноз сложен. Нам будет трудно. Но мы не боимся. Уже в первой фазе нам удалось преодолеть «венгерский вариант». А вы только представьте себе, как это было бы **со всех точек зрения ужасно...** Мы были бы довольны, если бы Советский Союз нас понимал, нам верил и хоть немного поддерживал...

Спрашиваю у Пехо, как он относится к «польскому варианту»,

— Я был членом делегации на будапештском совещании. Слышал Зенона Клишко. Это склероз рабочего движения. Это спокойствие ненадолго. Через год у них будет взрыв.

Возвращается к своему: — На всех митингах вопросы: почему молчит Советский Союз? Я первое время отвечал: не хотят нам мешать. Говорил о позиции Брежнева: «Это ваше внутреннее дело». Слушали с одобрением. **Но сейчас этого мало.**

— А как мыслишь? — спросил Володя Кривошеев.

— Пошлите хорошие делегации — журналистов, экономистов, учителей. Скажите им, чтобы не боялись дискуссий. Диалог между коммунистами необходим. Пошире контакты молодежи. Нас связывает многое. Но если молодежь не будет встречаться, **новая генерация** не будет знать... Мы — другое дело, наша дружба с войны, с общих боев...

Генерал Дзур, новый военный министр Чехословакии.

Небольшого роста, светловолосый, лет 50-ти, светлые голубые глаза, хохолок на затылке. Он словак.

— Не надо сомневаться в нашей дружбе. Она традиционна — не с войны, а исстари. **Второе:** мы на пути социализма. **Третье:** мы не как Румыния; останемся крепким звеном Варшавского Договора. **«Выстрелки»** — это не страшно. Конечно, много лет молчали, теперь с отменой цензуры будут перехлесты. Но войдет в норму.

Спрашиваю: что значит демократизация в армии? Не есть ли это несовместимые понятия: демократизм и дисциплина?

— Да, армия без единоначалия, без крепкой дисциплины не существует. Другое дело, можно и нужно дать большую инициативу командирам соединений... Пример: можно сказать командиру роты — в год проведи столько-то учений. А можно: будь в постоянной боевой готовности.

— В армии идет дискуссия?

— Некоторое «волнование» есть... — Дзур говорит по-русски. — Дискуссия не кончилась. Но главный вопрос сейчас — разрыв между требованиями государства и нашими возможностями. Критика: нужна модернизация... Еще критика в адрес политаппарата: дублировали командиров, имели привилегии. Это в особенности после предательства генерала

Шейны... Но спора о роли партии нет. Сейчас задача, если говорить об идеологии,— восстановить авторитет армии в глазах народа. Престиж армии, уважение военных к самим себе.

— Были случаи неподчинения?

— Да, были. Пример: оперативный офицер звонил в управление: «Подчиняться никому не буду!» Сейчас дисциплина в армии восстановлена.

Спросили о самоубийстве генерала Янко.

— История сложная. В 1946 году надо было изолировать армию. Большую роль сыграли коммунисты. Роль генерала Свободы—он держал нейтралитет. Через два года была задача сменить офицерский состав. Выросли коммунисты. Свобода вступил в компартию. Тогда и наиболее честные, прогрессивные кадровики идут в армию. В том числе — Ломский, Риш, Янко... Янко субъективно был честен. Жаль, что сдали нервы. Сейчас мы бы дали ему большой пост...

Спросил, как он сам, генерал Дзур, принял новое назначение.

— Очень было трудно. Я не хотел. Согласился только как коммунист, чтобы в трудный момент помочь народу... партии...

Кароль Шавен, генеральный секретарь Общества чехословацко-советской дружбы: — Мне 47 лет. Моя генерация знает один путь — социализма. Но надо, чтобы коммунист мог говорить все, что он думает. Чтобы линия партии рождалась **снизу вверх**, а потом уже **сверху вниз**... Если будем работать с народом, как умели до февраля 48 года,— через год получим 70% голосов.

— А сейчас?

— 35%, я думаю... Надо, чтобы коммунисты среди народа были как воздух. От души к душе... Не царили, не принуждали. Оставить мысль, что народ должен только слушаться и работать. Мы забыли, став правящей партией, что борьба за социализм — это борьба идей. Надо доказывать, что это правильно. Правильно — по праву, по законам морали, по законам совести. Двадцать лет мы брали модель социализма Советского Союза. Оказалось, в наших условиях не годится. Полностью, все целиком мы не должны брать...

Шавен познакомил меня с седым, представительным стариком, сидевшим за столом... К этому времени Свобода уехал, гости чувствовали себя свободнее, успели слегка «подпить»... Шавен о старике сказал так: «Он не коммунист, депутат другой партии. Но порядочный человек...»

Ондрей Жиак, председатель Совета лютеранской церкви, зам. председателя партии Словацкого возрождения:

— Я не коммунист, я верующий. Но люблю советских людей. Как 2+2=4, так чех и словак не могут жить без Советского Союза. Нет дружбы — мы потерялись. И никто не поможет — ни герман, ни мадьяр, ни франк, ни бритт. Я скажу русскому человеку: «Дай хлеба»,— он поймет. Скажу: «Спасибо»,—он поймет. Я не католик—лютеранин. У нас тоже был вульгарный атеизм. Это нам очень помогло в работе. Мы диалектики. Мы много учились. И у Маркса и у Ленина. Для меня Ленин — великий гуманист. Мне главное: какой ты человек? Честный, не воруешь, не изменяешь старой жене... Честный коммунист с коммунистическим сознанием и честный христианин с религиозным сознанием — как запалки в одной коробке. Можно достать с этой стороны, можно — с этой,— все равно горит!

Жиак достал спички, ловко показал этот фокус. Смотрел, как горит спичка... Понаторел, видать, в этих дискуссиях, умеет... Но и ему надо «успокоить» советских товарищей.

— Я агитировал за коллективизацию. Люди не шли в ЕЗД. А в округе было много лютеран. Я сказал: с этических принципов колхоз — это хорошо. И пошли. И не надо было у нас ничего, что писал Шолохов в «Поднятой целине»... В 1954 г. было 19% в колхозах, а в 1959 г.— 81%. Больше у нас не нужно, остальные — хутора в горах.

(Жизнь Словакии он знает преотлично. Цифры все ему известны. Итак, в Словакии 5 млн. населения. Католиков—2 млн. Протестантов— 1 млн. (в том числе 530 тыс.— лютеран). Атеистов — 1 млн.)

— Лютеранская церковь — очень народная церковь,— убеждает Жиак.— Нет помощи извне, нет связей с заграницей, нет связей с папством... В войну Асмолов, партизанский герой, говорил: «Если лютеранский поп, лютеранский учитель, лютеранский человек — я к нему иду с доверием. В большинстве это антифашисты...». Словакия бедная, своей мелкой буржуазии, как в чешских землях, здесь не было... Лютеранская церковь здесь национальная, своя, славянская...

Мой «бестактный» вопрос: — Насколько мне известно, Лютер все-таки немец.

Жиак: — Когда это было! — Он профессор теологии университета. У него 43 студента — будущие лютеранские проповедники.

— Что такое партия «Словацкого возрождения»?..

— В ней 500 членов.

— 500 тысяч?

— Нет, 500... Но газета выходит тиражом **25 тысяч**. У нас 6 депутатов в Национальном собрании. Я — зам. председателя. У нас 8 депутатов — в Словацком Нац. Совете...

— Будет расти партия?

Жиак улыбается: — Нет. Нам не нужно. Лютеране и так будут голосовать, как мы рекомендуем. Нам верят. Мне верят...

Опять его кредо: — Экономически согласен с марксизмом. С глубин гуманизма — согласен. Нравственная проповедь — согласен. Не согласен с одним—с атеизмом. Я коммунист, но только я верю в Бога... Может, я глупый человек, но никто мне не доказал, что Бога нет. Конечно, Бог не старик с бородой. Он авторитет правды, нравственности, любви. Любви к католикам, магометанам... Для меня религия — этика. Я думаю, что закон любви — это дар Бога... Я за прогресс. Я словак и считаю, что нам надо жить самостоятельно. Народ хочет демократически решать проблемы своей жизни...

(Для этого просвещенного попа **демократически** — значит, так, как велит он и церковь крестьянам. Лукав!)

— Я на стороне Дубчека. Я думаю: нельзя допустить, чтобы один человек командовал всем народом. Я полагаю, что свой прогресс народ всегда обеспечит сам... Во время Сталина я тоже хлопал. Я думал: хорошо—человека подняли до Бога... Но потом 20-й съезд КПСС я приветствовал: конечно, нельзя так! Я родился не для того, чтобы командовать вами. Я не могу решать — идти вам в тюрьму, или жить с женой и детьми. Не может быть так, что у человека правда или ошибка, и за это его в тюрьму. Я вам расскажу старый анекдот о Карле Габсбургском. Он собрал часы, сто штук, и хотел, чтобы они отбивали одно время. Но через несколько часов увидел — стрелки идут вразнобой. Одна на полминуты отстала, другая на несколько секунд ушла вперед. И это машины! А мы хотим, чтобы люди были одинаковы...

Еще говорит Жиак, уже в подпитии, ему весело, мы сидим у выхода из зала, все уходящие кивают главе лютеранской церкви, он со всеми хорош. Проходит Биляк, прощается с нами ручно. Жиак ему:—Так я в среду приду к тебе.— Да, да, обязательно...

— Можете звать меня Андреем Ивановичем... Я сейчас скажу вам — вы все поймете. У меня сын Федор. В честь Федора Достоевского, лучшего писателя мира. Толстого люблю — это великие проповедники... Я назвал сына Федором не вчера — в 35 году... Я надеюсь, вы меня поняли... Вот Минач, наш писатель, он коммунист, но я знаю: он сын лютеранской матери — он искренний, ему можно верить. Или Йозеф Вало, пред. Общества чехословацко-советской дружбы, мы с ним работаем в этом обществе, он **старый коммунист, но честный человек**...

(Так Ондрей Жиак почти дословно вывел ту формулу, с какой меня подвели к нему.)

...**Минач**, сильно пьяный. Этот из тех, кто, так сказать, взял за стиль резать правду-матку.

Действительно, нам трудно понять их: сейчас Минач на партийных позициях — поддерживает линию Дубчека. На IV съезде писателей был в числе словацких писателей, которые подписали письмо против «леваков» по поводу внешней политики (об Израиле).

Минач сидит на диване у стола, ерничает. Жена его, пышная блон-

динка в золотом платье, тянет его домой, он говорит, нет, все равно, мол, она не получит от него того, что она хочет. Жена первая смеется, хлопает его по руке.

Полевой, сидящий рядом с ними, хочет переменить разговор. Говорит о Мнячко — карьерист, истерик, «я Мнячко вычеркнул из списка друзей».

Минач смотрит тяжелым взглядом: — А я друзей так быстро не вычеркиваю... Россия дала миру великую интеллигенцию, а вы дерьмо. Русская интеллигенция предала народ, русские писатели предали интеллигенцию. Вы не любите свободу...

Мы спорили с ним до грубости, но это бессмысленно — его несло, он уже ничего не слышал.

22.IV.1968.

Все тот же бесконечно длинный день. Вечером мы идем в ночной бар. Это в нашем отеле, где почивает президент. Садимся за столик — Богуш, Володя и я. Наши писатели, утомленные дискуссиями, спят...

Это туристский бар, похожий на все такие заведения. Тесные столики, по стенам узкие ложи, громкий джаз на небольшой эстраде — гитара, контрабас, электророяль. И солистка в сверхмини — победительница конкурса красоты этого года (она с завода «Красный пролетарий»!). Жара, бешеные танцы, много еще невиданного...

А через столик от нас группа солидных людей. Богуш говорит: «Это первый секретарь обкома, только что избранный. Пойдем, поздравим». И мы беседуем с ним под шум ночного бара.

Ладислав Абрагам, первый секретарь Братиславского обкома партии: — Я работаю в партии с 1937 года. До 48 года это была романтика. Потом — служба. Формальность. Сейчас опять надо думать. А кто не может думать, пусть уходит с партийной работы. Люди у нас не живут плохо. Но давно заслужили жить лучше... Низовые парторганизации еще 2—3 года назад принимали резолюции, чтоб Новотный ушел. Райкомы клали под сукно. Дубчек **здесь еще оттачивал новые методы.** Беседовал с писателями, с учеными... А в Праге все началось в январе этого года. Вот и «личности» появляются... Наша республика небольшая. **Из конца в конец видно.** Все сложно. Что замалчивалось — сейчас вышло на поверхность. Люди злы... Я прошел с января сотни собраний. Проехал по всем крупным центрам области. 200—300 коммунистов сидят по 7 часов, по 15 часов. Вопросы очень острые. И надо говорить правду, хотя она не всегда приятная... Трудно. Пресса некоторое время **над партией.** Это, конечно, надо вводить в норму. Мы введем... Хочу собрать журналистов. Хочешь меня критиковать — критикуй. Но объективно... История показывает: всегда были крайности. Для меня важна середина — мнение большинства... Вот еще главное, что я хочу сказать. Мы **годами воевали и не знали, против кого. Теперь знаем точно.** В прошлом мы допускали ошибки — по шаблону. Зачем нам новый шаблон?..

Спрашиваю о заводе «Дусло» — верно ли, что сняли чешских специалистов и завод стоял?

— Нет, не так, хотя слух был и даже Дубчек звонил, спрашивал. Там директор Мейер, чех. Их критиковали, но все остались... Я был на собрании в «Зорнице» — там 207 коммунистов, и все 207 пришли на собрание, и сидели с 2 до 11 часов вечера. Ни один не ушел... Придешь с такого собрания домой — жить не хочется. Сидишь дома, никуда не идешь. Потом все продумаешь — назавтра идешь опять. Надо!

(Абрагам учился в ВПШ, в Москве. «Сидел на одной парте с Дубчеком». Старый, проверенный партийный работник.)

27.IV.1968 г. Суббота.

Командировку я продлил крайне неудачно. Вчерашний, первый мой «самостоятельный» день, был пятницей. Это уже полувыходной. И все пошло кое-как. Полдня провел с профессором Бирманом, который оказался с делегацией здесь, которого очень люблю, но с которым вполне мог встретиться в Москве.

Потом был прием в Министерстве культуры. И все.

Сегодня суббота нерабочая — вовсе никого увидеть нельзя.

Гулял по городу. Был в гостях у Петера Флорина, посла ГДР.

Вечером у Володи встретились с Мирославом Филиппом. Это видный журналист, симпатичный, высокий, очкастый человек, веселый, смешливый — он целиком за демократизацию.

Как это делается? — почти по Чапеку — в газетах... Разговор был вполне откровенный. Мирек знает пол-Москвы, знаком и с Симоновым, Полевым, знает в «Неделе» Плюща, Ермоловича. Плющ в последнюю встречу вдруг посерьезнел и спросил: «Мирек, ты мне ответь: ты за социализм или против социализма?»

Тут сейчас многие задают этот вопрос.

...В той редакции, где работает Мирек, коллектив выразил недоверие редактору. Он «консерватист». Его прислали в редакцию специально, чтобы «закручивать гайки». Он закручивал. Уволил многих, по мнению Мирека, наиболее талантливых. (И тут они повторяют нашу «модель»!) Проводил линию Новотного. Он не может теперь быть редактором...

— А сама механика? Вы ведь не вправе его снять. Не вы назначили. Он в номенклатуре ЦК. Есть у вас это понятие?

— Да... Мы свое решение послали в ЦК. Оттуда были люди на наших собраниях. Когда общее мнение стало ясно, редактор сам подал заявление. — Мирек смеется: — Он сказал: «Напрасно вы меня снимаете. Следующий будет хуже. Я вам еще пригожусь».

Мы спорили: не может быть газеты, представляющей позицию 20 журналистов. Не может быть орган ЦК, выступающий против позиции ЦК. Нигде, ни в одной стране... Удивительный гибрид — «демократическое» отсутствие цензуры и «догматическая» привычка видеть в выступлении газеты директиву...

Мирек: — Ничего страшного... Все утрясется... Все будет хорошо...

В гостях у Пружиковых — Вера и Любомир.

Л. Пружик: — Он, Новотный, даже для них невыносим... Наверное, не ждали, что так выйдет. Это потребует от нас, от партии, больше работы. Мы должны будем работать, как до 48 года. Но это к лучшему... Метод приказа привел даже к дегенерации внутри партии... Я сам пропагандист. Но очень не люблю делать эту работу в последние годы. Когда посылали на завод, давали инструкцию: как вести беседу, чтобы люди не обсуждали общественные дела, а сосредоточивались на своих заводских делах. Это шло против смысла обнародованной программы. Все время разговоры — повысить активность молодежи, привлечь к политической активности. Вот — активны, интересуются политикой. Но не умеют... Они не реакционны, не против социализма. Но они хотят знать правду, хотят думать. Сопоставить то, что им говорят, с тем, что они видят вокруг... Политика Новотного с 56 года — **противопоставить рабочий класс интеллигенции.** Между тем в Чехословакии интеллигенция всегда была с народом, с рабочим классом. Лучшие художники, писатели, архитекторы еще до войны — коммунисты... **Экономика:** — У заводов много денег. Очень. Все хотят строить. Не машины, а здания. Деньги не стали **своими.** У нас активный баланс с соц. странами и слаборазвитыми. А ввозить оттуда нечего. Кроме того, давали слаборазвитым долгосрочный кредит... А с развитыми странами — пассивный баланс. Валюта не конвертируема. Из-за этого приходится везти на Запад то, что нужно самим. Должны все время платить. Не можем добиться передышки... В 1949 году Готвальд говорил: «Мы не должны копировать СССР, не все подходит к нашим условиям». В 1951 году Готвальд говорил, что все надо делать, как в СССР. В судебных процессах ликвидированы **лучшие наши экономисты,** директора заводов и т. д. Новотный в 57—58 гг. выдумал политическую проверку: кто может работать в центральных учреждениях, институтах — вопрос классовый... В итоге **все боялись.** Это не очень творческая обстановка! В результате — все слои населения недовольны: рабочие, крестьяне, интеллигенция...

Объективность: — Люди живут лучше, чем до войны, — с точки зрения потребления, стиля жизни. Но недовольны, что в ФРГ живут лучше, хотя страна была разбита. Или Австрия...

Социальное: — Сложность в том, что в истории нашего государства не

было за последние два века таких процессов — 40 тысяч арестованных... **Если не считать 17 век — битва на Белой Горе, когда католики избивали протестантов.** И еще хуже: пассивность. Народ ничего не стоит, выступай или не выступай — все решают «наверху». Люди без прав, под подозрением.

Пути: — Последовательно и до конца вводить новую экономическую систему. До сих пор партийные секретари вмешивались во все вопросы, но ничего не решали. Вопросы решались **не экономически — «политическая необходимость».** Необходимо изменить структуру народного хозяйства. Повысить роль легкой промышленности. Сфера обслуживания, транспорт, здравоохранение, наука, школа — это все у нас отстало. Жилищный вопрос...

Займ? — У вас — не поможет. Если только золото. И умно использовать. Сейчас комиссия работает...

СЭВ — Эта организация ни к чему сегодня. По причинам объективным и субъективным, не делает того, что должна делать. Слишком велико отличие в уровне развития у партнеров. **Во всех странах деформированы структуры стоимости.** Нет масштабов, чтоб измерить, что кому выгодно или невыгодно. Отсюда — волевые решения. Наконец, **связи плохо обеспечены с правовой точки зрения.** Нет юридического оформления дел. Приехали министры — договорились — после передумали. **Еще о СЭВе:** — Гласность, дискуссии, правдивые отчеты. В коммюнике всегда все в порядке...

29.IV.68 г.

Вечером у Кривошеевых Биллеры, Семен и Рада. Семена волнует «волна самоубийств». Опять газеты сообщили — повесился судья, один директор завода. Завод, им созданный, оказался в тяжелом финансовом положении. Директора, человека крутого, критиковали... Биллер рассуждает так, что-де есть силы, которым выгодно, чтобы эти люди «замолчали навсегда»... Интересна **схема событий**, как ее понимают Биллеры: — По-моему, дискуссии совершенно необходимы. Для очищения... Против чрезвычайного съезда потому, что выйдет как на Пражской конференции. Правые вычеркнули левых, левые — правых. И прошли **никакие** — болото...

Братья-писатели в горсовете. Оценка такая: председатель знает, что его не выберут. Судит здраво, не озлоблен, считает, что в основе своей процесс здоровый. «Мы сами во многом виноваты». Что он думает о партийном руководстве печатью?

— Редактор коммунист.

— Но если он не согласен с указанием горкома?

— Он не один. Есть коллектив партийных журналистов.

— Но не может же быть так, чтобы группа из 10—20 человек определяла линию газеты?

— Мы можем ответить. Можем согласиться, исправить ошибки...

Но кого же они представляют? Чей они орган?

...Наконец, словацкие писатели закончили свои затянувшиеся бои. Кажется, счет «вничью». Правление Союза не пришло к согласию. Решено отложить до общего собрания.

И вечером прием в нашу честь. Пришли торжественные Валек, Корваш и прочие — у них перемирие на этот вечер. Все очень мирно, тонно, споров нет.

На краю стола заместитель нашего генерального консула Бирюков. Работает. До меня доходят отдельные реплики.

— В чем причина демократизации? — спрашивает у кого-то из словацких писателей. Начинается долгий ответ: наши традиции... в Словакии не было аристократии... и т. д.

Через некоторое время слышу опять рассуждения словака: есть, однако, и опасность бюрократизации...

— **С чьей стороны?** — быстро спрашивает Бирюков.

В общем, в Словакии все спокойнее. Не так была сжата пружина. **Гибкая самостоятельная политика Дубчека,** начатая еще 5 года назад, приносит свои плоды... Здесь стабилизация явная.

Вечер. Прием в Министерстве культуры.

Познакомился с Цисаржем. Умное лицо, седой ежик, очки... Был он недолго, уехал. Говорили с В. Журавским. «Я — оптимист!» — Спросили о планах, как «завоевать» партийную печать? — «Пусть рабочие придут в «Руде право» и выскажутся...» и т. д.

Были министр Галушка, улыбающийся зам. его — Богуш Хнёупек.

Это прием в честь иностранных журналистов. Был поляк Карел из «Жице Варшавы», знакомый уже югослав, был грек-коммунист, немцы, румыны...

Наш корреспондент «Труда» (Саша), очень милый парень, рассказал о поездке на завод «Тесла» — телевизоры. Все демократические преобразования проведены год назад — и все там спокойно.

В общем скучноватый был прием...

Дискуссия в Союзе писателей Чехословакии.

Вначале они представились:

Дрозд — критик, русист; очень хорошо владеет русским.

Гашкова — очеркист; книги о стройках, о реке Влтаве.

Иржи Марек...

Замаровский — экономист-историк, работал в Университете. Книги об археологии, истории культуры.

Бегоунек — литературный критик; любимые авторы — Пушкин, Горький.

Мекард — философ, преподавал в Гане. Вернувшись, написал книгу; говорят, хорошую.

Милан Смолик — напротив, не теоретик. Прозаик, романист. Предпочитает спор. Тема дискуссии «Литература факта», по его мнению, абстрактна по отношению к «пражской весне». — Говорить нужно не только о литературе факта, но прежде всего о самих фактах.

Горак — редактор, переводчик (военное издательство).

Грала — литературовед, доцент Университета: книга о советской сатире.

Секера — старый «крестьянский» писатель.

Первый день дискуссии.

Д-р Дрозд (вступительное слово):

Говорит о IX съезде писателей, о постановлении пленума ЦК. «Литерарни новины» переданы Министерству культуры. — «Писатели, абсолютное большинство, отказались сотрудничать с новой газетой». «Дело совести каждого...» **Студенты.** — Я преподаю на филологическом факультете. Мои студенты не участвовали в этой демонстрации — жили в другом общежитии. Но волновались... Я был на беседе профессоров Университета с тов. Коутским: ни один из нас не принял сторону прежнего ЦК — все на стороне студентов. Нас заставили провести собрание коммунистов — родителей студентов 1 и 2 курсов. Они тоже приняли сторону своих детей. Эти конфликты назревали несколько лет... **Момент,** который переживаем мы, большинство из нас не предвидело в январе. Критика должна переходить **к конструктивным предложениям.** Каковы они будут, мы еще не знаем. Нам трудно. Недавно телевидение из Вены — дискуссия Гольдштюккера и еще двух наших писателей с австрийскими публицистами. Наши выглядели бледно. Они сразу навязали спор о свободе и господстве единой партии...

Мы хотим, чтобы вы, наши друзья, не волновались, не думали, что мы хотим отказаться от каких-то основ, завоеванных народом. В массе населения нет и не может быть стремления вернуться к частнособственническим основам. Деревня не отказалась от коллективизации, хотя, в ряде случаев, она была насильственной. На заводах споры о капиталовложениях, модернизации, зарплате. Но нигде — вернуть ли заводы бывшим владельцам...

Наконец, интеллигенция: никто не высказался **до сих пор** против социализма. Даже духовенство. Другой вопрос — **о руководящей роли компартии.** Есть другие партии, они были дискредитированы... Для интел-

лигенции важен вопрос об **оппонентуре.** Должна ли она существовать в виде других партий? Или внутри партии? Тут еще надо искать.

Подчеркиваю: никто не сомневается в необходимости союза с СССР и социалистическим лагерем... Тут есть наша вина — слишком прямолинейно воспринимали советский опыт. В Будеевицах висел лозунг: «Советский карандаш — наш взор!» А там выпускались карандаши «гартунг». Когда я рассказал об этом Л. Леонову, он смеялся: «Вот почему ваши карандаши стали хуже...» **Долголетнее самоуничижение народа дало свои плоды, которые исправить нам будет трудно.**

...Чехи, словаки сумели сохранить себя только потому, что умели **интегрировать** культуру других народов. Было время — у нас ослабло влияние запада. Теперь есть опасность ослабления влияния востока. Мы должны с этим бороться, должны возродить интерес к советской литературе. Но без **Солженицына,** без **Пастернака,** без **Вл. Максимова** мы не дадим людям представления о советской литературе. Значит, мы будем их издавать... Без истерики, без заигрывания — мы должны это сделать.

Замаровский: — **Ключ в экономике.** Не со съезда писателей все началось. Неверные методы управления промышленностью... Жизненный уровень рос медленней, чем в Австрии, в ФРГ. Это привело к взрыву... **Национальная политика** — дошло до прямых оскорблений национальной гордости словаков... Дружба с Советским Союзом — это останется прочно. Есть исторические корни. Даже без идеологии это будет в силе. Даже если бы СССР не был социалистическим... Не надо бояться **излишней** демократизации. У нас это не опасно. У нас другие традиции. У нас любят много говорить. Когда препятствуют, это ощущается как **гнет...**

Иржи Марек: — Вернемся к теме дискуссии. Писатель должен знать факт, уважать факт, уметь обращаться с фактом... Еще хуже, когда **политик** плохо обращается с фактом. Хуже всего, когда **политик становится беллетристом.** А Новотный в последние годы — это уже был какой-то **фантаст...** Нынешние журналисты не знают, как пользоваться фактом. Возьми фотоаппарат — сними разрытые улицы — все будет правда — и выйдет: Прага перед концом. Надо осторожно пользоваться фактом. Мы стремимся к тому, чтобы факты знал весь народ, чтобы он мог обобщать. Надо думать о том, как работать с фактом...

М. Грала: — Одно из требований студентов — скажите правду о политических процессах. Они хотят создать свой **моральный кодекс:** что при социализме можно и чего нельзя. Что такое отмена цензуры? Отмена **административного воздействия** на литературу и искусство... Но ожидать сейчас от чешской литературы большого поворота трудно.

В СССР есть «самиздат». Рукописи можно просто купить. Явление страшное. Это есть **расхождение** официальной политики и литературы. Мы ставим своей задачей сохранить интерес к советской литературе. Показать ее как одну из крупнейших литератур 20-го столетия, **но во всем ее объеме.**

М. Смолик: — Задать хочу один вопрос. Но прежде объясню... Отношение к Советскому Союзу, конечно, менялось в связи с последними событиями. **Разум расходился с чувством...** Я еще в детстве не хотел дружить с тем мальчиком, с которым мне велели дружить родители, и хотел с тем, с кем они не велели. Отмена цензуры. Мы теперь можем писать о том, **что повредило развитию ума и интеллекта народа за 20 лет.** Говорят, что наш национальный характер — Швейк. **И забывают, что он слуга.** Благодаря отсутствию цензуры мы знаем, что советская печать недостаточно (и даже искажает) информирует о наших событиях — вот мой вопрос: почему? Как вы относитесь к тому, что у нас происходит?

Ответы Симонова и Полевого: — Отвечать трудно. Мы с интересом наблюдаем, но мы только что приехали к вам. Хотим понять, встретиться с рабочими, крестьянами, интеллигенцией — тогда будем делать выводы.

И второе: не хотим вмешиваться. Это ваше внутреннее дело. Вы слишком долго видели наш указующий перст... Конечно, нас беспокоит, как будет развиваться этот процесс. Но судить рано...

Моя реплика: — О Швейке. Он не слуга. Литературная традиция — Фигаро, Санчо Пансо. Разве это слуги? **Они всегда умней господ.** Наш Иван-дурак и «глупый» Ганс из немецких сказок. «Лукавый славянский ум» (Белинский). Не такой уж он дурак, когда плачет на свадьбе. **Просто он боится перегибов...** Вы, по-моему, и сами их боитесь. Слухи и сплетни в печати. Слухов полезных не бывает, нужна полная гласность...

Секера: — Скажу о нашей деревне. Я бываю в родном селе. Люди растеряны: что пишут? Хаос в головах. Я боюсь выборов. Церкви переполнены. Подписывают бумажки, чтобы епископ вернулся в свою канцелярию. Мой сосед, ему 84 года, он мне сказал: «Нас прогонят». Это грустные вещи. Я спрашиваю: — А колхоз распустить хорошо? — Нет, — говорят, — не хотим в частное владение. Я что-нибудь **заработаю,** что-нибудь **украду — проживу.** — На собраниях, в кабаках говорят о политике. За рюмкой рома... Я в грусти. Я бы провел выборы в мае, пока не опомнились... Забыто все хорошее. В моей деревне было 8 богатеев, 10 середняков, остальные жили в халупах. И было два велосипеда. А теперь мотоциклы... Хаос в головах...

Второй день дискуссии.

М. Смолик: — Я был в Ленинграде первый раз. Взял с собой 12-летнего сына. Мы хотели посетить музей обороны Ленинграда. Оказалось, нельзя. Мне говорили: музей в ремонте. Мне говорили: музей переезжает в другое помещение. Потом старушка гардеробщица отвела нас в сторону, расплакалась, сказала, что вся семья у нее погибла. И ей обидно, что музей закрыт. Почему? Генералы спорят, чьи заслуги в обороне больше... Как писатели обошлись бы с таким фактом?

Симонов (всерьез перешел в наступление): — «Старушка» — это интересно. С этого факта я бы, возможно, начал рассказ. Но им бы не ограничился. Понять, узнать, проверить. При жизни Сталина публиковалась цифра погибших в Отечественной войне — 7 миллионов. Теперь в «Истории Великой Отечественной войны» — 20 миллионов. Больше, чем все население Чехословакии. У нас нет семьи, не задетой войной. Тема деликатная, тут постыдно гнаться за сенсациями. «Ленинградское дело» — об этом писалось в нашей печати, — вы можете это узнать. Руководители обороны были расстреляны. Тогда и был ликвидирован музей обороны. Но ленинградцы сохранили бесценные экспонаты, они выставлены сейчас в других музеях. Музей обороны сейчас восстанавливается. Правда трагичнее, сложнее, возвышеннее случайного факта. А «старушка» — что ж, можно начать и со старушки. Я был в Минске, в музее партизанской войны. Принципиально верно: показаны люди, какими они были тогда. Независимо от того, секретари ли ЦК сейчас или пенсионеры. Нельзя улучшать и исправлять историю. Мы хотим рассказать правду о войне, и о первом ее тяжелом периоде... (Симонов говорит о своих романах, о военных дневниках.) Но, говоря об этом, я должен помнить о том, что война окончилась не в Москве, а в Берлине... И это правда, и надо рассказать всю правду. Писатель смотрит вперед. А «старушка» — что ж, можно начать и со старушки...

(Смолик после этого замолчал.)

М. Грала: — Кольцов написал фельетон о беспризорных детях. Горький его ругал: это использует заграница. Кольцов ответил: я, писатель, должен возбуждать негодование читателей против всего, что мешает нам. Кольцов вмешивался в дела **неоконченные.** Помогал народу и государству... В чем дело? В том, что Кольцов был большой талант? Думаю, что дело не в этом. Дело в литературной норме 20-х годов. Литературная норма — она не падает с неба. Не зависит от воли отдельных лиц. От Жданова, например, когда он выступил против Зощенко и Ахматовой. Насчет того, что сказал Симонов, — «смотреть вперед», — в 37 году можно было смотреть вперед? И писать о новой конституции, не замечая нарушений ее...

Гашкова: — Буду говорить по-чешски, чтобы не думать два раза. Факты... Расследуя причины смерти Яна Масарика, наши журналисты стремились к объективности, а допустили бестактность... Второй факт: повесился судья, и газета «Вечерняя Прага» поместила фото висельника. Это, по-моему, противоречит этике журналиста. Но вчера я просмотрела московскую «Правду» за две недели. Говорили, что в Советском Союзе о нас не пишут. Нет, пишут. В пятницу была статья В. Журавского о дискуссии. Главное он увел в оговорки, а оговорки выпятил на первый план —

это искажение смысла дискуссии. Это тоже противоречит этике журналиста. Я призываю всех к объективности.

Секера: — Выступления советских друзей я слушал, как музыку. Я согласен с тов. Симоновым, потому что тоже работаю над военной темой... (Старик долго говорит об этом, но чехи его не слушают. Здесь трудно говорить с такой позиции.)

Аграновский (дошла очередь и до меня. Полевой представил меня как известного публициста, помянул анкету «Журналиста», сказал, что «у Аграновского есть узкая специальность — он критикует министров»).

Говорил я то, что думаю, о чем и прежде говорил, на чем действительно стою: — Корень публицистики — **мысль**. Люди хотят думать, им нужны не декларации, не готовые выводы, а **доказательства**, резоны. Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает. Лучшие выступления, когда «не могу молчать». Худшие — когда «могу молчать». Наше время — время глубины. А не кто громче крикнет. Задача публицистики — будить общественную мысль. А не усыплять. Иначе — девальвация слов, девальвация понятий. Опасны для подлинной публицистики и догматическое повторение одного и того же, и — равно — демагогические крайности. «Ору, а доказать ничего не умею» (В. Маяковский). У вас сложилось уникальное положение в печати. Во Франции, к примеру, газета может месяц вести кампанию против министра, и он будет пребывать на своем посту. У вас «бесцензурность» сочетается странным образом с догматическим видением в печати директивного указующего перста. Достаточно одной-двух статей — и министр снят. При этом ответить ему вы уже не даете. Бывший министр Гофман написал статью — три газеты отвергли ее. Это борьба с догматизмом его же методами. Нет, литература обязана убеждать. Приводить резоны в защиту идей. А не по Пушкину: «Это плохо, потому что дурно, а это хорошо, потому что славно». **О критике:** Я действительно пишу часто критические очерки. Приятно ли было бы мне, если бы министра Елютина сняли после моей статьи? Наверное. Но, если всерьез, интереснее вести спор с людьми, которые могут ответить, дать сдачи. Я убежден: полезна критика любой степени остроты, но с одним условием. Читатель видит, что пишу я не из злорадства, а для того, чтобы помочь движению, **сознательному** выбору средств борьбы (В. И. Ленин). Сознательному — вот главное. (И еще я говорил: о культуре использования фактов, о том, что документальность фантазии не сковывает, поминал любимую мою формулу Л. Н. Толстого из «Хаджи Мурата», рисовал «схему литературы», доказывал, что у каждого жанра свои вершины, рассказывал о поездке в Горки Ленинские... Слушали внимательно...)

Дрозд: — Дают ли возможность отвечать тем, кого ругают? Да. Если они хотят и могут, пусть отвечают... Но некому отвечать. Прежняя система воспитала **«нимандов»** (от слова «нимaнд» — «никто»). Есть люди, которые не умеют создавать свою систему взглядов. Они привыкли получать готовое. Свою свободу они не могут заполнить. О положении печати. Конечно, мы видим опасность, о которой говорил тов. Аграновский. Большая честь, большая заслуга печати в том, что произошло, но оппонентуру власти должна составлять не только пресса. Она сыграла роль, которую должна играть партия. Но это сделали в печати именно коммунисты. Нам, коммунистам, трудно. Мы отвечаем за страшные вещи, о которых и сами не все знали. У меня на 3-м курсе студентка, отец которой просидел 10 лет. Единственный путь очищения нашей коммунистической совести — писать всю правду. 20 лет мы не подвергались контролю беспартийных... Теперь мы, коммунисты, отвечаем за трагические вещи. И от ответа уйти не можем. Вывод: я могу чувствовать себя **владельцем истины** лишь в том случае, если допустить, что чужая истина может быть не меньше, чем моя. Иначе — неизбежное окостенение... На первый взгляд наш скачок выглядит как возвращение к буржуазной демократии. Я убежден, что мы это преодолеем. Но другого пути нет. Иначе — возврат к старому. К простому подавлению инакомыслящих. Даже хуже, чем к старому, — **прежде мы верили...**

К. Симонов: — Вопрос об ответственности за прошлое связан с вопросом об ответственности за будущее и настоящее. Есть у вас убежденность в принципиальной правильности социалистического пути? Если есть, если это ощущение в вас живо, вы можете выслушивать истины из чужих уст.

И воспринимать их, но ощущать тем не менее, что путь социалистического развития — есть верный путь.

М. Шатирян: — Я, как автор романа о 26-ти бакинских комиссарах, хочу напомнить вам период истории вашего государства... (Дальше он говорит — «я, конечно, не для аналогии» — о бакинской коммуне, где было много партий, была «оппонентура», но кончилось дело тем, что расстреляли большевиков.) — Иногда историю полезно вспомнить...

Барбаш, критик: — Мне нравится, что разговор у нас был откровенный. Наши люди, особенно не коммунисты («индифферентные», выразился он), ждут, что скажет Советский Союз. Я слышал разговор двух юношей 18-ти лет: «В западной печати о нас говорят, а в восточной — молчат. Они не интересуются?» — «Нет, интересуются. Потому и молчат». Приезжал Юлиан Семенов. Я ему сказал: «Напиши, что в Праге нет баррикад. Напиши, что Новотный не бежал с нашим золотом в Швейцарию». Он вернулся в Москву и написал об изданиях советских книг в Чехословакии... Есть ли у нас перегибы? Да.

Б. Полевой: — сказал заключительное слово. Хорошо, что мы встретились. Полезны контакты. Дружба наша должна сохраниться. Он был в войсках, освобождавших Прагу... Благодарность всем участникам дискуссии.

Тем все и кончилось...

(По радио передают сценку:

— Пепик, что ты читаешь?

— Библию.

— Ну, и что там нового?..)

Прага. 25 апреля 1968 г. В середине дня Полевой, Симоновы, Беляев, Шатирян отбыли в Москву. Я проводил их на аэродром и остался один. Надо что-то делать...

Публикация Г. Аграновской

А. Нинов

МАСТЕР И ПРОКУРАТОР

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА М. А. ЧЕХОВА И И. В. СТАЛИНА С НЕОБХОДИМЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ К НЕКОТОРЫМ ФАКТАМ И СОБЫТИЯМ 1927—1929 гг.

Хроника общественной жизни конца двадцатых годов — это все более набиравшая силу кампания грубого политического нажима на деятелей культуры, свободное и независимое существование которых вступало в противоречие с интересами неограниченной власти. Академическая наука, народное просвещение, журнальная периодика и книгопечатание, театральный репертуар, литература и искусство — все так или иначе должно было либо занять свое подчиненное место в новых государственных структурах, либо погибнуть. Идея «пролетарской диктатуры» в искусстве вообще и в театральном репертуаре в частности все более овладевала умами Главначпупсов на разных административных уровнях. Их основным профессиональным занятием стали поиски крамолы во всем, что не укладывалось в рамки «полного и окончательного революционизирования», а также травля еретиков, не считавших подобные рамки обязательными.

Политическая клевета, направленная против конкурентов и литературных противников, стала одним из главных орудий борьбы в литературно-театральном мире. Судьбы Михаила Булгакова, Михаила Чехова и Всеволода Мейерхольда обнаруживают безысходный трагизм положения художника в условиях сталинщины, какой бы линии личного поведения ни придерживался каждый из них, отстаивая свое право оставаться самим собой.

В начале 1928 года Мейерхольд добился только для своего театра (через А. И. Рыкова) права поставить новую современную комедию Н. Р. Эрдмана «Самоубийца», уже запрещенную Главреперткомом за «клевету на советскую действительность». Спектакль был доведен до генеральной репетиции, а затем запрещен по специальному решению ЦК после личного вмешательства Сталина.

Над Мейерхольдом и его театром сгустились черные тучи прямой политической опалы. В этих обстоятельствах, не прерывая зарубежных гастролей, Мейерхольд задержал свою труппу за границей, выдвинув перед руководством Главискусства вполне определенные условия. 16 сентября 1928 года в «Правде» появился хлесткий фельетон Д. Заславского «Даешь Европу? — нет, не даем». Тогда же Российское телеграфное агентство со слов наркома просвещения А. В. Луначарского сообщило представителям печати, что «ввиду отсутствия в Москве В. Э. Мейерхольда, Наркомпрос решил не возобновлять коллективного договора с труппой театра Мейерхольда. Этим постановлением театр расформировывается. Театральному отделу Главискусства поручено обсудить вопрос об использовании артистов труппы в текущем сезоне. Вопрос о дальнейшей судьбе театра будет обсуждаться после приезда Мейерхольда в Москву из-за границы» (Новый зритель, 1928, № 39, с. 5).

Кризис вокруг Мейерхольда совпал с расколом в МХАТ-II и уходом из театра его директора и ведущего исполнителя почти всех главных ролей Михаила Чехова. По просьбе Чехова ему был предоставлен официальный отпуск на один год для лечения, и он уехал с женой за границу, в Германию, глубоко оскорбленный начатой против него травлей.

Небезызвестный критик и деятель Главреперткома В. Блюм, отвечая на вопрос о причинах «кризиса» Мейерхольда и Чехова, заявил: «Это кризис буржуазного театра в окружении пролетарской революции. Разница между кризисами обоих мастеров в том, что творчество Мейерхольда «трагически пыталось» вобрать в себя свежие соки революции, а Чехов этих попыток не делал и мирно... догнивал» (Новый зритель, 1928, № 38, с. 9).

В ответ на подобные речи Чехов совершенно ясно дал понять официальным властям в Москве, что в МХАТ-II в качестве актера-исполнителя он уже никогда не сможет вернуться; что же касается продолжения его театрального поприща в качестве художественного руководителя, то оно возможно на родине в том случае, если ему будет дан в полное распоряжение новый театр, сформированный из его последователей и учеников, где он мог бы ставить дорогие его сердцу классические пьесы при явном «недороде» современной драматургии.

Из официальных лиц в Москве только нарком просвещения А. В. Луначарский проявил настоящее беспокойство о судьбе Мейерхольда и Чехова, понимая, что с крупными художниками неуместно и бесполезно говорить языком

диктата. Луначарский тогда же, не желая захлопывать дверь за уехавшими, заявил в печати, что он далек от мысли обвинить Чехова или Мейерхольда в «дезертирстве», «отступничестве», «упадочничестве» и прочих смертных грехах. «Причины переживаемого кризиса театра,— отмечал Луначарский,— имеют более глубокий характер. Одна из них — это переживаемое нами слишком большое увлечение революционно-бытовыми пьесами. Это довлеет над театрами. Почти с осуждением встречаются попытки некоторых театров отойти от свежевыпеченных злободневных пьес» (Вечерняя Москва, 1928, 10 сентября).

В другой заметке — «О театральной тревоге» — Луначарский высказал свое горячее желание «сохранить Чехова», сберечь его для театра, пусть ценою «серьезных уступок от той немножко слишком правоверной линии, которую склонны проводить наши «строгие» критики» (Вечерняя Москва, 1928, 15 сентября).

На эти заметки Луначарского Чехов отозвался с большим волнением и искренностью и ответил ему личным письмом, которое пора наконец напечатать полностью. Вот текст этого письма, сохранившегося в рукописной копии среди конспектов и заметок ученика М. А. Чехова В. Н Татаринова в одном из фондов Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина в Москве:

М. А. ЧЕХОВ — А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич,

Только на днях дошли до меня две Ваши заметки, в которых Вы говорите об отъезде Мейерхольда и о моем. Я очень боялся, что наша театральная пресса по своему обыкновению «бросит камень» в меня, прежде, чем вопрос получит настоящее освещение от лиц авторитетных — и вот, к великой моей радости, Вы сами взялись за это и со свойственной Вам чуткостью поставили все на верные рельсы. Глубоко человеческий тон Ваших заметок взволновал меня, и я не могу не написать Вам с полной откровенностью всего того, что волнует сейчас мою душу.

Я — изгнан из России, вернее из российской театральной жизни, которую так люблю и ради которой смог бы перенести и переносил многие трудности, лишения и несправедливости. Я изгнан простым, но единственно непереносимым фактом нашей театральной жизни последнего времени: **бессмыслицей** ее. Театральная жизнь с невероятной быстротой, как большая спираль, устремилась к своему центру и остановилась **в нем**. Все интересы, связанные с искусством театра, стали чужды театральным деятелям. Вопросы эстетики, благодаря стараниям нашей узкой театральной прессы — стали вопросами позорными, вопросы этики (без которых, в сущности, **нет** ни одной даже «современной» пьесы) — считаются раз и навсегда решенными, а потому общественно бесполезными, целый ряд чисто художественных построений и душевных красочных нюансов — подведены под рубрику **мистики и** запрещены. В распоряжении театра остались бытовые картины революционной жизни и грубо сколоченные вещи пропагандного характера. Актеру **не** на чем (и незачем) расти и развиваться, а публике нечего смотреть, нечем восторгаться, не над чем, как говорят, «задуматься». Все слишком просто и ясно и давно всеми усвоено. Новый грядущий человек слишком невыгодно показывается со сцены и едва ли действует заражающе, возвышающе и едва ли вызывает желание подражать ему. Нет авторов — это правда. Мы часто говорим об этом, и горюем, и ждем их. Но если бы автор появился, большой, настоящий, выросший из революции и по-настоящему понявший ее размах и масштабы — что написал бы он? Конечно, «Короля Лира», «Гамлета», «Кихота», «Фауста» и т. д., но только в формах и красках революции. И конечно, новый «Лир» говорил бы о добре и зле в проблемах революции, как говорил это дореволюционный «Лир». Конечно, новый «Кихот» носился бы со своим революционным идеалом (не с агитационной фразой) и искал бы любви своей дамы. Ни одно этическое чувство не осталось бы без внимания у большого и истинного мастера, драматурга, которого мы ждем. Он сумел бы протянуть нити от современности к великому **романтическому идеалу** революции. Он сумел бы облагородить потерявших чувство ответственности газетных критиков, месткомовских хозяйственников и озлобленных агитаторов. Он напомнил бы им, что деятельность их направлена к великой цели **свободы, равенства и братства** народов, что они должны работать ради этой цели, а не в стиле своей далеко неприглядной, сегодняшней личности. Настоящий автор показал бы со сцены образчики всех типов нового, грядущего человечества, он показал бы и Лира, и Кихота, и Мефистофеля в их **будущем** аспекте, и все **мы** увидели бы, как надо и как не надо работать ради идеалов свободы, равенства и братства.

Идеальный писатель прошел бы мимо «Донецкого процесса», мимо эмигрантов и других злободневных тем. Он, наверное, сумел бы бросить со сцены крупные и достойные целого народа (а не группы Донецких инженеров или эмигрантов) мысли, чувства и волевые импульсы. Нельзя требовать, чтобы театр выполнял задачи агитационные путем приспособления к художественному произведению агитационных фраз и лозунгов. Нельзя вписывать в текст роли политграмоту. Нельзя также ограничивать театр узким

кругом царящих в наши дни эмоций. Торжественность, о которой Вы упоминаете в Вашей заметке, необходимое условие театрального представления. (Уже факт приподнятой над зрительным залом сцены — обязывает к торжественности). Всякое явление, ведущее человечество вперед,— неизбежно торжественно. Простая уличная манифестация, если она теряет свою торжественность, если она совершается под дождем усталыми и повседневно настроенными людьми — разве оправдывает такая манифестация свое назначение? А что такое манифестация по существу своему, как не уличный театр в лучшем смысле слова. Театр и торжественность неразлучны, как брат и сестра. Наши же критики требуют от театрального искусства простого повторения того, что ежедневно печатается в газетах, произносится на собраниях и звучит через трубы громкоговорителей.

Театр по существу своему не может замкнуться в узкие границы повседневных тем, он не только шире, но он совсем иной природы. Со сцены нельзя представлять: $2 \times 2 = 4$, со сцены можно представлять только: «$2 \times 2 = 8$». Это не только интереснее, волнительнее и значительнее, чем «4», но это секрет всякого искусства вообще. Если $2 \times 2 = 8$, то возникает тайна недоговоренности в искусстве. Без этой тайны, которую так неудачно назвали «мистикой»,— нет искусства. Есть школа, пропагандная речь, научное, логическое умопостроение, но нет искусства. Я уверен, что если бы плохой современный автор решил написать драматическое произведение, в котором главным действующим лицом была бы фигура, скажем, революционного вождя человечества, то он наверное окружил бы ее такими бытовыми подробностями, таким натурализмом и реализмом, дал бы столько истасканных революционных лозунгов и так пересластил или перегрузил бы ее, что только, разве, по программе и по гриму отличалась бы эта фигура вождя от любого агитатора на клубной сцене. Настоящий революционный автор был бы поставлен в необходимость придать этому образу черты Лира, Кихота, Фауста и пр., и не позволил бы себе вложить в его уста ходовые, в стиле Бескина и Блюма фразы. Он поставил бы этот образ под знак недоговоренности и тайны — и произведение это было бы действительно художественным. Вождь человечества на сцене «$2 \times 2 = 8$», а не «4», иначе это не вождь.

Моя тяга к большим классическим образам основана исключительно на чувстве искусства. Можно жалеть, что нет талантливого автора, но нельзя останавливаться из-за этого в развитии театрального дела, больше того — нельзя идти назад, как это случилось с нашими театрами за последние годы их существования. Краски, душевные свойства, характерные особенности, даже поступки таких человеческих образов, как Лир, Макбет, Орест, Орлеанская Дева и пр., нужны нашему обществу, нужны пролетариату, как могучие каменные глыбы, на которых они могут точить и заострять лезвия своих мыслительных способностей, своих чувств, своей воли. Можно много говорить о том, что революции нужны сильные люди, но как этого добиться, если от людей революции будут скрывать высочайшие и сильнейшие импульсы души человеческой. Торжественность, сила, героизм и сознательное стремление к высокой цели (т. е. все элементы революции) — встречаются на каждом шагу в классической литературе. Чего боится наша театральная цензура и пресса, когда речь заходит о классической постановке? Она боится, что в одной пьесе публика вдруг захочет царя, в другой посмеется над Реперткомом, или, как однажды сказал Блюм: «публика смеется в «Грозном» над Совнаркомом». Словом, критики боятся, что вместе с классической постановкой, чудесным и волшебным образом — все просмотрят революцию, забудут о ней, перестанут читать газеты и пр. и пр. Они, эти критики, слишком мало сами убеждены в силах революции и боятся за нее, как за беззащитного младенца. В наши дни и в нашем обществе классические вещи не могут прозвучать иначе, чем революционно, иначе, чем на прославление, возвышение и укрепление человека. Эсхил, Софокл, Гейне, Сервантес — иначе прозвучат в стране не революционной, и иначе прозвучат в стране революционной. В России «Дон Кихот» становится, благодаря новым театральным приемам, новой, новейшей вещью, и он же — в другой стране — будет старой ненужной ветошью. Можно и у нас сыграть классику, скажем, «Орестею» так, что захочется умереть, или по крайней мере на век расстаться с театром, но это уже вопрос чисто и специфически театральный, вопрос искусства театра, а не драматургии.

Есть еще один очень важный момент в современном драматическом искусстве, вне зависимости от драматургии. К слову, к букве, к звуку относятся на нашей сцене с преступной небрежностью. Понятия о музыкальности и пластичности речи отсутствуют у наших актеров: со сцены звучит дилетантская, будничная, нехудожественная речь. Искусство режиссуры таит в себе неслыханные возможности, изумительные законы, о которых никто не знает. Искусство движения на сцене — также большая проблема. Идет ли актер справа налево или наоборот, подходит к рампе или удаляется от нее, спускается по лестнице вниз или поднимается вверх, становится к зрителю в профиль или анфас и т. д.— все это в высшей степени своеобразные и мощные приемы выразительности на сцене, если их начать применять правильно, и все это в то же время элементы сценического хаоса и уродства, если пренебречь всем этим. Я с глубокой, почти физической болью смотрел

в последние годы на спектакли в наших московских театрах. Вспомните, Анатолий Васильевич, как например в «Антигоне» (Таирова) в сцене, где мужчины и женщины в страстном, экстатичном состоянии движутся по сцене и как при этом сцена освещается зеленым светом. Страсть и зеленый цвет дают такую дисгармонию, что вместо художественного наслаждения я переживаю боль. Замените зеленое красным, и все встанет на место. Искусство освещения и декораций — это также область, в которой можно и должно работать многие годы. Для всех этих исканий нет лучшего матерьяла, как классические вещи.

Я часто задаю себе вопрос: что мы, актеры и режиссеры, оставим подрастающему поколению, молодым силам нашей страны? И с ужасом отвечаю: ничего. Неужели наши театры существуют только для того, чтобы мы дожили в них свой век и после себя оставили холодные и пустые помещения? Если это так, то можно и сейчас прекратить свою бесполезную деятельность. Я мечтал, что после моей сценической деятельности останется большой труд, в котором мне удастся подвести итоги всем моим исканиям, всем практическим и теоретическим выводам моей театральной работы; я мечтал, что молодняк (настоящий, ищущий искусства, а не своей выгоды в нем) получит материал, на котором сможет построить дальнейшую театральную культуру своей родины. Я знаю, как трудно быть на сцене, не имея фундамента, или по крайней мере отправной точки, опорного пункта. Вот эту отправную точку я и хотел приготовить нашему молодому поколению. Я мог бы сделать это только при полной свободе в области театральной работы. Деятельность Политического Художественного совета и деятельность Реперткома хороши и нужны в театрах нашего обычного типа, в театре же, о котором говорю я, они не нужны и даже вредны. Большая театральная лаборатория России должна быть построена или на началах полной свободы или не должна существовать совсем. Я не мог бы и не взялся бы осуществить, проверить и утвердить все то, что имею, если бы около меня стояли люди и говорили мне о вещах, интересующих их самих, а не меня в моей работе.

Пусть судят потом, через много лет результаты моей работы и моих опытов, но пусть не мешают мне в процессе самой работы. Один в поле не воин. Я не могу один, без защиты Правительства, без Вашей защиты, в одно и то же время проводить сложную художественную работу и защищаться от сотен нападок и помех, обрушивающихся со всех сторон. Вопрос моего возвращения зависит не от меня. Он зависит от Правительства, от Вас, Анатолий Васильевич, он зависит от того, пожелает ли Правительство действительно серьезно взглянуть на мое предложение, пожелает ли оно отдать некоторое время всестороннему обсуждению моего вопроса. Заинтересованы ли все соответствующие инстанции обсуждением того, о чем я говорю. Прозвучит ли мое дело, как дело, имеющее значение не для меня лично, но для культурной жизни нашей страны. Я не найду в себе больше сил работать бесплодно в театре и быть, вдобавок, на подозрении как человек, всеми правдами и неправдами проводящий на сцену «мистику».

Я художник — это мое общественное лицо. Мои художественные замыслы известны. Как личность — я имею любовь к религиозным вопросам. Но это дело мое личное. В смысле «мистических настроений», идущих от меня со сцены (как утверждают газетные критики), я должен сказать, что моя забота о том, чтобы не быть назойливо «мистическим» — больше и умней, чем забота газетных критиков. Но если в моем творчестве есть краски, которые не нравятся многим около театра стоящим людям, то тут я ничего поделать не могу. Из песни слова не выкинешь. Я не проповедник метерлинковской или андреевской мистики, но как художник, я никогда не откажусь от того, что если на сцене является «дух отца Гамлета», то его надо сделать, чтобы было впечатление «духа», а не переодетого актера. Это не «мистика», а художественный вкус.

Когда я прошу о том, чтобы мне был дан в полное мое распоряжение театр и его управление, я знаю, что не причиняю этой своей просьбой вреда ни одному из других наших театров. Театр моего толка будет один, театров других направлений у нас много, они останутся и будут делать свою работу, рядом со мной, и мы не будем мешать друг другу. Вот ответ, и ответ Правительства решит мою судьбу. Если что-нибудь не понятно и не ясно в моих письмах,— я всегда готов дополнить и разъяснить, лишь бы на мою идею посмотрели серьезно и с полным вниманием, и дали серьезный и полный ответ. Здесь, за границей, я, в ожидании ответа, работаю над словом и движением. Если буду играть в кино или еще где-нибудь, то только ради заработка. За Вашу фразу о том, что истинный художник не может променять свое право водительства в области театральной жизни нашей страны на чечевичную похлебку заграничных соблазнов, я могу только поклониться Вам и сказать, что если бы Россия не пожелала принять меня обратно, то я бросил бы театр совсем, но не променял бы ее на чечевичную похлебку.

С глубоким уважением и преданностью.

Ваш
Мих. Чехов

2/XI—1928[1]

---

[1] Государственный Центральный Театральный музей им. А. А. Бахрушина. Ф. 424, ед. хр. 66; Татаринов В. Н. Конспекты лекций, письма и др. (ГЦТМ. 424, 301493 (35. 66).

Как ни сочувствовал А. В. Луначарский М. А. Чехову лично, хорошо понимая величину его таланта и его значение в театральном мире страны, главная просьба артиста о предоставлении в его распоряжение театра для свободных постановок русской и зарубежной классики была официально отклонена. Еще меньше возможности оставалось у Луначарского отменить или ограничить общую «запретительную» политику, давившую на искусство. Основы этой политики формировались не в Наркомпросе, а гораздо выше. Попытки Луначарского воспрепятствовать опасному развитию этой политики привели в 1929 году к его отставке с поста наркома просвещения и почти полной утрате влияния на государственные дела.

И в политике, и в культуре к концу 1920-х годов восторжествовали совсем другие силы. Наиболее воинственные из «пролетарских писателей» торопились захватить важнейшие «командные высоты» и распространить свою «гегемонию» на все современное искусство вообще. В статье «Тоска по прошлому», написанной в связи с кризисом вокруг Мейерхольда и Чехова, В. Н. Билль-Белоцерковский заявил в печати следующее:

«Говоря откровенно, языком класса — я приветствую отъезд Чехова и Мейерхольда за границу. Рабочий класс ничего от этой поездки не потеряет. Можно даже с уверенностью сказать, что не Чехов и Мейерхольд уезжают, а, наоборот, советская общественность «их уезжает». ...Представителю взбесившейся и пресытившейся мелкобуржуазной интеллигенции — каким является Мейерхольд — и представителю «прошлого» Чехову — в страхе перед грозно наступающей и культурно-растущей массой, являющейся современным зрителем, в страхе быть раздавленным этой массой — единственное спасение — бежать. [...]

Главискусству для предупреждения подобных историй дезертирства — надо взять, раз навсегда, твердый курс в руководстве театрами не в интересах отдельных лиц, а в интересах всего класса. Твердое руководство, а не попустительство оздоровят театральный мир» («Новый зритель», 1928, № 39).

В журнале «На литературном посту» сразу поняли угрозу бесцеремонного обгона «слева» со стороны группы Билль-Белоцерковского и в передовой журнальной статье «На текущие темы» дали немедленный и яростный отпор сопернику. Объявленная Сталиным программа борьбы против «правового уклона» и наступления против политики примиренчества к «правым» была ловко повернута против одного из самых ревностных исполнителей этой смертоносной политики.

«В таком наступлении,— писал Л. Авербах,— мы имеем своими врагами не только правых и примиренцев. Это— главные враги. У нас уже имеются напостовские традиции борьбы с ними. Вспомним наши дискуссии с Осинским, Троцким, Воронским, Слепковым, Поповым, Астровым, Ваганяном и др.! Мы имеем своими противниками и людей типа Билль-Белоцерковского, к примеру. В недавней дискуссии о Чехове и Мейерхольде он писал: «Говоря откровенно, языком класса, я приветствую отъезд Чехова и Мейерхольда за границу. Рабочий класс ничего от этой поездки не потеряет. Можно даже с уверенностью сказать, что не Чехов и Мейерхольд уезжают, а, наоборот, советская общественность «их уезжает»...»

Что это? «Голос класса» или вопль деклассированного люмпена? Чехова и Мейерхольда советская общественность «уехала». Что означает подобное заявление: глупость, невежество, повторение заявлений эмигрантской печати? Какая бездна чванливого бескультурья! Какая напыщенная мещанская декламация! С пролетарским наступлением на культурном фронте не имеют ничего общего заявления, подобные приведенным выше. Наиболее возмутительно во всем заявлении В. Билль-Белоцерковского («Новый зритель», 1928, № 39) щеголянье пролетарским тоном, классовой «ортодоксией», козырянье «массой» и пр. Без всякого преувеличения можно сказать, что «идеология» вульгаризаторства, упрощенства, чванства, нежелания учиться, презрения ко всей культуре прошлого и необходимости ее критической переработки является таким же нашим объективным классовым врагом, как и всяческие проявления усиления мелкобуржуазной стихии» («На литературном посту», 1928, № 20—21, с. 4—5).

Надо признать, что обычная рапповская резкость, отличавшая статьи Л. Авербаха и других напостовцев, в данном случае имела под собой определенные основания, и статья в журнале «На литературном посту» попала не в бровь, а в глаз самовлюбленному, заносчивому и снедаемому «классовой ненавистью» драматургу. Не стеснявшийся самых грубых и оскорбительных выражений по отношению к Чехову и Мейерхольду, Билль-Белоцерковский обнаружил необыкновенную чувствительность и ранимость, как только полемическая журнальная резкость коснулась его самого.

Стычка между группами внутри Российской Ассоциации пролетарских писателей разгорелась жарким костром, выплеснулась на страницы печати и имела далеко идущие организационные последствия — драматурги В. Билль-Белоцерковский и А. Глебов, режиссеры Е. Любимов-Ланской и Б. Рейх, критик Э. Бескин и др. вышли из театральной секции РАПП и образовали собственную «независимую» группу «Пролетарский театр», вполне бесплодную в творческом отношении, но весьма агрессивную по отношению к обидчикам и соперникам.

Не довольствуясь ответными статьями в журнале «Современный театр» (1928, №№ 45, 51 и др.), друзья по группе

написали несколько жалоб в ЦК ВКП(б), обвинив руководство РАПП в преступном ущемлении интересов пролетарской драматургии и театра. В личном архиве В. Билль-Белоцерковского, кроме того, осталась также копия коллективного письма (по существу — доноса) на имя Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина, подписанного совместно членами бюро двух фракций — группы «Пролетарский театр» и Всесоюзного общества пролетарских писателей «Кузница» (от имени Общества письмо подписали И. Жига, Г. Якубовский, Ф. Гладков и Вл. Бахметьев; подпись В. Никифорова под письмом заклеена). Вот что поведали вождю партии одни пролетарские писатели, взявшиеся оттеснить от руководства других:

«Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Дорогой тов. Сталин!

Вследствие безответственной деятельности верхушки Российской Ассоциации Пролетарских Писателей, на литературном фронте создалось крайне нетерпимое положение.

Травля, дискредитация отдельных деятелей искусства — коммунистов и пролетарских писателей — заушание их перед лицом наступающей мелко-буржуазной стихии привели к тому, что один из старых большевиков тов. Успенский, затравленный РАПП'овцами, не выдержал и покончил с собой.

Наряду с этим продолжается ожесточенная травля и шельмование, как «классовых врагов», таких тт., как Билль-Белоцерковский, Ф. Гладков и др. И не только отдельных лиц, целые организации (О-во «Кузница», «Пролет. театр» и др.), составляющие ядро пролетарской литературы и драматургии, твердо стоящие на платформе Партии и на деле доказавшие способность бороться за гегемонию пролетарской идеологии в области искусства, совершенно необоснованно поносятся как «непролетарские», «мелко-буржуазные», «мещанские» и т. п. организации.

Прикрываясь стопроцентной «принципиальностью», РАПП'овцы на самом деле в борьбе с упомянутыми организациями борются за свои групповые и личные интересы.

Это происходит в то время, когда обострение классовой борьбы на идеологическом фронте более чем когда-либо требует сплочения всех сил пролетарской литературы.

Не чувствуя над собой достаточно твердого партийного контроля (т. Керженцев сам идет у них на поводу), РАПП'овцы не стесняются в средствах и обливают грязью всех, кто протестует против их беспринципного, вредного политиканства, тем самым мешают творческой работе, разлагают силы пролетарской литературы и отпугивают попутчиков. [...]

...Мы обращаемся к Вам, тов Сталин, исчерпав все средства в борьбе за единство пролетарской литературы и за правильное ее идеологическое руководство» (ЦГАЛИ, ф. 2181, оп. 1, ед. хр. 121, лл. 18, 18 об.).

Кроме письма Сталину, коммунисты группы «Пролетарский театр» — Б. Вакс, В. Билль-Белоцерковский, А. Глебов, С. Ваграмов и П. Арский — послали параллельную жалобу заведующему Агитпропом ЦК ВКП(б) тов. Криницкому, в которой изложили причины своего выхода из состава РАПП и сосредоточились на обидах, нанесенных руководством этой организации «драматургу-пролетарию» тов. Билль-Белоцерковскому:

«Руководство «На лит. посту» (персонально т. Авербах и особенно Киршон) не останавливаются перед дискредитацией не только ставшего им неугодным Билль-Белоцерковского (прежде восхваляемого «как драматурга рабочего класса»!), но и его новой пьесы, полной подлинным пролетарским пафосом борьбы за уголь.

Открытый редакцией «На лит. посту» («органа марксистской критики»!) поход немедленно был подхвачен всеми тайными и явными врагами пролетарской литературы, которые поняли это как сигнал к тому, чтобы обрушиться на пролетарского драматурга. Недопустимость выступлений «налитпостовцев» именно в данной обстановке, когда явственны правая опасность на театре и напор чуждых элементов,— мы подчеркиваем с особенной резкостью» (ЦГАЛИ, ф. 2181, оп. 1, ед. хр. 121, л. 1).

Копия этого письма, составленного, по-видимому, самим «драматургом-пролетарием», потерпевшим от рапповцев, также была переадресована Сталину.

И, наконец, в конце 1928 года Билль-Белоцерковский послал Сталину личное письмо, в котором дипломатично обошел собственные обиды, но зато, не жалея красок, нарисовал устрашающую картину «правой опасности на театре», оклеветал М. А. Булгакова, донес на А. И. Свидерского (начальника Главискусства) и поделился слухами о «либерализме», который исходит будто бы «сверху», со стороны руководящих деятелей ЦК партии...

Личное письмо Билль-Белоцерковского Генеральному секретарю до сих пор не опубликовано, и о его содержании можно судить лишь по ответному письму Сталина от 2 февраля 1929 года. Письмо вождя в целом было милостивым, но последний пункт сталинского ответа Билль-Белоцерковскому прозвучал сурово: «Что касается «слухов» о «либерализме», то давайте лучше не говорить об этом,— предоставьте заниматься «слухами» московским купчихам» (Сталин И. В. Собр. соч., т. 11, с. 329). И действительно, о «либерализме» сверху в 1928—1929 годах лучше было не говорить.

К началу 1929 года Сталин уже располагал полным пакетом документов, направленных в ЦК и отражавших острую схватку внутри РАПП между руководством Ассоциации в лице Л. Авербаха и

В. Киршона и группой «Пролетарский театр» во главе с В. Билль-Белоцерковским. Позиция последнего была Сталину ясна — это была его собственная политическая линия, только выраженная с чрезмерной откровенностью и без дипломатических прикрытий, необходимых обычно для пользы дела. Позиция РАПП, в свою очередь, постоянно координировалась с Агитпропом ЦК партии и тоже не вызывала у Сталина особых сомнений. Л. Авербах, человек молодой, увлекающийся, но несомненно способный, с успехом провел на своем участке ответственные журнальные кампании и против Троцкого, и против Воронского, и против других «уклонистов» и оппозиционеров, обеспечив торжество на литературном фронте сталинской политической линии. Жалобу на недостаточно «твердый» партийный контроль над РАППом со стороны ЦК (и то, что «т. Керженцев сам у них идет на поводу») Сталин не мог признать сколько-нибудь обоснованной. В конце концов он сам контролировал политику ЦК и действия т. Керженцева, который стремился угадать каждое его желание. Если Керженцев и был у кого-нибудь «на поводу», то только у самого Сталина.

А вот то обстоятельство, что рапповцы неожиданно напали на тов. Билль-Белоцерковского, публично высмеяли его и очевидным образом дискредитировали в глазах общественности как «пролетарского драматурга», которого Сталин удостоил личным письмом,— это был непорядок, это была ненужная атака на «своего», которую Сталин не мог одобрить.

К концу 1928 года выяснилось, правда, другое немаловажное обстоятельство: Всеволод Мейерхольд внял уговорам, вернулся из-за границы, между Главискусством и Гостимом был достигнут деловой компромисс, и публичные поношения знаменитого режиссера в печати Билль-Белоцерковским и другими выглядели в свете случившегося особенно непристойно. Но, в то же время, Михаил Чехов не вернулся, остался за рубежом, бросив тень на культурную политику Сталина, так что Билль-Белоцерковскому можно было простить половину его «прегрешений», а вот рапповцев, напротив, следовало приструнить, чтобы они не разбрасывались и вели атаку на главном направлении, четко указанном для них директивами ЦК партии...

В феврале 1929 года Сталин вызвал для объяснений Л. Авербаха и, со своей стороны, указал ему, чего партия ждет от РАППа. Авербах, готовясь к беседе, тоже запасся фактами, предъявив встречные обвинения раскольникам пролетарской литературы из группы «Пролетарский театр». После встречи с Авербахом, когда прояснились главные упреки вождя, коммунисты из руководящей верхушки РАППа, обеспокоенные прочностью своего положения, направили Сталину коллективное письмо. Они нуждались в подтверждении политического доверия, которым все еще пользовались. Сталин ответил коммунистам из РАППа примерно таким же письмом, какое он написал Билль-Белоцерковскому, заняв излюбленную им позицию высшего арбитра в споре между враждующими и борющимися за политическое влияние группами. Текст неопубликованного письма Сталина приводится полностью по копии, заверенной печатью, из личного архива Билль-Белоцерковского:

ОТВЕТ ПИСАТЕЛЯМ-КОММУНИСТАМ ИЗ РАППа

Уважаемые товарищи!

1) Вы недовольны, что я в разговоре с т. Авербахом защищал т. Б.-Белоцерковского от нападок журнала «На литпосту». Да, я действительно защищал т. Б.-Белоцерковского. Защищал, т. к. нападки на т. Б.-Белоцерковского, изложенные в «На литпосту», несправедливы в основном и недопустимы. Пусть «На литпосту» ищет себе наивных людей где угодно,— серьезный читатель никогда не поверит ему, что т. Б.-Белоцерковский, автор «Шторма» и «Голоса недр», представляет «деклассированного люмпена», что заявление т. Б.-Белоцерковского о Мейерхольде и Чехове есть «повторение заявлений эмигрантской печати», что т. Б.-Белоцерковский является «объективным (?!) классовым врагом» (см. «На литпосту» № 20—21). Критика должна быть прежде всего правдивой. Вся беда в том, что критика «На литпосту» неправдива и несправедлива в основном.

2) Допустил ли т. Б.-Белоцерковский ошибку в своем заявлении о Мейерхольде и Чехове? Да, допустил некоторую ошибку. Насчет Мейерхольда он более или менее неправ,— не потому, что Мейерхольд коммунист (мало ли среди коммунистов людей «непутевых»), а потому, что он, т. е. Мейерхольд, как деятель театра, несмотря на некоторые отрицательные черты (кривляние, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону «классического» прошлого), несомненно связан с нашей советской общественностью и, конечно, не может быть причислен к разряду «чужих». Впрочем, как видно из материалов, приложенных к Вашему письму, т. Б.-Белоцерковский сам, оказывается, признал свою ошибку насчет Мейерхольда еще за два месяца до появления критики «На литпосту»...

Что касается Чехова, то надо признать, что т. Б.-Белоцерковский в основном все же прав, несмотря на то, что он чуточку перебарщивает. Не может быть сомнения, что Чехов ушел за границу не из любви к советской общественности и вообще поступил по-свински, из чего, однако, не следует, конечно, что мы должны всех Чеховых гнать в шею.

Но можно ли на основании этих перегибов, допущенных Б.-Белоцерковским и

в основном уже исправленных им, квалифицировать Б.-Белоцерковского, как «классового врага»? Ясно, что нельзя. Более того: квалифицировать так Б.-Белоцерковского — значит допускать худший перегиб из всех возможных перегибов. Так людей советского лагеря не собирают. Так можно их лишь разбросать и запутать в угоду «классовому врагу».

3) «Но может быть, Вы (т. е. я) против резкости тона»,— спрашиваете вы. Нет, дело тут не в резкости тона, хотя тон тоже имеет не малое значение. Дело в том, во-первых, что критика «На литпосту» в отношении Б.-Белоцерковского неправдива и неправильна в основном (она правильна лишь в частностях). Дело в том, во-вторых, что РАПП, видимо, не умеет правильно построить литературный фронт и расположить силы на этом фронте **таким образом**, чтобы естественно получился выигрыш сражения, а значит и выигрыш войны с «классовым врагом». Плох тот военачальник, который не умеет найти подобающее место на своем фронте и для ударных и для слабых дивизий, и для кавалерии, и для артиллерии, и для регулярных частей и для партизанских отрядов. Военачальник, не умеющий учитывать особенности всех этих разнообразных частей и использовать их **по-разному** в интересах **единого и нераздельного** фронта,— какой же это, прости господи, военачальник? Боюсь, что РАПП иногда смахивает на такого именно военачальника.

Судите сами: общая линия у вас в основном правильная; сил у вас достаточно, ибо вы располагаете целым рядом аппаратов и печатных органов; как работники — вы безусловно способные и незаурядные люди; желания руководить — хоть отбавляй,— и все же силы у вас расположены на фронте, да и сам фронт построен у вас таким образом, что вместо гармонии получается нередко какофония, вместо успехов — прорывы.

Вы говорите о «бережном отношении к попутчикам», о «коммунистическом перевоспитании их в товарищеской обстановке». И вместе с тем вы готовы изничтожить Б.-Белоцерковского и целую группу революционных литераторов за пустяк! Где же тут логика, последовательность, пропорция? Много ли у вас таких революционных драматургов, как т. Б.-Белоцерковский?

Возьмите, напр., такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о «бережном отношении», а для Б.-Белоцерковского не оказалось таких слов?

Не странно ли, что, ругая Б.-Белоцерковского «классовым врагом» и защищая от него Мейерхольда и Чехова, «На литпосту» не нашел в своем арсенале ни одного слова критики ни против Мейерхольда (он нуждается в критике!), ни, особенно, против Чехова? Разве можно **так** строить фронт? Разве можно **так** размещать силы на фронте? Разве можно **так** воевать с «классовым врагом» в художественной литературе?

Дело, очевидно, не в резкости тона, а в вопросе о руководстве сложнейшим фронтом советской художественной литературы. А руководить этим фронтом призваны вы, и только вы, ибо вы есть «Российская Ассоциация Пролетарских Писателей». Вы забыли, что вам слишком много дано. Забыли, что кому много дано, с того много и спросится. Смешно жаловаться и скулить: «нас критикуют», «нас травят». Кого же еще критиковать и «ругать», как не вас?

4) Правильно ли поступил т. Керженцев, выступая в защиту Б.-Белоцерковского от нападок «На литпосту»? Я думаю, что т. Керженцев поступил правильно. Вы подчеркиваете формальный момент: «у ЦК нет еще формального решения». Но неужели вы сомневаетесь, что ЦК не поддержит политики изничтожения Б.-Белоцерковского, проводимой «На литпосту»? За кого же вы принимаете ЦК? Может быть, в самом деле поставить вопрос на рассмотрение ЦК? Подружески советую вам не настаивать на этом: невыгодно,— провалитесь наверняка.

5) В ряду вопросов, поставленных в вашем письме, есть один вопрос, который вы почему-то не захотели сформулировать и поставить ясно, но который сквозит в каждой строчке письма. Я имею в виду вопрос о моей переписке с Б.-Белоцерковским. Вы, как мне кажется, думаете, что моя переписка с Б.-Белоцерковским не случайна, что она, эта переписка, является признаком какой-то перемены в моих отношениях к РАПП'у. Это неверно. Я послал т. Б.-Белоцерковскому свое письмо в ответ на коллективное заявление ряда революционных писателей во главе с т. Б.-Белоцерковским. Самого Б.-Белоцерковского я лично не знаю,— не успел еще, к сожалению, познакомиться с ним. В момент, когда я писал свой ответ, я не имел представления о разногласиях между РАПП'ом, и «Пролетарским Театром». Более того — я не знал еще об отдельном существовании «Пролетарского Театра». Я и впредь буду отвечать (если будет время) любому товарищу, имеющему прямое или косвенное отношение к нашей революционной литературе. Это нужно. Это полезно. Это, наконец, мой долг.

Мне думается, что ваши разногласия с пролетарскими писателями типа Б.-Белоцерковского не имеют и не могут иметь существенного характера. Вы могли бы и должны найти общий язык с ними даже при наличии некоторой организационной «неувязки». Это можно было бы и нужно сделать, ибо разногласия у вас в конце-концов — микроскопические. Кому нужна теперь «полемика» вроде той, которая напоминает в основном пустую перебранку: «Ах, ты, паскуда!» —

«От паскуды слышу»? Ясно, что никому не нужна такая «полемика».

Что касается моих отношений к РАПП'у, они остались такими же близкими и дружескими, какими были до сего времени. Это не значит, что я отказываюсь критиковать ее ошибки, как я их понимаю.

С комм. приветом.

И. Сталин

Р. S. Ваш вопрос о т. Лебедеве-Полянском и его «теории» отпал: нельзя требовать от ЦК, чтобы он «реагировал» на все и вся на свете.

28. II. 1929 г.[1]

Письмо Сталина еще не раз будет прокомментировано как документ официальной партийной политики в год «великого перелома». Оно подтверждает его полную ответственность за общее направление этой репрессивной литературной политики, обычно списываемой на РАПП.

Некоторых разъяснений требует вопрос, лишь бегло затронутый в постскриптуме сталинского письма. Что это за «теория» П. И. Лебедева-Полянского, на которую недосуг было «реагировать» сталинскому ЦК? Вопрос разъясняется просто. В анкете писателей и критиков, опубликованной журналом «Читатель и писатель», начальник Главлита того времени без обиняков заявил: «Конечно, остается в силе деление литературы на пролетарскую, крестьянскую и новобуржуазную» («Читатель и писатель», 1928, № 41, 13 октября). Это заявление вызвало некоторую панику среди интеллигентных писателей, принадлежавших к числу так называемых «попутчиков». Поскольку ни к пролетарской, ни к крестьянской литературе их обычно не относили, место для них осталось только в «новобуржуазной» литературе, что по тем временам было даже небезопасно. Литературный Центр конструктивистов опубликовал в связи с откровением ответственного советского чиновника специальное «Письмо в редакцию», где, между прочим, говорилось: «Заявление П. Лебедева-Полянского идет вразрез с резолюцией ЦК ВКП(б) о художественной литературе и со всей политикой последних лет, направленной не на оттеснение писателей к новой буржуазии, а, наоборот, на вовлечение их в общее русло социалистической культуры. [...]» («На лит. посту», 1928, № 22, с. 79).

Сталин отмахнулся от тревожного вопроса, поставленного общественностью, так как его собственная политика тоже шла вразрез с резолюцией ЦК ВКП(б) 1925 года о художественной литературе, и именно против литературной интеллигенции в 1928—1929 годах был направлен главный идеологический удар.

[1] ЦГАЛИ. Ф. 2181, оп. 1, ед. хр. 124, лл. 1—5. Машинописная копия письма, заверенная печатью Правления СП СССР.

Мы видим, что травлю Б. Пильняка Сталин санкционировал лично; потом последовали кампании против М. Булгакова, Е. Замятина, П. Романова, А. Платонова и др., губительные для советской литературы.

Стоит напомнить, как закончили свой путь лишь некоторые лица, упомянутые в ответе Сталина писателям-коммунистам из РАППа.

Всеволод **Мейерхольд**, который, по словам Сталина, «конечно», не может быть причислен к разряду «чужих», был тем не менее сначала лишен театра, оболган, арестован, замучен в бериевском застенке и расстрелян как «враг народа» в феврале 1940 года.

Михаил **Чехов**, так и не вернувшийся в СССР, умер на чужбине, в эмиграции в 1955 году. Ему удалось изложить в нескольких трактатах о театре свои выношенные теоретические идеи, он еще выступал на сцене и снимался в кино, но так и не сыграл перед соотечественниками на родном языке те главные роли, о которых писал в своем письме к Луначарскому.

Леопольд **Авербах**, верно служивший Сталину, после отстранения Ягоды был объявлен «врагом народа», перекрашен в троцкиста и расстрелян в 1939 году.

Борис **Пильняк**, один из талантливейших советских прозаиков, который, по оценке Сталина, «умеет изображать лишь заднюю нашей революции», более десяти лет продолжал жить под знаком политической опалы 1927 года и в конце концов разделил общую участь многих погибших писателей. Расстрелян в 1938 году.

Платон Михайлович **Керженцев** — старый «правдист»; театрал, после работы в ЦК был на дипломатической службе, продвигался по должностям, в 1936—1938 годах возглавлял Комитет по делам искусств при СНК СССР и стал свидетелем гибели многих людей, принадлежавших к лучшей части послереволюционного советского искусства. Умер своей смертью в 1940 году.

Павел Иванович **Лебедев-Полянский** — один из организаторов литературно-издательского отдела Наркомпроса. Десять лет, с 1921 по 1930 год, работал начальником Главлита, сменив роль просветителя и публициста на роль главного цензора страны. Был главным редактором неоконченной «Литературной Энциклопедии», затеянной не ко времени в тридцатые годы.

Владимир Наумович **Билль-Белоцерковский** (1884—1962) благополучно дожил до преклонных лет, почти на десять лет пережив Сталина, пользовался репутацией классика советской драматургии, явно завышенной, теперь почти забыт, в отличие от Михаила Чехова, Всеволода Мейерхольда и Михаила Булгакова.

Сергей Чупринин

СИТУАЦИЯ

БОРЬБА ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Писать литературные обзоры сейчас затруднительно. Почему?

Да потому хотя бы, что современная литература так редко появляется на печатных страницах или, вернее сказать, так редко приковывает к себе всеобщее внимание, вызывает споры, эмоционально активное к себе отношение, что кажется, будто ее и вовсе нет.

Не первый уже год молчат едва ли не все наиболее именитые наши писатели. То есть не молчат, конечно; говорят — и порою очень громко, но... их — даже и самые эффектные — статьи, реплики, интервью, парламентские речи и непарламентские высказывания не заменяют отсутствующих, увы, романов, повестей, поэм, рассказов.

Больше ходу стало, конечно, молодым и тем в особенности, кто числился у нас по ведомству «андеграунда», эстетического подполья, но... читательского, общественного отклика — во всяком случае, такого, на какой, казалось, можно было бы рассчитывать,— пока что не получили ни долгожданная «Весть» (М., «Книжная палата»), ни бликующие «Зеркала» (М., «Московский рабочий»), ни патетическое «Слово» (М., «Современник»), ни другие альманахи, сборники, книжные и журнальные публикации полузапретных еще совсем недавно прозаиков и поэтов.

Бесперебойно издаются, конечно, всякого рода посредственности (имя им по-прежнему легион), орудуют под шумок «юрчайшие» — те, кому все равно что славить, все равно что обличать,— но... кто же читает их теперь, когда не поспеваешь охватить взглядом даже публикации И. Шмелева и А. Ремизова, М. Алданова и Р. Гуля, В. Гроссмана и А. Солженицына, А. Бека и В. Аксенова, С. Кржижановского и Саши Соколова, В. Войновича и Г. Владимова — писателей интереснейших, хотя и по-разному, да вот беда — не имеющих прямого отношения к тому, что принято называть современной советской литературой.

Да и критику если взять... Такое впечатление, что она не только ушла в публицистику, стала орудием идеологической агитации и контрагитации, но и напрочь утратила интерес к текстам, заменила внимание к литературе вниманием к «литературной жизни», а часто и к «литературному быту».

Так что хочешь не хочешь, а спросишь вослед и Шукшину, и всем, кто ныне берется за перо:

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ С НАМИ ПРОИСХОДИТ?

Первая импульсивная реакция на новую ситуацию была такова:

перестройка сняла, мол, дисциплинирующие скрепы и ограничения, гласность развязала-де стихию взаимных разоблачений и поношений, грубых, часто скандальных перебранок по любому поводу и в любой ситуации. Как говаривали в похожих условиях лет восемьдесят назад, «начальство ушло», занялось, вернее, более существенными проблемами, предоставив писателям, деятелям культуры право самим разбираться в своих делах. И... братья-писатели, оставшись без присмотра (а русского писателя оставлять без присмотра нельзя), пустились, мол, во все тяжкие, стали сводить счеты, выказывать амбиции, бороться за популярность и лидерство.

«Молодая гвардия» пошла войной на «Огонек». «Наш современник» схлестнулся с «Юностью». В. Распутин сде-

лал выговор А. Рыбакову и получил соответствующий выговор от В. Коротича. Т. Толстая мазнула В. Белова словцом «человеконенавистничество» и услышала в ответ, что сама-то она, ополчаясь на «совесть русского народа», пишет прозу жеманную и салонную, заведомо «нерусскую» и заведомо «бессовестную». Шесть знаменитых писателей и С. Бондарчук сообщили в «Правду» и по начальству о подрывной деятельности «Огонька» и «огоньковцев» — десять не менее знаменитых писателей с гневом отвергли и эти обвинения, и этот — столь знакомый по преданиям — способ решения литературных споров. В. Коротичу припомнили то, что он писал лет десять назад: П. Проскурину — то, что он подписывал лет двадцать назад; В. Солоухину — то, что он произносил лет тридцать назад; В. Максимову — то, что он подписывал лет, поди уже, едва ли не сорок тому...

То, что раньше таилось под спудом, было достоянием кулуарных разговоров и частной переписки, вырвалось на печатные страницы, размножилось в миллионах экземпляров, и верх над привычными призывами к «консолидации», к «культуре дискуссии» взяли, не могли не взять то ли не изжитая за десятилетия логика гражданской войны с ее простыми правилами: «Кто не с нами — тот против нас», «Если враг не сдается — его уничтожают», то ли, что, мне кажется, столь же вероятно, бытовое озлобление, очень даже хорошо понятное каждому в нашей стране.

Уважение к литературе резко возросло — с публикацией на родине «Реквиема» и «Котлована», «Доктора Живаго» и «Факультета ненужных вещей», «Жизни и судьбы» и «Архипелага ГУЛАГа», иного многого оказалось, что не вся она сыто подремывала во дни и сталинской «железной зимы», и хрущевской «оттепели», и брежневско-андроповско-черненковских «заморозков» и что ей есть что явить, что сказать соотечественникам, чем подтвердить свой традиционно высокий в России авторитет властительницы дум.

А вот уважение к писателям благодаря вакханалии взаимных разоблачений резко упало — и об отдаленных последствиях для нашей культуры этой печатной поножовщины можно лишь догадываться. Недаром ведь уже и сейчас гораздо бо́льшую симпатию у многих вызывают не те литераторы, что преотважно лезут в драку, а те, что хладнодушно (мудро? трусливо?) отмалчиваются, отходят в сторону: пусть схлынет, мол, смута, пусть иссякнут, выдохнутся дурные страсти...

Так в чем же дело? Почему легализованная известными партийными решениями борьба *идей* в современной литературе, их здоровая состязательность тотчас же, как кажется многим, выродилась в борьбу *людей*, а противостояние *позиций* — в противостояние *амбиций*, в остервенелую конкуренцию более или менее мощных литературно-политических группировок, кланов, движимых — как опять-таки кажется многим — исключительно корыстными интересами.

Может быть, в самом деле «люди гибнут за металл», и, может быть, есть резон в участившихся за последнее время призывах к властям: да наведите же наконец порядок в писательском стане, да верните же наконец гласность в привычные, обжитые берега, да дайте же наконец укорот наиболее распоясавшимся, забывшим и о приличиях, и о моральной, идеологической, прочей дисциплине? Пусть, мол, экстремисты и «правой», и «левой» сторон очнутся, задумаются о своей *равной* вине, *равной* ответственности за сложившееся положение?..

Равной?

Будем откровенны.

Корыстные соображения действительно дают о себе знать — например, в хлопотах о том, чтобы на века сохранить статус-кво, то есть прежний, «застойный» порядок распределения тиражей, должностей, почестей и гонораров. Корыстными кое-кому кажутся и раздающиеся со страниц «Известий», «Огонька», «Книжного обозрения», «Юности» требования экспроприировать экспроприаторов, отнять у Ю. Бондарева, М. Алексеева, Ан. Иванова, Е. Исаева, С. Михалкова, прочих писателей-«миллионщиков» (термин Т. Ивановой) хотя бы часть бумаги, позиций в издательских планах.

Но зачем отнять-то? Затем, что «можно было бы на этой бумаге издать пятитомник Б. Пастернака, четырехтомник О. Мандельштама, А. Ахматовой, Н. Клюева, трехтомник И. Бабеля...» («Огонек», 1988, № 43).

Так корысть ли это? И стоит ли всех подряд мазать одним дегтем, а заботу о восстановлении литературной справедливости, об интересах культуры и читающего народа уравнивать с заботой об интересах немногих «миллионщиков» и их верных «личард»?

Разные это, что ни говори, интересы, и цена им разная.

То же и с пресловутой этической невоспитанностью наших газетно-журнальных ратоборцев. Пелена ярости действительно часто застит им очи, слова у них срываются с языка действительно самые оскорбительные, и разницы в тоне, в степени горячности между, допустим, Б. Сарновым, П. Карпом или, допустим, А. Казинцевым, А. Байгушевым, случается, нет.

Впрочем, есть, и, для того чтобы увидеть эту разницу, достаточно сравнить, как и что в «Огоньке» пишут о «Молодой гвардии», «Москве», «Нашем современнике», а в этих трех журналах — об «Огоньке».

В первом случае предельно резкой, «истребительной» критике подвергаются

позиции недружественных изданий, их публикации, политические убеждения, эстетические взгляды и литературное поведение их руководителей. Что же касается биографий и морального облика Ан. Иванова, М. Алексеева, С. Викулова (теперь уже С. Куняева), то они остаются при этом, как правило, вне зоны критического обстрела...

Во втором же случае с «Огоньком», с его позицией и его публикациями, конечно, сражаются — и ожесточенно, но еще пуще, еще агрессивнее и непримиримее нападают на самого В. Коротича. Иногда даже кажется, что ярость у противников «Огонька» вызывает не столько сам журнал как таковой, сколько личность его главного редактора, и цель нападок состоит не столько в том, чтобы переспорить авторов популярного еженедельника, оттолкнуть от него читателей, переманить их к себе, сколько в том, чтобы, переведя разговор из сферы полемики в плоскость «кадровой политики», добиться компрометации и, следовательно, устранения именно В. Коротича.

Или А. Ананьева — если речь в журналах «тройственного союза» («Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник»)[1] заходит об «Октябре». Или Е. Яковлева и А. Беляева — если под прицелом оказываются «Московские новости» и «Советская культура». Или А. Стреляного — когда дебатировался вопрос о том, кому возглавить издательство «Советский писатель»...

Словом, если в «Огоньке», похоже, все еще верят в способность идей, громко высказанных, стать материальной силой, то в «Молодой гвардии», других изданиях этого рода накрепко усвоили: идеи идеями, но не они, а «кадры решают все»,— и эту «тонкую» разницу между внешне сходными полемическими импульсами не следует, мне кажется, упускать из виду.

Как не следует упускать из виду и то, что в условиях отнюдь не потерявшей силу командно-административной системы «кадровый подход» всенепременно оказывается результативнее всех прочих. Достаточно припомнить, как в год-полтора «тройственный союз», благословляемый руководителями Союза писателей РСФСР, прибрал к рукам сначала «Московский литератор» (насадив туда Н. Дорошенко), затем «Литературную Россию» (заменив М. Колосова Э. Сафоновым) и, наконец, «В мире книг» (переименованный новым главным редактором А. Ларионовым в «Слово» — не путать ни с телевизионным литературно-художественным видеоканалом «Слово», ни даже с «современниковским» альманахом «Слово»). Достаточно указать на развернутую «заединщиками» травлю «Октября», а вернее сказать, А. Ананьева. Достаточно взглянуть на то, как — в итоге «демократических» выборов — изменился в пользу все того же «тройственного союза» состав правления издательства «Советский писатель»...

Это во-первых. А во-вторых, с какой бы похвальной суровостью ни относились мы к «крайностям», «перехлестам», «экстремизму» враждующих сторон, «гражданская война» в литературе тем не менее идет, не быть в нее втянутым оказывается все труднее, вопрос: «С кем вы, мастера культуры,— с «Нашим современником» или «Дружбой народов», с Василием Беловым или Василем Быковым?» — все неотступнее возникает даже перед самыми хладнокровными, так что...

Так что пора бы уж нам — здесь и только здесь я охотно соглашусь с М. Любомудровым — признать как не отменяемую, не зависящую от наших оценок данность, что происходящее ныне в литературе, в литературной печати есть никакая не «групповая», а прежде всего и по преимуществу «*идейная, общественно-политическая* борьба двух сил, не совпадающих и даже противоположных в понимании и в отношении к судьбе России, русского народа, к его культуре, духовным и нравственным ценностям, к его земле и природе, к его будущему, наконец» («Наш современник», 1989, № 2; выделено мною.— С. Ч.).

И сожалеть стоит только о том, что у нынешних демократизации и гласности есть один, но важный недостаток — их заведомая неполнота и урезанность.

Я уверен, что досадные недоразумения, стычки не по существу реже возникали бы в наших спорах и враждующие стороны реже прибегали бы к взаимным оскорблениям и поношениям, будь возможность высказывания действительно полной, а расхождения в позициях действительно прочерчены с должной рельефностью.

И более того.

Я убежден, что литературе не понадобилось бы так «политизироваться», а литераторам так ожесточаться, так воевать друг с другом, если бы импульс, заданный в апреле 1985 года, был более устойчивым, а воля к реформам, к переустройству всей жизни страны и народа явилась бы более последовательной и более неуклонной.

Что имеется в виду?

А вот что.

---

[1] «Одинокими утесами стоят и принимают на себя валы озлобленной клеветы «Наш современник», «Молодая гвардия» и «Москва». Предвижу злословие остряков и все же не удержусь и сравню их с легендарными тремя богатырями» («Молодая гвардия», 1989, № 8).

«СРЕДЬ БУРЬ ГРАЖДАНСКИХ И ТРЕВОГИ...»

В России, как давно и не нами замечено, в бедственном положении почти всегда находились церковь, суд и школа, так что русской литературе едва ли не с самого момента ее возникновения и утверждения пришлось взять на себя обязанности духовника, «совестного судьи» и учителя общества.

Перефразируя известные слова, можно смело сказать, что литература действительно «наше все» и что нет ничего в духовной, нравственной, интеллектуальной и эмоциональной жизни русского народа, что не преломлялось бы с наибольшей резкостью и полнотой именно в литературе.

Это, кажется, аксиома, и с нею вряд ли есть смысл спорить.

Есть смысл лишь добавить, что в России всегда было плохо и с политической жизнью, с ее нормальным, то есть «гласным», легальным функционированием, с реальным взаимодействием как противостоящих, так и сотрудничающих, но разноориентированных политических партий, общественных движений, идеологических общностей, и уже поэтому литература — опять-таки от начала времен, на всем протяжении российской истории — была у нас не только литературой, «художеством», словесным искусством, но еще и (а в иные моменты — и прежде всего, в первую очередь) формой бытования политики, каналом, в который устремлялись гражданские страсти, религиозные чувства, идеологические убеждения и социальные интересы самых разных общественных групп и слоев.

Журнал — будь то «Современник» Некрасова и Чернышевского, «Москвитянин» Погодина и Шевырева, «Гражданин» Достоевского и князя Мещерского, «Мир Божий» Ангела Богдановича или «Новый мир» Александра Твардовского — всегда стоил у нас кафедры. Литературные направления и «школы» играли роль, сопоставимую с ролью политической оппозиции как «правых», так и «левых» оттенков. Споры «западников» и «славянофилов», радикальных демократов и «жрецов» чистого искусства, последних русских литераторов-народников и первых русских литераторов-марксистов были озвучены пафосом не столько эстетического разномыслия, сколько мировоззренческого, идеологического противоборства. А столкновения и сближения видных писателей, едва ли не за каждым из которых угадывалась более или менее мощная, хотя, как правило, и не оформленная организационно группировка единомышленников, заменяли собою — пусть даже только отчасти, отдаленно — парламентскую борьбу...

Иными словами, русская литература никогда не хотела (не могла?) быть т о л ь к о литературой.

Она никогда и не была т о л ь к о литературой.

Кроме...

Кроме того сравнительно короткого периода в своей истории, который позднее, в разгар сталинщины, вошел в учебники с клеймом «позорного десятилетия», а ныне вновь вернул себе имя «серебряного века».

Именно в то время — условно говоря, с 17 октября 1905 года, когда был обнародован Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», до, столь же условно говоря, 7 января 1918 года, когда было распущено (вернее, разогнано) Учредительное собрание,— политическая жизнь России больше, чем когда бы то ни было, напоминала жизнь в условиях «классических» демократий. Частью возникли, частью легализовались политические партии и бесчисленные «неформальные» организации самых различных оттенков и толков. Права цензуры оказались резко суженными. Развернулись собственно политические, уже не прикрываемые ширмою «эстетики» и «этики» дискуссии в печати, на митингах и собраниях избирателей. Заработала — пусть с немалым скрипом, с паузами, но заработала Государственная дума, став если не законодателем, то до известной степени гарантом гражданских прав. Идеи неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, заложенные в Манифесте, дали толчок к развертыванию широкого спектра мнений по всем вопросам социально-экономической, идеологической, духовной, художественной и нравственно-бытовой жизни страны...

Я не буду спорить, если мне возразят, что реформы царской администрации носили противоречивый, половинчатый характер, что огромная масса народонаселения оставалась выключенной из общественно-политического «кругооборота», что гражданские права и политические свободы были в России скорее декретированы, чем реализованы в повседневной практике, и это-то в конечном счете погубило зачаточную, робкую «русскую демократию», сделало ее нежизнеспособной, беззащитной перед лицом революционных потрясений.

Все так, и я недаром говорю, что общественно-политическая действительность в нашей стране в 1905—1917 годах лишь н а п о м и н а л а действительность демократии...

Но...

Но и этого оказалось достаточно, чтобы литература и литературная жизнь страны резко «деполитизировались», утратили собственно идеологический, пропагандистский смысл и тонус. Политикой стали заниматься профессиональные политики, идеологией — идеологи. Или те из писателей, у кого был особый вкус, личностная предрасположенность к политической активности,— например, Максим Горький или Дмитрий Мережковский.

Что же касается подавляющего большинства русских писателей (напомню некоторые разнородные, но характерные имена — Иван Бунин, Леонид Андреев, Михаил Кузмин, Александр Куприн, Михаил Арцыбашев, Алексей Ремизов, Вячеслав Иванов, Александр Блок, Андрей Белый, Николай Гумилев), то они на исторически краткий миг почувствовали себя именно писателями, а не лидерами нации, не политическими мыслителями, не идеологами.

Политические симпатии автора стали на время его частным, глубоко интимным делом. Публицистичность, как сказали бы сейчас, или тенденциозность, как говорили раньше, отошла на задний план, став резко индивидуализированной «краской» творческой манеры, а не обязательным условием активного участия в литературной жизни эпохи. В литературной печати заговорили о литературе как именно о литературе, а не только как о «зеркале русской революции» или, допустим, выражении взглядов того либо иного общественного движения. Писательские объединения и ассоциации, литературные направления начали возникать и распадаться по мотивам эстетической или — часто — личной, но никак не идеологической близости. Да и в литературной критике стали задавать тон не столько идеологи (хотя и их было предостаточно, причем самых разных толков — от марксистских до «охотнорядских»), сколько «чистые эстетики», а также «практики» — поэты и прозаики русского символизма, натурализма, акмеизма, футуризма и т. д. и т. п.

К этому периоду в жизни русской литературы, как и вообще к этому периоду в русской жизни, можно, повторюсь, относиться по-разному, как по-разному, с диаметрально противоположных позиций относились к свершившейся метаморфозе ее современники — читатели и литераторы. Одни видели (и видят) во всем этом свидетельство декаданса, буржуазного гниения, забвения славных традиций русской демократической литературы и передовой общественно-литературной мысли. Другие, напротив, оценивали (и оценивают) эту пору как нечто напоминающее Ренессанс, насильственно оборванное культурное Возрождение или как своего рода краткосрочную вспышку электрической лампочки перед тем, как окончательно погаснуть либо перевести свое свечение в принципиально иную — например, ультрафиолетовую или инфракрасную — область спектра.

Одно бесспорно: этот период в жизни русской литературы и русского общества — б ы л.

Зачем же я о нем вспомнил?

Затем, что в поисках аналогов нынешней эпохе, нынешней перестройке чаще всего обращаешься мыслью именно к поре, рубежной датой для которой стало 17 октября 1905 года.

И вот тут-то отличие мгновенно бросается в глаза.

Если в ответ на реформы восьмидесятилетней давности литература в значительной ее части стремительно деполитизировалась, ушла в «художество», то теперь, в ответ на апрельский (1985 г.) импульс, она столь же стремительно политизировалась, превратилась по преимуществу в публицистику, в прямую речь, обращенную и к народу, и к власти.

Почему?

Да потому, что тогда нашлось, кому литература могла бы п е р е д о в е р и т ь и ведение острых дискуссий о социальной злобе дня, и формулирование альтернативных — по отношению друг к другу и к «официальной» точке зрения — идеологических программ, и собирание единомышленников на той или иной платформе, в тех или иных — как «формальных», так и «неформальных» — объединениях, и задачи политической агитации, пропаганды и контрпропаганды.

А теперь?..

Импульс к демократическому плюрализму, к развертыванию широкого спектра мнений действительно задан, и импульс мощный, но организационные формы (будь то легальная парламентская оппозиция, независимая от государства и опять же легальная печать, альтернативные партии или открытое взаимодействие фракций внутри правящей партии), в которых этот импульс мог бы найти свое закрепление, пока еще только складываются, плюрализм по-прежнему остается на деле плюрализмом м н е н и й, а не о р г а н и з а ц и й, так что не только в литературной, но и в собственно политической жизни страны столкновение п о з и ц и й все еще чаще проявляется как столкновение а м б и ц и й, а борьба и д е й предстает борьбою л ю д е й.

Выразительным примером здесь могла бы служить полемика между Б. Н. Ельциным и Е. К. Лигачевым сначала на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС, а затем на XIX партконференции.

Или — еще пример — избирательная кампания 1989 года, когда граждане СССР впервые за много десятилетий действительно получили возможность выбора — но выбора между л и ч н о с т я м и, а не между п л а т ф о р м а м и, поскольку разница между предвыборными заявлениями кандидатов в народные депутаты либо преднамеренно смазывалась, выражалась обиняками, либо в самом деле была скорее стилистической, нежели содержательной, и поскольку агитационные акценты в подавляющем большинстве случаев делались на человеческих качествах и гражданских добродетелях претендентов, а не на их политических убеждениях и намерениях. То же, по сути дела, произошло и при обсуждении на сессии Верховного Совета

СССР кандидатов в состав Совета Министров. Речь шла опять-таки о людях, а не об идеях и программах...

Но пока вернемся к литературе, исстари славной, как известно, своей безбоязненной гражданственностью, исстари привыкшей брать на себя обязанности, с которыми в силу тех или иных причин некому справиться.

Могла ли она в этой идеологически острой, накаленной и вместе с тем идеологически не проясненной ситуации безмолвствовать или уходить «в красивые уюты» чистого художества, сугубо эстетических разногласий, а вернее бы сказать, разновкусий?

Конечно, нет, и многое, я уверен, в сегодняшних общественно-литературных баталиях останется для нас неясным, если мы не признаем, что литература, литературная печать накалом своих конфронтаций, их «ножевым», предельно бескомпромиссным характером как бы *компенсируют* нехватку открытости в противостоянии собственно политических сил, группировок, слоев современного советского общества, а коллективы редакционных работников, авторов (и в конечном итоге читателей), собирающихся вокруг того или иного отчетливо выразившего свою позицию издания, *исполняют обязанности* своего рода «партий», или, если угодно, «фракций»[1], ведущих борьбу за торжество своих представлений о задачах, направлении, ходе, темпе и средствах перестройки нашего социального уклада.

ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ?

Эта борьба разворачивается, что понятно, отнюдь не в лабораторно чистых условиях.

Как это и свойственно обычно историческому процессу в России, решение проблем сегодняшнего и завтрашнего дня заметно осложняется нерешенностью или далеко не полной решенностью проблем дня вчерашнего и даже позавчерашнего.

Так, завершись процесс десталинизации еще в годы хрущевской «оттепели», будь он уже тогда столь же последовательным и всесторонним, как близкий ему по значению и пафосу процесс денацификации в ряде европейских стран, увенчайся он тогда же отчетливыми юридическими, конституционно-правовыми квалификациями и выводами, нам не пришлось бы сейчас снова и снова возвращаться к этой зловещей фигуре, тратить силы в спорах о том, что в условиях демократии не обсуждается, но однозначно оценивается как преступление против мира и человечности и пропаганда чего тем самым недвусмысленно приравнивается — со всеми вытекающими отсюда последствиями — к пропаганде войны, террористического насилия, межнациональной, межгосударственной розни.

И дело даже не в том, что препирательства — и печатные, и судебные — с Н. Андреевой и И. Шеховцовым, их открытыми единомышленниками и тайными покровителями грозят (при отсутствии, повторюсь, столь же однозначного правового решения, как приговор Нюрнбергского трибунала) загнать общество в ситуацию «вечного шаха»; а исходом «вечного шаха» может быть, как известно, только ничья, что вполне, кажется, устраивает «сталинистов» и что явно не устраивает их непримиримых противников.

Корень именно сегодняшней проблемы мне видится в ином — не в столкновении «сталинистов» и «антисталинистов», как это было четверть века назад, а в несогласии, в конфликте «антисталинистов» одного толка с «антисталинистами» другого толка.

Говоря так, я отнюдь не хочу преуменьшить давление собственно «сталинистской» оппозиции перестройке — оно, это давление, судя по косвенным и разрозненным данным, весьма значительно и при неблагоприятных для перестройки условиях еще может — не ровён час! — дать мощный выброс на поверхность политической и общественной жизни.

И все же...

Незачем, мне кажется, ни обвинять друг друга в тайной «сталинофилии», ни заявлять как данность некий будто бы единый «антисталинистский» фронт в литературе, аплодируя без разбору всякому выпаду против ненавистной командно-бюрократической системы, метя клеймом идеологического, мировоззренческого и нравственного тождества явления и высказывания, лишь внешне напоминающие друг друга, подобные друг другу скорее в плане тактики, нежели в плане стратегии.

Так, не покидает, например, ощущение, что сосредоточенность некоторых современных критиков *преимущественно или даже исключительно* на первом десятилетии Советской власти и на том десятилетии, которое вошло в анналы под названием «оттепели», и в самом деле объективно небезвыгодна

[1] Кавычки, в которые взяты слова «партия», «фракция», достаточно, мне думается, указывают на условность этих терминов, ибо речь, само собой разумеется, и здесь и далее идет не о противоборстве формализованных политических *организаций*, а о взаимодействии разноориентированных *течений* общественной мысли.

сталинистам, поскольку в укромной тени остается при этом самый страшный, самый мрачный период в трагедии Отечества, а вместе с ним, следовательно, и фигура главного протагониста этой трагедии. Не хочу, естественно, чохом подозревать всех публицистов «тройственного союза» в предумышленности подобного смещения акцентов, но так или иначе получается, что, осуждая «казарменный» социализм, *особенно* сильно они осуждают все-таки не десятилетия воинственного сталинского тоталитаризма, а как раз те считанные годы, когда тоталитаристская тенденция худо-бедно корректировалась если и не демократией, то по крайней мере надеждами на нее.

То же и с оценкой периода «застоя». О нем действительно трудно сказать доброе слово, и все же... Когда слышишь, что стране, культуре, народу при Брежневе жилось *еще* хуже, чем при Сталине, тут же осекаешься: воля ваша, дорогие критики «брежневщины», но все вины и, более того, преступления недавнего политического руководства нашей многострадальной державы бледнеют перед лицом массового террора, той необъявленной, кровавой войны, которую Сталин и окружавший его «сброд тонкошеих вождей» вели против собственного народа. Спор ни спорь, но разница здесь — если позволить себе преднамеренно грубую, «циничную» метафору — та же, что между публичным домом, где, как известно, растлевают, но все-таки не убивают, и бойней, где все подчинено тупому ожиданию смертного часа...

Впрочем, воздержимся от метафор. Их, благодаря в первую очередь неполноте гласности, невозможности или неумению высказаться с недвусмысленной понятийной отчетливостью, и без того накопилось в литературной периодике предостаточно. Публицистические, литературно-критические статьи и сегодня представляют собою нечто вроде «депо метафор», обиняков, осторожных намеков, эвфемизмов, и не в том даже беда, что, говоря одно, у нас часто подразумевают, как в старом анекдоте, совсем другое. Беда, многими пока не осознаваемая, прежде всего в том, что за вроде бы едиными для сегодняшних спорщиков эвфемизмами сплошь и рядом прячется совершенно различное содержание.

Так, скажем, резкие суждения о Троцком, Свердлове, Зиновьеве, Кагановиче и т. п. могут в одних органах печати быть синонимом критики большевистского руководства как именно большевистского руководства, а в других органах печати означать собою нападки на «инородцев» или, точнее выражаясь, на евреев, захвативших власть в российском революционном движении и будто бы навязавших России и русским враждебную им революцию и чуждые им социальные идеи. В первом случае критиков волнует, как видим, *идеологическая* принадлежность и ответственность названных выше исторических персон, во втором же — их *национальная* принадлежность и ответственность. В одном случае мы имеем дело с идеологическими *убеждениями*, в другом — с националистическими, а часто и расистскими *предубеждениями* и предрассудками, и это различие существенно, особенно если учесть повсеместно распространенную у нас привычку к экстраполированию событий и процессов пятидесяти-, семидесятилетней давности на сегодняшнюю внутриполитическую и культурную реальность.

Или еще один пример: очевидно, что апелляция к нравственному, литературному и политическому авторитету А. Солженицына имеет разный смысл, допустим, у Ю. Карякина и Вяч. Вс. Иванова, с одной стороны, и у Вал. Сидорова и В. Бондаренко, с другой стороны.

Первых, рискну предположить, в таком могучем, многозначном явлении, как автор «Архипелага ГУЛАГа» и «Красного колеса», привлекает прежде всего его беспощадная критичность по отношению к ключевым событиям и фигурам отечественной истории XX века, других — его столь же беспощадная критичность по отношению к современному Западу, к западной «рыхлой» демократии, к западному плюрализму и индивидуализму. При одном освещении А. Солженицын предстает как трибун и глашатай свободы, как бескомпромиссно яростный обличитель всякой тирании, всякого насилия над человеком и обществом; при другом освещении — как идеолог и поэт «авторитарно» («патриархально») сильной власти, подчиняющей интересы личности интересам нации и государства. Одни, словом,— тут опять-таки трудно удержаться от метафоры — полагают, что Солженицын — это «Герцен сегодня», набатным колоколом пробуждающий страну и народ к созидательной деятельности на мировой арене, а другие видят в нем нечто вроде русского «аятоллы», который из заокеанского далека незримо если не возглавляет, то благословляет возвращение нации к устоям «доленинской», а возможно, и «допетровской» самобытности...

К чему я об этом говорю?..

К тому, чтобы предостеречь читателя сразу от двух типичных, на мой взгляд, ошибок.

И от эйфорической готовности, не вдаваясь в «нюансы», не беря в расчет движущие мотивы, видеть своего единомышленника в каждом, кто, допустим, без священного трепета оценивает деятельность Свердлова или Бухарина, в каждом, кто радуется возвращению на родину основных произведений «вермонтского затворника».

И от ничуть не менее опасной готовности бросаться на защиту Свердлова или Бухарина и, напротив, высказывать свое неодобрение Солженицыну на том лишь основании, что эти оценки взяты на вооружение литераторами враждебной вам «партии».

Примеры и той и другой крайности пе-

чать поставляет нам беспрерывно. То И. Виноградов сочувствено отзовется на интеллектуальную «провокацию» В. Кожинова, решив, должно быть, что их не только многое разъединяет, но и многое объединяет. То, наоборот, Б. Сарнов, вступив на страницах «Литературной газеты» в спор с тем же В. Кожиновым, вдруг — от нежелания, вероятно, хоть в чем-то солидаризироваться со своим заклятым оппонентом, то есть опять же откликаясь на интеллектуальную «провокацию»,— начинает защищать Свердлова, доказывать плодотворность коминтерновской идеологии, уличать В. Кожинова в преступном будто бы следовании за Солженицыным и т. д., и т. п.

Чего же тогда ждать от «рядового» читателя, который часто и в толк не возьмет, на что ему идеологически, нравственно, духовно ориентироваться в мире, где М. Лобанов берет под свою защиту вчерашнего «диссидента» И. Шафаревича от вчерашнего же «диссидента» Р. Медведева. Где сам И. Шафаревич зовет к крестовому походу не только на А. Синявского и напечатавший его «Прогулки с Пушкиным» журнал «Октябрь», но и на все «правозащитное» движение. Где В. Конецкий лихо обличает В. Аксенова и как литератора, и как человека. Где Ст. Рассадин почем зря бьется с Б. Сарновым. Где навещающие нас писатели-эмигранты (например, Н. Коржавин) призывают писателей «метрополии» к кротости и гражданскому миру. Где В. Астафьев и В. Белов оказываются в трогательной «заединщине» с Ан. Ивановым и П. Проскуриным. Где А. Латынина — под рукоплескания А. Байгушева — причисляет недавнюю свою, казалось бы, союзницу Н. Иванову к «либеральной жандармерии». Где перепечатка редакционной статьи из журнала «Коммунист» становится поводом к увольнению главного редактора «Литературной России» М. Колосова. Где рафинированнейший Д. Урнов брюзгливо отзывается о «Докторе Живаго», «Одном дне Ивана Денисовича» и не Булгакова, не Платонова, не Шолохова даже, а Гайдара соглашается признать единственным на всю советскую эпоху классиком...

Где, словом, все переворотилось и только начинает укладываться.

Да и начинает ли?..

«НАШИ» И «НЕ НАШИ»

Так кто же с кем, кто против кого в этой буче, боевой и кипучей?

Читателю охотно подсказывают: это «народная», то есть «почвенная» интеллигенция сражается с «беспочвенной», то есть либо «инородной», либо «антинародной» (см., например, В. Бондаренко. Обретение родства.— «В мире книг», 1989, № 7).

Читателю — с каждым днем все прямее, все откровеннее — намекают: это русские — по крови — литераторы враждуют с «русскоязычными» литераторами-евреями и «полукровками» (см. Н. Кузьмин. От войны до войны.— «Молодая гвардия», 1989, № 8)...

Не мешкает с подсказками и другая — представленная, например, «Огоньком» — сторона; вся разница лишь в том, что тут на роль разграничивающего критерия берется не национальный, а социально-культурный фактор.

Бьются, говорят нам отсюда, «дети Шарикова» — и люди культуры; черносотенцы, «фашиствующие» — и подлинные интернационалисты; литературный генералитет, бездарные сановники от литературы — и настоящие писатели; консерваторы, реакционеры, поэты отечественной бюрократии — и демократы, либералы и прогрессисты.

Плодотворно ли хоть в какой-то степени подобное перетягивание каната? Эффективно ли оно по крайней мере в плане общественно-литературной пропаганды и контрпропаганды?

Не думаю.

Во-первых, перепалка по схеме: «Мы демократы! — Нет, вы лжедемократы! Мы патриоты! — Нет, вы лжепатриоты!» — не несет в себе ни убеждающего, ни переубеждающего смысла: как бы там ни было, но, по справедливому замечанию С. Кирилова, «ведь демократу предпочтительнее выглядеть в глазах публики лжедемократом, чем сторонником диктатуры, а патриоту — псевдопатриотом, чем космополитом. Так, казалось бы, не все ли равно: употреблять эти определения с компрометирующими приставками или без оных?» («Вопросы литературы», 1989, № 2).

Получается, на мой взгляд, и смешно, и грустно: весь пропагандистский заряд обрушивается на тех, кто в агитации заведомо не нуждается, а вот те, кого бы действительно стоило «вербовать» и «перевербовывать», остаются, как и прежде, в стороне, только укрепляясь в совершенно ложной мысли, что перед ними то ли «театр для актеров», то ли нечто вроде спортивного соревнования, «ярмарки тщеславия», где бьются не за истину, а за победу, за барыши, за чемпионские медали и ленты.

И, наконец, важнейшее...

Страна большая, литература необозримая — так что у нас все, конечно, есть. Есть шовинисты и есть космополиты. Есть антисемиты и есть юдофилы. Есть бездарные литературные генералы и ничуть не менее бездарные «непризнанные гении». Есть непреклонные догматики и юрчайшие, как говаривал еще Е. Замятин, конъюнктурщики-«перестройщики». Есть — знаю таких — доподлинные «дети Шарикова» и есть высокоумные, высокомерные снобы, действительно глухие к народным страданиям...

Друг друга они явно стоят. Это, мне кажется, бесспорно, как бесспорно и то, что некоторых бурно печатающихся сегодня, бурно враждующих между собой авторов (шушеру, правда, шустрых репетиловых как от «прогресса», так и от «регресса») как только ни обзовн — все правдой будет.

Но шушера она и есть шушера. А вот, например, Валентин Распутин.

Он сражается с «Огоньком». Он печатается в «Нашем современнике». Он не без сочувствия, кажется, относится к лозунгам национально-патриотического фронта «Память». Он в каждом своем публичном выступлении произносит туманные проклятия неким, то ли инонациональным, то ли безнациональным силам, которые хотят погубить Россию, лишить русских исторической памяти и патриотической гордости. Он враждует не только с Анатолием Рыбаковым, но и с Львом Толстым. Он, похоже, консерватор и, может быть, даже не либерал, не демократ — по крайней мере в привычном смысле этих понятий.

Все так, но... рискнет ли кто-нибудь назвать Распутина бездарностью? Или литчиновником, для которого, по хлесткой формуле Т. Ивановой, «главное — не потерять сосиски»? Или, наконец, сталинистом, идеологом и поэтом отечественной бюрократии?

Или Юрий Черниченко. Он печатается в «Огоньке», в «Знамени», в «Московских новостях». Он не скрывает своего отношения ни к «Памяти», ни к журнальному «тройственному союзу». Он рекомендует нашим хозяйственникам идти на выучку к «капиталистам». Он надеется на то, что и у россиян образуется со временем привычка к парламентаризму. Но... рискнет ли кто-нибудь отлучить Ю. Черниченко от «народной интеллигенции», отыскать в его родословной «инородную» примесь, поставить ему в вину элитарность или равнодушие к судьбе русского крестьянства?

Поневоле вспомнишь времена застоя — тогда выбор «наших», «своих» был куда проще и куда комфортнее (в психологическом отношении), чем ныне. Хватало вкуса и элементарной личной порядочности, чтобы отличить стоявших под знаменами официоза от тех, кто находился в более или менее проявленной оппозиции к нему. Торжествовал вот именно что принцип **двух культур** в рамках одной национальной культуры, причем на одном фланге собиралось (почти без исключений) все чиновное, наглое, бездарное, трусливое и подлое, а на другом (опять-таки почти без исключений) все отмеченное умом, талантом, совестью и честью. Существовала по крайней мере иллюзия оппозиционного единства культуры в борьбе с насаждавшимся сверху бескультурьем, в противостоянии бюрократии, казенной идеологии и казенной псевдолитературе.

В те годы — вспомните-ка — можно было одновременно и без урона для своей репутации печататься и в «Дружбе народов» и в «Нашем современнике»; В. Солоухин обращался к А. Вознесенскому с приветственной статьей, а А. Вознесенский отвечал В. Солоухину дружественным стихотворным посланием; В. Распутин не считал для себя зазорным писать предисловие к роману Евг. Евтушенко; Ю. Трифонов представлял публике А. Проханова; Д. Самойлов называл Ю. Кузнецова одним из наиболее многообещающих современных поэтов; В. Кожинов поощрительно высказывался о стихах А. Межирова и прозе А. Битова, а ваш покорный слуга — о стихах С. Куняева и В. Устинова; В. Бондаренко благополучно совмещал свою любовь к В. Маканину с любовью к Д. Жукову и симпатию к Д. Гранину с симпатией к Ю. Бондареву...

Теперь все это и вообразить-то себе невозможно. Распадение культуры надвое сохраняется, но демаркационная линия проходит совсем не там, где раньше, не столько отделяя официоз от оппозиции (да и кто теперь у нас олицетворяет официоз, кто оппозицию?), сколько раскалывая стены вчерашних «подручных партии» и вчерашних «диссидентов», дробя привычные писательские ассоциации (допустим, «деревенщиков» или, допустим, «сорокалетних» с «тридцатилетними»), очерчивая альянсы, которые до сих пор многим кажутся противоестественными.

Например, альянс «заединщиков», где «смешались в кучу» Нина Андреева и Игорь Шафаревич, Виктор Астафьев и Петр Проскурин, Валентин Распутин и Иван Шевцов, Феликс Кузнецов и Михаил Лобанов, Марк Любомудров и Татьяна Глушкова, Феликс Чуев и Вадим Кожинов, Владимир Личутин и Владимир Фирсов... то есть, иными словами, настоящие писатели сошлись с патентованными бездарностями, авторы, на взлете поддержанные А. Твардовским и его «Новым миром», с теми, кто карьеру сделал на изничтожении и А. Твардовского и «староновомировского» духа, пламенные сталинисты и столь же пламенные тираноборцы, защитники классической культуры и идеологи социалистического реализма...

Я вижу разницу между ними. Я и отношусь к ним по-разному, ибо одних из только что перечисленных деятелей «тройственного союза» нельзя не уважать[1], а других уважать нельзя. Я понимаю, что Игорь Шафаревич не отве-

[1] Впрочем, признаюсь по совести, даже и самых достойных в этом кругу уважать становится все труднее: воля ваша, но соучастие в доносах, в преследовании своих коллег по политическим мотивам (а что такое «письмо семи», направленное против В. Коротича, и «письмо трех», нацеленное в А. Ананьева, как не постыдно заурядная апелляция к городовому?) ставит под удар репутацию даже А. Астафьева, даже И. Шафаревича.

чает за сталино- и ГУЛАГолюбие Нины Андреевой и что, может быть, гордящегося своей академической выучкой Вадима Кожинова временами шокирует соседство с Александром Байгушевым...

Но... Куда деваться от ощущения, что идейных, казалось бы, антагонистов И. Шафаревича и Н. Андрееву[1] ныне большее все-таки объединяет, чем разделяет, или что В. Кожинов и А. Байгушев с разной степенью искусности бьют все-таки в одну и ту же точку?

В самом деле, и И. Шафаревич, и Н. Андреева даже ради перестройки, даже ради того, чтобы наш многострадальный народ вздохнул наконец свободно и спокойно, не могут, не желают поступиться принципами. Принципы разные? Ну, как сказать... Относительно былого (то есть в оценке Февраля и Октября, Сталина и массовых репрессий), конечно, разные, и то не во всем. Зато вот во взгляде на настоящее и будущее страны, в выборе объектов для опасений и ненависти совпадение нередко полное.

И он, и она предполагают, что в бедах России повинны прежде всего инородцы, а проще сказать, евреи. И он, и она с подозрением относятся к интеллигенции, видя в ней что-то вроде «пятой колонны», «малого народа», только и мечтающего о том, чтобы причинить зло «большому народу». И он, и она убеждены, что губительная для национального сознания и бытия зараза как шла, так и идет с Запада. И он, и она предостерегают от увлечения «буржуазным» плюрализмом, поскольку, по их мнению, «несокрушимое морально-политическое единство» (в одном случае оно называется «соборностью», в другом — «идейной монолитностью») нам, русским, что называется, на роду написано. И он, и она хотели бы ужесточить контроль над средствами массовой информации, провести селекцию в современной культуре (и вообще в культуре XX века), пресечь разного рода социальное, эстетическое и прочее экспериментаторство, «подморозить» если не Россию, то хотя бы ее животворящую художественную, литературную жизнь. И он, и она встревожены реанимацией задушенного, казалось бы, отечественного либерализма. И он, и она выражение «права личности» непременно ставят в уничижительные кавычки. И он, и она не сомневаются: то, что для немца, может быть, и здорово (например, материальная обеспеченность, личная независимость, свобода в передвижениях по миру), то для русского, безусловно, смерть. И он, и она видят угрозу в самом существовании «третьей волны» русской эмиграции и ее литературы. И он, и она думают, что сильная власть предпочтительнее демократии. И ему, и ей кажется, что у нас, у России и русских, нет другого способа спастись, кроме как реставрировать свою самобытность: в одном случае — национальную, в другом — идеологическую...

Словом, повторяя название известной статьи Игоря Шафаревича, перед нами воистину

ДВЕ ДОРОГИ — К ОДНОМУ ОБРЫВУ

Да и две ли это дороги?

Я долго размышлял о том, благодаря чему же глашатаи национального возрождения и функционеры коммунистической ортодоксии оказываются в одной «партии», осознают себя «заединщиками»?

И вот к чему я пришел.

Дело не в антисемитизме — при всей очевидности этого компонента в психологии и идеологии многих «заединщиков» я (до получения неоспоримых доказательств в каждом конкретном случае) отказываюсь тем не менее считать, что все без изъятия «не наши» поражены расистской проказой. Презумпция невиновности должна, я уверен, действовать и тут, не говоря уже о том, что вопрос о месте еврейства в российской истории и современности есть, несмотря на его жгучесть, вопрос все же достаточно локальный, частный, производный от более существенных.

И дело даже не в национальном *чувстве* как таковом: оно само по себе естественно, само по себе присуще каждому человеку, и смешно ведь думать, что, скажем, А. Стреляного или Б. Можаева судьбы Отечества, проблемы восстановления национальных традиций, национального своеобразия русской культуры волнуют меньше, чем, допустим, М. Любомудрова или В. Личутина.

Дело в том совершенно особом окрасе, повороте, векторе развития национального чувства, при которых оно перерождается в самоценную и самоцельную национальную *идею*, и тогда Россия и русские оказываются *выделенными* из сообщества стран, народов и культур, наша историческая судьба — *отделенной* от судеб мира, а наш путь — *отъединенным* от пути, по которому движется мировая цивилизация.

Иными словами, «не наши» — это те, кто на каждой развилке истории, поглядев окрест себя, уязвившись либо успехами, либо бедами других народов, горделиво провозглашает, что они пойдут другим, особым путем: будут, например, биться за православную, «всеславянскую» теократию, или строить «первое в мире государство рабочих и крестьян», или на руинах нынешней безрыночной, недоиндустриализированной экономики воздвигать, как советует сейчас И. Шафаревич, да и не он один, некую, ни на что во всем белом свете не похожую «земледельческую» цивилизацию.

¹ Сожалею, что в разговоре о борьбе идей в современной литературе приходится упоминать и это имя. Но что делать, если именно «Нина Андреева» воспринимается ныне как эмблема определенных умонастроений в обществе?..

Это те, кто в ответ на призыв войти, вернуться в мировое сообщество, воспользоваться наконец опытом, что за столетия накоплен этим сообществом, говорит либо: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» (Ф. Тютчев), либо: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока» (В. Маяковский), либо наконец:

«...Мир не любит рутины, он презирает пошлое единообразие. От каждого народа, от каждого государства мир ждет оригинального, своеобразного мышления, в том числе и в культуре, и в государственном строительстве. Подражательство обрекает на отставание даже в экономике[1]. (...) Существуют способы производства, обусловленные национальными традициями, природно-климатическими и другими особенностями» (речь В. Белова на первой сессии Верховного Совета СССР).

Так вот, «не наши» — это те, кто приоритетными во всех без исключения случаях считает не интересы личности, каждого отдельно взятого человека, а интересы некоей надличной силы — будь то интересы церкви, государства, класса, партии, нации, коллектива, те, кто твердил и твердит: «Единица — ноль, единица — вздор...», те, кто самозабвенно доказывал и доказывает, что у нас, мол, вопреки всяким там «буржуазным индивидуалистам» по-прежнему должны быть «общие даже слезы из глаз...».

Это те, кто недоверчиво относится к возможностям правового регулирования, к законам и законности, полагая, что гораздо лучше, нравственнее судить людей либо «по совести», либо руководствуясь «революционным правосознанием».

Это те, кто психологически всегда находится внутри осажденной крепости, кто привык чувствовать себя живущим во враждебном окружении — будь оно иноверческим, империалистическим или, как сейчас, плюралистическим,— кто в конвергенции, в сближении образов жизни, мировоззрений и культур видит синоним позорной капитуляции, нечто вроде Брестского мира, кто всегда готов сражаться с чуждой (и обязательно чужеземного происхождения) идеологией — вплоть до нынешних, казалось бы, деидеологизированных «космополитизма» и «массовой культуры»,— кто готов пугать и пугаться хоть так:

Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
не будь рассеянней!
Будет:
под иогами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.
(В. Маяковский),

хоть так:

Я чувствую, что кто-то очень страшный
Опять стоит над русскою душой...
(Вад. Кузнецов),

или даже вот этак:

Иудейские ханы
Не добрее монгольских
(Вал. Сорокин).

Это те, кто за неимением лучших поводов готов, как и прежде, хвастаться даже нашей «нетривиальной» экономикой. Те, кто, как К. Раш, «главной, реальной надеждой народа» считает армию и только армию, а ее офицеров называет «людьми высочайшей духовности и главными в обществе носителями подлинной культуры». Те, кто, как М. Антонов, видит спасение не в технологической революции, не в раскрепощении интеллектуального потенциала общества, а в старозаветных артелях и артельности. Те, кто, как И. Шафаревич, не колеблется: «Единственно возможный выход — перейти от развития, основанного на постоянном росте, к стабильному стилю существования», словно бы позабыв, что «стабильности»-то мы с лихвой нахлебались в недавние десятилетия. Это те, кто, как В. Распутин, полагает, что сытость русскому человеку не по нутру и что материальное благополучие всенепременно лишит нас духовности...

Это те, словом, кому не указ ни пример всего человечества, ни единые, как можно уже, кажется, утверждать, закономерности развития мировой цивилизации, ни даже естественное желание наших соотечественников жить не хуже, чем за морем живут, почувствовать себя наконец-то не «богоносцами», не «авангардом всего прогрессивного человечества», но *нормальными* людьми *в нормальной* стране. Это те, кому непохожесть, отчужденность (сначала религиозная, затем идеологическая и теперь вот национально-культурная) нашей страны от всего человечества важнее — простите мне эту патетику — блага народного, то есть, если уйти от патетики, блага каждого конкретного и отдельно и вместе со всеми взятого человека. Это те, кто в ответ на предложение приглядеться все-таки к тому, как и чем во всем мире люди живут, высокомерно отмахивается:

«Но нам Бог послал другую историю, другую жизнь.

Наш мир — «Восток, Россия и Славянство» (К. Н. Леонтьев). Мы — дру-

¹ Не удержусь от комментария. Неужто Василий Иванович Белов и впрямь думает, что именно «подражательство» обрекло нашу нынешнюю экономику на отставание от всех на свете — не только уж от Японии, но и от Бразилии, и от Южной Кореи, и от Гонконга, «подражательства», как известно, не страшащихся и потому спокойно сопрягающих национальную специфичность с общими параметрами мирового производства?

гие. Нам незачем излишне «европейничать» или «американничать»...» (А. Фоменко. Служение или суета? — «Литературная Россия», 25 августа 1989 г.).

Я бы назвал их всех — от Нины Андреевой до Игоря Шафаревича, от Валентина Распутина до Карема Раша — *самобытниками*, присовокупив к этому, что соблазн российской исключительности, «особости» принес всем нам, я убежден, столько бед, как никакой другой.

Но тут необходимы, пожалуй, два важных уточнения.

Во-первых, что бы по этому поводу ни думали вдохновители «тройственного союза» и его волонтеры, я отнюдь не призываю к национально-культурной обезличке, к рабскому обезьянничанью (Василий Белов называет его чужебесием), к добровольной или помимовольной утрате всего того, что в неповторимые цвета окрашивает и наши предания, и нашу культуру, и наш национальный быт.

Жизнь действительно богата многообразием, щедра на оттенки, вариации, особенности, и не горе, а счастье человечества в том, что экономика Японии отлична от экономики Бельгии, государственное устройство Швейцарии не похоже на государственное устройство США, а культура Исландии развивается иначе, чем культура Испании. Все так, но... В чем отличие-то? Вот именно что *в оттенках*, а не в основе своей, ибо *в основе* народное хозяйство Японии и Бельгии принадлежит к одному социально-экономическому типу, государственное устройство Швейцарии и США зиждется на одном и том же фундаменте представительной, многопартийной демократии, гарантирует гражданам одни и те же в принципе права и свободы, а культура как Исландии, так и Испании идет от одного и того же исторического корня.

Скажут: так то все Запад, а мы, мол, «Восток, Россия и Славянство»! Не знаю, не знаю... Традиционное противопоставление Запада и Востока, а вместе с ним и термин «западничество» к последней четверти XX века, похоже, утратили всякий смысл, ибо «Запад» окружает нас ныне со всех сторон света: он и в стране Восходящего Солнца, и в стране Утренней Свежести, он и в Индии, и в Турции, и в Австралии, и в Египте. То же и с панславизмом, подпитывавшим в XIX веке славянофильские умонастроения: похоже, что сербские, словенские, польские, болгарские, чешские, словакские братья-славяне все больше тяготятся участью пристяжных в русско-советской упряжке и не в нас, отнюдь не в нас видят сегодня свою надежду и опору... так что, послушайся мы В. Белова и Ю. Лощица, И. Шафаревича и Д. Балашова, риск остаться в гордом одиночестве, то есть в изоляции, усилится стократ.

И второе уточнение.

Я еще раз напоминаю, что описанные выше настроения редко сходятся вместе, в пределах одной *личной* или *групповой* позиции, что есть разница — часто немалая — между стремлением в сражении со сталинистами — реанимировать понятие «социализма с человеческим лицом» и попытками некоторых нынешних авторов выработать в полемике с оголтелыми националистами концепцию «национализма с человеческим лицом». Милитаризованное, имперское самобытничество, характерное для К. Раша, *внешне*, в первом, что называется, предъявлении, мало походит на национал-большевизм Ан. Иванова и М. Антонова и уж тем более на рафинированные, отталкивающиеся от «Вех», от русской религиозной философии национал-возрожденческие идеи, допустим, А. Латыниной.

Тут спору нет, и я говорю о самобытничестве не как об *идеологии*, не как о некоей определившейся в своих очертаниях мировоззренческой общности, а как об *умонастроении*, как о тенденции, захватывающей и — поверх субъективных намерений — объединяющей в своем самодвижении даже тех, кто и поныне (своя своих не познаша?) все еще шарахается друг от друга и друг друга едко оспаривает.

Хотя...

Коготок увяз — всей птичке пропасть, силы взаимного притяжения с каждым новым днем все отчетливее берут верх над силами размежевания, и...

И вот уже ревнитель всего исконного, всего патриархального и домодельного В. Личутин — вослед безупречному и безоговорочному ортодоксу М. Синельникову — прочувствованной статьей откликается на новый роман трубадура Вооруженных Сил, НТР и атомной энергетики А. Проханова («Москва», 1989, № 4), а молодой теоретик «панславизма» А. Фоменко находит, что А. Проханов «полностью реабилитировал себя», пропев хвалу и славу «воинам-интернационалистам» и их «миссии» в Афганистане («Литературная Россия», 14 апреля 1989 г.).

И вот уже доктор философских наук Э. Володин свои рассуждения о бедах православной церкви, о расказачивании и раскулачивании, как о геноциде, имевшем целью истребить *именно русский* народ, прослаивает — вослед Н. Андреевой и Ан. Иванову — предупреждениями о том, что разоблачение культа личности Сталина в современных условиях «антипатриотично» и «антинародно», ибо оно-де перечеркивает «всю тридцатилетнюю трагическую и величественную одновременно историю страны и народа» («Литературная Россия», 25 августа 1989 г.)..

И вот уже недавние борцы за чистоту идеологических риз, за устои развитого социализма резво меняют сегодня устаревший «классовый подход» на импонирующий многим «национальный» и — вослед уже не вдохновителю «Краткого

курса», а недавнему же диссиденту И. Шафаревичу — обличают своих супротивников не в «антисоветизме» и «антикоммунизме», как бывало, а в «русофобии». (Или и в «антисоветизме» и «русофобии» одновременно, поскольку, как заявил в девятом номере «Военно-исторического журнала» К. Раш, «большевизм русский народ в лице своего же пролетариата принял как национальное дело».)

И вот уже, наконец, сам И. Шафаревич не только идеологически обосновывает бытовой антисемитизм, но и сожалеет, что нынешний православный мир не изъявил готовности откликнуться на публикацию «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца (Андрея Синявского) с такой же воинственной нетерпимостью, с какой «исламский мир» откликнулся на «Сатанинские стихи» Салмана Рушди.

Мы, русские патриоты,— горюет И. Шафаревич,—все мешкаем и мешкаем, все только собираемся, тогда как на зов аятоллы Хомейни «реальным ответом были грандиозные демонстрации, то, что в столкновениях с полицией сотни людей отдали свои жизни,— и в результате удалось добиться запрета книги во многих странах» («Литературная Россия», 8 сентября 1989 г.).

Что означают, спросим попутно, эти поистине удивительные слова члена-корреспондента АН СССР и лауреата Ленинской премии (так обычно — полным титулом — подписывает свои статьи не очень, кажется, вообще-то жалующий Ленина Игорь Шафаревич)?

Что перед нами?

Немыслимое, кощунственное для христианина (да и для атеиста, воспитанного в гуманистической традиции) представление о ценности человеческой жизни, когда на одну чашу весов бросается *роман*, каким бы он ни был, а на другую — *сотни трупов*, и эта плата за запрещение романа не кажется чудовищно несообразной?

Конечно.

Призыв перенести дискуссию о том, как можно и как нельзя истолковывать пушкинское наследие, на улицу, решить нравственно-интеллектуальную проблему посредством лозунгов и дубинок, то есть, если называть вещи своими именами, призыв к массовым беспорядкам, к вооруженному столкновению разномыслов, а возможно, и к кровопролитию?

Да, к несчастью, и это тоже, и недвусмысленной угрозой веет от фразы: «...наш-то ответ впереди»,— которой И. Шафаревич завершает сопоставление историй вокруг книг С. Рушди и А. Синявского. Но мне в данном случае хотелось указать не столько на моральный и правовой аспект высказываний И. Шафаревича, сколько на безбоязненность и прямоту, с какими этот автор вводит искания наших «заединщиков» в достойный их международный контекст, благодаря чему разговор о нынешних самобытниках и нынешнем самобытничестве сам собою перерастает в разговор

О ФУНДАМЕНТАЛИЗМЕ И ФУНДАМЕНТАЛИСТАХ

Мы действительно не одни в этом мире, и, размышляя о спектре причин, активизировавших «самобытнические» настроения в нашей литературе и в нашем обществе, действительно нельзя не принять во внимание и международный контекст, то прежде всего обстоятельство, что, по оценке культуролога Р. Гальцевой, «целый ряд стран Запада на рубеже 70-х годов вступил в фазу преобладания консервативных тенденций».

Мир — во всяком случае, в соотнесении с бурными шестидесятыми — и в самом деле заметно «поправел».

Радикалы, социалисты и социал-демократы почти всюду уступили политическую власть и идеологическое первенство консерваторам и христианским демократам. Молодежные движения, да и вообще любые движения социального протеста, резко пошли на убыль, зато усилился авторитет религий, церкви, разного рода конфессиональных ассоциаций как стабилизирующего духовно-социального фактора. «Р-р-революционный» утопизм во всех его формах потерял остатки какой бы то ни было привлекательности и встречает теперь все более и более осознанное неприятие. Экологические беды, неконтролируемая экспансия научно-технического прогресса вызвали закономерную тревогу в широких общественных кругах. Консервативность — как психологическая установка — стала популярной, вошла, что называется, в моду — и в интеллектуальную, и в поведенческую...

Так в быту:

пережив сексуальную революцию и шок, связанный со СПИДом, западное общество[1] круто развернулось в сторону пуританской морали, вернуло приоритет фундаментальным, то есть традицион-

[1] Еще раз напомню, что в силу процессов «вестернизации», как это называют социологи, «Запад» теперь почти всюду, и выражения «западное общество», «западная культура» впору воспринимать ныне едва ли не как синоним терминов «мировое сообщество», «современная цивилизация».

ным нравственным ценностям; в почете заново оказалось все то, что и у «нас», и у «них» было принято называть «буржуазными», «мещанскими» добродетелями; любознательность по отношению к разного рода моральной, умственной, поведенческой «экзотике» сменилась устойчивым культом дома, семьи, здорового образа жизни и вообще нормы...

Так и в сфере художественной практики:

буйство авангарда — с его вызывающе экспериментальной этикой и эстетикой — потеснено (хотя и не вытеснено) традиционализмом; на повестку дня в ряде стран встали задачи сбережения «островков» национально-культурной автономии; молодежные, классово-корпоративные субкультуры либо ушли на обочину, либо оказались интегрированными, вобранными в единое тело современного искусства...

Здесь нет ни времени, ни места для сколько-нибудь обстоятельного сопоставления нашего и чужедальнего опыта. Достаточно сказать, что аналогии тут напрашиваются вроде бы сами собою и что многое в идеях и идеалах, в практике современного консерватизма не может не пробудить живейший эмоциональный отклик у всякого нормального человека.

Тем более у советского человека, не понаслышке знающего и то, как губительны всякого рода эксперименты над обществом и личностью, и то, как близко мы подошли к краю экологической катастрофы, и то, как легко, упустив из виду духовные ориентиры, потерять почву под собою, и то, сколь худосочна и худородна культура, не питаемая живой водой традиции, утратившая чувство исторической преемственности.

Поэтому если действительно, как предлагает Ст. Куняев, «консерватизмом называть» только «защиту Байкала, наших северных рек, спасение исторических памятников, сохранение духовных, вечно живых традиций русской классики, нравственных традиций народа», то не один Ст. Куняев «со товарищи» (как ему и им кажется), но и все «мы останемся «консерваторами» и даже будем гордиться этим» («Правда», 20 октября 1989 г.). Консервативный импульс, охранительные эмоции, понятые — вослед, например, австрийскому теоретику Э. Бузеку — только как «постоянное напоминание о границах и опасностях прогресса и о существовании вневременных ценностей», разлиты сегодня, что называется, в воздухе, так что акцент только на них не может служить критерием мировоззренческого, конфронтационного разграничения и проблемы тут никакой нет.

Проблема, как и в случае с национальным самосознанием, состоит в другом — в том особенном ее расе, повороте, векторе развития консервативного чувства, при котором оно, гиперконцентрируясь, перерождается в самоценную охранительную идею.

И тогда оказывается, что очень даже привлекательный поначалу разговор о необходимости «снова собирать и созидать семью как единственную нашу надежду» есть на поверку всего лишь отправной пункт для рассуждений о пользительности ничем не ограниченного и никем не контролируемого единоначалия, мудрой «отцовской» власти в государстве («Без отца нет семьи, как нет бригады без бригадира, артели без вожака, корабля без капитана, части без начальника, дома без хозяина, государства без главы. А без уважения к отцу не будет послушания перед командиром, почтения перед начальником, уважения к главе государства».— К. Раш, «Молодая гвардия», 1989, № 10).

И тогда естественная, оправданная встревоженность демографической ситуацией в России становится поводом для сочувственного рассказа о том, что не зря же, мол, «на некоторых «несанкционированных» митингах употреблялся термин «инородцы» и русских призывали воздерживаться от смешанных браков, заботясь о сохранении своей нации» (И. Шафаревич, «Знания — народу», 1989, № 8).

И тогда стремление воспламенить соотечественников религиозным чувством, призвать их к духовному преображению (то есть к акту глубоко индивидуальному, сокровенно интимному) влечет за собою проекты один другого диковиннее — вплоть до предложения откупить у государства нынешний бассейн «Москва» и, предварительно освятив, превратить его во всенародную православную купель[1].

И тогда от неприятия иной точки зрения до приглашения к «охоте на ведьм» остается рукой подать. Столкнувшись с малейшим проявлением не то что несогласия, но даже и безразличия к своим лозунгам, «просвещенный консерватизм» (а именно его пропагандировал Ст. Куняев в октябрьском интервью газете «Правда», именно его теоретическим обеспечением заняты сейчас «интеллектуалы-младороссы» — от П. Паламарчука до П. Горелова, от А. Фоменко до И. Дудинского),— так вот в этой ситуации «просвещенный консерватизм» вмиг теряет и свою респектабельность, и свою просвещенность.

В ход идут самые оскорбительные для оппонентов выражения и предположения. Голос возвышается до заполошного крика. Что же касается действительности, то она рисуется исключительно апокалипсическими красками. Например, вот так:

«За последние 70 лет наибольший урон понес русский народ, и это теперь уже никем не оспаривается. Если называть вещи своими именами, то наш народ потерпел историческое поражение и находится теперь на грани генетического, нравственного, а теперь уже и численного вырождения с явными признаками потери государственности и своей территории. Достаточно напомнить о насильственной ликвидации только в последние десятилетия сотен тысяч русских деревень, так что в памяти встает судьба американских индейцев, загнанных в резервации» («Литературная Россия», 9 июня 1989 г.).

...Знаю людей, воодушевляющих себя и этими картинами, и этими фантастическими проектами спасения святой Руси. Наблюдал — обычно на писательских собраниях в Москве, на пленумах и секретариатах правления СП РСФСР — за теми, кто, похоже, испытывает нечто вроде мазохистского экстаза, когда при нем (или на нем) рвут рубаху до пупа, раздирают гноящиеся язвы, когда проклинают и заклинают, стращают нечистой (то есть, конечно же, «вненациональной», «некорневой», «русофобской») силой...

Но гораздо чаще встречаю тех, кто, не соблазняясь ни кличами, ни проектами сегодняшних заединщиков-консерваторов, все еще надеется найти в их высказываниях здравую и здоровую основу, отделить, как говорится, злаки от плевел. До сих пор нет-нет да и увидишь в печати рассуждения о том, что и «Память», дескать, не так уж однозначна и что надо, мол, не обращая внимания на «отдельные» экстремистские лозунги, вообще-то поддержать благородный патриотический порыв как таковой. Или еще один вариант — что не следует «огульно» перечеркивать все, что связано в нашей жизни с идеологией сталинизма и практикой сталинщины: в них тоже-де при ближайшем рассмотрении можно обнаружить нечто фундаментальное, отвечающее национальным чаяниям великороссов и, значит, заслуживающее воскрешения...

Так вот. Я обращаюсь именно к этим литераторам, к этим читателям; возможно, говорю я, грядущему историку действительно удастся все расставить по своим местам, отделить «просвещенный» консерватизм от того, какой только прикидывается «просвещенным», воздать должное каждой идее из той суммы, что составляет идеологию «тройственного союза». Мне же, современнику «страшных лет России», это не удается, ибо при всей, казалось бы, эклектичности этой идеологии перед нами отнюдь не механическое соединение компонентов, где накипь, пену «отдельных» лозунгов, фраз, эмоций легко снять шумовкой.

Перед нами — будем смотреть правде в глаза — химическая (хочется сказать — гремучая) смесь, где все связано со всем, где одно не отделяется от другого, так что, например, призыв крепить семью, заботиться о повышении деторождаемости с непременностью — именно в этой системе координат! — влечет за собой призыв воздерживаться от смешанных браков, святое патриотическое чувство осознается как проявление «имперской идеи», а мысль о целебности религиозного воспитания и просвещения приходит к читателю в одном «пакете» с мыслью об оздоровлении современной армии:

«Путь к возрождению воинского духа, к нравственному совершенствованию и очищению Вооруженных Сил,— соловьем заливается «интеллектуал-консерватор» (так он сам себя называет) Игорь Дудинский,— лежит через сближение с Церковью. Необходимо допустить священнослужителей в части и подразделения, создать институт армейских священников. Если в ближайшем будущем удастся наладить союз Армии с Церковью, создать некий Военно-Церковный Комплекс — Держава обретет подлинное величие. Для начала следовало бы пойти на эксперимент, сформировав дивизию (или хотя бы полк) из верующих молодых людей (как бы гордо звучало — Первый Православный Полк!»...

Так то, скажут, Игорь Дудинский, то Карем Раш, то Игорь Шафаревич!.. Они, похоже, фанатики, экстремисты, а какой же спрос с экстремистов? Не все же ведь сторонники идеи особым, консервативным образом спасти Россию таковы?

Верно, не все, и отношения к себе они поэтому заслуживают, безусловно, разного. Но... никуда не денешься от ощущения, что в сегодняшнем контексте различие между разного рода ревнителями исключительности и «особости» — не в уровне «просвещенности», не в разности ориентиров и путей, а в степени, как сейчас выражаются, «продвинутости» по общему для всех них пути. В том, иными словами, что одни додумывают свою заветную мысль до упора, до стадии практических рекомендаций и попытки воплотить эти рекомендации в жизнь, а другие эту же мысль удерживают на полдороге, в рамках либо культуры, либо кабинетного умствования...

И выясняется, если действительно додумывать до конца, что похожесть наших «интеллектуалов-консерваторов» на «западных» сугубо внешняя, что аналогом здесь может служить не восходящая линия консервативной тенденции, а линия, ей по сути противостоящая и, мне кажется, исторически нисходящая.

Какая же?

И. Шафаревич — своим, если помните, сопоставлением историй с книгами С. Рушди и А. Синявского — отважно подсказывает: исламский фундаментализм,— и эта подсказка и в самом деле не лишена оснований, хотя говорить здесь нужно, конечно, всего лишь о типологической сближенности, о параллелизме и, может быть, внутреннем родстве, но никак не о полном тождестве.

[1] Читатель, еще не забывший, как — скопом — загоняли молодых людей, например, в комсомол, легко, я думаю, вообразит себе и эту картину массового — тысячами, должно быть,— крещения. А там, глядишь, дойдет и до того, что дружинники начнут проверять у прохожих наличие нательных крестиков.

«КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?..»

Я далек от предположения, будто все без исключения или пусть даже многие наши отечественные фундаменталисты (они же «заединщики», они же «самобытники», они же «просвещенные консерваторы») сознательно сориентированы на исламский пример и опыт иранской перестройки, иранского религиозно-государственного, национально-культурного возрождения. Более того, я убежден, что от родства, подсказанного здесь не столько в оценочных, сколько в эвристических, поисковых целях, с негодованием открестятся практически все мои оппоненты: одни — по религиозным мотивам, другие — в силу идеологических амбиций, третьи — по соображениям морали.

Видит бог, мне и самому претит эффектность этой аналогии, но дело не в эффектах, а в истине: мы действительно не одни во вселенной, так что...

Так что, боюсь, на особость, на исключительность именно «русского ответа» нам и тут рассчитывать не приходится. Ставя в один гипотетический ряд события, перевернувшие жизнь в странах, охваченных исламской революцией, и идеи (пока только идеи!), завладевшие умами публицистов «тройственного союза» и их единомышленников, видишь, что перед нами, конечно, в каждом отдельном случае специфичная, но в основе своей единая для нуждающихся в радикальной перестройке обществ реакция как на недавнее (постыдное) прошлое, так и на вероятное (пугающее) будущее.

С недавним прошлым все более или менее ясно, и незачем в полемическом запале преуменьшать усилия многих (хотя, конечно, далеко не всех[1]) нынешних «заединщиков» по демонтажу обветшавшей идеологической догматики, по выработке в обществе негативного отношения к теории и практике командно-бюрократического социализма.

Будем справедливы: они даже громче, может быть, многих прочих били в рельсу: «Горит, горит моя деревня, горит вся родина моя...»,— и называть их безо всякого разбора «врагами перестройки», на мой взгляд, нельзя.

Они — еще и еще раз повторю для ясности — за то, чтобы стране и народу жилось лучше.

Они — за необходимость перестройки. Но только... не за ту перестройку, которая разворачивается под знаменами демократизации, гласности, сближения с мировым сообществом...

Наши фундаменталисты — против именно такой перестройки, и всевозрастающая взвинченность их тона, все большая аффектированность их оценок ситуации (мы сейчас, мол, чуть ли не под Сталинградом; ни шагу дальше; мы — на грани катастрофы и т. п.), а также все усиливающаяся агрессивность их социальных обещаний и пророчеств объясняются, я думаю, в первую очередь тем, что именно такая, внутренне им чуждая и мучительно их страшащая перестройка — плохо ли, хорошо ли — все-таки продолжается, и в общественном сознании все глубже, все прочнее укореняются идеи правового государства, рыночной экономики, представительного народовластия, свободы совести и слова, «открытого», «гражданского» общества, плюрализма не только мнений, но и организаций, личной независимости, суверенности и защищенности человека как от произвола «начальства», так и от диктата правящей идеологии или, допустим, правящего вероисповедания...

Естествен вопрос: какою же они, наши фундаменталисты, хотели бы видеть перестройку? Или лучше так сформулируем вопрос: каким рисуется чаемое ими будущее страны и народа?

Ответ найти нелегко, так как идеологи и публицисты «тройственного союза» больше заняты персональными делами супостатов-«перестройщиков», чем изложением сколько-нибудь систематизированной положительной программы. Что же касается лихо выбрасываемых на хоругви и штандарты фраз типа: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» или «Русские всех стран, соединяйтесь!» — то в них особый, то есть различительный смысл при всем желании не обнаруживается, ибо, простите, не только «заединщикам», но и всем нам нужна великая Россия, ибо, виноват, не только «заединщики», но и все мы горой стоим за воссоединение разбросанных судьбою по белу свету соотечественников...

Словом, приходится собирать ответ буквально по кусочкам, по фразам, да и то в конечном итоге получаешь скорее реестр эмоций и намерений, движущих мотивов.

Ну хорошо, пусть так. Но что же это все-таки за намерения? Что движет нашими фундаменталистами — вне зависимости от того, что они держат на груди: партийный билет или православный крестик?

Прежде всего ими движет, конечно, ощущение, что и во всех исторических бедах страны и народа, и в нынешнем плачевном их состоянии повинны либо внешние обстоятельства, либо некая чужеродная и чужекровная России и русским сила. Имя этих обстоятельств, этой силы у разных авторов само собою

[1] И об этом тоже полезно помнить, так как представляющие (или представляемые) ныне едва ли не «близнецами-братьями» И. Шафаревич и П. Проскурин, М. Лобанов и Ф. Кузнецов еще совсем недавно и вели себя по-разному, и отстаивали разное, и вознаграждались тоже по-разному: одни — хулою, а другие — похвалою, застойным звездопадом почестей, должностей, чиновной ласки.

варьируется, но... Хоть режьте, я, ей-богу, не могу усмотреть расхождений по существу между, допустим, рассуждениями борца за идеологическую «самость» публициста Ю. Жукова:

«Да, мы жили бы куда лучше, если бы не те беды и трагедии, которые выпали на нашу долю. Восьмой десяток лет живем на отвоеванной у капитализма земле, но не было еще ни одного года передышки, когда мы могли бы спокойно перевести дух» («Правда», 6 октября 1989 г.),— и, предположим, горестными догадками защитника национально-культурной «самости», писателя В. Астафьева:

«История России состоит из такой длинной цепи ужасающих трагедий, что невольно задаешься вопросом: не стоит ли за этим чей-то зловещий умысел» (цит. по: «Московские новости», 29 октября 1989 г.).

Равным образом нет, на мой взгляд, принципиальной разницы между намеками на то, что это, мол, евреи и вообще инородцы подвели страну к революции, гражданской войне, массовому террору, то есть помешали нам мирно идти по столыпинскому, скажем, пути, и рассуждениями о том, что русскому человеку и сейчас жилось бы совсем не плохо, кабы он не «позволил, по своему доброму характеру, сесть на свою шею «интернационалистам», а точнее — выродкам без роду и племени» («Литературная Россия», 27 октября 1989 г.), кабы не вынужден он был содержать за свой счет прибалтийских, закавказских, молдавских и прочих «нахлебников».

И разговоры о кознях западных спецслужб, и анкетирование членов первого Совнаркома «по пятому пункту», и нынешние статистические претензии народам союзных республик — от одного корня. И вывод тоже один: все у нас будет хорошо — если только удастся действительно закрыть границу на замок, законопатить не только «окно в Европу», но и щели, добиться не только социальной, но и национальной однородности российского народонаселения. Высказанное В. Распутиным на Съезде народных депутатов предложение о добровольном выходе Российской Федерации из состава СССР, конечно же, шутка; но только ли шутка?..

Во всяком случае, ничто, пожалуй, так не тревожит сегодня публицистов «тройственного союза», как призрак (пока действительно всего лишь призрак) грядущей — вместе с перестройкой, вместе с новым мышлением — социально-политической экономической, правовой, информационной, культурной открытости нашей страны и нашего общества. О чем бы речь ни заходила — о гастролях западных рок-звезд или о совместных предприятиях, о свободе распространения информации или о необходимости придерживаться международных юридических норм,— приговор у наших фундаменталистов всегда один и только один: закрыть, остановить, пресечь, взять под неусыпный контроль, то есть — в идеале и в перспективе — добровольно отъединиться от окружающего («нечестивого», «погрязшего в скверне и сытости») человечества, уйти в национальную самоизоляцию.

И снился мне кондовый сон России,
Что мы живем на острове одни.
Души иной не занесут стихии,
Однообразно пролетают дни.

Качнет потомок буйной головою,
Подымет очи — дерево растет!
Чтоб не мешало, выдернет с горою,
За море кинет — и опять уснет.

(Ю. Кузнецов)

Я не знаю, чем мы, граждане, займемся и как жить будем, если изоляционистские идеи возьмут вдруг верх в сегодняшней смуте,— публицисты «тройственного союза», напомню, уклоняются от предъявления чертежей и смет, а беллетристам-футурологам, рисующим восторжествование фундаменталистской грезы (см., например, готовящийся, кажется, к публикации в СССР роман «Москва 2042» В. Войновича или уже опубликованную в шестом номере журнала «Искусство кино» за прошлый год повесть «Невозвращенец» А. Кабакова), верить все-таки не хочется...

Так вот, я не знаю, какое будущее может быть нам уготовано. Но я вижу, что именно к этой — центральной — идее подтягиваются решительно все эмоции, соображения и предположения отечественных «хомейнистов»:

— и постоянное, болезненное самовозбуждение «имперской мечтой», воспоминаниями о былом, легендарном величии именно своей нации и именно своего государства или, например, утверждениями о том, что прибалтийские народы не вправе надеяться на суверенитет, ибо — слушайте, слушайте! — «Россия не может лишиться своих земель, приобретенных в кровопролитной борьбе в течение почти семисот лет, сначала с Тевтонским Орденом и далее в войнах с Ливонией, Швецией и отчасти с всегда враждебной Речью Посполитой за геополитический выход в балтийские воды» («Литературная Россия», 27 октября 1989 г.);

— и убеждение, что от пагубного «европейничанья» и «американничанья» нас может спасти только сильная «вера отцов» (в случае И. Шафаревича — это, безусловно, православие; в случае Н. Андреевой — вероятно, сталинизм) вкупе с сильной же армией;

— и надежда на то, что можно повернуть время вспять, реставрировать давно ушедшие в предание бытовой и хозяйственный уклады, формы государственного устройства, культурно-психологические стандарты «доленинской», а в идеале и «допетровской» поры;

— и стремление превратить церковь в

фактор не столько духовной, сколько государственной, светской жизни;

— и готовность, сопротивляясь власти как бюрократии, так и закона, самозабвенно склониться не перед свободным волеизъявлением народа, а перед властью авторитета, то есть властью аятоллы, харизматического, богоизбранного лидера, «отца» или «отцов» нации;

— и мнение, согласно которому «перестроечный» плюрализм рано или поздно уступит место «неколебимому морально-политическому единству», ибо, как заявляет философ Э. Володин, «политическая дифференциация общества — образование всевозможных союзов, блоков и фронтов — симптом его нездорового положения» («Литературная Россия», 27 октября 1989 г.);

— и неприятие вообще всякой, любой дифференцированности, постоянная возгонка и без того прочно укорененных в массовом сознании «уравнительных» настроений, когда кажется: лучше всех оставить одинаково бедными, одинаково больными или одинаково полуграмотными, чем допустить хоть какое-либо «неравенство»;

— и представление о том, что есть в мире ценности выше общечеловеческих («Имперская идея. Это единственное, что выше всех общечеловеческих ценностей»,— задумчиво роняет И. Дудинский; «русский человек — государственник по природе»,— солидно подтверждает А. Фоменко), что личная свобода нашим согражданам ни к чему, только во вред она будет и им и миру, ибо, как пишет В. Кожинов, «идея свободы являет собой сегодня нечто идиллическое, несовместимое, скажем, с очевидной опасностью глобального экологического катаклизма» («Литературная газета», 1 января 1989 г.)...[1]

Ну, и так далее, и так далее, и так далее...

Как видим, всем нам, если говорить суммарно, клин «идеологического первородства» предлагают вышибить клином «национальной самобытности», или, иными словами, предлагают страну из тупика, в который ее уже завел один «особый путь», перевести не на торную дорогу, которой давно уже идет человечество, а на путь иной, опять-таки «особый».

Вот и спросим самих себя: согласуется ли приведенный выше реестр намерений с целями, ориентирами, практическими задачами сегодняшней перестройки?

И... удержимся от ответа — хотя бы потому, что вопрос у нас, похоже, получился риторическим...

Спросим лучше о другом. Согласуются ли принципы домодельного «просвещенного консерватизма» с той консервативной тенденцией, которая действительно возобладала в современном мире и на родство с которой так любят при случае кивнуть наши «заединщики»?

Сопоставим-ка, поглядим уже под занавес: что охраняют «у них» и что пытаются охранять «у нас».

«Ихние» консерваторы горою стоят, например, за сохранение «открытого», «информационного» общества — «наших» же, похоже, огорчает даже нынешняя гласность, от которой, что греха таить, далековато и до свободы слова в одной, отдельно взятой стране и тем более до свободного обмена информацией в международном масштабе.

«Ихние» всерьез обдумывают проекты создания общеевропейского правительства, ни за что не откажутся от практики международного разделения труда, от деятельного участия своей страны в общемировом экономическом сотрудничестве — «наши» же явно страшатся даже и слабого намека на возможность такого сотрудничества, видят в нем угрозу державной независимости, запугивают и себя и честной народ жупелом «империализма», который будто бы тут же превратит Советский Союз в свою колонию, в сырьевой придаток то ли Штатов, то ли ЕЭС, то ли Японии.

«Ихний» консерватизм защищает от «левых» принципы свободной инициативы, конкуренции, частного предпринимательства и частной собственности — «наш» ощетинивается даже при виде первых советских кооператоров, рисует раздирающие душу картины того, к чему может привести свободная соревновательность сил, идей, талантов, психологических установок, общественных организаций и производственных коллективов.

«Ихний» консерватизм, произрастая, как отмечают исследователи, из классического либерализма, исключает какое-либо нарушение суверенитета личности, какое-либо ее подчинение интересам сословия, класса, нации, государства, веры — «наш» же, произрастая из столь же классического тоталитаризма, напротив, хлопочет об ужесточении контроля над умами и душами, лишь вывески меняя в определении того, кому на этот раз должен служить, чему в данный исторический момент должен подчиниться советский человек...

Эти соотносительные пары можно было бы и дальше выстраивать, но надо ли?.. И без того, надеюсь, уже видна *ирония* идеологических процессов и пропагандистской терминологии, состоящая в том, что «наши» консерваторы пытаются предохранить, уберечь общество именно от того, без чего «их» консерваторы жизни себе не мыслят. Понятия «правизны» и «левизны», пересекая государственную границу, меняются, как в контрдансе, местами и ролями, так что действительно трудно не улыбнуться: «Правая, левая где сторона?» — отметив, как тесно смыкаются идеи сегодняшних советских «леваков», «радикалов» и «авангардистов»

[1] Может быть, действительно права русская поговорка, и действительно в огороде — бузина, а в Киеве — дядька?

с идеями «западных» консерваторов и насколько несовместим с ними комплекс лозунгов и настроений сегодняшних советских фундаменталистов.

Это во-первых. А во-вторых...

Доказывая в интервью газете «Правда» (20 октября 1989 г.), что «просвещенный консерватизм — неотъемлемая и необходимая часть всех демократий», Станислав Куняев заявил: «...Без просвещенного консерватизма общество будет напоминать автомобиль без тормозов»,— и с ним нельзя не согласиться — либо в теории, либо применительно к практике «западных» демократий, где механизмы принятия ответственных, или, как у нас выражаются, судьбоносных, решений настолько отлажены и баланс интересов соблюдается столь строго, что обществу, государству уже не грозит опасность, сделав один неверный или пусть даже просто неосторожный шаг, незаметно для себя соскользнуть в пучину потрясений — хоть социальных, хоть национальных.

Честное слово, я надеюсь, что и мы когда-нибудь увидим небо в алмазах, вздохнем наконец свободно и спокойно: писатели займутся художеством, словотворчеством, читатели — чтением, а политические деятели — выработкой взвешенных, сбалансированных решений в условиях консенсуса, взаимодополняющего, взаимокорректирующего и взаимосогласованного *сотрудничества* «правых» с «левыми», «консерваторов» с «радикалами», «утопистов» с «прагматиками».

Но это, увы, пока лишь мечта, идеал, к которому должно стремиться.

Есть и реальность.

Та реальность, где ситуация настолько же не походит *пока* на общемировую, насколько «западный» консерватизм не походит на отечественный и насколько консервативный девиз «кров и почва» отличен от фундаменталистского лозунга «кровь и почва».

Та реальность, где после некоторого замешательства будто грибы начали расти «неформальные» организации вроде «Единства», «Отечества», «Возрождения», «Содружества», «Обновления», «Товарищества русских художников», Объединенного совета России и Объединенного фронта трудящихся, где к «правым» (нашим, понятно, «правым»), словно по команде, стали один за другим переходить все новые и новые органы печати...

Та реальность, где, по характеристике заместителя Председателя Совета Министров СССР, академика Л. И. Абалкина, «нарастающие трудности, ностальгия по прошлому» *уже* «привели к формированию правоконсервативного блока общественных сил», и «этот блок набирает силу и представляет собой весьма серьезную угрозу перестройке» («Аргументы и факты», 14—20 октября 1989 г.).

Та реальность, где действительно, по слову поэта, «и так всё держится едва, на ниточке висит, цепляется, вот рухнет...» и где не только осознанная воля большинства народонаселения, но и случайное стечение обстоятельств может определить будущее страны на долгие, долгие годы...

Возможно ли, нравственно ли, патриотично ли, спрошу, в условиях этой реальности прятаться «в красивые уюты», убаюкивать себя словами о «консолидации» и «соборности», высокомерно отворачиваться: «Чума на оба ваши дома!» или вяло соглашаться с этими и теми, брать что-то «у Шафаревича», что-то «у Сахарова», что-то из листовок «Памяти», что-то из программы межрегиональной депутатской группы?

Время слишком серьезно.

Выбор слишком ответствен — не менее, может быть, ответственен, чем в Октябре Семнадцатого, когда судьба России, всего нашего многонационального Отечества решилась едва ли не на столетие.

В обществе идет мучительная, болезненная, трудная, но необходимая всем нам борьба идей.

И спорят не писатели, не публицисты, не парламентарии.

Спорят две России, и каждый — писательский ли, читательский ли — голос в этом споре не лишний.

Будем же помнить:

Громада двинулась и рассекает волны...

Будем же — и каждый в отдельности, наедине со своей совестью, и все вместе — решать:

Куда ж нам плыть?..

Возвращение традиции: символика Ростроповича

Образованное русское общество нынче литературоцентрично. Особенно это заметно при взгляде со стороны. Скажем, в Америке любой стоящий исполнитель классической музыки без труда собирает тысячную и более аудиторию. И это не только в Нью-Йорке, где я живу и где в иные дни случается по тридцать—сорок таких концертов. Нет, исполнитель Баха, Шопена и Чайковского найдет радушный прием в американских городах, что эквивалентны советским райцентрам.

Конечно, в Москве, Ленинграде (и, быть может, еще в дюжине больших городов) на выступления значительных музыкантов билетов не достать. Но ведь интеллигенция рассеяна по всей стране, от моря и до моря, и книги-то она покупает всюду. С музыкой дело обстоит не так. И сейчас, когда так охотно взывают к традиции, из разговоров почти полностью исключают так называемую серьезную музыку, хотя именно там традиция, счастливо защищенная частоколом нотных значков, практически не прерывалась.

Виолончелист, дирижер, композитор Мстислав Ростропович — живая, ходячая традиция. В каком-то смысле он, несмотря на всю свою исключительность, типичен для российской интеллигенции. Весь путь его — от мальчишки, взбиравшегося на эстраду с казенной виолончелью, на которой голубой несмываемой краской был выведен ее инвентарный номер, до одного из лидеров современного артистического мира — репрезентативен, если употребить социологический термин.

Разумеется, Росторопович гениально одарен. Но это одно еще не включает музыканта в традицию. Требуются также этические ориентиры, невероятные интуиция, упорство и — преданность учителям.

С учителями Ростроповичу повезло — вероятно, именно потому, что он так нуждался в них и по-настоящему искал их поддержки и совета. На мой взгляд, наставников — в большом, жизненном значении этого слова — у Ростроповича было четверо: Прокофьев, Шостакович, Бриттен, Солженицын. Все они ценили в Ростроповиче великого музыканта. Композиторы сочиняли специально для него свои произведения. Солженицын обещал написать о Ростроповиче книгу. И, быть может, еще напишет...

Чередование и связь этих четырех имен, как мне представляется, неслучайны. С композиторами Ростропович тесно сотрудничал, и они, особенно великий английский композитор Бенджамин Бриттен, обогатили и расширили его музыкантское мировоззрение. И не только! Эти композиторы также во многом сформировали его гражданскую позицию.

Но решающий толчок гражданской судьбе Ростроповича очевиднейшим образом был дан Солженицыным. Именно через дружбу с писателем многое, что иначе осталось бы чисто музыкантским, цеховым (как это и случилось с некоторыми из выдающихся коллег Ростроповича), трансформировалось в соображения и поступки, сделавшие музыканта фигурой символической в общенациональном масштабе.

Об общении с Солженицыным Ростропович предпочитает не распространяться; это процесс продолжающийся, а потому интимный. Зато одним погожим нью-йоркским деньком мы с Ростроповичем сели поговорить о тех его учителях, которых уже нет с нами,— о Прокофьеве, Шостаковиче, Бриттене.

Волков. Вы были крестным отцом виолончельных произведений Сергея Сергеевича Прокофьева. Потом дирижировали его оперой «Война и мир», симфониями. Вам помогает то, что вы дружили с Прокофьевым?

Ростропович. Я знаю его метод работы, метод сочинения. Как Прокофьев сочинял, что он в это время думал. Как он оценивал оркестровые инструменты. В нем была масса юмора. Он над инструментами иногда просто подсмеивался. Никогда не забуду, как Прокофьев рассказывал мне о второй трубе, которая в его Симфонии-концерте играет одну низкую бубнящую ноту. Я пытался показать Прокофьеву свою эрудицию: «Не слишком ли это низко в быстром темпе?» Он ответил: «Да что вы! Вы ничего не понимаете! Вы не представляете, какой трубач будет сидеть красный во время игры! Как он будет надуваться!»

Волков. Вы ведь помогали Прокофьеву в работе?

Ростропович. Да. Расшифровывал ему кое-какие партитуры. Расскажу смешной случай. Прокофьев хотел заставить меня написать некоторые пассажи виолончели в его Симфонии-концерте. Я был страшно занят несколько дней. Прокофьев возмутился и говорит в гневе: «Молодой человек, вы не обладаете даже талантом Брамса! Брамс произвел массу тетрадок упражнений для рояля, а вы мне не можете всего шестнадцать тактов написать». Я несколько обалдел и подумал про себя: как это я еще на свете живу, если у меня всего-навсего нет брамсовского таланта. Это у Прокофьева называлось — обидел. В другой раз он заставил меня кое-что стирать в его рукописи. Ноты стояли у него на пианино, я сидел и резинкой стирал. Закончил, сказал, что теперь все в порядке, и ушел. Вдруг Прокофьев звонит мне домой: «Я не могу играть на рояле! Вы своими стружками от стирания забили мне всю клавиатуру!»

Волков. Когда балетмейстеру Большого театра Леониду Лавровскому нужно было вытянуть из Прокофьева цыганский кусок для «Сказа о каменном цветке», он повез с собой к нему на дачу пианиста. Пианист стал наигрывать всяческую цыганщину. Сергей Сергеевич пришел в ужас: «Затворите окна! Я не могу допустить, чтобы такие звуки неслись с дачи Прокофьева!» Он очень был строг к подобным напевам. А вот Дмитрий Дмитриевич Шостакович, наоборот, весьма терпимо к ним относился. У него был особый интерес к блатным и полублатным песням.

Ростропович. Да-да. На одной штуке он торчал массу времени, на знаменитой когда-то «Серенаде» Брага. Он ее обработал для двух голосов. Все никак не мог успокоиться, приговаривал с сарказмом таким: «Вот наконец-то я сделал «Серенаду» Брага!»

Волков. А вам цыганские романсы нравятся?

Ростропович. Хорошо яичко к светлому праздничку. Если тебе страшно грустно, а ты выпьешь рюмку водки и послушаешь цыганский романс — что может быть лучше? Ничего. Музыка разная бывает. Нельзя заставить всех слушать одно и то же. Вы знаете, я об этом еще в 1948 году думал, когда вышло постановление о борьбе с формализмом. Я подумал тогда — ну, кто составил это постановление? Ведь это люди писали — может быть, десять человек, может быть — пять. А может быть, один Сталин. Ну, не нравится ему музыка Прокофьева и Шостаковича. И как было бы мило, если бы Сталин сказал: «Пожалуйста, напишите что-нибудь такое, что и мне лично тоже подойдет».

Волков. Разнились ли Прокофьев и Шостакович чисто по-человечески?

Ростропович. Виолончелист Березовский впервые показывал концерт Прокофьева, дирижировал Мелик-Пашаев. Полный провал. Когда Прокофьев вошел в артистическую, Мелик-Пашаев спросил: «Ну как, Сергей Сергеевич?» Прокофьев улыбнулся и отвечает: «Хуже не бывает!» Но улыбнулся с полным оптимизмом.

Волков. А как вел себя Шостакович в подобных ситуациях?

Ростропович. Всегда все хвалил: «Блестяще, блестяще». И только если он ценил человека как большого музыканта, тогда он мог позволить себе критику. Шостакович мне всегда повторял: «Ну зачем, зачем такого-то критиковать, если он не может сделать лучше?» Иногда меня это поражало. Исполнение или сочинение из рук вон плохое, а Шостакович встает и говорит: «Блестяще, блестяще». Если Шостакович дружил с человеком, любил его, тогда он мог ошарашить совершенно неожиданными суждениями, очень для него сокровенными. Но вообще был очень скрытен, очень осторожен.

Волков. А кто из двух был, по-вашему, более национален по своему характеру — Прокофьев или Шостакович?

Ростропович. Я вам сейчас расскажу такую историю. Раз я вез Шостаковича на своей машине в Горький. Отъехали мы от Москвы 400 километров. Идет страшный дождь. Смотрю, бензин стоит на нуле. Но я знал, что в багажнике лежат канистры с бензином. Затормозил и в этот момент почти потерял сознание от ужаса: обнаружил, что ключ от бензобака (а бензобак моей машины закрывался на ключ) я забыл у своего шофера в Москве. Растерялся настолько, что говорю: «Катастрофа, Дмитрий Дмитриевич, катастрофа!» Шостакович человек страшно нервный, прямо-таки подскочил в машине: «Что такое, что такое?» Я ему: «Дмитрий Дмитриевич, ситуация такая: бензин на нуле, бензобак закрыт, а ключ от него у шофера в Москве».

Шостакович говорит: «Слава, Слава, что же делать?» Выскочил, нервный, из машины и стал вокруг нее бегать. А дождь хлобыстает! Я смотрю: на бензобаке торчит пробка, красивая такая, никелированная. Немецкая. Огляделся, вижу в кювете здоровенную металлическую палку. Схватил ее и стал с остервенением лупить по этой немецкой пробке. Ну, конечно, один раз по пробке — три-четыре раза по машине. А Шостакович бегает вокруг и приговаривает: «Молодец, Слава, молодец! Все, что сделал немец — русский сокрушит! Все, что сделал немец — русский сокрушит!» Это мне столько силы придавало! Я жарил с необыкновенным темпераментом! Наконец пробка эта улетела так далеко... Я влил бензину, и мы доехали до Горького.

Волков. А национальное в их музыке?

Ростропович. Я считаю, оба они очень национальные композиторы, очень русские. Хотя в музыке Шостаковича больше западных влияний, чем у Прокофьева. Скажем, влияние симфоний Густава Малера, которого Шостакович обожал. Прокофьев совершенно этого не понимал, он сам мне об этом говорил... Но трагизм симфоний Шостаковича... Когда я вижу, как слушают — со слезами на глазах — симфонии Шостаковича, то понимаю, что, быть может, Шостакович самый русский композитор советского периода. Я не считаю, что музыка Прокофьева характерна именно для советского периода, она не об этом. Прокофьев пришел из другого мира, из мира Дягилева... Из мира игры...

Волков. Вы дирижировали и оперой Прокофьева «Война и мир», и оперой Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Оба эти сочинения существуют в разных авторских редакциях, разных вариантах. Какой из них можно считать окончательным?

Ростропович. В последние прокофьевские годы я жил у него дома, на Николиной Горе. И Прокофьев часто говорил: «Одно только желание есть в моей жизни. Я не хочу умереть, пока не услышу окончательного варианта «Войны и мира»! Но он умер, а этого так и не случилось. Значит, последнее, окончательное слово по поводу «Войны и мира» автором сказано не было.

Тем более Прокофьев очень часто многое менял в своих сочинениях. Когда мы со Святославом Рихтером сыграли его Симфонию-концерт, например, Прокофьев сам, добровольно, захотел внести изменения. И когда я, уже после смерти Прокофьева, дирижировал «Войну и мир» в Большом театре, я там видел кое-какие вещи, которые надо было бы улучшить. Скажем, в конце, в сцене победы, перед хоровым эпилогом. Мы с режиссером Борисом Покровским сделали там маленькие купюры. Надо было как-то подготовить праздничность эпилога. Мы решили кусочек музыки перенести из оркестровой ямы на сцену, чтобы ее играл сценно-духовой оркестр, «банда». Мы на этом врубали яркий свет, получалось что-то вроде перехода. Я попросил Шостаковича переоркестровать этот кусочек из «Войны и мира». Я не мог с такой просьбой обратиться к менее гениальному композитору.

Волков. Шостакович не очень был склонен вносить изменения в собственные сочинения.

Ростропович. В моей жизни еще не было такого случая, чтобы композитор после репетиции не внес каких-то корректив. Не было такого случая. Все вносили.

Волков. Даже Шостакович?

Ростропович. Обязательно вносил. Обязательно. Нюансировку менял, иногда чуть-чуть оркестровку. Даже с ним такое бывало. Хотя Шостакович был, конечно, наиболее точным из авторов.

Дело в том, что для композитора важно не только написать, важно услышать. Вы помните, в 1963 году «Леди Макбет» возобновили в театре Станиславского и Немировича-Данченко под именем «Катерины Измайловой». (Кстати, это была единственная в моей жизни оказия, когда я играл в оперном оркестре.) Это шло под флагом новой редакции: автор осмыслил критику, пересмотрел кое-что и так далее. Вы понимаете, нужно было что-то сделать, иначе опера просто не имела бы реального шанса на возобновление.

Я очень страдал от того, что и новая редакция, и возобновление шедеврами ни в каком смысле отнюдь не являлись. Я был уверен — должно родиться нечто третье. Мы много об этом говорили с Покровским. Мы вместе пошли к товарищу Поликарпову, в Центральный Комитет партии, и попросили: дайте нам возможность сделать какой-то третий вариант, на основе первого и вот этого, пересмотренного. (Не столько пересмотренного, сколько упрощенного.) Дайте нам возможность сделать это в Большом театре! Я говорил об этом в министерстве культуры — и Фурцевой, и ее заместителям. Я говорил им так: «Шостакович человек больной. Что будет, если мы его потеряем? Дайте возможность поставить один раз его оперу в Большом театре, с лучшими силами. Чтобы автор при этом присутствовал». И Шостакович, кстати, с огромным удовольствием согласился на это — сделать последнюю совместную редакцию... Не получилось.

Волков. А какие у вас были соображения в связи с этой — несостоявшейся — третьей редакцией «Леди Макбет»?

Ростропович. Сейчас уже поздно об этом говорить. Но у Покровского было одно важное сомнение. Кто такая Катерина Измайлова, героиня оперы? Сволочь она, извините, или не сволочь? Конечно, сволочь. Она убила одного, второго убила. И для сочувствия ей, в общем, места нет. А Шостакович Катерине все время сочувствует. Она убила, ее на каторгу гонят, а хор поет: «жандармы бессердечные».

Что это значит — «жандармы бессердечные»? В наше время жандармы гнали куда-то в Сибирь, к черту на рога, диссидентов. Только за то, что они с чем-то не согласны! Они никого не убивали. И никто не пел хором — «солдаты бессердечные», или «советская милиция бессердечная». А Шостакович нас призывает пожалеть убийцу, преступницу заклейменную.

Вот это Покровский и хотел уяснить — действительно ли Шостакович до такой степени ненавидел социальную систему, что оправдывал убийцу? Действительно ли Катерину довели до такого состояния? Или бывают при огромном темпераменте, при внешней красоте — человеческие уроды. С моей точки зрения, Шостакович показал нам человеческую аномалию. Но нельзя с ним спорить: что сделано, то сделано. И Шостаковича с нами уже нет.

Волков. Вы религиозный человек?

Ростропович. Да, религиозный.

Волков. Вы думаете когда-нибудь о смерти?

Ростропович. Вы знаете, никогда. Буквально никогда. Я знаю, она придет. И я, как всякий нормальный человек, просто не хотел бы болеть долго. Но я никогда о смерти не думаю. Считаю ее неизбежной, но совершенно нестрашной. До такой степени не боюсь ее, что просто...

Волков. А в работе вера вам помогает? Когда вы работаете над музыкой?

Ростропович. Знаете, это как дыхание. Ты о нем не думаешь: ты просто должен вдохнуть, должен выдохнуть.

Волков. Каково, по-вашему, было отношение Шостаковича к религии?

Ростропович. Видите, для меня музыка — прежде всего выражение духа. Мне кажется, всякий настоящий музыкант это ощущает. У великого музыканта сам подход к искусству духовен.

Волков. Разве Шостакович не был убежденным материалистом?

Ростропович. Никто этого не знает. Никто. Абсолютно точно могу сказать.

Волков. А Прокофьев?

Ростропович. Тот не задумывался над этим. Но его музыка отличается чистотой, правда? Музыка у Прокофьева может быть удачной, или менее удачной, или просто гениальной, но она всегда очень чиста. А ведь чистота — это и есть идеал настоящей религии.

То же самое могу сказать о другом моем покойном друге — Бенджамине Бриттене: настолько ясная, сильная личность. Он изнутри светился — как святой, буквально как святой. Я считаю, Бриттен появился в моей жизни очень вовремя.

Волков. В каком смысле?

Ростропович. Вы знаете, Прокофьев умер давно. А моя дружба с Шостаковичем... Вспомните его сарказм, его глубоко трагический сарказм ко многим романтическим направлениям в музыке... И моя дружба, мое общение с Шостаковичем, мое обожание могли — не то, чтобы обеднить, такого слова я не скажу,— но могли увести меня в сторону, в одну сторону.

Как известно, Шостакович отнюдь не любил Чайковского. И очень вовремя пришел Бриттен с его обожанием Чайковского. Бриттен так замечательно играл его музыку! Он как-то играл на рояле дуэт из «Ромео и Джульетты» со своим постоянным компаньоном, тенором Питером Пирсом, и Галей. Так Галя этого исполнения до сих пор забыть не может.

Бриттен дарил — я могу сказать именно так — человеческой дружбой, нежностью. Шостакович — антитеза этому. Конечно, у Шостаковича была масса нежности. Но она существовала как необходимый контраст к его невероятной оскаленной силе.

Волков. А нежность Прокофьева?

Ростропович. Она была другая. Прокофьев даже напоминал мне иногда собаку.

Волков. Какую именно?

Ростропович. Добрейшую. Изумительного пса. Он иногда так делал: если хотел выразить мне свою любовь, то не говорил ничего. Он подымал свою кисть (а она у него была здоровенная, длиннющая) и хлопал меня по плечу. Довольно больно хлопал. Не рассчитав движения. Но это было высшим, так сказать, признаком дружеского расположения.

Волков. Вы говорили о вашей нежной и интимной дружбе с Прокофьевым, Шостаковичем, потом с Бриттеном. У вас нет ощущения, что композитора, равного этим трем по силе и грандиозности, вам уже не найти, не встретить никогда?

Ростропович. Всегда ждешь чуда. Но его вероятность уже уменьшается. Прокофьева и Шостаковича я обожал с юности. Я так и остался навсегда их учеником. А сейчас, если я встречу великого композитора... Я уже не юнец. Начало будет другим. Как в шахматах говорят — «другой дебют». А в связи с этим и вся игра будет другой, вплоть до эндшпиля.

Вот вы спрашивали меня о смерти. Некоторым смерть кажется черной, а для меня она совсем не черная. Я ее не боюсь еще и потому, что и Прокофьев, и Шостакович, и Бриттен продолжают для меня существовать. Хотя они и умерли. Они существуют в какой-то другой, непостижимой для меня форме. Я чувствую их влияние.

Когда мне дали продирижировать «Войну и мир» в Большом театре, то хотели, чтобы я провалился. Мне дали всего три репетиции, я обязан был провалиться. Геннадий Рождественский говорил: «Не берись за это, «Война и мир» такая трудная штука, ты не представляешь себе! Я просто за тебя боюсь!» В день представления я поехал на могилу Прокофьева. Обнял надгробный камень. И попросил Прокофьева помочь мне. Он мне помог. Я уверен, это он мне помог. Я с ними — с Прокофьевым, Шостаковичем, Бриттеном — общаюсь как с живыми, такое у меня ощущение. На их уровне общаюсь, на котором они сейчас находятся. На уровне новой, иной жизни. И там я имею больший баланс, чем в этой жизни,— там, за этим рубежом. Вот почему я не боюсь смерти.

Когда Ростропович пришел к Прокофьеву, композитору трудно дышалось: Ростропович увидел закат титана. Главное в их общении заключалось в том, что молодой артист впервые в полной мере, на равных принял участие в искусстве, еще недавно вельможно ошельмованном как «антинародное», творившемся сбоку от проторенных дорог, не надеявшемся на немедленный успех и признание. Это и был урок Прокофьева, необходимость которого для последующего пути Ростроповича трудно переоценить.

Учеником другого великана Ростроповича можно назвать и буквально: два года он брал у Шостаковича уроки инструментовки. Когда в 1948 году Шостаковича отставили от преподавания в консерватории, это стало для Ростроповича огромной внутренней катастрофой; общественное переживалось теперь молодым музыкантом как глубоко личное, ранящее.

Иногда кажется — всю земную горечь должен был впитать в себя Ростропович, общаясь с человеком, гением своим и судьбой обреченным пятьдесят лет без малого служить обнаженным нервом огромной страны. Быть может, оно и странно прозвучит, но Ростроповичу повезло. Он как бы прожил, прочувствовал судьбу и долю Шостаковича, не будучи им. Горькая мудрость, отравившая последние годы жизни творца, не разъела душу Ростроповича, только разбередила ее.

Новизна Прокофьева была для Ростроповича новизной прошлого, заново отрываемой, словно из-под развалин Помпеи, русской культурной традицией. Ощущение было общим в первые послевоенные годы. Наступившую затем катастрофу ждановщины Ростропович пережил рядом с ее главнейшими жертвами. Годы шли, и Шостакович стал для артиста его доподлинным, неотторжимым настоящим. Бенджамин Бриттен пришел к Ростроповичу из будущего.

Как всегда Ростропович в числе первых. Дружба с Бриттеном, выход на мировую арену словно бы символизировали стремление заново набравшей сил русской интеллигенции вырваться из пут изоляционизма, прорваться через опостылевшие барьеры, преодолеть искусственно насаждавшийся провинциализм — худший из всех видов насилия над артистической личностью. (Шостакович любил повторять слова композитора Щербачева: «Сослали бы Бетховена на остров Нямням — ничего бы он там не написал».)

И за Прокофьева, и за Шостаковича Ростроповичу приходилось бешено драться, доказывая аппаратчикам ценность их творений. То же происходило и с «декадентскими» опусами Бриттена, да вдобавок осложненное тем обстоятельством, что тот был чужак, иностранец.

Вослед Шостаковичу, Бриттен сочинял музыку и для Ростроповича, и для его жены, сопрано Галины Вишневской. Но когда в 1962 году Бриттен пригласил Вишневскую участвовать в премьере своего грандиозного «Военного Реквиема» в восстановленном Ковентрийском соборе, произошел казус, коему неминуемо суждено «украшать» страницы истории музыки XX века. Отечественные бюрократы не выпустили певицу в Англию: «Мы против того, что собор восстановили немцы, лучше бы он стоял разрушенным». А Шостакович называл «Военный Реквием» лучшим сочинением нашего времени...

Мы все видим, как в России стремительно возрастает тяга к публичности, открытости, все более зыбкими становятся критерии «дозволенного» и «недозволенного». И в то же время все резче обозначается граница между духовным конформизмом и волей к артистической самостоятельности. Ростропович и здесь был в числе прорубавших дорогу, вновь доказав подлинную свою стихийность, свою, если можно так выразиться, социологичность. Его горячее участие в «деле» Солженицына — лишь один из примеров гражданской вовлеченности музыканта, хотя, вероятно, и самый знаменитый.

Солженицын стал четвертым учителем Ростроповича тогда, когда артисту

стало тесно, неуютно в рамках только и исключительно музыкальных, когда вдруг обозначилась потребность в едином фронте мыслящих людей, в громогласной и символической конфронтации с одряхлелой олигархией.

Началось вроде бы с простого: в 1969 году Ростроповичи приютили писателя на своей подмосковной даче. Солженицын прожил там четыре года, и все это время возрастало давление властей на Ростроповичей. Когда Солженицын получил Нобелевскую премию и в советской прессе против него началась кампания, именно Ростропович откликнулся открытым письмом, в котором защищал писателя и напоминал, каким позором для страны обернулись несправедливые гонения на Прокофьева и Шостаковича.

В ответ Ростроповичу и Вишневской начали срывать и запрещать гастроли и записи. В 1974 году Солженицына выслали из Советского Союза; стало ясно, что и чете Ростроповичей здесь не жизнь. Тогда я и познакомился с ними. Время для знакомства было, казалось бы, самое неподходящее: Ростропович с семьей уезжал на Запад и, как видно было всем, надолго. Его прощальный московский концерт (Ростропович продирижировал Шестой симфонией Чайковского) потряс меня своим высочайшим накалом; я написал рецензию и принес ее главному редактору журнала «Советская музыка», где тогда работал. Главный посмотрел на меня как на сумасшедшего и статью спрятал в стол. Но в «самиздатском» виде она все-таки дошла до Ростроповича и понравилась ему. Вскоре я был приглашен зайти к Ростроповичу на квартиру.

Помню, меня тогда поразила его беззащитность, уязвимость. Ростропович в быту экспансивен, часто кажется агрессивным: вот уж такому на мозоль не наступишь. На самом деле его невероятно легко обидеть. Он постоянно ищет моральной поддержки и одобрения людей, которых любит и уважает. И в то же время он целен цельностью потока. Он инстинктивно не доверяет ничему, что слишком уж отстоялось, уплотнилось, закостенело. Он стремится все пересоздать и все переделать, постоянно начинает жизнь «заново».

Романтики считали, что музыка, подобно сну, прерывает для нас обыденный ход жизни. Эстетика и неотделимая от нее этика Ростроповича полярны романтической: по его убеждению, музыка тем и хороша, что возвращает к жизни, она не перерыв, не «покой и воля», но движение и воля.

«Где нет свободы — нет творчества», это было сформулировано им давно, очень давно. Этим убеждением, как всяким, в муках рожденным, а не дарованным сверху, Ростропович дорожит. Он хочет, чтобы оно стало достоянием как можно большего числа людей — как на Востоке, так и на Западе, а потому не упускает случая напомнить о нем, как всегда по-ростроповически громогласно.

Ростропович ныне — явление подлинно международное. Он возглавляет Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне, но выступает и записывается по всему миру, продолжая пропагандировать творчество своих учителей.

Когда-то в России музыкант-исполнитель (слово неловкое, но иного не подобрать) мог быть символом: вспомним Шаляпина. Он не подлаживался к слушателям, а те уважали в Шаляпине и широту натуры, и стихийность, и вольнолюбие. Примечательно, что народный культ Шаляпина сохранился и после отъезда певца на Запад, и после лишения его звания Народного артиста. Такой же восторг и поклонение продолжал вызывать эмигрант Рахманинов.

Во внимании к классической музыке мне видится определенная зрелость общества, тяга к гармонии, что ли. Когда Ростроповича и Вишневскую вынудили покинуть страну, это было вовсе не «застойной» акцией — наоборот, тут видна линия на разрыв, на конфронтацию с независимыми и беспокойными талантами. Ростропович, вновь выступающий в Москве и Ленинграде, может стать одним из символов новой, зрелой России. Ибо за ним никогда не прерывавшаяся на Руси традиция высокого искусства, стремящегося к свободе для себя и для других, для артиста и для его публики.

Соломон Волков
г. Нью-Йорк, США

В мире журналов и книг

Непонятливая Ильина

Быть может — и даже наверняка,— не все воспримут серьезно, если скажу, что одно из свойств и достоинств этой «сатирической прозы» — доброжелательность... Как? Кто, простите, доброжелателен? Эта язвительная дама, которой не так давно, после ее огоньковской статьи, редактор «Нашего современника» Викулов посвятил на одном из писательских сборищ бешеные и подсудные в своей личностной оскорбительности слова? Такие слова, что, говорят, сам С. В. Михалков, как можно понять, также не пылающий к Ильиной чрезмерной любовью, попробовал смягчить рискованную ситуацию и не то чтобы извинился за темпераментного соратника, но перевел его брань на менее криминальный язык.

Все так. И тем не менее...

Впрочем, порою может показаться, что Наталия Ильина даже чрезмерно мягка. «Зачем же автор прикидывается невеждой? В чем дело? — явит она свою непонятливость, обнаружив, что прозаик Михаил Алексеев, кажется, всерьез полагает, будто в имена городов Мелитополя и Севастополя входит составной частью имя дерева, «тополь». И как бы сделает последнюю попытку оправдать подобные словоизыскания: — А быть может, это поэтическая вольность?».

Если мне скажут: это-де всего лишь лукавство, способ изощренной насмешки, а недоумение — притворно, я возражать не стану. Но предположу: а может, здесь еще и упрямое нежелание допускать, что писатель (писатель!) способен находиться с родным языком в столь причудливых отношениях?

В сборнике «Белогорская крепость» есть рассказ о том, как двенадцатью годами раньше редактор некоего издательства с порога «запарывал» книгу фельетонов Ильиной,— собственно, эту же самую, только, конечно, в меньшем объеме. Впечатление чрезвычайно неутешительное!.. На эти темы уже столько всего написано... Для своего времени — куда ни шло! Но сегодня... «Словом: «Устарело! Позавчера не хватало холодильников, вчера еще чего-то, а сегодня всего этого навалом! Зато сегодня (или уже вчера?) стало плохо с ситцем»... И т. д.

Что кое-что устарело, согласен. Например, отпала нужда называть некоторые фамилии — скажем, некогда проштрафившихся литераторов из числа ныне покойных да к тому же прочно забытых или забываемых. Тут анонимность — даже по-своему выразительнее, чем кропотливая памятливость, она способна к большей уничижительности — примерно как в одном из «бытовых», а не «литературных» фельетонов Ильиной: «Есть один... Все может достать. Совершенный бандит на вид. У меня в телефонной книжке он так на букву «Б» и записан. Сейчас найду. Ага, вот... Бандит... Пишите телефон!»

Что же до холодильников, которых ныне («или уже вчера?») навалом, то хоть навал, как легко убедиться, до основания схлынул, все же не это не позволяет книге «устареть». Не сама по себе перманентность, нескончаемость — как нищеты нашего быта, так и безобразий в более узкой сфере изящной словесности. Тем паче, что тот же быт представлен Ильиной далеко не в том страшном виде, в каком он является ежедневно массовому человеку страны. Ильина не энциклопедистка наших нехваток, не дотошный бытописатель безбытности наподобие Анатолия Рубинова, не вылезающего из потрепанной шкуры рядового потребителя; она не перешагивает границ своего личного опыта, и ее несомненные беды — все-таки беды вполне обеспеченной женщины. Ее «Автомобильный триптих» — кошмар, но до того, чтобы окунуться в этот кошмар, многие лишь мечтают дорасти материально.

А что действительно долгосрочно и не дает стареть фельетонам, жанру и впрямь скоропортящемуся, так это хотя бы и заявленная мной доброжелательность. Она же, если угодно, и непонятливость — притом не одеваемая по случаю маска простака, которой, впрочем, не брезговал ни один завзятый фельетонист, не поза саркастического недоумения (прием также наизаконнейший, однако всего лишь прием), вообще

Наталия Ильина. Белогорская крепость. Сатирическая проза 1955—1985. М., Советский писатель. 1989.

не поза, но позиция. Не хочу понимать, не хочу принимать — режьте, не хочу!

В наших неповторимых условиях ведь и такое простое заявление — бунт, прорывающий толщу многолетнего терпения.

Это какому-нибудь заезжему иностранцу вроде Габриэля Гарсиа Маркеса вольно заявить спроста, столкнувшись с одной из странностей нашей действительности: «Честно говоря, я не понимаю, как все это происходит...»,— а Наталия Ильина тотчас откликнется: «Откуда же ему понять? У них на Западе...» — ну и так далее. В общем, того, что Маркесу и прочим сторонним наблюдателям нашей жизни дано их иностранной природой и что Виктор Шкловский когда-то назвал термином «остраннение» (который в критическом обиходе употребляют, упорно теряя второе «н» и упуская из виду, что термин-то — от понятия «странность»), — этого нашему человеку от природы отнюдь не дается. Этого — да, да, не чего-то иного, а именно столь, казалось бы, малопочтенной непонятливости — надо еще достичь, а достигнув, сберечь. Как сберегают с напряженным усилием нормальность в свихнувшемся мире.

Хотя, с другой стороны...

Нет, нам с вами... чуть было не сказал: по счастью,— увы, по несчастью, пожалуй, не так уж и обязательно обладать «остранненной» проницательностью Маркеса или тем паче Кюстина. Не обязательно иметь своего Кафку, извлекающего из действительности неприметный взору абсурд, делая его явным. Нам предовольно нашего Зощенко, изобразившего отечественный бедлам, как говорится, в формах самой жизни и с тихим упорством всего лишь нормального человека.

Выразительность нашей ежедневной **зощенкиады** такова, что, дабы убедиться в ее несочиненной гротескности, можно не удаляться чересчур далеко, не подниматься в чрезмерную высь — достаточно отойти на несколько шагов. Удалиться хотя бы — притом буквально — на собственную кухню, покинув на минуту своих разговорившихся гостей. И тогда, всего лишь самую чуточку «остраннившись», услышишь, к примеру, такое:

« — Резиновая груша. Это для бачка, извините, в уборной. Стоит тридцать шесть копеек, а нигде... Вода течет, пол мокнет, соседи снизу пишут жалобы, кошмар полный, но... к счастью, один жулик...

— Подфарник. Разбил, неудачно развернувшись. А, думаю, чепуха! Оказалось — черт-те что! Месяц не мог нигде... К счастью, один жул к...

— А у нас холодильник. Если б не встретили одного жулика...

Очень живо проходит вечер. Склоняется слово «жулик», часто слышится глагол «украсть». А гости ваши — вполне порядочные люди».

Наша знаменитая кухня, трогающая впечатлительных иностранцев своим сходством с ночным клубом или исповедальней, для нас настолько связана с первоочередными тягостями жизни, попросту: чем и как прокормиться, что ее трудновато обратить в бестелесную метафору,— но рискнем, попытаемся. Итак, эта самая кухня, из которой Наталии Ильиной столь явственно очевидна безумность беседы ее почтенных друзей, вернее, безумность той застоявшейся ситуации, которая самый обычный разговор превращает в маниакальное топтание вокруг бессмертного дефицита,— она, то бишь кухня, и есть как бы знак и причастности, и (все-таки) отдаленности. Поглощенности тяжким бытом и способности вдруг поднять искаженное привычной заботой лицо и не то чтобы возроптать,— ропщем-то все, обратив и ропот в привычку,— но рассмеяться. Над бытом — и над собой.

Вот это и есть, я думаю, формула юмора Ильиной (все же юмора, а не сатиры, как нам обещано подзаголовком книги, ибо юмор — это **присутствие духа**, легкость как результат преодоления тяжести). И, вероятно, не зря среди перлов, нещедро рассыпавшихся Анной Андреевной Ахматовой, но в записи Ильиной образовавших замечательно богатую коллекцию, не затерялась, а, может, даже особенно выделилась случайная блестка ахматовского юмора: «Както в Москве я зашла за ней к Ардовым, чтобы вместе ехать куда-то. Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: «Если вдуматься — одного чулка мало!»

«Если вдуматься» — что тут? Собственная горестная безбытность и бездомовность, на которую словно бы удается глянуть свыше, с такой величавой высоты, что все это, представ в резко уменьшенном размере, кажется не больше, чем смешным. С высоты **ахматовской**, которая не доступна и не должна быть доступна всякому, но отчего б не поучиться и такому, высотному «остраннению»?..

Так что настаиваю: представленное в «Белогорской крепости» — не сатира, не обходящаяся без желчи, а юмор, и тем почетнее для юмориста (и печальней для нас), когда действительность торопится подтвердить, что заслуживает передразнивания. А то и сама передразнивает юмориста. К примеру...

Когда Михаил Алексеев решил после смерти Твардовского, как ему показалось, беспроигрышно объявить (замечу: лишь показалось, так как он тут же был уличен в неправде), будто бы Александр Трифонович повинился перед ним за смешную и злую критику «Новым миром» алексеевских сочинений (еще замечу: стало быть, в первую голову за Ильину, потому что никто там о них не писал **смешнее**),— он, вероятно, не подозревал, что своим незадачливым поступком невольно реализует ситуацию другой пародии Наталии Ильиной. Той, в которой потешно изображалась ложь воспоминателей, беззастенчиво повествующих задним числом, как якобы был с ними ласков один «выдающийся поэт, прозаик, переводчик и драматург» Прахомов, хотя всем известно: тот их на дух не переносил (см. пародию «Мы его знали»)... То есть не учтя, что пародия его опередила, и не вняв ее предостережению, Алексеев лишил Ильину возможности оказать ему немаловажную услугу — между прочим, оказать не впервые. Ведь таким же своевременным предупредительным сигналом стал для него ее новомирский фельетон «Сказки брянского леса», посвященный «Повести о моих друзьях-непоседах», в которой ряд литераторов, включая самого Грибачева, был без всякого злого умысла, единственно по простодушию автора изображен... ну, скажем, не слишком приглядно. И Михаил Алексеев сделал из этого должный вывод: насколько могу судить, не переиздавал злосчастную повесть (по крайней мере среди его переизданий мне она не попалась ни разу). А главное, не продолжил ее, разумно отказавшись от данного сгоряча слова. И пусть даже непосредственной причиной тому не была, может быть, сама Ильина; пусть это те друзья-непоседы, коих автор еще только пообещал небезопасно прославить (например, С. Шуртаков, А. Калинин, В. Закруткин, С. Воронин, М. Годенко), остановили его разбежавшуюся руку, разделив озабоченность автора фельетона: «...Можно предположить, что «неохваченные» с большой тревогой ждут продолжения сказок». Все равно: ведь это она, Ильина, предостерегла и надоумила их, за что («если вдуматься») им — и тем более Алексееву — следует быть от души благодарными...

Правда, иные из подтверждений той нехитрой истины, что жизнь бывает смешнее, глупее, страшнее фантазий о ней, толкают к тому, чтоб возразить Ильиной. И не чему-то иному, а как раз ее проверенной и обаятельной доброжелательности.

Вот она в пух и прах разнесет повесть, сверхправильная юная героиня которой, попав в Лондон, всем «ихним» решительно недовольна и даже (!) к витринам, заметно отличным от наших, относится с презрительным высокомерием, как должному внемля речам другой героини, далеко не юной, но тоже сверхправильной: «Красиво? Соблазнительно? Человек, милая девочка, устроен весьма несовершенно, и несовершенством его природы очень уж ловко и бесстыдно пользуются здесь! Мы так не умеем, да и ни к чему это нам...»

А разнеся повесть, Ильина выявит вышеуказанное свойство: «...В Катю читатель не верит... Современная Катя да еще «стопроцентный продукт нашей жизни», как для отвода читательских глаз рекомендует свою героиню автор, так думать, чувствовать и вести себя вряд ли могла...»

Спору с этим, конечно, нет, если иметь в виду беспредельную беспомощность автора, кроящего по заданной схеме плоскую фигурку. Но опять же с другой и, может, самой существенной стороны: отчего б не поверить — не в Катю, так в схему? Не в то, как могла она себя «чувствовать», так в то, как могла «вести»? Тем более по канону соцреализма изображать следует не действительность, но перспективу ее, а он, этот самый канон, имеет здесь редкий и твердый шанс наконец воплотиться.

Это у слабонервных не хватает за границей выдержки, и вот Высоцкого (как вспоминает Марина Влади) физически рвет от оскорбительной, стыдной муки у витрины западноберлинского продуктового магазина: «Они ведь проиграли войну, и у них все есть, а мы...»; вот невымышленная советская девушка, описанная Евтушенко, падает в обморок уже (или даже) в восточноберлинской колбасной лавке, но «нет таких крепостей», и вспоминаю, как в Праге, где было в пору тоже завыть от зависти, меня спрашивает женщина-гид: «Почему все ваши, когда приезжают к нам, уверяют, что у вас все хорошо, а у нас — плохо?»

Нет, как хотите, а я верю в Катю — в этом, внеэстетическом, историческом смысле,— да, думаю, и Ильина верит. Это ведь она, находясь среди тех, не очень-то многих, кто не поддавался соблазну льстить «самому лучшему в мире читателю», в статье 1970 года «Демоническая сила» не только лепила в глаза «самому лучшему» правду, но с печальным пониманием встречала в письмах, которыми «лучший» исправно засыпает редакции, то, допустим, ярлык «опстракционная иллюстрация» (навешенный, между прочим, на изображение вполне натурального «ню»), то и такую форму эстетической критики: «Их следует отдавать под суд...»

Чему ж дивиться, если незадолго до того премьер в Манеже честил Неизвестного и Жутовского «пидорассами» (выходит, у вольного обращения с иностранным словом тоже начальственная традиция), а неметафорический суд над Синявским и Даниэлем был и вовсе недавно?

Словесная убогость, косноязычие как неминуемый результат паралича мысли неотделимы от желания отдавать под суд, выжигать каленым железом, отлучать, доносить — конечно, весьма и весьма небескорыстно («местов мало», а дураков нет),— и до чего ж характерно, что в оставившей стыдное воспоминание телевизионной встрече «условно молодых» литераторов «у самовара» (Ильина написала о ней в «Огоньке», и нашумевшая статья успела попасть в сборник) звучат речи, в которых все это вкупе и налицо:

«А я считаю, что нужно не критиковать, а утверждать, утверждать то, что

уже есть... Я против критиканства, категорически против, против показания этих самых только негативных явлений... Стоит издателям поменьше бояться, тем более мы ведь никакой аморальности не несем, никакой антисоветчины не несем. Ведь мы несем что? Новые взгляды на то, как сделать нашу страну лучше».

Нахрап — и заискивание. Безграмотность — и страсть к доносительству... Смешно? Горько. Да и страшно, пожалуй.

«Они писать не умеют, но им это и не нужно»,— запомнились Ильиной слова Твардовского, сказанные о высоких чинах Союза писателей, но обреченные на отдаленное проандчество «Не нужно». Нужно совсем другое: «Писатель без власти — никто!»,— записала она же афоризм жены литчиновника. Традиции и тут не хотят рваться, воспитуемые и здесь достойны своих воспитателей, и постоянство, с каким Ильина на протяжении стольких лет насмешничает над этими и над теми, может поддерживаться лишь очень сильным источником питания. Тем, который Чуковский определил применительно к ней как «ненависть»...

Однако — стоп. Ненависть? Это не слишком-то парламентски-толерантное чувство? Что ж я тогда твердил о какой-то доброжелательности? О том, что, мол, тут не сатира — юмор?

Но, во-первых, Чуковский-то уточнил: «ненависть к пошлячеству». А во-вторых, вспоминается Саша Черный с его: «...что под ненавистью дышит оскорбленная любовь».

Любовь — к литературе. К слову. Ненависть — к пошлячеству. А выходя за пределы словесности — ко всему, что мешает человеку ощущать себя человеком. Не ниже, не мельче того, на что стоит тратить и любовь, и ненависть. Ну, а кто оскорбляет любовь, кто не оправдывает ее естественных ожиданий, на кого же ему и пенять, как не на себя самого?

Ст. Рассадин

Человек и большой террор

А тени страшные — Украины, Кубани...
О. Мандельштам

23 октября 1983 года в канадском городе Эдмонтоне, столице провинции Альберта, был открыт первый в мире памятник жертвам голода 1932—1933 гг. в СССР. Серый, разорванный сверху круг с черным проемом на месте цифры 12— разбитый, разорванный круг жизни и времени, а с надломленной его стороны — тянущиеся в мольбе руки, жалкие и беспомощные. Автор памятника — монреальский скульптор Людмила Темертя, ее мать испытала на себе этот страшный голод.

Тянущиеся — и незамеченные! — руки, вопиющие — и неуслышанные! — голоса... Этот отдающий геноцидом голод — жуткое, но закономерное звено в цепи жестоких исторических событий, привычно именуемых «коллективизацией» или «великим переломом». Им по преимуществу посвящены обе книги.

Первая построена на документах так называемого «Смоленского архива» — точнее, партархива Западной области, первоначально попавшего к немцам, а позднее перекочевавшего в Национальный архив США. Для публикации отобрано всего 65 документов, рассказывающих о нескольких сотнях событий в смоленских деревнях в 1929 году, еще до начала коллективизации. Большинство документов как бы случайно и незатейливо, но их щемящая доподлинность, словно заверенная персонажами Андрея Платонова и Михаила Зощенко, с их неописуемой речью, узнаваемой чуть ли не на каждой странице,— не оставляет сомнений в их типичности и повсеместности. Вот выдержка из резолюции одного собрания: «Мы, граждане, дер. Сумароково, единогласно считаем в настоящее время несправедливым по делу крестьянства, в виду того, что в настоящее время данное стихийное бедствие и проч. вышестоящие органы изжить из себя бюрократизм, дабы обозленное население не стало смотреть на своих руководителей, как смотрят на нашу страну внешние враги — буржуазия, поэтому единогласно постановляем выехать 21 сентября с. г. для требования наших родных мозолистых копеек. Если не будет оказано содействие, то мы можем дать отпор во всех государственных платежах, как автономные».

Сергей Максудов — литературный псевдоним далекого ньюйоркца, в прошлом москвича Александра Бабенышева. Он не только тщательно отобрал и прокомментировал включенные в книгу 65 документов, не только снабдил книгу необходимыми предисловием, введением и ценнейшими приложениями, но еще и подобрал к каждому разделу и подразделу ту или иную цитату из поэмы «Страна Муравия» Твардовского, земляка героев книги, родом из местных кулаков.

В предисловии С. Максудов горько замечает: «Как известно, историю пишут победители. Поэтому мы можем узнать, сколько бунтовщиков распято вдоль Аппиевой дороги, но лишь с трудом догадываемся о чувствах гладиаторов, поднявших восстание». Оттого так высока цена каждого свидетельства от лица мужиков; чувствуешь, как дорожит ими составитель, выстраивая из них первую часть книги — «Кулаки» (в ней — 13 документов). Часть вторая — «Партейцы» — обширнее и подробнее: несмотря на возникающий между кулаками и «партейцами» невольный диалог, несмотря на моральную и экономическую правоту первых, в структуре книги как бы подчеркнуто их неравенство, сила и торжество политики вторых (этот диалог, как обещает автор, будет продолжен в сборниках о смоленской деревне «Раскулачивание» и «Без кулака»).

В конце книги «Потери населения СССР» автор спрашивает: «И в конце-то концов: когда нас сколько было?!». Колоссальный политический и исторический смысл ответа на него сегодня уже вполне очевиден, так же, как и вклад в его поиск самого Максудова, занимающегося этой проблемой вот уже более четверти века. Временной и проблемный стержень его исследования при этом неизменен: эпоха коллективизации, ее истоки, этапы, география, механизмы, последствия — ее, в широком смысле, п о т е р и, поскольку говорить о ее завоеваниях имеющийся материал просто не позволяет. Собранные воедино, работы Максудова рисуют некое эпико-статистическое полотно коллективизации в СССР как социальной, экономической и моральной т р а г е д и и крестьянства и всей страны.

Автор показывает различную природу коллективизации и кооперативного движения: сетью сбытовых, кредитных, потребительских и иных кооперативов в 1927 г. было охвачено от 1/4 хозяйств с низкой стоимостью средств производства и до 3/4 — с высокой. Кооперативы были добровольными, конкретными по задачам и часто временными, чем и не устраивали государство с его установкой на жесткий контроль и «классовый подход» (то есть ущемление прав более состоятельных и самостоятельных пайщиков). Колхозы не наследовали кооперативам, ибо с самого начала были не экономической, а а д м и н и с т р а т и в н о-с и л о в о й формой хозяйствования. «Я больше не стану расширять свое хозяйство, а буду уменьшать, чтоб меньше платить налога...» — вот естественная реакция загнанного в угол крестьянства (слова бедняка Павла Лопаткина из с. Бычково в записи агента ОГПУ).

Качественно новую ситуацию в советской деревне Максудов не без язвительности сравнивает с ситуацией в Египте во времена Иосифа Прекрасного: «Фигура Иосифа Виссарионовича (прекрасным его не называли даже в самый разгар культа) была во всех отношениях определяющей. В одном лице совместились все возможные виды власти и формы управления, совпали Иосиф и фараон. Именно Сталину принадлежат основные идеи преобразований и методы их осуществления. Ему, судя по всему, снились вещие сны, и он же выступал их истолкователем.

Как ни отличны друг от друга рассматриваемые страны, нельзя не отметить общие черты систем, возникших в результате аграрных преобразований. Бюрократизация и регламентация, концентрация в одних руках управления производством и распределением, высокая «товарность», аресты и высылка на стройки (рудники) за плохую работу или неуплату налогов, иерархическое построение управления с абсолютно божественной властью наверху. Даже в пристрастии Сталина к монументальным сооружениям, будь то каналы или высотные дома, прослеживается параллель со вкусами фараонов».

Организация колхозов была первым шагом коллективизации, «раскулачивание» и депортация «кулаков» — вторым. Общее число раскулаченных, по тщательно обоснованной оценке С. Максудова, превысило за 1929—1932 гг. 1 миллион семей, что в 2,5 раза выше официальной советской оценки. Кроме того, за те же годы более 630 тыс. семей подверглись судебным преследованиям и конфискации имущества за неуплату налога, который автор сравнивает с попыткой «получить молоко от зарезанной коровы». Критическому пересмотру подверглись и данные о депортации кулаков. По оценке С. Максудова — это 413 тысяч семей за 1930—1931 гг. и около 543 тысяч — за весь период депортации, начавшейся в 1929-м и окончившейся в мае 1933 года, когда Сталин и Молотов разослали через ОГПУ инструкцию о необоснованности требований о выселении.

Куда же направлялись эшелоны с «кулацким элементом»? Первоначально — преимущественно в Северный край (50—55%), на Северный Урал (30%) и в Сибирь (15%). Зимой 1930 г. в одной только Вологде, по данным П. М. Кривобока, скопилось до 260 тыс. чел., а в местных церквах устраивались — непревзойденный результат — семиэтажные нары! Отсутствие или недоступность прямых данных заставляет обращаться к косвенным, и вот по количеству завезенного в эти районы чая, а также по количеству учителей С. Максудов выходит на семизначный порядок цифры депортированных туда крестьян. Лесосека, забой, рудник — вот основные потребители раскрестьяненного человеческого материала, лишь небольшая часть «кулаков» находила себе работу в хлеву или в поле. К 1932 г. на первое место среди

Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива. Книга первая, 1929. Кулаки и партейцы. Составил Сергей Максудов. США, Мичиган, Анн-Арбор. Ардис, 1987.

М а к с у д о в. Потери населения СССР. США, Вермонт, Бенсон. Чалидзе паблнкэйшн, 1989.

«потребителей» кулаков выдвинулся Урал (до 130 тыс.семей), в Сибири их скопилось не менее 66 тыс., в Казахстане — 45 тыс., на Северном Кавказе и на Украине — около 18 тыс. (главным образом выходцы из Средней Азии), на Дальнем Востоке — 10 тыс. и т. д. Всего в 1930—1931 гг. в местах вселения находилось не менее 370 тыс.«кулацких» семей, что при среднем размере семьи — 4 человека—составит около 1,5 млн. чел. Точное число умерших в дороге или совершивших побег крестьян неизвестно, но если сравнить 370 тыс. с 413 тыс. высланных, то мы получим не менее 170 тыс. чел., умерших или бежавших по дороге. Постепенное сокращение и прекращение депортаций в 1932—1933 гг., означая завершение второго этапа коллективизации, вовсе не означало хоть какой-то политической реабилитации «кулака». Слово «кулак» по-прежнему оставалось синонимом «врага».

В ходе и в результате коллективизации сельскохозяйственное производство, вопреки посулам государства, падало, тогда как госпоставки неуклонно росли, превратившись из налога в «священный» долг и обязанность, а попросту — в грабеж крестьян; с ног на голову перевернулась очередность потребителей зерна: сначала — отдай государству, потом, если останется,— в семенные фонды, потом — на фураж и, в последний черед, если останется,— на пропитание самих хлеборобов. На практике это означало, что «...крестьянам, не выполнившим план поставок государству, есть не полагалось... На скорбно недоуменное восклицание хозяев: «А мы-то что есть будем?» — уполномоченные спокойно отвечали: «Работать надо было лучше». Иначе говоря, всю ответственность за разрушение сельского хозяйства, за нелепые и просто бессмысленные реорганизации партия и правительство возлагали на сельского жителя. Он был виновен и... конечно, в том, что хотел есть».

Падение производства, рост заготовок и репрессии против крестьян — вот три «кита» реального процесса коллективизации. Они-то и предопределили размеры катастрофы 1932—1933 гг. и тяжелейшую жизнь после нее. Начиная с 1930 года крестьянство было вынуждено переменить саму структуру своего питания: хлеб, сало и яйца надолго уступили место картошке, капусте, слегка сдобренным молоком. Этот «рацион» был привычнее для крестьян средней и северной полосы; на юге же, в степной зоне — Украина, Кубань, Нижняя Волга, юг Сибири, Казахстан, Бурятия (в двух последних районах — с традиционным преобладанием полукочевого скотоводства и мясным рационом) — такая «перестройка» далась особенно тяжело. В результате — страшный голод, по последствиям несопоставимый ни с голодом 1891-го, ни с голодом 1921 годов.

Надо сказать, что после 1933 года направленные против коллективизации бунты и восстания крестьян (в 1929—1932 гг. их было сотни) почти прекратились. Если и были какие-то выступления, то в основном женские,— подавить эти «бунты без надежды» было нетрудно. «Поставленный на колени голодом сельский житель принял все пункты нового устава почти без сопротивления... <У него> остался лишь один-единственный недостаток — он не умел хорошо работать в колхозе».

С. Максудов согласен с мнением, что коллективизация — это революция сверху, но он настаивает на насильственном ее характере и также на том, что самые революционные изменения произошли даже не в способах организации производства, а в способах и размерах распределения сельхозпродукции. Если крепостной мужик платил помещику десятину, если крестьянин времен нэпа отдавал в уплату налога в среднем 10—15% чистого дохода, то для большинства колхозов доля обязательных поставок приближалась к половине валового сбора, а для единоличников и колхозов, обслуживаемых МТС, —даже превышала половину! Фиксированные цены на зерно были таковы, что поставки эти являлись, по существу, бесплатными. На самообеспечение жителей села оставлялось не более четверти урожая да еще то, что за вычетом специального налога уродится на приусадебном участке.

«Главное теперь,— наставлял колхозников товарищ Сталин,— работать в колхозах честно. Если все колхозы будут работать честно, то они завалят продуктами и товарами наши города». В решении проблемы честности государство не отказывалось и помочь крестьянам, и в 1933 году на селе была создана сращенная с ОГПУ и всепроникающая сеть политотделов, которые «показали сельскому жителю, включая и сельского администратора, что он находится под жестким государственным контролем».

В 1935 году политотделы были все же упразднены, но их набравшиеся опыта начальники составили ядро корпуса новых райкомовских секретарей. К этому моменту основные преобразования уже завершились, если что уточнялось и оттачивалось, то частности и детали: ну, увеличивались налоги, и с их помощью удушался единоличник; ну, сокращалась земля под приусадебное хозяйство, или энергично переселялись поближе к власти хуторяне как наименее доступные для контроля жители...

Черту подо всем подвел Устав сельхозартели, принятый 17 февраля 1935 г., четко разделивший «общественные» (похвальные) и «личные» (постыдные) интересы колхозника. Его главная обязанность отныне — общественный и практически бесплатный труд на полях и фермах, беспрекословное послушание любым спускаемым сверху планам и инструкциям; кормиться же ему разрешено на приусадебный урожай и на весьма скр мные натуральные авансы колхоза

(не более 10—15% намолота). Устав сохранил роль идейного ядра для последующих «уложений». Мощных покровителей имеет эта система, увы, и сейчас.

По существу, коллективизация развернула деревню к азиатскому, согласно марксистской классификации, способу производства с его опорой на рабский, то есть непроизводительный, труд. «К кольчецам спущусь и усоногим, Прошуршав средь ящериц и змей. По упругим сходням, по излогам Сокращусь, исчезну, как протей»,— писал в мае 1932 года Мандельштам (стихотворение «Ламарк»)... На новом витке спирали общественного развития советская колхозная деревня приобрела отчетливые черты деревни феодальной, крепостнической — с тою, пожалуй, разницей, что у помещика перед крепостными были не только права, но и обязанности, а у председателей колхозов и надсмотрщиков рангом повыше обязанностей перед «своими людишками» не было никаких, что и выявил голод. «Таким образом,— заключает Максудов,— колхозная система — это не просто еще одна форма крепостного права. Это новое, никогда прежде не существовавшее сооружение, возводившееся без плана в необычайно срочном порядке. Не было и предварительных теоретических построений, предполагавших именно такую модель. Был лишь чудовищный эксперимент, продолжавшийся несколько лет, в ходе которого была создана двойная система производства: каждый крестьянин работал на государственном поле на государство и на собственном маленьком поле — на себя и на государство. Возникший монстр, сочетавший якобы личные и государственные интересы, был непредсказуем, но оказался жизнеспособным».

К 1934 году война госаппарата против крестьянства, можно сказать, победоносно завершилась, и в 1934—1935 гг. стало возможным открыть и «второй фронт» — против всего остального населения страны. Надвинулись «1935 год и другие» — годы расцвета ГУЛАГа.

Число погибших за межпереписной период (1927—1938 гг.) огромно, но достоверно не установлено. Размах приводимых Максудовым оценок фантасмагорически велик — от 4,8 млн. чел. за этот период (у Ф. Лориме) до 110,7 млн. чел. за 1918—1958 гг. (у профессора И. Курганова). Для получения собственной оценки автор прибегает к известному в демографии методу «передвижки возрастов» и выходит на оценку общих потерь населения: за 1927—1938 гг.—9,8 млн. человек (5,9 млн. мужчин и 3,9 млн. женщин). Разница между повышенной убылью мужчин и женщин составляет 800 тыс. чел. и интерпретируется как приблизительная оценка потерь от прямого физического уничтожения людей, то есть расстрелов. Аналогичный расчет был произведен отдельно и для Украины: полученная цифра — 4,5 млн. потерь — составляет 15% ее населения и, по сути, означает, что в том или ином виде репрессий не избегла ни одна украинская семья.

Интересно и важно сопоставить результаты С. Максудова с другими оценками, особенно теми, что не попали в его собственный критический обзор этого вопроса, а именно со статьями В. П. Данилова «Дискуссии в западной прессе о голоде 1932—1933 гг. и «демографической катастрофе» 30—40-х годов в СССР» («Вопросы истории», 1988, № 3) и В.В. Цаплина «Статистика жертв сталинизма в 30-е годы» («Вопросы истории», 1989, № 4). Как и С. Максудов, В. П. Данилов считает завышенной оценку Р. Конквеста (13,5 млн. чел.) и указывает на источники его ошибки. Он приводит более строгие оценки других зарубежных исследователей, в частности С. Уиткрофта (6—7 млн. чел., в том числе в результате голода — от 3 до 4 млн. чел.), Б. Андерсона и Р. Сильвера (от 3,2 до 5,5 млн. чел., в том числе 2—3 млн. в результате голода). Последняя оценка подтверждает более ранний подсчет Ф. Лориме. Известны также мнения (не расчеты) Н. Тепцова («Ветеран», 1988, № 50, с. 8) и авторов известного «Письма десяти» («Московские новости», 1987, № 13, 29 марта) — соответственно 8 и 10 млн. чел. Но особый интерес вызывает публикация В. В. Цаплиным, нынешним директором Центрального государственного архива народного хозяйства СССР, ряда неизвестных документов по «репрессированной» переписи населения 1937 г. Вот его оценка потерь, понесенных советским народом за 1927—1936 гг.: 2 млн. чел. покинули пределы СССР (в основном это так называемые «откочевки» скотоводов Казахстана), 3,8 млн. чел. умерли от голода и 1,5 млн. чел. погибли в лагерях; относительно еще 1,3 млн. чел. затруднительно определить, от голода или в лагерях они погибли, но общий итог от этого не меняется — 8,6 млн. чел. Число погибших в лагерях в 1937—1938 гг. В. В. Цаплин оценивает в 1,3 млн. чел., тем самым общее, но едва ли полное число жертв сталинского режима за межпереписной период составляет, по В. В. Цаплину, 9,9 млн. чел. Эта цифра практически совпадает с полученной иным способом оценкой С. Максудова.

Приведем здесь и аналогичную оценку С. Максудова 35-летнему периоду нашей истории — от революции до смерти Сталина (1918—1953 гг.). Полученная цифра поражает — от 38 до 54 миллионов человек, то есть от трети до половины граждан СССР умерли в этот период не своей смертью! «Все остальные страны мира, вместе взятые, за две мировые войны потеряли меньше»! — заключает свое исследование Сергей Максудов, даже здесь в отличие от нас удержавшись от восклицательного знака.

Вообще его спокойный, сдержанный, но отнюдь не сухо академический стиль, скупой, но убийственно точный сарказм

необычайно импонируют. Взятый Максудовым тон единственно и подходит к материалу, вовсе не нуждающемуся в эмоциональной окраске или в публицистическом заострении: и приводимые автором цифры и факты (заметим, всегда строго документированные), и сама по себе выверенная, выстраданная и глубокая авторская позиция говорят сами за себя и не нуждаются ни в подпорках, ни в красноречии.

При этом книги С. Максудова построены и написаны так, что они адресуются не только историкам, аграрникам, демографам или статистикам — круг их читателей гораздо шире. Оттого не случаен в книге «Потери населения СССР» раздел, посвященный обзору публикаций — как научных, так и художественных — о коллективизации в советской прессе периода гласности.

Конечно, автор солидаризуется с В. Беловым, кажется, первым обозначившим коллективизацию как раскрестьянивание, но беда, подчеркивает С. Максудов, еще глубже — произошло не что иное, как расчеловечивание всего общества. Он пишет: «Сегодня гнойник прорвало. Смердящие раны открылись на том месте, где недавно красовались потемкинские дворцы социализма. На это страшно смотреть, но это необходимо для выздоровления. Выпуская гнойную отраву лжи, страна делает первый шаг к нормальной человеческой жизни. Покаяние и очищение, осознание происшедшего во всей его трагической полноте — надежда народа на лучшее будущее. Процесс восстановления исторического сознания еще только начался. Он нелегок, но иного не дано».

Статьи и книги С. Максудова (а знакомство с ними советского читателя не за горами) — весомый вклад в этот нелегкий восстановительный процесс, которым, хочется верить, охвачена сегодня наша страна. Но что, быть может, еще важней,— это его вклад в процесс нашей гуманизации, нашего, если позволено так выразиться, вочеловечивания. О каких бы огромных регионах или о стране в целом, о каких бы громадных сводных цифрах и толпах жертв и палачей он ни писал, ни на минуту не упускается из виду индивидуальность и личная судьба каждого затронутого коллективизацией человека, каждого «кулака» и каждого «партейца» — от Павла Бычкова из с. Лопаткино до Иосифа Сталина из Кремля. Не просто большой террор и его демографическая историография, а именно человек и большой террор — вот сверхтема и сверхзадача Сергея Максудова, вот тот уровень, на котором легко и естественно сходятся силовые линии от двух на первый взгляд таких разных книг.

Павел Полян

Советуем прочитать

В этом году мы решили несколько видоизменить нашу рубрику — придать ей личностный характер (сочетая эти формы рекомендации книг читателю с прежними). Для начала решили, подводя итоги года, обратиться к известным писателям с двумя вопросами:

1. Самая значительная в минувшем году, на Ваш взгляд, публикация в литературно-художественных журналах или книгах.

2. Удалось ли Вам открыть для себя новое имя и чем обратило на себя Ваше внимание произведение этого автора.

Полученные ответы публикуем.

Василь Быков:

1. Наверное, самым потрясающим произведением 1989 года явилась повесть Василия Гроссмана «Все течет» в журнале «Октябрь». Удивительно, что в этом очень небольшом произведении так органически сошлись основополагающие аспекты политики, быта, философии — вся пронзительная правда драматических тридцатых годов, явленных в условиях зрелого, вошедшего в самый расцвет нашего отечественного тоталитаризма.

2. Новое имя для меня — Нина Берберова, чей «Курсив мой» я прочитал с огромным интересом. Она действительно явилась как запоздалый лучик из «серебряного» века нашей культуры.

Минск

Евгений Евтушенко:

1. Крупнейшим печатным историческим событием этого года был, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ», написанный в аввакумовском жанре крика, спасший от исчезновения в Лету множество драгоценных человеческих свидетельств о самой страшной войне, которую можно представить,— войне против собственного народа. Подобными крупными печатными событиями были ранее «Жизнь и судьба» и «Все течет» В. Гроссмана. Однако все это я читал уже давно и не мог разделить ту первоначальную радость и ужас от пронзительного писательского откровения, которое дошло с таким трагическим опозданием до нашего широкого читателя вот только сейчас.

Таким откровением для меня в последнее время неожиданно оказалась потрясшая меня блистательная повесть Б. Ямпольского «Московская улица», принадлежащая перу человека, которого я хорошо знал лично, но, к сожалению, почти не знакомого мне как писатель. Думаю, что эта книга не была еще по заслугам оценена — может быть, потому, что вокруг имени автора не было мученического ореола опалы или эмиграции.

2. В этом году на меня самое большое впечатление произвела первая повесть Л. Габышева «Одлян, или Воздух свободы». Я был поражен скупой жесткой графикой этой книги и даже засомневался в том, что эта книга — первая, заподозрив автора предисловия А. Битова в литературной мистификации. Но потом сообразил, что так он написать не мог. Эта проза близка к новому крупному, на мой взгляд, поэту — Вадиму Антонову, с таким же современным лагерным опытом, и потрясшему меня фильму И. Гостева «Беспредел».

После недавних двух великолепных повестей одного из наших крупнейших прозаиков, В. Маканина,— «Утрата» и «Отставший» — меня приятно поразило своим мастерством перо М. Кураева и в «Капитане Дикштейне», и в «Ночном дозоре», леденящая душу своей неприкаянностью повесть «Стройбат» С. Каледина, оруэлловская ядовитая предупредительная фантазия в футурологическом конспекте «Невозвращенец» А. Кабакова.

Что касается стихотворных открытий, то в этом году мне больше всего понравились стихи наших молодых женщин-поэтов, ранее мне неизвестных: Е. Перепелки «Водопроводчик Гудков» («Новый мир», № 5), Е. Крюковой «Магдалина...», О. Гречко «Очередь в овощном магазине» («Новый мир», № 10). Из публицистики: «Люби Россию в непогоду...» Б. Васильева в «Известиях», статья В. Третьякова «Загадка Горбачева» в «Московских новостях», статьи Ю. Карякина, С. Говорухина, В. Селюнина, А. Нуйкина.

Тимур Зульфикаров:

1. «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. Этот выбор, я думаю, не требует комментариев.

2. Здесь хотелось бы назвать два имени, пока еще, к сожалению, мало известных широкому читателю. Исторический романист из Ворошиловграда Валерий Полуйко, чей роман «Иван Грозный» печатался недавно в журнале «Сибирские огни». Ранее у него выходил роман «Лето 7071» в издательстве «Молодая гвардия», и уже тогда я обратил на него внимание. Серьезная, фундаментальная, можно сказать, провинциальная — в хорошем смысле — историческая проза: такая проза ведь и должна создаваться несколько в стороне от столичной суеты, ибо требует спокойных размышлений, основательного осмысления народных судеб. В. Полуйко обещает вырасти в серьезного исторического романиста, а именно уровнем исторического романа определяется, по-моему, уровень литературы.

Второе имя — тонкий лирик из Душанбе Алишер Киямов. Блестящий, изысканный стиль. Его стихи опубликованы в сборни-

ке «Новое имя» (издательство «Адиб», Душанбе, 1989 г.).

Фазиль Искандер:

1. Заглянул в главы из «ГУЛАГа» А. Солженицына. И хоть когда-то читал эту книгу, опять не мог оторваться. Великая, страшная, необходимая книга. Кажется, что она навсегда избавит человечество от утопических мечтаний и социальных экспериментов.

2. Из всех художественных произведений последнего времени на меня самое большое впечатление произвела повесть С. Каледина «Стройбат». В ней не знаешь чему больше удивляться — мастерству рассказчика или беспощадному, бескомпромиссному исследованию жизни молодых солдат. Повесть написана на одном дыхании и прочитывается одним дыханием.

Руслан Киреев:

1. Вдруг выявилось различие между новомировской публикацией «Заблуждения воли» Лидии Гинзбург — публикацией, которая стала для меня событием 88-го года, и тем, что напечатано в книге («Человек за письменным столом», «Советский писатель», 1989.) И дело не только в том, что книжный вариант полнее. Тут, в авторском сборнике, «Заблуждение...» живет не само по себе, а в едином кровообращении с другими вещами, прежде всего с повествованием «Мысль, описавшая круг», которое озаряет знакомый по журналу текст новым, непрямым, тревожным каким-то светом. В свою очередь, и «Заблуждение...» бросает на «Мысль...» этакий обратный лучик.

Действие в обеих вещах, которые я воспринимаю как дилогию, разворачивается на узком «запретном» пространстве, своего рода нейтральной полосе между бытием и небытием. Первое пытается постичь второе и, естественно, терпит поражение, но как искусно ведет свою атаку! С каким великолепным достоинством! С каким бесстрашием!

2. Юрия Мамлеева. После двух его блестящих рассказов в «Книжном обозрении» (№ 34, 1989) — рассказов, которые Юрий Нагибин определил почему-то как сюрреалистические,— с нетерпением жду новых публикаций этого мастера.

Вячеслав Кондратьев:

1. Приход к читателю «Архипелага ГУЛАГ», произведения самого значительного и в литературном, и в политико-нравственном отношении,— одно из главных событий нашей сегодняшней культурной жизни. «Возвращение» на родину А. И. Солженицына свидетельствует о необратимости процессов, начавшихся в нашем обществе, гарантирует нас от возвращения назад.

2. Открыл для себя прозаика Валерию Нарбикову, хотя не могу в ее творчестве принять все полностью, безоговорочно. Читая, скажем, повесть «Равновесие света дневных и ночных звезд», с которой она дебютировала в «Юности», прихожу к мысли, что состояния, которые испытывают ее юные герои и, наверное, в какой-то степени сам автор, не всегда, конечно, совпадая, могут быть выражены именно только и только в такой форме. Прозу В. Нарбиковой трудно принимаешь, да и не сразу. Но в то же время это, несомненно, проза художественная, достаточно эмоциональная, вызывающая ответные эмоции. Порою становится страшно, ощущая мороку, в которой проходит жизнь, и не только молодого поколения города.

Владимир Корнилов:

1. «Улисс» Дж. Джойса. Правда, такую вещь да еще с таким опозданием естественней было бы прочесть в книге. Но журнал «Иностранная литература», даже растянув публикацию на год, оказался оперативней издательства. Читая «Улисса», испытываешь странное чувство, схожее с тем, которое я недавно ощутил в Риме. Мне казалось, что многие римские дома, даже улицы и площади, я уже видел в других городах. Вот и «Улисса» словно бы читаешь в обратном порядке: сначала ты прочел эпигонов и последователей, а затем под конец жизни — первоисточник.

2. Олега Ермакова. У нас часто ругают интеллигенцию, мол, она такая-сякая, гнилая, безвольная. И вот слабый интеллигент (рассказ «Крещение»), которого в роте держат за последнего солдата, которого не унижает только ленивый, отказывается стрелять в пленного афганца. Между тем другой персонаж, лихой парень, любимец роты, который ни за что не станет стирать сержантское исподнее, с легкостью убивает безоружного, и мы видим, в ком растоптано человеческое достоинство, а в ком оно еще живо.

Владимир Маканин:

1. Роман Роберта Музиля «Человек без свойств». Еще один большой писатель. Еще один мир большого писателя. Еще раз мысль, что человеческие типы в разных литературах зреют медленно и выпадают вдруг как кристаллы... И, однако же, типы эти повторяемы и «бродячи», как бывали «бродячи» в далекие времена сюжеты сказок.

2. Светлану Василенко. Рассказ «За сайгаками». В нем есть и несомненная печать одаренности, и редкое в наши дни качество — свежесть.

Грант Матевосян:

1. Статья московского корреспондента газеты «Вашингтон пост» Дейвида Ремника «Разъяренный критик Горбачева Нина Андреева и ее взрывные письма в защиту Сталина и политики прошлого» («Огонек», № 33, 1989). Блестящий образец журналистики и пример того, как правдивое, спасительное слово в нашу защиту мы слышим «оттуда», потому что сами мы все разъярены, склонны к взрыву, и наше слово среди сегодняшнего сора тоже звучит раздраженно и несозидательно.

2. Последний из молодых писателей, имя которого я запомнил,— Вано Сирадегян. Но это было **вчера**. И книга его «Тяжелый свет» — хорошая, талантливая книга, но написана она **вчера**. Сегодня вся наша республика, от первого секретаря и до детсадовского ребенка, находится в таком состоянии, когда о незамутненности, ясности духа (необходимое условие для творчества) не может быть и речи. Творческий процесс остановился, как остановилось у нас все. Я с болью смотрю на то, как таланты теряются в нынешнем политическом зуде, с болью вижу, что мы теряем.

Ереван

Александр Межиров:

1. Произведения Варлама Шаламова. Он совершил великий творческий и человеческий подвиг, доказал в большей степени, чем кто-либо другой, что человек сотворен по образу и подобию Бога. Книга Шаламова может быть как бы причислена к той, о которой писал Достоевский, убежденный, что она оправдает человечество на Страшном Суде.

Когда читаешь рассказы Шаламова, верится, что два тысячелетия «свеча горела на столе», свеча горела не напрасно. Впрочем, сейчас эти два тысячелетия кое-кто из так называемых «просвещенных литераторов» не прочь перечеркнуть, поскольку плоть Христа о т т у д а, то есть не подходит к просвещенно-консервативному пятому пункту кадровой анкеты. Вот до чего дошла действительная русофобия.

Книга Шаламова связана с вечностью, или, как сказал его любимый поэт Борис Пастернак об идеальном художнике:

Ты — вечности заложник
У времени в плену.

2. Вадима Антонова. Он поэт совершенно традиционный (в моем понимании — высшее достоинство) и в то же время совершенно н о в ы й, новый прежде всего по звуку, ибо звук — сущность поэзии, в нем заключены поэтическая истина, мировоззрение, идеал.

Борис Можаев:

1. Приход произведений А. И. Солженицына — событие самое значительное не только года минувшего, но и последних десятилетий. С появлением первых глав «Архипелага ГУЛАГа» начался иной отсчет не только в литературе, но во всей нашей социально-нравственной жизни. Я бы сравнил это событие с восхождением на нашем литературном небосклоне кометы исполинской силы.

2. Людмилу Сараскину, автора статей «Ответ Мэтлоку» в журнале «Вопросы литературы» и «Право на власть» — в «Октябре» о сущности мировоззрения Ф. М. Достоевского, глубинном постижении, изучении им русской жизни, философско-нравственном осмыслении нашего пути. Зарубежные исследователи подходили, увы, несколько упрощенно к осмыслению многогранности творческого наследия писателя. Л. Сараскина продолжает оборвавшуюся было блистательную отрасль литературной и философско-нравственной деятельности, начатую В. Розановым и подхваченную С. Булгаковым, Г. Федотовым, Н. Бердяевым... Одна из традиций «серебряного» века русской словесности талантливо продолжена молодым исследователем.

Евгений Носов:

1. Затрудняюсь выбрать что-то одно, да и читать в этом году довелось немного.

2. Виктора Чекирова. Мне попалась в руки его книжка (судя по всему, первая), вышедшая недавно в Воронеже,— «Хлеб нашего детства». Это повесть о трудном военном детстве — казалось бы, об этом уже много написано, но приходит новый писатель и заставляет взглянуть на уже известное по-новому. Так, как это сделал, скажем, А. Приставкин в своей «Тучке...». Повесть В. Чекирова производит такое же впечатление — мощного психологического шока: новизной и свежестью взгляда; рассказывается о горестных годах, но при этом нет мрачности — написано светло, с ясной верой в силу добра, человеческого духа. Повесть просветляет и воспитывает читателя, а это так важно сейчас...

Курск

Евгений Попов:

1. Естественно, что «Архипелаг ГУЛАГ». В зоне влияния этой книги затихают зряшные споры, распри. Общая боль, соборный стыд за изнасилованную великую страну — вот что такое «Архипелаг ГУЛАГ».

2. 1989 год уникален по введению в литературный обиход ранее запрещенных или условно существовавших имен. Потрясла замечательная статья безвременно ушедшего из жизни Владимира Кормера «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» («Вопросы философии», 1989, № 9). И все же подавляющее большинство «открытого» я читал в «самиздате» и «тамиздате», а те, кого я открыл для себя в этом году, пока еще не напечатаны в СССР.

Анатолий Приставкин:

1. Публикацию повести Сергея Каледина «Стройбат». Сегодня этот автор, на мой взгляд, один из самых интересных, ярких. И еще. Хотел бы сказать об одном молодом прозаике — Светлане Василенко. Я многого от нее жду. Ей, знаю, трудно дается и жизнь и ее проза, как, впрочем, и другим талантливым молодым литераторам. Ее последний

рассказ «Ген смерти» прочел в недавно увидевшей свет книжке «Открытая дверь». Василенко бесспорно одарена, но и она, увы, среди многих таких же других все еще не член нашего писательского союза.

2. Открыл для себя двадцатидвухлетнего прозаика Александра Терехова. Его рассказ «Зёма» появился в № 1 альманаха «Апрель». (Кстати сказать, четвертый номер 1990 года весь отдан молодым.) Взрывной рассказ — иначе не скажешь. Тема — та же, что у Каледина в «Стройбате»,— армия. Однако авторы не соперники. Единомышленники.

Открыл для себя и прозаика Семена Липкина. «Декаду», правда, читал в рукописи, задолго до публикации в журнале. Обидно, что моя «Тучка...» опередила появление «Декады», которая по праву старшинства, по выстраданности должна была явиться раньше.

Виктор Розов:

1. Я перестал быть чувствительным к произведениям с социальным «зарядом», и по-прежнему вызывают в моем сердце отклик рассказы о подвигах или страданиях людей, о которых пишут, как правило, в нескольких строках, например: убили милиционера бандиты, за которыми он гнался,— погиб при исполнении служебного долга. Жутко становится, когда я читаю о том, что живого младенца положили в морг.

Большие, истинно художественные публикации — или я, к сожалению, пропустил, или их сейчас нет.

2. «Открыл» для себя, как, вероятно, многие, крупнейших писателей, которые были под запретом, вроде Платонова, Замятина... Особенно радует меня, что возвращается к нам русская философская и философско-религиозная мысль — Бердяев, Розанов, Флоренский... Читаешь произведения и с ужасом думаешь: на каком примитиве тебя воспитывали все эти годы.

Анатолий Рыбаков:

1. Почти все время уходило на работу над продолжением моего романа, который уже давно ждут в редакции «Дружба народов», так что прочесть удалось мало. Из прочитанного самое значительное, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ».

2. Запомнилась повесть Л. Габышева «Одлян, или Воздух свободы». Помню, взял журнал просто так, для короткой разрядки,— и уже не мог оторваться до конца. Глубокое психологическое повествование, благотворно влияющее и на нравственность, именно так и теми средствами, как это должна делать литература.

Андрис Якубан:

1. У меня есть одна знакомая старушка читательница, которая на все восторги по поводу публикуемого ныне говорит: я восторгалась всем этим еще в 1940-м, 1949-м и 1953-м, но тогда меня почему-то никто не хотел слушать...

Для меня самая значительная публикация этого года — фрагмент из книги скончавшегося в минувшем году прозаика Э. Ливса «Шрам на внутренней стороне губы» («Даугава», 1989, № 9). Эгон Ливс прожил драматичную жизнь: насильно завербованный немецкими захватчиками в легион «Остланд», он после войны отбыл свой срок в лагерях, затем служил в Красной Армии. Непросто складывалась и его писательская судьба, хотя его книги не залеживались на прилавках, по его сценариям ставились фильмы. Я хорошо знал прозу Э. Ливса, но эти его воспоминания, о которых мы узнали только сейчас, потрясли меня, и не только меня одного, глубиной видения происходящего и предельной честностью.

2. Новых имен для себя не открыл.

Рига

Индекс популярности

С 1 по 15 ноября 1989 г. отдел экспресс-исследований Института книги НПО «Всесоюзная книжная палата» проводил телефонный опрос экспертов — работников массовых библиотек Москвы. В опросе приняли участие зав. отделами абонемента, читальными залами, методисты и библиотекари, занятые непосредственно обслуживанием читателей. Число читателей в двадцати представленных в исследовании библиотеках колебалось от 4100 до 50 000. Аудитория массовых библиотек охватывает широкие слои населения: среди читателей значителен процент лиц со средним образованием, занятых в промышленности, непроизводственной сфере, сфере обслуживания и т. д., а также представителей наименее обеспеченных социальных групп — студентов, учащихся, пенсионеров.

В ходе опроса экспертам предлагалось ответить на вопросы о наиболее популярных произведениях, опубликованных в литературно-художественных журналах с января по октябрь 1989 года, охарактеризовать спрос на отдельные журналы. По сравнению с 1988 годом библиотечная подписка на пользующиеся спросом журналы значительно возросла, однако это не спасает библиотеки от очередей на отдельные номера, содержащие особо интересные публикации.

Библиотечные очереди за популярными изданиями в этом году короче, чем в прошлом, когда для списков ожидающих роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» обычной цифрой было 300 человек, или в 1987 г., когда впервые был зафиксирован взрыв массового интереса к «толстым» журналам — благодаря публикации в «Дружбе народов» «Детей Арбата» А. Рыбакова (за романом в библиотеках записывалось до 500 читателей). Причина уменьшения очередей в 1989 году — значительный рост подписки на популярные журналы, о содержании которых читатели узнают из редакционных анонсов.

Лидером читательского спроса в массовых библиотеках 1989 г. (имеются в виду журнальные публикации **с января по октябрь**) эксперты единодушно назвали А. И. Солженицына с «Архипелагом ГУЛАГ». (Он же победил по результатам прессового опроса, проведенного через газету «Книжное обозрение» в июле 1989 г., т. е. еще до появления «Архипелага...» в «Новом мире».) Во всех без исключения библиотеках, даже там, где подписка на «НМ» превышет 20 экземпляров, существует очередь от 50 до 100 открыток, т. е. длиной в год и более. Публикация «сверхлидера» обеспечила «Новому миру» первое место по частоте спроса в массовых библиотеках, хотя по числу популярных публикаций, вышедших в течение года, журнал идет примерно вровень со «Знаменем». Вероятно, для того чтобы стать лидером журнального спроса, одной публикации, даже сверхлидера, все же недостаточно: подтверждением может служить третье место в 1988 г. журнала «Октябрь», опубликовавшего самое популярное произведение года — роман «Жизнь и судьба» В. Гроссмана. Необходимое условие популярности периодического издания — наличие публикаций высокого уровня в течение всего года.

Второе место по частоте спроса в библиотеках эксперты отдали произведению В. Гроссмана «Все течет» («Октябрь»), третье — «1984» Дж. Оруэлла («Новый мир»). Затем идут: В. Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» («Юность») и Г. Владимов «Верный Руслан» («Знамя»). Следующие позиции занимают Д. Волкогонов и Р. Медведев с историческими очерками («Октябрь», «Знамя», «Юность»). На восьмом месте С. Каледин «Стройбат» («Новый мир»), на девятом — «Из «колымских рассказов» В. Шаламова («Знамя»), и замыкают десятку лидеров «Воспоминания» Н. С. Хрущева («Знамя»). Среди публицистических произведений на первом месте статьи В. Селюнина из «Нового мира», на втором «Либо сила, либо рубль» Н. Шмелева («Знамя»), на третьем — Ю. Черниченко «Кто виноват, или Что делать?» («Знамя»).

На вопрос «Какие журналы чаще всего выдавались читателям?» эксперты назвали порядка 20 журналов. Помимо «литературно-художественных», были названы журналы «Искусство кино» и «Слово», а также некоторые «тонкие»: «Огонек», «Смена», «Наука и религия», «Знание — сила», «Ро-

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЖУРНАЛОВ В 1989 ГОДУ *

Место (по мнению экспертов)	Место (по числу упоминаний популярных публикаций, названных экспертами)
1. Новый мир	1. Новый мир
2. Знамя	2. Знамя
3. Октябрь	3. Юность
4. Юность	4. Дружба народов
5. Дружба народов	5. Октябрь
6. Нева	6. Нева
7. Звезда	7. Звезда
8. Дон	8. Урал
9. Аврора	9. Москва
10. Урал	10. Иностранная литература
11. Искусство кино	11. Аврора
12. Иностранная литература	12. Дон
13. Простор	13. Искусство кино
14. Даугава	14. Простор
15. Волга	15. Даугава
16. Москва	16. Волга
17. Слово	17. Слово
18. Подъем	18. Наш современник
19. Наш современник	19. Подъем

* Подписка ряда библиотек включает неполный список региональных и республиканских журналов. В данном опросе мнение библиотекарей распространялось лишь на журналы, имеющиеся в фонде их библиотек.

дина», «Советский экран». Список «толстых» журналов, пользующихся наибольшим спросом, возглавляют «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Юность», «Дружба народов», «Нева», «Звезда», «Дон», «Аврора», «Урал». По числу популярных журнальных публикаций в первую десятку вошли: «Новый мир», «Знамя», «Юность», «Дружба народов», «Октябрь», «Нева», «Звезда», «Москва», «Иностранная литература», «Аврора».

Появление среди литературно-художественных журналов ежемесячника «Искусство кино» обусловлено большим успехом двух публикаций этого года: «Невозвращенца» А. Кабакова (этот — шестой — номер журнала в ряде библиотек на момент опроса отсутствовал, т. к. был похищен из читального зала), повести Э. Севелы «Остановите самолет — я слезу!». Что же касается «Слова», то здесь внимание читателей было привлечено мемуарами А. Вырубовой и дневником Николая II. Из тонких журналов, кроме перечисленных, пользуется повышенным спросом «Природа и человек», содержащий материалы по экологии Москвы.

Аутсайдером спроса на «толстые» журналы, по свидетельству экспертов, по-прежнему остается «Молодая гвардия» («чистые номера за три года лежат на полке»). Умеренным спросом пользуются «Наш современник», «Москва», «Иностранная литература». (Что касается «Москвы» и «Иностранной литературы», то по числу читаемых произведений эти журналы вошли в десятку лидеров, что не совсем согласуется с мнением экспертов об умеренном спросе на них.)

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 921-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 03.11.89. Подписано к печати 04.12.89. А 04315. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—355 173 экз.). Заказ № 1502. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.